ИНОСТРАННАЯ литература

8

1963

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

ЗОФЬЯ ПОСМЫШ Пассажирка (Повесть) 4

УИЛЬЯМ ДЮБУА — Гана зовет (Стихи) . . 88

ЖАН КАНАПА — Солдаты, солдаты... (Рассказ) 91

ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ — Разоблачение (Рассказ) 109

ЙОЗЕФ ГАНЗЛИК — Лампа (Стихи) . . . 117

КАРЕЛ ТОМАШЕК — Песня о реке (Стихи) 119

РЭЙ БРЭДБЕРИ — Луг. Вельд (Фантастические рассказы) 120

БЛАГА ДИМИТРОВА — Верность (Стихи) . 140

КИПРИАН ЭКВЕНСИ — Когда горит трава (Повесть) 142

КРИТИКА

В. ЩЕРБИНА — Реализм и идейность (Взгляды К. Маркса, Ф. Энгельса и некоторые литературные споры наших дней) . . 206

ПИСАТЕЛЬ И ВРЕМЯ

РИЧАРД ОЛДИНГТОН — Открывать красоту мира (Публикация, вступительная статья и перевод Д. Жантиевой) 219

8

АВГУСТ

1963

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ»

Москва

ЧТО ЧИТАЮТ СЕГОДНЯ

ЛЕОПОЛЬД ГРЮНВАЛЬД — Новая австрийская проза (Письмо из Вены) 233

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Обозрение зарубежной прессы 235

ПУБЛИЦИСТИКА

ДАЙСОН КАРТЕР — Канадская культура будет жить 240

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗА РУБЕЖОМ

КОРНЕЛИУ БАБА — Человек — извечная тема (Заметки художника) 248

ГОВОРЯТ ПИСАТЕЛЬНИЦЫ — УЧАСТНИЦЫ ВСЕМИРНОГО КОНГРЕССА ЖЕНЩИН

ЛИЛИ ЯКОВИДУ — Общественная миссия литератора 255

ЭЛЛА УИНТЕР — Мы можем помочь людям 256

СРЕДИ КНИГ

ИЗДАНО В СССР

М. Алигер — Тысяча звезд южного полушария. ◇ А. Тишков — Полезное издание. ◇ Л. Калныньш — Первое знакомство . 262

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

И. Млечина — Другого пути нет. ◇ А. Петриковская — В зеркале политики и литературы. ◇ В. Выхухолев — Глазами друга 268

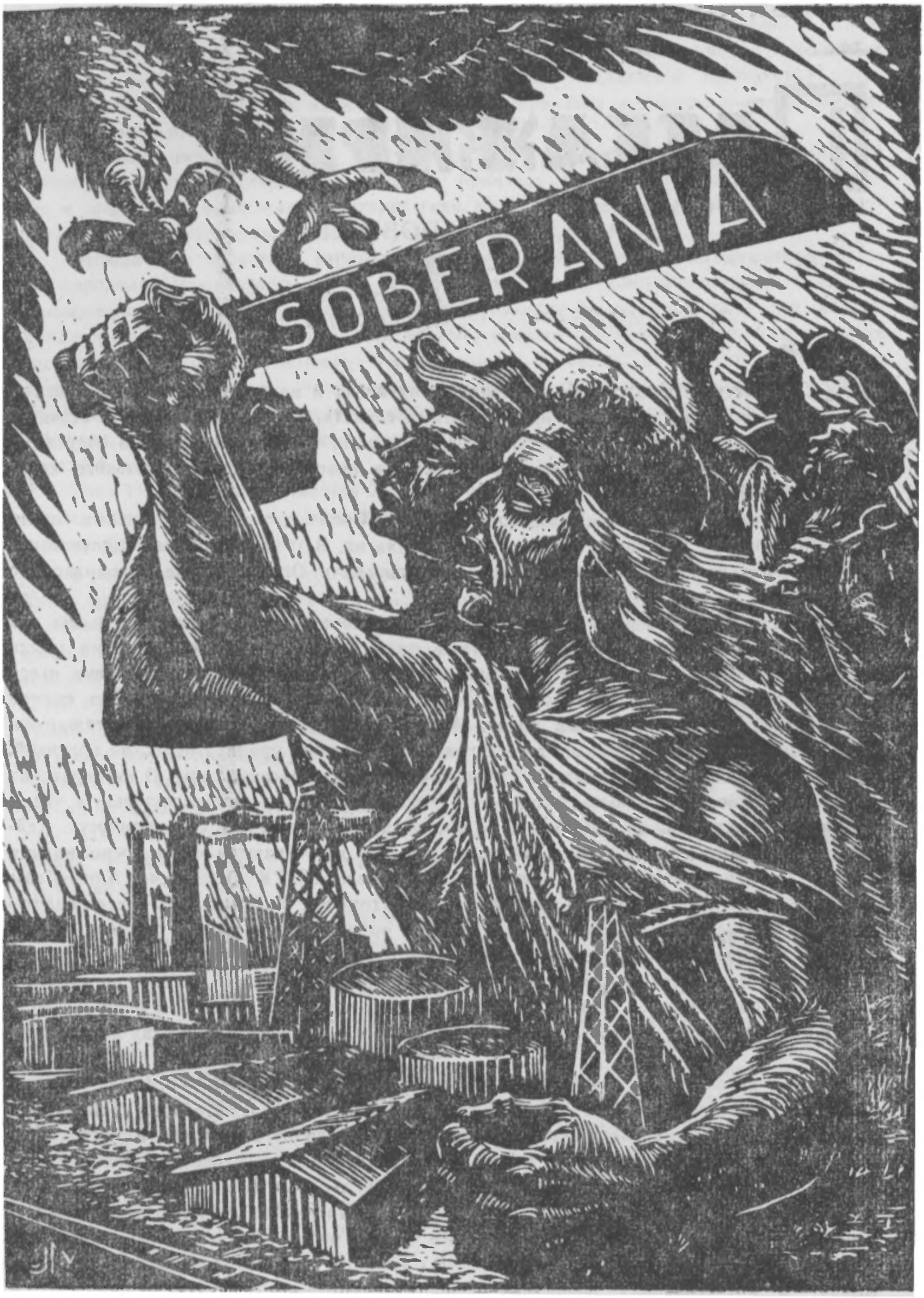
НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ 273

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

Хроника 274

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ 287

На обложке гравюра кубинского художника ХОСЕ АГИЛЕРЫ «Народный урожай».



ХОСЕ АГИЛЕРА *(Куба)*. Власть народа

ЗОФЬЯ ПОСМЫШ

ПАССАЖИРКА

ПОВЕСТЬ

Перевод с польского
Э. ГЕССЕН и В. ГОЛОВСКОГО

Повесть «Пассажирка» заинтересует читателя и напряженностью психологических конфликтов, и неожиданными поворотами сюжета, и остротой, с какою ставятся в ней некоторые политические вопросы современности, и — не в последнюю очередь — той достоверностью, с какою передана страшная повседневность фашистского концлагеря Освенцим.

Автор повести, польская писательница Зофья Посмыш, знакома с ужасами Освенцима не по чужим рассказам — она сама испытала их. В 1942 году восемнадцатилетней девушкой она была арестована гестапо и заключена в Освенцим, где находилась до конца войны.

«Пассажирка» — первая книга З. Посмыш, которая до того писала пьесы для радио, очерки, рассказы. Повесть эта тоже родилась из радиопьесы, которая имела большой успех у слушателей. Известный кинорежиссер Анджей Мунк поставил пьесу на телевидении и стал работать вместе с З. Посмыш над фильмом, но съемки были прерваны из-за внезапной смерти Мунка в 1961 году. Повесть «Пассажирка», опубликованная Зофьей Посмыш в 1962 году, была хорошо принята польской критикой.

Успех этой книги нельзя объяснить только остротою темы. О гитлеровских концлагерях писали в Польше уже не раз. Зофья Посмыш по-своему подошла к этому трагическому жизненному материалу. Ее произведение обращено в современность. Действие происходит в наши дни, и события прошлого воссоздаются через воспомнинания одного из действующих лиц — бывшей надзирательницы в Освенциме Анны-Лизы Кречмер; прошедшее все время соотносится с настоящим, воспоминания — с сегодняшней действительностью. Такая структура повести родилась не только из стремления усилить читательский интерес, она придает антифашистской теме современное звучание. Логикой повествования осуждается не только гитлеровский фашизм, но и те перекрасившиеся, приспособившиеся фашисты, которые ныне процветают в ФРГ и нередко лицемерно открещиваются от своего постыдного прошлого, ни в чем по существу не изменившись.

Автор не облегчает своей задачи. Главный персонаж повести — это, так сказать, эсэсовка «с психологией». Она не только говорит узникам «вы» и хотела бы (правда, как выясняется, не очень настойчиво) уклониться от личного участия в истязаниях, но и делает попытку приблизить к себе польку-заключенную, стремится расположить ее к себе и чуть ли не подружиться с ней. Странная, болезненная привязанность надзирательницы к заключенной, наталкивающаяся, естественно, на упорную и неодолимую ненависть, занимает, пожалуй, слишком много места в произведении и не относится к его сильным сторонам. Другие страницы повести с бóльшей силой доказывают ее основную мысль — в преступлениях фашизма виновны не только отъявленные садисты и убийцы, но и те, кто, пытаясь выделить себя из общей массы гитлеровских извергов, содействовал им, потворствовал и повиновался. В этом смысле автор беспощадно осуждает не только Анну-Лизу, но и ее супруга-фарисея Вальтера, который старается быть «добрым, не повреждая позвоночника», и усердно — не из моральных, а из карьеристских побуждений — отмежевывается от гитлеровцев, а сам готов и сегодня продолжать их политику в новых, изменившихся условиях.

В откровенных разговорах Вальтера Кречмера с американцем мистером Бредли раскрывается преемственная связь между агрессивными действиями Гитлера и агрессивными намерениями тех кругов ФРГ, которые мечтают совершить новый «крестовый поход против большевизма», заручившись на этот раз поддержкой заокеанских союзников. Именно против этих политических сил направлено в первую очередь обличительное острие повести.

Польский народ не раз на протяжении своей многовековой истории страдал от немецкой агрессии. Гитлеровская агрессия принесла Польше бесчисленные разрушения и жертвы, и нынешняя милитаристская политика правящих кругов ФРГ не может не внушать миллионам поляков чувства законной тревоги.

Отсюда — то страстное отрицание фашизма, вчерашнего и сегодняшнего, которое определяет тональность книги. В соответствии с ее композиционным замыслом «саморазоблачения» преступника немцы, действующие на ее страницах,— это либо активные фашисты, либо фашисты лицемерные, внешне перекрасившиеся. Тем бóльшее значение имеют образы немцев — борцов против фашизма, которые появляются на страницах повести, пусть эпизодически,— в сценах лагерной жизни, где они ведут борьбу совместно с заключенными поляками, и в описаниях Федеративной Республики Германии, где они, как это делает доктор Штрайт, решительно выступают против реваншистской политики.

Тема Германии раскрывается Зофьей Посмыш не только в отборе персонажей, но и в тех обстоятельных диалогах, которые ведут Вальтер Кречмер и его американский партнер Бредли.

В доверительных беседах Бредли с Вальтером, который сам безусловно принадлежит к кругу виновных, встает имя лишь одного немца, в годы второй мировой войны с надеждой ждавшего не победы, а поражения гитлеровской Германии,— имя Томаса Манна. Желая обелить себя, Вальтер как бы заслоняется авторитетом великого немецкого писателя: «...Ответьте мне: сколько человек могло понимать преступность целей Германской империи? Чтобы это понимать, понимать полностью, с самого начала, нужно было быть Томасом Манном». Приукрашивая свое приспособленчество, Вальтер пускает в ход подленькую теорию: «героизм — удел немногих». Читателю легко опровергнуть эту гнилую философию — достаточно вспомнить о *массовом* героизме нашего народа в годы Отечественной войны, о том героическом сопротивлении, которое оказали фашистским оккупантам многие тысячи поляков и чехов, болгар и словаков, югославов и французов, об антифашистском сопротивлении в самой гитлеровской Германии.

«Поражение Гитлера неотвратимо, но горе Германии, если Гитлер будет разбит без участия нашего народа. Каждый немец — не трус, не гитлеровский кнехт, не равнодушный обыватель — должен найти в себе силы и мужество, чтобы подать пример борьбы против Гитлера, за спасение Германии».

Так говорилось в «Обращении общественных и политических деятелей Германии к немецкому народу», которое было опубликовано в начале 1942 года. Под этим документом стояли подписи Вильгельма Пика, Вальтера Ульбрихта, Иоганнеса Бехера, Вилли Бределя и много других имен. В духе этого обращения действовали и те немцы, которые, помогая советским вооруженным силам, обращались к гитлеровским воякам с отрезвляющими призывами через линию фронта, и те немцы, которые в тылу третьей империи организовывали саботаж на военных предприятиях, распространяли листовки. Героизм этих немцев находит ныне свое продолжение в развернутом социалистическом строительстве и миролюбивой политике Германской Демократической Республики.

Нет, героизм — не удел немногих! Повесть З. Посмыш опровергает эту подлую философию. В спокойном мужестве Тадеуша, в несгибаемой силе характера, какую обнаруживает Марта, читатель вправе видеть не только проявление лучших сторон польского национального характера, но и типические качества тех антифашистов из разных стран, которые находили способы бороться даже в невыносимо тяжких условиях гитлеровского плена. Образы героических узников Освенцима придают трагической повести Зофьи Посмыш жизнеутверждающий смысл и во много крат усиливают ее привлекательность для советского читателя.

Женщина эта почему-то привлекла внимание Лизы. Она стояла у входа в бассейн, повернувшись к нему лицом, и, вероятно, наблюдала за купающимися. Лиза упорно и напряженно всматривалась в незнакомку. Что-то в фигуре женщины тревожило ее, не позволяло отвести взгляд. Смущенная, недовольная собою, она пыталась подавить в себе это странное чувство, разобраться, чем оно вызвано. Задача оказалась невыполнимой, ни одно из приходивших на ум объяснений не удовлетворяло ее. Дело было не просто во внешнем облике пассажирки и не в элегантности ее костюма. Хотя она была одета безукоризненно, но ничем особенным не выделялась. Да это и не удивительно на столь комфортабельном пароходе, где полно красивых женщин в изысканных туалетах. Итак, причина заключалась в чем-то другом, и во взгляде Лизы отражалась все возраставшая тревога.

Если бы у Вальтера, сидевшего рядом в шезлонге, глаза не были закрыты, он, без сомнения, спросил бы: «В чем дело, малышка?» Ведь он читал в ее глазах — пусть эта метафора и кажется избитой,— но он в самом деле ухитрялся «прочесть» все, что в данную минуту таилось в них. Его это очень радовало и забавляло; кто знает, быть может, именно поэтому он обратил на нее внимание, а потом и женился. Она наделила его как бы шестым чувством, Вальтер шутя называл его «внутренним слухом», хотя такое определение и не очень подходило к способности, основанной не на слухе, а на зрении. Ему не всегда удавалось разгадать смысл того, что он читал в ее глазах, и в таких случаях он с любопытством, которое со стороны могло показаться смешным, спрашивал: «В чем дело, малышка?» Он неизменно задавал этот вопрос вот уже много лет, точь-в-точь как тогда, когда она зашла к нему в антикварный магазин — это были первые послевоенные годы, и Вальтер занимался торговлей предметами старины,— худенькая, жалкая и такая «невзрослая» в туфельках без каблуков, что он обратился к ней, как к ребенку, именно с этими словами.

Сейчас, однако, Вальтер подставил лицо солнцу и закрыл глаза; таким образом он обладал одним лишь даром — слухом, присущим и другим людям. Но поскольку Лиза не поддерживала больше его восторженных излияний во славу жизни, на которые оба они не скупились с тех пор, как взошли на пароход, он счел нужным вновь вовлечь ее в разговор.

— Хорошо здесь, Лизхен, правда? Мировая посудина — этот наш «Гамбург». Дороговато, ничего не скажешь, но куда ни шло... нам можно с этим не считаться. Наконец, Лизхен, мне повезло. Ты понимаешь, что это значит? Теперь мы будем жить на широкую ногу, вот увидишь. Пора уже. Как ты думаешь, малышка?

Он не услышал ответа, который должен был бы последовать, и открыл глаза — тут требовалась помощь «внутреннего слуха». На лице его отразилось любопытство.

— Поверни голову, Лизхен. Ты загоришь только с одной стороны.— Она по-прежнему молчала, и Вальтер с удивлением спросил: — В чем дело, малышка? Почему ты все время смотришь в ту сторону?

Лиза повернулась к нему.

— Ничего, ничего...— произнесла она, но взгляд ее вновь скользнул в сторону незнакомки.

— Ты ее знаешь? — поинтересовался Вальтер.

— Нет... с чего ты взял? — Его вопрос, казалось, поразил ее и даже озадачил.— Почему тебе это пришло в голову?

— Ты так смотришь, будто знаешь ее.

— Она показалась мне,— Лиза опять взглянула в ту сторону,— немного странной.

— Странной? — Вальтер несколько мгновений внимательно рассматривал незнакомку, потом пожал плечами: — Ничего особенного не вижу.

Лиза многозначительно улыбнулась ему — эта обычная в подобных случаях улыбка как бы окончательно устраняла возникшее между ними мимолетное отчуждение: ведь они оба знали уже, «в чем дело»,— и поудобнее расположилась в шезлонге. Вальтер прав, здесь очень хорошо. Первый день путешествия превзошел все ожидания. Погода стояла изумительная, громадный пароход легко скользил по водной глади, качка почти не чувствовалась. Все пассажиры собрались на залитой солнцем палубе, которую здесь называли пляжем. Из бассейна доносился смех и веселые голоса. Между шезлонгами с загорающими пассажирами ловко сновали стюарды, разнося мороженое и прохладительные напитки. Все дышало неправдоподобным спокойствием.

— Германия осталась позади, Вальтер,— сказала Лиза.

— Послезавтра позади останется и Европа. На несколько лет, если ничего не случится. Ты не будешь скучать?

— Не думаю.

— И я не буду. Жизнь в Европе опять становится утомительной.

— Я боялась, что ничего не выйдет.

— И не зря боялась. «Старик» отовсюду убирает людей Штрайта. Своим назначением я отчасти обязан господину Глобке.

— Ты шутишь...

— Нисколько. Просто в мире слишком уж много говорят об этом. Необходимо кое-где установить глушители. Для этого берут молодца, вроде меня, и посылают туда, где болтают больше всего. Чтобы заткнуть рты крикунам. Мне даже могут присочинить антифашистское прошлое.

Лиза вздрогнула.

— Если бы требовалось такое прошлое, поехал бы Штрайт.

— Отпадает,— ответил Вальтер, смеясь.— И знаешь почему? Потому что у Штрайта оно действительно есть, такое прошлое. Если б не это...

Подошел стюард и пригласил их к обеду. Сегодня первый день пути, сказал он, и он рекомендует прийти в ресторан чуть пораньше, чтобы выбрать наиболее удобный столик. Это ведь имеет значение в дальнем путешествии. Он позволил себе подойти именно к ним, так как другие пассажиры...

Действительно, палуба почти опустела. Должно быть, пассажирам теперь уже больше нравились затененные каюты с вентиляторами, чем слепящее зеркало океана. Только в одном шезлонге, под зонтом, дремал пожилой седой человек. У его ног неподвижно, как статуя, сидела большая красивая собака.

— Этот болтливый стюард прав,— заметил Вальтер, направляясь к двери.— Сия посудина двадцать суток будет нашим материком. Ты, наверное, захочешь сразу по приезде повидаться с сестрой?

— Нет, это не к спеху. Я поеду к ней, когда мы как следует устроимся,— ответила Лиза, обходя стоявший у нее на дороге шезлонг.

— Но она знает, что мы едем?

— Нет.

— Почему? Разве ты ее не предупредила?

— Я ведь говорила тебе,— ответила Лиза, помедлив,— что сомневалась до последней минуты. Я суеверна и боялась преждевременными разговорами...

— Спугнуть счастье? — засмеялся Вальтер.— Ты совсем ребенок. Но ничего, в этом есть своя прелесть...

И тут произошло нечто странное. Никто — ни Лиза, ни Вальтер, ни пожилой мужчина, хозяин собаки,— не мог бы сказать, как это случилось. У входа на палубу появилась незнакомка, которая раньше так заинтересовала Лизу. Быть может, она сделала какое-то незаметное движение, тихонько свистнула или причмокнула. Никто этого не заметил. Все увидели только, как прыгнула собака. Нет, ничего опасного не произошло, но пес, упершийся лапами в плечи женщины, мог ее напугать. Хозяин окликнул собаку, и она тут же вернулась на место, а он долго извинялся с несколько подчеркнутой, не лишенной своеобразной грации старомодной галантностью.

— Дурочка,— засмеялся Вальтер, глядя на побледневшую Лизу.— Такая собака не сделает ничего плохого. Это просто выражение симпатии с ее стороны.

Но Лиза не слышала. Она смотрела, как незнакомая пассажирка спокойно отряхивает блузку, смотрела так, словно от этого зависела ее жизнь. Даже когда незнакомка ушла, выражение ее лица, на котором попеременно отражались то изумление, то недоверие, не изменилось. Вальтер встревожился:

— Лизхен, что с тобой?

Лиза не ответила. Она смотрела в пространство неподвижным взглядом, и в глазах ее отражался ужас.

■

...Собака прыгает. Собаки, десятки и сотни собак. Таких же, как эта, и других Hundesstaffeln *. Они то шагают строем, как солдаты, то, как пастухи, гонят стада двуногих существ, которые поражают и вместе с тем отталкивают своим сходством с людьми. Собаки... И дорога, как в кошмарном сне, не похожая ни на одну дорогу в мире, огороженная проволокой, со штабелями дров по обочинам. И на ней люди. Хорошо одетые, как пассажиры «Гамбурга». Беспорядочной толпой бегут они вдоль рельсов, которые не ведут никуда; это тупик, в буквальном смысле слова — тупик, в буквальном смысле слова — конец. Они все больше приближаются к красному зданию, над которым торчит закопченная труба. В опустевших спальных вагонах еще стоит тяжелый дух... И собаки... Такие же, как эта, и не такие. Машина с красным крестом, снующая взад-вперед по этой странной дороге, груды беспорядочно сваленной одежды, детские коляски, масса колясок, фотографии, втаптываемые в размякшую землю, и опять толпа, голая и отвратительная, перед красным зданием, а позади него проволока, натянутая на белые, изогнутые, как когти, столбы, и крыши, но крыши эти воздвигнуты не над мирными жилищами. У проволоки стоят на коленях существа в полосатых бело-голубых куртках и рядом оркестр. Молоденькая певица исполняет залихватскую песенку: «Нет, не нужны мне миллионы. Без денег можно жизнь прожить...» И руки быстро, быстро мелькают, одна за другой, и на них появляются цифры...

■

Вальтер крепко сжимал ее запястье:

— Ради бога, Лизхен, что с тобой?

— Ничего, Вальтер... все в порядке.

— Все в порядке? Ты меня напугала, у тебя был такой вид...

— Ненавижу собак! Просто не выношу их! — истерически закричала она и опустилась на ближайший шезлонг.

— Ты ненавидишь собак? — искренне удивился Вальтер.— Вот не знал. Ты никогда об этом не говорила!

---

* Служебных собак *(нем.)*.

■

Обед подходил к концу. Это был отличный обед, и Вальтер, любивший вкусно поесть, пришел в великолепное настроение. Он наслаждался каждым блюдом, обсуждая его со свойственным ему грубоватым юмором, и не сразу заметил, что Лиза все время молчит и почти ничего не ест. А заметив это, выразил удивление и даже недовольство. Неужели ей не нравится здешняя кухня? Ведь это подлинно немецкая кухня, в ее лучшем и самом совершенном виде, даже он, Вальтер, ни к чему не может придраться. Выяснилось, однако, что у Лизы пропал аппетит и испортилось настроение из-за головной боли. И только поэтому она не захотела, чтобы Вальтер пригласил к их столику своего нового знакомого. По словам Вальтера, он мировой парень и очень к ним тянется. Вальтер сперва надулся, но потом понял, что это не каприз, не женские причуды, чего, как Лизе известно, он не выносит и что, к счастью, ей не свойственно. Конечно, самочувствие — вещь существенная, и им не следует пренебрегать ради ни к чему не обязывающих светских знакомств. Даже лучше, что «джонни» — Вальтер употребил эту добродушно-насмешливую кличку, которую в послевоенные годы стали применять к американцам,— познакомиться с его женой в другой раз, когда она будет в своей обычной форме и, как всегда, будет вызывать восхищение. После обеда Лиза примет таблетку от головной боли и приляжет на часок, а он тем временем сыграет с «джонни» партию в теннис. А потом, если Лиза будет себя хорошо чувствовать, они в пять часов пойдут втроем пить чай. Одобряет она такую программу?

Конечно, одобряет и очень благодарна мужу за то, что он понял ее. Ведь когда женщина знает, что вид у нее неважный... Когда она чувствует себя усталой и старой, как вот сейчас...

Хороший муж должен в таких случаях возразить или хотя бы рассмеяться. Вальтер так и сделал. Впрочем, его реакция была искренней, даже самый тонкий слух не уловил бы в его тоне фальшивой нотки. В его глазах Лиза не только не была старой — впрочем, слово «старая» в применении к ней вообще звучало нелепо,— в его глазах она ни чуточки не изменилась с той минуты, когда впервые вошла в антикварный магазин и он спросил: «В чем дело, малышка?» Впрочем, если уж об этом зашла речь, она не изменилась не только в его глазах. О беспристрастности его оценки лучше всего свидетельствует сегодняшний случай на пристани: Вальтер имеет в виду поведение доктора Штрайта. Лиза должна признать, что она и сама была поражена. Ведь доктор Штрайт видел ее несколько минут, и когда? Лет десять назад. А все-таки он узнал ее и поклонился прежде, чем заметил его, Вальтера. Узнал, хотя Лиза совсем не помнила Штрайта. Пусть же она перестанет думать о своей внешности и не смотрит на него так, будто он обманывает ее или городит чепуху. Если человека узнают спустя столько лет, это говорит само за себя. Что тут добавить?

— Чистая раса остается чистой расой,— заключил Вальтер, подмигнув Лизе.

Однако, вопреки его ожиданию, это умозаключение не доставило ей особого удовольствия. Она лишь заметила с несколько натянутой улыбкой, что слово «раса» звучит в его устах странновато и ему лучше не употреблять его, даже в шутку.

Вальтер не любил, когда ему делали замечания, но на этот раз оно было ему даже приятно. Ну да, жена хорошо знает его, очень хорошо, и понимает, что слово «раса» не в его стиле — отсюда ее реакция, быть может, слишком серьезная, но не беда, в таких делах особая острота восприятия вполне естественна, хотя кому-нибудь это и показалось бы странным. Жаль, что мистер Бредли не слышит их разговора, для

него это было бы интереснее, чем партия в теннис. Вальтер подумал, что Бредли и вовсе отказался бы от тенниса, если бы ему позволили участвовать в их разговоре. Ведь это дало бы ему хороший материал для его исследования, идея которого, кстати сказать, вероятно, возникла в результате своеобразного заскока или одержимости. Вальтер понял это уже из первого их разговора. Да, скорее всего это одержимость, и именно поэтому доктор Штрайт, знакомя их на пристани, счел нужным сказать американцу, что вот, мол, это немец, с которым он может «говорить обо всем». Штрайт повторил это дважды, и, хотя тон у него был шутливый, Вальтер, хорошо знавший Штрайта, был уверен, что тот говорит серьезно. А когда Вальтер узнал, что мистер Бредли был в Германии с армией, которая их «освобождала», он, как человек сообразительный, сразу понял, что это означает. Парень многое повидал, и его преследует навязчивая идейка. Ему не дает покоя проблема германской души. Он сразу же начал развивать свои мысли, причем не поверхностно, не как политикан, а научно, в свете немецкой философии — Гегеля, Фихте, Канта, Шопенгауэра... Надо отдать ему должное — он изучил эту философию обстоятельно, систематично. Нет, Лизе нечего иронизировать. До Ницше они просто не успели добраться. Им помешал гудок парохода, надо было прощаться со Штрайтом. Но это не значит, что они обошли Ницше. Они обязательно дойдут и до него. Почему бы ему, Вальтеру, не помочь Бредли разобраться в этой проблеме? Если, добавил он задумчиво, это вообще возможно.

— А что ты думаешь по этому поводу, Лиза?

Лиза, увы, ничего об этом не думала. Уже несколько минут она не слушала, что говорит ей муж. Она снова увидела незнакомку. Та шла между столиками в сопровождении метрдотеля и, казалось, кого-то искала. Взгляд ее на мгновение остановился на Лизе, но тут же равнодушно скользнул дальше. Лиза подавила вздох облегчения: на нее смотрел Вальтер.

■

Они сидели в уютном уголке бара, чуть в стороне от стойки. Звуки джаза, игравшего в соседнем маленьком зале, доносились сюда приглушенно, словно пропущенные через фильтр. В проеме двери, как на сцене, мелькали танцующие пары.

— Ты изменила прическу... Ради Бредли? Ты никогда еще так не причесывалась.

— Тебе не нравится? — забеспокоилась она.

— Нет, почему же... но ты стала совсем другой. Когда ты подошла к нам, мне даже на мгновение показалось, будто это незнакомая женщина. Вот уж никогда не думал, что прическа может так изменить человека.

— Ты бы рассердился, если бы я это сделала ради него? — спросила Лиза, и Вальтеру послышалась в ее вопросе кокетливая нотка.

Он снова удивился. Что случилось с Лизой? Их отношения давно уже отличались той приятной, свободной от всякого кокетства, товарищеской непринужденностью, которой так дорожат мужчины и на которую женщины соглашаются лишь после того, как обретут полную уверенность в прочности своего брачного союза.

— Нисколько,— ответил он добродушно, решив не продолжать разговор в нежелательном ему тоне.— Я рад, что он тебе понравился. Впрочем, это взаимно. Он тоже, безусловно, относится к нам по-особому... Почему ты так странно поглядела на меня?

— Потому что ты странно выражаешься.

Она не отводила взгляда от двери, за которой была видна часть за

ла. Неподалеку от оркестра, за несколькими сдвинутыми вместе столиками, сидела довольно необычная компания — пестрая смесь костюмов, типов и языков. Преобладала английская речь, но долетали французские и даже немецкие фразы. Лиза обратила внимание на этих людей еще днем, за обедом, но тогда среди них не было...

— Я имел в виду, что принадлежность к партии Штрайта... Лиза, ты ведь совсем не слушаешь! И, черт возьми, опять загляделась на эту бабу!

— Вальтер! Ты становишься несносным.

— Меня это раздражает, понимаешь?

— Ты смешон.

— Она тебе кажется знакомой?

— Может быть.

— И ты никак не вспомнишь, где ее видела? Понятно, в таких случаях мучаешься, пока не вспомнишь.

Лиза не отвечала.

— Но ты напрасно в нее всматриваешься и напрягаешь память. Ты знаешь, что делают в таких случаях? Нужно перенестись мысленно в то место, которое связано с данным предметом или человеком.

Лиза резко, всем корпусом повернулась к нему:

— Бред! Дикий бред!

— Что с тобой?

— Прости...— Она уже взяла себя в руки.

— Я тебя расстроил? Чем?

— Прости меня, Вальтер. Не обращай внимания. Мне нездоровится.

— Нездоровится? Ты можешь объяснить, что это значит?

— Это значит, что я плохо себя чувствую. Меня тошнит, просто-напросто тошнит, вот и все.

Такая резкость ошарашила Вальтера. Он смотрел на нее внимательно, почти враждебно и только спустя несколько мгновений заговорил своим обычным, ласковым тоном.

— Мне очень жаль. Это похоже на морскую болезнь. Тебе надо принимать таблетки.

— Я так и делаю.

— И не отказывайся от коньяка. Мистер Бредли собирался угостить нас чем-то необыкновенным.

— Ты сказал, что он относится к нам по-особому? — помолчав, уже совсем спокойно спросила Лиза.

Вальтер повеселел. Он любил вещи законченные, мысли продуманные, идеи, сформулированные с математической точностью. Когда спор внезапно обрывался, он испытывал смутное беспокойство. Незавершенная мысль словно повисала в воздухе, превращалась в нечто подозрительно туманное, угрожающее хаосом, спасти от которого могла только творческая, систематизированная деятельность человеческого ума. Он был благодарен Лизе за то, что она вернулась к прерванному разговору.

— Видишь ли, в сорок пятом он попал с армией прямо в Дахау. Это, несомненно, его травмировало. Он до сих пор хранит дамскую сумочку, сделанную знаешь из чего? Из человеческой кожи.

— Это неправда,— сказала она очень тихо, но слова ее прозвучали, как крик.— Это уж наверняка ложь!

— Увы, нет. Кожа покрыта татуировкой. И, в частности, там вытатуирован номер. Это не элемент орнамента. Ты, быть может, не знаешь, но в некоторых лагерях заключенным вытравливали номера.

Она посмотрела на него молча, затем взяла стакан воды и медленно, не отрываясь, выпила.

— И все же — что, несомненно, делает честь нашему мистеру Бредли из Филадельфии — он не всех немцев считает извергами. Это уже

кое-что значит. Черт возьми! После всех этих мерзостей не слишком-то приятно быть немцем. И поэтому, между прочим, прав не «старик», а Штрайт.

— В чем? — спросила она тихо.

— В том, что необходимо убедить мир: «Немец — еще не значит убийца». Нет, Штрайт это формулирует иначе. Остроумнее. «Это не обязательно значит убийца».— Вальтер засмеялся и повторил: — Не обязательно.

С Лизой опять творилось что-то неладное. Лицо ее побледнело, губы дрожали, веки нервно дергались. Несколько секунд она боролась с собой.

— Вальтер... Нельзя ли ваши споры с Бредли вести не в моем присутствии?

— Но, Лизхен...

— Не могу я их слушать. Просто не в состоянии. Ты говорил, что путешествие будет отдыхом, удовольствием...

— Ты права,— помолчав, ответил он виновато.— Ясно...

К радости обоих, появился Бредли, еще издали показывая бутылку — должно быть, редкостную добычу. Это был моложавый мужчина мальчишеского склада, ставшего теперь модным благодаря американским фильмам. У этого «мальчишки» были совсем седые виски, глубокие складки в углах рта и детская улыбка.

— Специально для вас,— сказал он на ломаном немецком языке.— Вы только взгляните... Я раздобыл ее не без труда.

Он наполнил рюмки.

— Вы разрешите мне выпить за наше путешествие и более близкое знакомство?

Лиза улыбнулась:

— Нам будет очень приятно.

— И за доктора Штрайта, который нас познакомил. Теперь я вижу, что он хороший стратег.

— С доктором Штрайтом,— сказал Вальтер,— мы почти друзья.

— Наверно, все же не такие, как мы с ним,— засмеялся Бредли.— У нас с ним дружба особая. Он для меня останется навсегда первым, «моим первым» с той стороны, точно так же, как я для него — первым с этой стороны. Но ваша жена не знает, в чем дело. Так вот, я познакомился с доктором Штрайтом, когда, взломав ворота Дахау...

— Простите,— улыбаясь, прервал его Вальтер,— моя жена не входит в число тех людей, с которыми «можно говорить обо всем».

Бредли смутился.

— У нее... слишком слабые нервы,— добавил Вальтер.

— О, очень жаль, что вы меня не предупредили. Я бы никогда не позволил себе... По сути дела, фрау Кречмер совершенно права. Здесь не место, да и не время для таких воспоминаний. Кроме того, мне следовало бы догадаться, что вас вообще не могут интересовать эти мрачные истории. Войну вы, наверно, плохо помните, ведь вы тогда были еще ребенком...

Воцарилось неловкое молчание. Лиза бросила что-то вроде «ничего, ничего», смущенно добавила еще несколько слов, замолчала и выжидающе посмотрела на Вальтера. Тот, однако, не торопился откликнуться на ее немую мольбу и спокойно, не чувствуя, казалось бы, неловкости положения, закуривал сигарету, которую протянул ему Бредли. В это время в соседнем зале снова заиграл оркестр. Это было чрезвычайно кстати. Через открытую дверь видны были танцующие пары. Можно было проявить к ним интерес, пусть даже притворный, и таким образом преодолеть молчание. И все трое, ухватившись за эту возможность, быстро, как-то даже слишком быстро повернулись в сторону зала.

— Странная компания,— заметил Вальтер, указывая на группу, сидевшую неподалеку от оркестра, вокруг сдвинутых столиков, как на совещании.

— Это международная организация участников второй мировой войны,— пояснил Бредли.

— Любопытный состав... Даже пастор есть.

— Причем немецкий пастор, если хотите знать,— улыбнулся Бредли.— Они едут в Америку на одну из антивоенных конференций.

Он кому-то поклонился.

— Вы знакомы с кем-нибудь из них? — спросила Лиза.

— Нет, просто вон та дама едет в каюте номер сорок пять, мы с ней соседи. Встречаемся в коридоре.

— Ведь это...— начал было Вальтер, но, взглянув на жену, осекся.— У нее странные глаза. Она смотрит как будто... сквозь тебя.

Рука у Лизы дрогнула. Немного вина пролилось на скатерть.

В эту минуту незнакомка наклонилась к своему соседу. Тот кивнул и, подойдя к дирижеру, что-то шепнул ему. Многозначительная, чуть лукавая улыбка, с какою дирижер слушал говорившего, обещала нечто пикантное. Разговоры в зале умолкли, и в тишину ворвалась веселая песенка:

Нет, не нужны мне миллионы,
Без денег можно жизнь прожить,
Хотел бы быть всегда влюбленным,
И петь и пить, и петь и пить,
И петь и пить!

— Остряки,— улыбнулся Вальтер.— Нашли «боевик». Это, наверно, из какой-нибудь старинной оперетты. Ты не помнишь, Лизхен?

Она отрицательно покачала головой, отвернулась и оперлась локтями на край стола. Пустая рюмка дрожала у нее в руке. Она поставила рюмку. Незнакомка поднялась, подошла к дверям бара и, остановившись, обвела взглядом зал. Глаза ее встретились с глазами Вальтера.

— Вы понравились этой даме...— улыбнулся Бредли.

— У этой дамы удивительные глаза,— ответил Вальтер.— Я не совсем уверен, что она меня видит, хотя и глядит на меня.

Лиза поднялась.

— Извините, пожалуйста. Я сейчас вернусь...

Солист был в ударе. Он явно гордился своим умением пародировать старомодную манеру исполнения.

Нет, не нужны мне миллионы,
Без них могу быть счастлив я,
В тебя, как в музыку, влюбленный,
Любовь моя, любовь моя, любовь моя!

Незнакомка по-прежнему стояла неподвижно и смотрела. Она не вздрогнула, даже когда раздались аплодисменты. И только потом медленно вернулась в зал, к своей компании.

Лиза все не возвращалась.

— Не случилось ли чего с вашей супругой? — забеспокоился Бредли.

Вальтер извинился. Надо посмотреть, что с ней. Она и раньше чувствовала себя неважно.

Лиза полулежала в кресле. Глаза у нее были закрыты, и, когда Вальтер вошел, она не шевельнулась.

— Неужели тебе так плохо, родная?— спросил он, подойдя к ней.

— Да, мне плохо.

— Я сейчас пойду за врачом.

— Не надо!

— Я тебя не понимаю. Если ты больна...

— Я уже приняла таблетки. Здесь все равно ничего другого нет...

Он присел возле Лизы и взял ее за руку.

— Лизхен, милая, что с тобой? Скажи мне.

— Наверно... морская болезнь.

Несколько секунд он молча смотрел на нее, потом спросил:

— Ты уверена?

— Не знаю... Очень укачивает.

— Ну ладно,— сказал он.— Ладно. Не хочешь врача — не надо. Чем я могу тебе помочь? Что мне делать?

Она ответила, не открывая глаз:

— Я не хочу тебе мешать. Вернись к Бредли.— Но тут же, как будто внезапно испугавшись, добавила:— Только, Вальтер, не оставайся там долго.

■

— ...Я не совсем с вами согласен, мистер Бредли, не совсем. Особенно с тем тезисом, который можно было бы, правда несколько упрощенно, сформулировать вслед за вами как «попустительство преступлению». Вы сказали, что именно в этом «попустительстве преступлению» состоит, на ваш взгляд, самая большая вина немецкого народа, равная по своим психологическим последствиям тому... «подвигу», чудовищность которого вряд ли мог предвидеть Фихте, создавая свою теорию. Так вот, я не совсем согласен с вашими выводами, хотя почти полностью принимаю предпосылки, на которых эти выводы основаны.

Я верю, что вы встречали в Германии людей, которые, быстро забыв, кто втянул человечество во вторую мировую войну, стоившую десятков миллионов жизней, говорят о несправедливости, постигшей Германию, и, хуже того, искренне верят, что это несправедливость. И я согласен — это идеальная почва для взращивания новых бредовых идей, к восприятию которых, как вы выразились, так склонна отравленная мистицизмом немецкая душа.

Я верю вашему рассказу о человеке, который прожил пятьдесят лет около Дахау и сказал вам, что не знает, что там творилось. Большинство немцев отвечает в подобных случаях: «Не знаю». Они не знали тогда, когда дымились печи крематориев, когда они принимали в качестве «помощи» разные вещи, оставшиеся от казненных,— почему же они должны знать теперь, когда «исторический подход» дает им возможность смотреть на события издалека, сохранять высокомерное равнодушие?

Поэтому я не могу возражать, когда вы говорите о своеобразном симбиозе в душе каждого немца, где прекрасно уживаются «попустительство преступлению» и очистительные тенденции. Обратите внимание, что я, вслед за вами, не учитываю в своих рассуждениях немцев Восточной зоны, ведь, и по вашим словам, «уже одно то говорит в их пользу», что они не удивляются, когда слышат слово «Освенцим».

Итак, вообще говоря, я в основном согласен и с вашими наблюдениями, и с выводами, хотя человеку со стороны, человеку, не жившему в Германии с тридцать третьего по сорок пятый год, делать выводы почти невозможно. Вы дружите с доктором Штрайтом и, должно быть, не раз слышали от него фразу: «Человеку, который не был в концлагере, не понять лагерной жизни, морали узников и их психологии». Я пользуюсь этой фразой, чтобы обосновать свой тезис о том, что невозможно делать выводы со стороны. Вся Германия, мистер Бредли, была сплошным концлагерем.

Бредли чуть заметно улыбнулся. Это была, собственно, даже не улыбка. Просто немного углубились морщины, которые на этом мальчи

шеском лице казались скорее шрамами. Он вежливо подождал, не продолжит ли Вальтер, и затем сказал:

— Простите, мистер Кречмер, но вы меня не совсем поняли.

Вальтер кивнул, как бы приглашая его продолжать.

— Говоря о «попустительстве преступлению», я не имел в виду позицию немецкого народа во времена Гитлера. Я понимаю, что́ тогда значило неприятие, не говоря уже о сопротивлении. В этом смысле ваше прошлое если не оправдано, то, во всяком случае, объяснимо. Меня интересуют сегодняшние немцы, вернее, их отношение к своему конкретному прошлому. Мне это важно не для того, чтобы получить какое-то моральное удовлетворение, а по чисто практическим соображениям. Вы ведь знаете, мистер Кречмер, я журналист, а по образованию историк, и иной раз... меня тянет делать прогнозы.

— Основываясь на отношении сегодняшних немцев к тому, что вы называете «подвигом»?

— В частности, и на этом.

— Понимаю,— сказал Вальтер,— и постараюсь вам ответить. Надеюсь, вы меня простите, если я попутно скажу несколько слов о себе. Я имею на это право, поскольку принадлежу к той категории немцев, которых вы — разделив весь народ на узников концлагерей и прочих — всех скопом заклеймили. По-вашему, только первые не виновны, совершенно не виновны, как перед прошлым, так и перед настоящим, а быть может, и перед будущим. Все прочие виновны. Все прочие если активно и не участвовали в преступлении, то пользовались его плодами. Такова ваша точка зрения, если я вас правильно понял. Мне бы только хотелось уточнить, чем именно мы пользовались? Имуществом казненных?

— Вы прекрасно знаете,— ответил Бредли,— что я имел в виду не это. Конечно, известная часть немцев пользовалась и имуществом. Но многие пользовались победами Германии, упивались ее торжеством, как хлебом насущным, питались надеждой на мировое господство...

— О! — воскликнул Вальтер.— О!.. Оправданы те, кто использовал для своих экспериментов людей вместо подопытных животных, а вы осуждаете других за... надежду?

— Первых оправдали из-за вторых и благодаря этим вторым.— Голос Бредли прозвучал неожиданно жестко.— Именно потому, что маленький человечек, мечтавший попасть на Урал и приобщить к цивилизации тамошних «дикарей», простил сам себя — именно поэтому были прощены те, кто сначала вселил в него эту мечту, а потом заставил осуществлять ее. Скажите, много ли было немцев, ожидавших с надеждой не победы, а поражения? Томас Манн? И кто еще?

— Вы задали сложный и, не обижайтесь, я бы даже сказал, демагогический вопрос. И вместе с тем, клеймя немцев за их жажду величия, вы показали, что ждали от них этого величия. Величия особенно трудного, почти трагического. Разве естественно, разве соответствует извечным этическим нормам требование, чтобы человек мечтал о поражении своего народа, если этот человек не ренегат или не... гений? Видите, какой тут диапазон? Я знаю, знаю, вы внутренне возмутились и хотите возразить мне, сказать: ренегат ли такой человек или гений — зависит от цели, к которой стремится его народ. Ренегатами были представители побежденных народов, сотрудничавшие с немцами, а гением разума, человечности германского духа — да-да, того германского духа, который признан людьми, называвшими нас народом мыслителей и поэтов,— был несомненно Томас Манн. Но ответьте мне: сколько человек могло понимать преступность целей Германской империи? Чтобы это понимать, понимать полностью, с самого начала, нужно было быть Томасом Манном. Я сознательно не называю другие великие умы той эпохи — на их восприятие

событий могли повлиять иные факторы, ведь они принадлежали к народу, по отношению к которому гитлеризм раньше всего обнаружил свой подлинный облик. И, несмотря на все это, я скажу вам, мистер Бредли, что людей, желавших поражения Германии, было больше. И опять, чтобы не облегчать себе задачу, я не буду ссылаться на узников концлагерей, хотя их, как вам известно, были сотни тысяч. Я расскажу вам о тех, кого вы причисляете к преступникам, пособникам режима только на том основании, что они не были его жертвами. Если вы подумаете, то согласитесь, что тут какая-то справедливость наизнанку, и позволите мне к вашим двум категориям прибавить еще одну. Итак, узники концлагерей, их охрана и... все прочие. Я защищаю этих прочих, ибо они играют главную роль. Это та часть народа, которая не принадлежала ни к активным антифашистам, ни к преторианской гвардии режима. Это была половина всей нации, но из-за своей пассивности она осталась незамеченной как вами, так и теми, кто осудил весь немецкий народ в целом. Я имею право говорить от имени этих прочих, как один из них. И, хотя вам это может показаться смешным, я принадлежал к тем, кто хотел поражения Германии. Нет-нет, не переоценивайте значения моей позиции, иначе вам придется, чего доброго, поставить мое имя рядом с именем Томаса Манна, а это меня очень смутило бы. А чтобы вам легче было понять, как я к этому пришел, скажу: я знал с самого начала, что победа невозможна. Итак, мне не надо было преодолевать никаких сомнений, моя жажда поражения была непоколебимой и свободно, без всяких терзаний сосредоточилась на одном: на ожидании, когда это произойдет.

Откуда взялась у меня эта уверенность? Мой отец был инвалидом первой мировой войны, и у него сложилась весьма определенная точка зрения на войну и на те лозунги, во имя которых кайзер погнал на бойню миллионы людей. В тридцать третьем году отца буквально растерзали на улице. Он пытался заступиться за своего бывшего однополчанина, на которого напали штурмовики. Вот оправдательная сторона моей анкеты, мистер Бредли. Вторая сторона — это мой дядя, к концу войны — штандартенфюрер СС. Когда мать осталась одна, он в известной мере заботился обо мне. А что значила эта «забота»? Если вы хоть немного знаете, какому давлению пропаганды подвергался в гитлеровском рейхе каждый молодой человек, то можете себе представить, как нелегко было юноше, имевшему сомнительное счастье быть родственником такой персоны.

Я вступил добровольцем в вермахт. Да, мистер Бредли. Ваших коллег по денацификации в сорок пятом году смущал этот вопрос. То есть, собственно, он их не смущал. Все было ясно. Я сам, еще до призыва, пошел сражаться «для родины». Вы знаете, я различал два понятия: «за родину» и «для родины». Сражаться «за родину» — значит защищать ее, а «для родины» — завоевывать ей земли, славу. Конечно, это мое личное деление, не имеющее ничего общего с точными философскими категориями, так сказать, рабочая формулировка. Итак, я пошел добровольцем сражаться «для родины», то есть для того, чтобы помочь Гитлеру завоевать мировое господство.

А теперь я вам скажу то, чего не сказал вашим товарищам по денацификации. Я пошел добровольцем в вермахт, чтобы не пойти в СС. Слишком сильным был нажим со стороны дяди и матери, которую он просто шантажировал. Я тогда понял две вещи: что не смогу быть героем, то есть никогда не сумею открыто противостоять нажиму, но что вместе с тем мне не хочется, ужасно не хочется быть подлецом. И в этом я отнюдь не был оригинален. Позвольте вам сказать, мистер Бредли, что никто не жаждет быть подлецом, разве только тот, кто им родился.

Когда я задумываюсь над источниками моей неприязни к СС, то не нахожу в них нужных вам мотивировок. Я не знал еще тогда, что про-

исходит за проволокой концлагерей, оттуда не просачивалось никаких вестей, а немногие выпущенные на свободу узники молчали. Газовые же камеры в Освенциме, о которых узнал мир, были более поздним «достижением». Моя неприязнь к СС была, без сомнения, скорее интуитивной, чем сознательной, и только своей интуиции я обязан тем, что не стал членом преступной организации, как многие мои товарищи, даже по университету. Ведь это было время, когда события разворачивались стремительно; один необдуманный шаг — и ты уже вступал на путь, который обеспечивал звание «военного преступника». Не поймите меня превратно, я не оправдываю тех, кто получил это звание, но подумайте сами: кто мог обладать таким даром предвидения, таким воображением, чтобы угадать, что люди, которые сегодня ходят с шестиугольной звездой на рукаве, будут завтра умирать в газовых камерах? Только благодаря моему спасительному инстинкту мне не пришлось загонять обреченных в камеры... или стать героем, к чему я тоже отнюдь не стремился.

Итак, я очутился на Восточном фронте в качестве добровольного участника борьбы с большевиками. Нет, я не думал сдаваться в плен. Не мог же я хотеть, чтоб они сделали со мной то, что мы делали с ними. Мы, мистер Бредли,— это не значит вермахт, хотя и военные власти не всегда были чистенькими, мы — это значит немцы. Видите, этим «мы» я как бы признаю ваш принцип коллективной ответственности.

— Я надеюсь, вы не станете утверждать, — перебил его Бредли,— что это наше изобретение.

— Нет,— быстро согласился Вальтер.— Я хотел сказать не это. Но есть другой вопрос, связанный с тем, что вы определили как «никто ничего не знает». Я думаю, мы потом поговорим и об этом, а пока хочу немного рассказать о Восточном фронте. Так вот, одно время я был на участке, где рядом с нашим полком стояла эсэсовская часть. Вы ведь разбираетесь в наших делах и знаете, что кроме этих соединений была еще эсэсовская полиция, дивизия «Мертвая голова» и другие эсэсовские дивизии...

Мистер Бредли кивнул и протянул Вальтеру сигару. Тот поблагодарил и стал аккуратно обрезать ее. Какое-то время они сидели молча и курили. И внезапно перед глазами Вальтера, следившего за таявшим в воздухе ароматным дымком сигары, встала давно забытая картина: заснеженные окопы, солдаты в шинелях, их застывающее на морозном воздухе дыхание.

Он пожалел, что не пришла Лиза. Приди она, не было бы этого томительного разговора. Вальтер предполагал, что она заснула после обеда, и решил не будить ее. Он считал, что сон лучше всяких снадобий поможет организму справиться с морской болезнью. Впрочем, судя по всему, болезнь уже проходила. Лиза чувствовала себя сегодня значительно лучше, была спокойна и весела. Завтракала она, правда, в каюте, но два предобеденных часа провела на палубе и к обеду спустилась в ресторан. Они пригласили к себе за столик мистера Бредли. Оказалось, что он не раз бывал в Бразилии и прекрасно знает не только тамошнюю журналистскую среду, но и тот круг людей, в котором предстояло вращаться Кречмерам. Он давал им меткие иронические характеристики, сдабривая свой рассказ остроумными анекдотами. «Странно,— думал Вальтер,— как он преобразился». Помня впечатление, какое произвело на Лизу упоминание о Дахау, Бредли сегодня не позволял себе ни малейшего намека на эти темы. А ведь Вальтер знал, что Бредли стремится говорить об этом, более того — ищет собеседников именно среди немцев. Его увлечение этой темой смахивало на психоз, и перспектива проводить в пути время за подобными разговорами отнюдь не улыбалась Вальтеру. Он в душе проклинал Штрайта. Какого черта Штрайт сказал этому типу, что с ним, Вальтером, можно говорить откровенно? Пусть

такие разговоры ведут те, кто во всем виноват. Пусть узнают, что́ мир думает о них. Но ничего не поделаешь. Вальтер вздохнул. Остается только надеяться, что присутствие Лизы будет охлаждать пыл мистера Бредли. Может быть, стоит даже еще раз напомнить о ее болезненной впечатлительности? Намекнуть, что, мол, кто-нибудь из ее близких погиб в концлагере? Вальтер устроился поудобнее на свернутом канате. Они сидели вдали от всех, одни на верхней палубе. Как видно, придется продолжать...

— И тогда,— вновь заговорил он,— я впервые увидел то, что лишь инстинктивно предчувствовал, убегая на фронт от «счастливой возможности» стать эсэсовцем. Я даже не догадывался, а именно предчувствовал. Я увидел эсэсовцев в действии при «ликвидации» двух украинских деревень. И тогда я сказал себе, что должен сделать все, чтобы выбраться оттуда. Если не удастся выбраться совсем, то, по крайней мере, как можно дальше бежать от этой мерзости, от этой «братской» воинской части. Ведь у нас было общее командование, и за то, что делали эсэсовцы, отвечала вся дивизия. Кроме того, мне могли приказать участвовать в уничтожении мирного населения. Как видите, мне и в голову не приходило проявить открытое неповиновение. Я отнюдь не хотел стать героем. И я начал искать пули, мистер Бредли. Вы ведь тоже солдат, вы знаете, когда ищешь пули, то она тебя, как правило, обходит. Но моя пуля оказалась милостивой. Я получил рваную рану в бедро, правда, рану не слишком опасную, через два-три месяца меня могли бы послать снова на фронт. И я знал, что пошлют, из Германии некуда было бежать, разве только в СС, на службу в лагерях. Но у меня уже был свой план. В его осуществлении мне очень помогли польские партизаны. Наш санитарный поезд, к которому прицепили несколько вагонов с боеприпасами, где-то под Краковом полетел под откос. Во время этой операции я сумел незаметно «помочь» своей ране, и никто не мог обвинить меня в том, что я умышленно не поправляюсь так быстро, как это нужно родине. Конечно, я мог лишиться жизни или, по меньшей мере, ноги, но ведь чем-то нужно было рисковать. Восемь месяцев я пролежал в госпитале. Дядя был в восторге от моей доблести — меня даже наградили крестом — и опять предложил свое покровительство, подыскав мне теплое и безопасное местечко в одном из небольших лагерей.

Мать умоляла меня принять эту «должность» (вы говорили о надежде на победу, а ведь обычно это была просто надежда на то, что кончится война, что уцелеют те, кто еще не успел погибнуть), и мне от ее просьб пришлось опять бежать на фронт. Я все же воспользовался помощью дяди, тогда еще оберштурмбанфюрера СС, и благодаря ему попал на Западный фронт. И тут мы сдались в плен всей ротой. Это было не так легко, уверяю вас. Наш командир погиб, погиб от немецкой пули. Все наши ребята, кроме этого командира, так же как и я, не мечтали о победе Германии, они вовсе не хотели побеждать. Они прежде всего не хотели погибнуть. И подумайте, мистер Бредли, какой парадокс: именно благодаря тому, что я был родственником законченного негодяя, мне удалось сохранить, так сказать, чистоту, хотя и весьма относительную.

Вальтер замолчал, пораженный внезапно пришедшей ему в голову мыслью. Почему этот американец первым узнал о нем всю правду? Ведь даже Лиза знает только, что он попал в плен. Он столько раз это всем повторял, что почти забыл, как было на самом деле. И тут же с беспощадной трезвостью сказал себе: вопреки всему, что я здесь наболтал, пытаясь убедить американца, в Германии мне нельзя было в этом сознаться, нельзя было сказать: «Я не хотел сражаться за Гитлера и поэтому дезертировал»,— нельзя было под угрозой проклятия. Вальтер не успел еще примириться с этой мыслью, освоиться с ней или хотя бы

продумать ее до конца, как заговорил Бредли. Он спросил равнодушно, просто из любопытства, без всякой задней мысли:

— Скажите, а что случилось с вашим дядей? Конечно, если вы не считаете мой вопрос бестактным...

— Нет, отчего же,— сказал Вальтер, с облегчением подхватывая нить разговора в этом новом, равнодушном тоне.— Могу вам сказать. В сорок шестом его приговорили к пятнадцати годам. Десять он отсидел, а остальные...

— Простили и назначили пенсию,— докончил Бредли.— Он живет в каком-нибудь городишке, окруженный ореолом мученика, пострадавшего за фатерланд, и все, даже те, кто раньше переходил на другую сторону улицы, чтобы с ним не здороваться, теперь ищут случая сказать ему: «Добрый день, господин... господин... полковник».

— Откуда вы знаете?! — Вальтер не сумел скрыть раздражения. Разговор этот ему изрядно надоел.

— Простите. Я, разумеется, не хотел сказать, что в данном случае дело обстоит именно так или что вы, боже упаси, так к нему обращаетесь. Вы меня неправильно поняли. Я имел в виду скорее некое обобщение, и если вам еще не надоела наша беседа, то я позволю себе вернуться к выражению, которое употребил вначале. Именно это я называю «попустительством преступлению», и именно это сегодняшнее попустительство я больше всего ставлю немцам в вину. Вы, мистер Кречмер, исходя из ваших же собственных рассуждений, должны со мной согласиться. В то время можно было ничего не знать, не хотеть знать или, зная, не хотеть стать мучеником. Но теперь без всякого принуждения говорить такому человеку, как ваш дядя, «здравствуйте» — это ведь то же самое, что говорить «хайль Гитлер». Вы, наверно, заметили, что я в нашем споре сознательно не ссылался на факты из области государственной политики. Всем известно, почему оправдывают этих господ, почему им предоставляют безопасные, удобные убежища, я не так глуп, чтобы не понимать, что ваше правительство — это не немецкий народ. Но то, о чем я говорил, такое отсутствие морального осуждения со стороны общества, которое если и не солидаризируется с тем, что представляли и продолжают представлять собой эти люди, то во всяком случае терпит их присутствие, не отваживается ни на малейшее проявление протеста хотя бы в форме общественного бойкота, а иногда даже наоборот...

— Ваши наблюдения, однако, довольно односторонни,— перебил Вальтер, и его слова прозвучали суше, чем ему хотелось бы.— Это тем более странно, что вы познакомились с людьми из окружения доктора Штрайта. Они не мирятся ни с прошлым Германии, ни с ее настоящим.

— Это группа интеллигентов,— возразил Бредли,— либералов, в числе которых много бывших заключенных.

— Вы хотите сказать, что эта среда не характерна, не отражает подлинного облика нации?

— Вот именно.

— Послушайте, мистер Бредли. Я принадлежу к единомышленникам доктора Штрайта, правда, лишь частично, так как не был активным антифашистом, да и теперь, как вам известно, не стал общественным деятелем. Я просто человек, с которым «можно говорить обо всем», как меня отрекомендовал доктор Штрайт, давая вам, очевидно, понять, что я не похож на тех немцев, с которыми вы не могли говорить ни о чем. Под этим «ни о чем» я подразумеваю невозможность говорить о том, что вас в Германии больше всего интересует. Мне не хочется сейчас продолжать наш спор, вы понимаете, мне нужно, наконец, посмотреть, что делает Лиза, может быть, я ей нужен, ведь она обещала сюда прийти.

Но я надеюсь, что нам еще представится случай разобраться в этом, рассмотреть причины, по которым средний немец не хочет говорить «обо всем» и предпочитает этаким обиженным «не знаю» выражать «попустительство преступлению», как вы это называете. А теперь я хочу только сказать вам, мистер Бредли, что и по своему прошлому, очень серому, как вы могли убедиться, но весьма типичному для среднего немца, и по тому, чем я являюсь сегодня, я принадлежу к той части народа, которую вы, в своем строгом распределении по категориям, не заметили вообще: к спокойному, хозяйственному, трудолюбивому, по-мещански умеренному большинству немецкого народа. Мы оба с женой принадлежим к нему, и я могу со всей ответственностью заявить вам: мы ничему не попустительствуем — ни тому, что было, ни тому, что есть.

Он помолчал и как бы мимоходом добавил:

— А что касается моего дяди... Вполне возможно, что он ежедневно получает свою порцию приветствий и среди них доброжелательное «Добрый день, господин полковник». Я не знаю. Последний раз я его видел в сорок шестом году.

■

Лиза проснулась с тяжелой головой. Снотворное, принятое накануне вечером, продолжало действовать, и поэтому, вместо того чтобы немножко вздремнуть после обеда, она неожиданно долго проспала. Взглянув на часы, Лиза испугалась. Вальтер обидится — ведь она обещала выйти к ним. Она торопливо оделась и пошла. В коридоре было довольно темно, свет почему-то еще не зажгли. В маленьком внутреннем холле Лиза остановилась у зеркала, ей показалось, что щека у нее запачкана губной помадой... Она приблизила лицо к стеклу, чтобы лучше рассмотреть, и... чуть не вскрикнула. Внезапно зажегся свет, и Лиза увидела в зеркале, в правом углу, чьи-то глаза. Нижняя часть лица не была видна, только эти глаза, испытующие, настороженные... Как сквозь туман Лиза заметила, что ее собственное лицо становится пепельно-серым. Как эта женщина попала сюда, в этот холл? Ведь она соседка мистера Бредли, и, стало быть, ее каюта в другом конце парохода? Почему она сидит здесь в углу, в темноте? Не она ли зажгла свет? От этих мыслей у Лизы потемнело в глазах. Она машинально заглянула в сумку, словно ища чего-то, и вернулась в каюту.

Здесь Лиза вновь подошла к зеркалу. С минуту постояла неподвижно, разглядывая свое отражение. Взяла щетку. Откинула волосы со лба. Потом опять зачесала их на лоб. Стерла помаду, взглянула на себя и снова торопливо накрасила губы. Она изучала в зеркале свое лицо, словно чужое.

Вошел Вальтер с ракеткой в руке.

— Ну и замучил же он меня! Я прямо молил бога, чтобы ты пришла на выручку.

Она посмотрела на него отсутствующим взглядом.

— Я как раз собиралась идти...

— Вижу. На час позже, чем мы условились.

— Мне очень жаль, Вальтер.

— Ты спала? У тебя такой вид, будто ты еще не проснулась. Извел меня этот Бредли!

— Ты выиграл?

— Как сказать, это зависит от точки зрения. Но... что у тебя с голосом? Ты охрипла?

— Меня опять схватило. Поэтому...

Он подошел и, взяв ее за подбородок, озабоченно посмотрел ей в лицо.

— Ты меня огорчаешь, право же, огорчаешь. Нам нужно было лететь самолетом.

— Да. И я так думаю.

Она опустилась в кресло, опасаясь, что он заметит ее тревогу, и потянулась за сигаретой.

— Не много ли ты куришь, Лизхен? — взгляд его упал на пепельницу, полную окурков.— Ведь ты не такая уж курильщица. А теперь это тебе просто вредно.

Лиза промолчала. Она держала незажженную сигарету, не решаясь поднести ее ко рту, боясь, что не донесет.

— Тебе нужно выйти на воздух. Ты ужасно бледна.

— Это невозможно.

— Это необходимо. Слушайся врача. Утром ты была почти здорова. Накинь что-нибудь и выйдем.

— Оставь меня, Вальтер...

— Ты слишком поддаешься болезни. Нельзя весь день сидеть в каюте.

— Я не выхожу потому, что в любую минуту мне может стать дурно.

— Ничего с тобой не случится. Несколько глубоких вдохов — и сразу станет легче. Пошли...

— Вальтер, прошу тебя...

— Не капризничай. Я знаю, что нужно делать в таких слу́чаях. Пребывание на свежем воздухе входит в курс лечения. Идем.

Не дожидаясь ответа, он накинул на нее плащ и взял под руку. Она подчинилась и разрешила подвести себя к двери. Но, едва переступив порог, испуганно отшатнулась, захлопнула дверь и прислонилась к ней всем телом. Вальтер вспылил.

— Что ты вытворяешь? Почему не выходишь?

— Подожди минутку,— прошептала она, дрожа всем телом.

— Но почему? Что все это значит?

— Тише, умоляю!

Он оторопел.

— Почему тише?! — Он увидел ее глаза, широко раскрытые, неподвижные.— Ты боишься?.. Но кого? Чего ты боишься?

— Тише...— молила она, чуть не плача.

Вальтер обнял ее.

— Что с тобой творится?

— Ничего... Я сейчас... одну минуту. Давай сядем.

Она продолжала стоять, прислонившись к двери, словно загораживая выход. Вальтер резким движением отстранил ее и выглянул в коридор. Кто-то шел мимо, и Лиза, не глядя, знала кто. Она слышала, как захлопнулась дверь, как Вальтер подошел к ней. Звуки его шагов мучительно отдавались в ее голове, пока, наконец, она не услышала его голос:

— Лиза, что все это значит?

Она попыталась овладеть собой. Села в кресло и, глубоко вздохнув, ответила:

— Ничего, не обращай на меня внимания.

Но этот ответ не удовлетворил Вальтера:

— Ты знаешь, кто шел по коридору?

— Откуда мне знать? — ответила она быстро, слишком быстро.

— И все-таки ты знаешь. Ты не хотела выйти из каюты, чтобы не встретиться с ней.

— С кем... не встретиться? Это твоя фантазия.

— Хотелось бы, чтобы это была фантазия. Но, увы, это, кажется, не так. Ты что-то скрываешь от меня...

— Ошибаешься. Я ничего не скрываю.

— Хорошо, если бы это было так. Я согласен ошибиться. Рад был бы ошибиться! Ты знаешь, я не люблю вмешиваться в чужие тайны. Я не любопытен и, как правило, предпочитаю знать скорее меньше, чем больше. Но, кажется, на этот раз мне следует знать больше.

Она встала с кресла и направилась в ванную. Вальтер остановил ее.

— Пусти. Мне дурно.

— Неправда! Тебе не дурно. Я за тобой наблюдаю со вчерашнего дня. Это не морская болезнь.

— Зачем ты меня мучаешь?

Он помолчал, глядя ей в глаза.

— Я хочу тебя уберечь,— сказал он твердо.

Она отшатнулась.

— От чего?

— Не знаю. Ты ничего не хочешь мне говорить, и... я бы не стал спрашивать, если б не твой страх. Ты ее боишься. Здесь что-то такое... что...

— Ничего здесь нет! — крикнула она.— Это мне просто мерещится!

— Лиза, ты знаешь эту женщину...

— Нет! Я ее не знаю! Мне это все кажется! Не может быть, чтобы это была она...

Вальтер поднялся и, словно удивленный тем, что его подозрения подтвердились, медленно произнес:

— Значит... она тебе кого-то напоминает?.. Кого же?

— Не спрашивай! Ты не должен спрашивать!

— Я не могу иначе. Это слишком серьезно, Лизхен... Если ты сама мне не скажешь...

Она побледнела.

— Ты... ты не сделаешь этого...

— И все же... Я не могу допустить, чтобы тебя шантажировали.

— Что ты хочешь сделать?

— Заявлю капитану или поговорю с ней.

Лиза без сил опустилась в кресло.

— Умоляю тебя...

— Лиза! Я должен знать. Если в твоей жизни есть что-то, о чем я не знаю...

Она дрожала, как в лихорадке.

— Я ничего от тебя не скрыла. Ты знал все.

— Знал? Что? Что ты имеешь в виду?

— Мою работу во время войны.

— Твою работу? Что-то не помню. Ах да, на вещевом складе, что ли?

— Да. Это было связано с моей службой.

— Знаю. В женских отрядах. Ты что-то говорила... Ну... и что же? Не понимаю, какое это имеет отношение к твоей истерике?

— Эта женщина... Мне кажется, что я ее знаю... оттуда.

— Откуда? Со склада? Что же тут страшного?

— А то...— Она с трудом выговаривала слова,— что это был лагерный склад.

Вальтер все еще не понимал. И в то же время он был удивлен.

— Ну и что же? Работа, как всякая другая.

Тогда она сказала:

— Это была не просто работа. Это была служба. Я... меня направили в отдел лагерей.

Вальтер судорожно глотнул слюну.

— Каких лагерей?

Лиза молчала, и он добавил:

— Были трудовые лагеря, лагеря...

И тут он увидел ее глаза. Они были такие же, как тогда, во время инцидента с собакой. Лиза прошептала:

— Это не то.

Вальтер встал, прошелся несколько раз по каюте и остановился у иллюминатора. Он долго стоял, повернувшись к ней спиной.

— Концлагеря?..— наконец произнес он. Голос его звучал хрипло.— Ты была в концлагерях? — Он резко повернулся к ней:— Значит, эти «женские отряды»... просто-напросто СС?!— Лицо его побагровело, казалось, он задыхался:— Эта женщина — заключенная?! Говори!

Но Лиза уже пришла в себя.

— Нет, не может быть! Мне просто померещилось!

— А вдруг? А если да? — настаивал он.

— Марта? — неуверенно произнесла она.

— Марта,— машинально повторил Вальтер.— Значит?..

Оба замолчали. Он смотрел в ее лицо, такое знакомое. Но сейчас в этом лице появилось нечто ужасающе чужое, что изменило черты больше, во сто крат больше, чем вчерашняя новая прическа.

— Если бы это была Марта...— Она запнулась, но тут же с неожиданным спокойствием докончила:— Уж ее-то мне нечего бояться.

— Как прикажешь это понимать?

Лиза приободрилась.

— Бог мой! Я ей сделала столько хорошего. Не раз спасала жизнь. Я была для нее,— с горечью улыбнулась Лиза,— ангелом-хранителем. Этаким... лагерным ангелом-хранителем...

В ожидании ответа она отважилась поднять глаза. Но Вальтер, казалось, ничего не слышал. Он лихорадочно передвигал бутылки в баре. Наконец нашел нужную, наполнил рюмку, залпом осушил ее и сел в кресло, закрыв лицо руками.

— Я была добра к ней, Вальтер.— Голос ее задрожал.

— Ты была добра к ней...— повторил он, как показалось Лизе, с насмешкой. Она не выдержала:

— Ты не знаешь, ты понятия не имеешь, как трудно было оставаться доброй в том аду!

Вальтер презрительно поморщился.

— Нельзя ли,— процедил он,— без литературщины?

— Би-би-си организовало тогда серию передач, которые начинались словами: «Говорит ад Европы — Освенцим»,— как бы в оправдание себе сказала она.

Вальтер даже привскочил:

— Боже мой! Освенцим?

Лиза видела, как на лбу у него выступили крупные капли пота, и не могла выговорить ни слова.

— Освенцим? Именно Освенцим?.. Господи! — И затем равнодушно, как чиновник, проверяющий анкету, он спросил: — Как ты попала в СС?

Лиза ответила не сразу. Она долго смотрела на него молча, а потом сказала:

— Я верила в Гитлера.

Вальтер сорвался с кресла.

— Ты верила? Ты? Первый раз слышу! Когда мы познакомились...

— Тогда с этим было кончено. Для меня больше, чем для кого-либо другого.

— Потому что он проиграл?

— Потому что я познакомилась с тобой.

Он снова сел.

— Говори! Рассказывай все, о чем ты умолчала тогда. Говори!

Она выпила воды, потом взяла сигарету и долго искала спички, пы-

таясь медлительностью движений скрыть растерянность, а быть может, оттянуть свою исповедь. И наконец заговорила:

— Я вступила в СС в сорок третьем году. Я не знала... нет, вернее, знала, почему это делаю. Я не знала только, во что это выльется... Я пошла туда, чтобы стоять на страже безопасности страны... Мне сказали... что я буду следить за ее врагами. Обергруппенфюрер Поль говорил: «Освенцим — болото, позор немецких концлагерей. Только лучшие из эсэсовцев могут оздоровить это болото». Я считала своим долгом пойти туда, где труднее всего. Слова об «оздоровлении» я приняла всерьез. В марте сорок третьего года я уже была в «аду Европы».

То, что я увидела... Обергруппенфюрер Поль... Нет, его слова о болоте не были метафорой. Там было именно болото. В буквальном смысле этого слова. И оно... воняло. За полкилометра от лагеря слышно было зловоние. Две уборные на тридцать тысяч человек... Весь лагерь превратился в сплошное отхожее место. Вонючая, жидкая грязь. Она была всюду. В бараках без полов. На лагерной улице. На поверочных плацах. В грязи валялись трупы. Подтеки черного кала на ногах — свидетельство болезни. Дистрофия. Это... это было омерзительно. Невообразимо. У меня сжималось горло. Выворачивалось нутро. Меня предупреждали, что нельзя поддаваться жалости. Излишние предупреждения. Для жалости не оставалось места... Все... все другие чувства вытеснило отвращение. Когда я первый раз шла по лагерной улице в Бжезинке *, единственное, о чем я думала... Но это было невозможно. Оттуда не было выхода.

Старшая надзирательница встретила меня приветливо. Сказала, что ей писали обо мне много хорошего, что она рассчитывает на мою честность и энергию и доверяет мне вещевой склад.

Вещевой склад... Лишь несколько дней спустя я поняла, какой трудный участок мне достался. Эти два барака — неподалеку от железнодорожного тупика и крематория — стояли за пределами лагеря. Они были выделены. Но они... быть может, даже больше, чем самый лагерь, говорили о том, что такое Освенцим. Там, внутри лагеря, еще была жизнь. Отвратительная, как... жизнь свалки нечистот, но все же... А здесь... только мертвые вещи мертвецов.

Старшая надзирательница лично повела меня туда. Мы отправились пешком, чтобы я могла побольше увидеть. Дорога разделяла два лагеря. Мужской и женский. Она шла параллельно железной дороге. Там стояли люди. Никто не пытался их построить.Они стояли как попало; некоторые даже сидели на земле, хотя был март. Казалось, они ждут чего-то. Тогда я еще не знала чего. Я думала, прибыл новый эшелон. Старик с белой бородой пел. Нет, это не было пение. Он выкрикивал не то молитву, не то песню и при этом вскидывал руки кверху... Это было ужасно. Я спросила «старшую»: «Нельзя ли заставить его замолчать?»

Она ответила: «Пусть поет. Они тогда спокойнее пойдут туда...» — и кивнула в сторону красного здания, похожего на завод.

К этому зданию подъезжали одна за другой машины с красным крестом.

«Увозят больных?» — спросила я.

«Нет. Привозят лекарство. Универсальное лекарство от всех болезней.— Мне показалось, что «старшая» улыбнулась, но она тут же серьезным тоном продолжала: — Надзирательница Франц, раз вы не знаете, то мой долг сказать вам. Эти машины привозят газ «Циклон Б».— А так как я все еще не понимала, она холодно добавила: — Остальное вы узнаете от своих коллег...» — и привела меня в барак, где мне предстояло

---

* Часть лагеря Освенцима. (Нем. Birkenau).

работать. Я увидела груды вещей, их разбирали женщины-заключенные.

«Вы начнете с того, что разгоните эту шайку,— сказала «старшая».— Они все совершенно разложились. Надо заново создать команду».

На следующий день — это было воскресенье — я отправилась к баракам команд, работающих вне лагеря. Шел проливной дождь. Все заключенные убирали плац. Женщины накладывали грязь лопатами на носилки и несли за ворота. Бессмысленное занятие. Жидкая грязь стекала с носилок прежде, чем женщины успевали пройти полдороги. Я сказала об этом наблюдавшему за ними дежурному эсэсовцу. Он посмотрел на меня, как на полоумную. Потом загоготал: «Вы, видно, новенькая...»

Я приказала всем построиться. И когда они уже стояли в два ряда, подумала с облегчением: какое счастье, что мне поручили работу не с живыми, а с умершими. Каким смрадом несло от заключенных... Я помню этот запах до сих пор. Сегодня, в коридоре, когда она прошла мимо... я его снова почувствовала... Женщины, из числа которых я должна была отобрать себе работниц, были похожи на тени. Но они были все-таки живые люди, и они понимали: для них это последний шанс — работа под крышей. Они впивались глазами в мое лицо, когда я шла вдоль шеренги, взглядом умоляли обратить на них внимание. Но я их не видела. То есть не различала их лиц. Они были все одинаковы, возможно, потому, что у всех было одно и то же голодное выражение. А *ее* я заметила. Ее одну. Почему — не знаю. Она ничем не выделялась. Была так же худа, как все, из-под платка у нее, как у всех, торчали коротко остриженные волосы. Лицо ее, как у всех, покрывал пушок, который свидетельствует о крайнем истощении. Но она не ловила моего взгляда. Смотрела прямо перед собой, может быть, даже на меня. Но так же, как я *не видела* их, она *не видела* меня. Впоследствии другие надзирательницы говорили про нее: «В глазах у нее как бы есть дно. И на этом дне совсем не то, что видим мы». Но тогда я еще этого не знала. Я заметила этот взгляд и заколебалась. Я не сразу велела ей перейти в шеренгу отобранных, а сперва заговорила с ней. Не знаю, почему я сочла нужным спросить, хочет ли она работать на вещевом складе. И тогда... тогда она на меня взглянула. Она как будто... извлекла этот взгляд откуда-то издалека, посмотрела мне в лицо и сказала спокойно, не проявляя особой радости: «Jawohl, Frau Aufseherin» *.— «Вы знаете немецкий?» Эта мысль пришла мне в голову мгновенно. Она снова ответила: «Jawohl, Frau Aufseherin». А когда я ей сообщила, что она будет у меня писарем, то услышала эту же фразу в третий раз.

И вот она сидела вместе со мной в конторе, чистая, вымытая, одетая в обычное платье, и, если бы не красная полоса, намалеванная на спине, она была бы похожа на девушку из хорошей немецкой семьи. Однажды я предложила ей половину своего завтрака. Боже мой! До чего же осторожно я это сделала... Словно боялась обидеть ее. А ведь она была голодна, чудовищно истощена, и каждый кусок хлеба... И все же она поблагодарила меня так, что я сразу поняла: она благодарит не столько за хлеб, сколько за то, в какой форме я его предложила... Потом я стала угощать ее все чаще, хотя... хотя она по-прежнему не выражала особой благодарности. Я делилась с ней даже обедом, который нам привозили из эсэсовской кухни. Обеды были хорошие, и любая другая на ее месте целовала бы мне за это руки. Но не она... И все же она мне нравилась. Как ни странно, мне нравились в ней именно те черты, которые потом разъединили нас и разрушили мой план. План ее спасения.

---

* Так точно, фрау надзирательница *(нем.)*.

Она была дисциплинированна, но без тени раболепия. Мне нравилось, как она отвечает на мои вопросы. Льстило, что она встает, когда я с ней разговариваю. Мне хотелось верить, что она это делает из уважения ко мне, а не потому, что так полагалось. Я обращалась к ней на «вы». Впрочем, я обращалась так ко всем заключенным. Пожалуй, я единственная из всех эсэсовцев придерживалась этого правила. Мне было непонятно, как можно поступать иначе. Ведь «ты» говорят только близким. Большинство эсэсовцев не вдавалось, однако, в такие тонкости. Может быть, потому, что фамильярное «ты» они, как правило, сопровождали грубой бранью. Только я да еще старшая надзирательница не давали воли языку. И они, эти «номера», ценили это. Были мне благодарны. Уважали меня. Она тоже. Так мне, во всяком случае, казалось вначале. Если я иной раз говорила ей «ты», то чтобы подчеркнуть свое особое расположение к ней. И она именно так воспринимала это. Краснела. А у меня от радости становилось теплее на душе. Да, наша близость, скорее внутренняя, не выраженная словами, значила для меня очень много. Особенно вначале, когда я была вся во власти ужаса и отчаяния. Она помогла мне справиться со всем этим, держать себя в руках. Думая о своей дальнейшей работе, я всегда видела ее рядом с собой. Я вспоминала слова коменданта лагеря: «Лучшие из эсэсовцев, при помощи лучших заключенных, могли бы вернуть лагерю соответствующий облик». Но, постоянно повторяя эти слова, я не сознавала, что мое расположение к Марте переходит дозволенные границы. Я не замечала, что оно противоречит моему служебному долгу, присяге. Посуди сам, Вальтер. Одним из самых грубых нарушений режима, влекущим за собой наиболее строгое наказание, считалось общение с мужчинами. А я, пользуясь тем, что комендант лагеря разрешил «одалживать» мужчин-заключенных для организации работы на отдельных участках женского лагеря, привела к ней однажды... Да, привела однажды ее жениха... возлюбленного или... в общем, не знаю, кем он ей приходился. Когда они увидели друг друга... Нет, я не могу тебе передать. Его напряженное лицо, ее бледность. И глухое молчание... И рядом с ними — я, приведшая его налаживать отчетность....

Ее остановил приступ сухого, мучительного кашля.

— Выпей воды,— холодно сказал Вальтер.

Лиза не слышала. Взгляд ее был неподвижен.

— Я заколебалась... Тогда мне впервые пришло в голову, что я нарушаю правила. Я подумала, не отправить ли его сразу же назад. Но я не сделала этого, оставила их вместе. Они сидели рядышком, за столом: словно у себя дома читали вместе книгу. Они беседовали. Конечно же, не об отчетности. Я следила за ними и все видела. Как он смотрел на нее... Как несколько раз быстро пожал ее руку. Как она старалась сдержать слезы. Как он погладил украдкой ее обезображенную стрижкой голову. Вела ли я себя так, как...

— Выпей воды,— повторил Вальтер, не поднимая головы.— Графин у тебя под рукой.

Лиза выпила, но голос ее звучал хрипло.

— Он был старше ее, лет на десять старше. Настоящий мужчина, один из первых номеров. Ветеран, лагерный дока, один из самых крепких... И он... не мог справиться с собой, преодолеть волнение. А я смотрела на это и ничего не предпринимала. Подумай только, чем я рисковала! Если бы зашел кто-нибудь из начальства и увидел, как ведут себя эти двое? Когда ему пришла пора возвращаться в мужской лагерь, я сказала: «Вы можете попрощаться со своей невестой». И даже отвернулась. А он поцеловал ей руку. Я видела его бритую голову — он снял шапку и низко поклонился, словно прощался с кем-то из нас. Если б это увидел кто-нибудь из эсэсовцев... Я бы не удивилась, если бы... Скажи,

Вальтер, можешь ли ты после всего, что ты знаешь об Освенциме, представить себе такую сцену?

Он не отвечал. Не смотрел на нее. Не поднимал головы. Лиза видела только нижнюю часть его лица. Глаза, лоб он закрыл ладонью. Могло показаться, что он спит и совсем не слушает. Но она продолжала, словно теперь ей было уже безразлично, слушают ее или нет, словно ей необходимо было просто высказаться.

— Я была добра к ней. Более того, я была ее лагерным провидением. Когда она заболела... Больных нельзя было оставлять в общем бараке. А в лагерную больницу, переполненную и лишенную элементарного оборудования, приходили только умирать. Однажды утром я не застала ее на складе. Капо* доложила мне, что Марту несколько дней сильно лихорадило, а сегодня она легла в больницу. Я поняла, что́ это значит. Пока заключенный боролся за свою жизнь, он в больницу не ложился. Она сдалась. Я поехала к старшей надзирательнице.

«Мне нужна эта девушка,— сказала я.— Я хочу сделать из нее «проминента». И твердо рассчитываю на успех. Я затратила на нее немало сил. А теперь она легла в больницу».

«Старшая» отнеслась к моим словам вполне доброжелательно.

«Это хорошая идея,— сказала она.— Если у нее не тиф, можешь перевести ее в общий барак, Анни...»

Вальтер поднял голову.

— Она называла тебя Анни? — спросил он с таким изумлением, словно во всем ее рассказе самым удивительным было то, что для одних, в том числе и для него, она была Лизой, а для других, к которым он, Вальтер, не имел отношения,— Анни.

Лиза сразу поняла, что он имеет в виду. Она, казалось, была поражена этим, уж очень обыденным для такого момента вопросом.

— Да... Это же первая часть моего имени. «Старшая» меня называла Анни, и так уж повелось...

— Там,— дополнил Вальтер, и слово «там» вернуло его к действительности.— Что значит «проминент»? — Ему казалось, что это спрашивает кто-то другой, чужим, скрипучим голосом.

— Это значит привилегированный заключенный. Ему давали хорошую работу, он пользовался свободой передвижения по лагерю, не подвергался коллективным наказаниям, не носил номера.

— Понимаю. За это он, вероятно, обязан был оказывать какие-то особые услуги? Тем, кто предоставлял ему привилегии?

Она не ответила.

— Я думаю,— повторил он настойчиво,— что эти привилегии не давались даром? Только за красивые глаза?

Она по-прежнему молчала.

— Что был обязан делать такой заключенный, Анни?

— Прошу тебя, не называй меня так! — крикнула она.

— Ответь на мой вопрос!

— Хорошо работать и сохранять лояльность по отношению к лагерным властям.

— Д-да...— протянул он.— Д-да... Это звучит совсем невинно. Если... если соответствует действительности... Итак, ты хотела превратить ее в «проминента».

— Я хотела ее спасти. Мне нужен был предлог, чтобы вытащить ее оттуда. Из этой мертвецкой.

Вальтер молчал, и она заговорила снова.

— Я пошла в больницу, не думая о том, что могу сама заразиться тифом. Это было впервые... В первый раз я вошла тогда на территорию

---

* В гитлеровских концлагерях — помощник надзирателя из числа заключенных.

больницы.— Лицо ее исказилось.— Горы трупов у каждого барака. Голые женские тела. Торчащие ключицы и лобковые кости. У каждого барака — гора. До самой крыши. Я шла, глядя под ноги. Лишь бы не видеть ничего. Шла посередине дороги... Но к бараку, где лежала Марта... мне пришлось подойти вплотную. И тогда... Я услышала. Услышала это. Как писк цыплят. Радостный, прожорливый... Мне пришлось,— она дотронулась до горла и громко глотнула воздух,— пришлось посмотреть. Крысы...— Голос у нее был хриплый.— Слушай, Вальтер, слушай... Огромные, как кролики... с блестящей шерстью. Они... они их пожирали! Их там были полчища. Они рыскали между телами... И издавали эти звуки. Это... радостное визжание, это...

Он сидел неподвижно, затем поднял голову. Увидел лицо Лизы, искаженное гримасой, ее безумные глаза. «Она это видит. Она до сих пор видит все это»,— подумал он; ему стало жаль ее, и вместе с тем он был чуть ли не благодарен за то, что она все еще видела это, что у нее была совесть, живая совесть. И тогда, и сейчас. «Мы не подаем руки бывшим эсэсовцам»,— Вальтер вспомнил свой разговор с Бредли и в ужасе схватился за голову. От Лизы не ускользнул этот жест. И она снова заговорила, лихорадочно, как бы желая опередить его мысли.

— От старосты барака я узнала, что у Марты всего лишь воспаление легких. Я вошла внутрь. Опять трупы, но еще живые. Они сидели, прильнув к печке, которая тянулась вдоль всего барака. Заметив меня, начали прятаться. От них исходил смрад. Меня душила тошнота. Староста показала мне Марту. Она не видела, как я вошла. Лежала спиной ко мне. Я подошла к ее койке неожиданно. Она дернулась, словно пытаясь вскочить. В глазах у нее было отчаяние. Я не стала с ней разговаривать. Она, видимо, была в бреду. Я не была уверена, поняла ли она мои слова о том, что завтра ее переведут в общий барак и будут лечить.

Назавтра она была уже в бараке. Врач навещал ее каждый день. Я добыла в больнице для эсэсовцев бесценные тогда сульфамиды и витамины. И можно сказать, спасла ей жизнь вторично.

Лиза прервала свой рассказ и долго молчала, словно ей больше нечего было сказать. Но Вальтер не поднимал головы. Он ждал. И она продолжала:

— Вскоре мое расположение к ней подверглось новому испытанию. На этот раз опасному для меня. Я могла сильно пострадать или... даже совсем погибнуть. Марту арестовали и посадили в бункер. Так называли лагерный карцер. Это равнялось почти смертному приговору. Оттуда мало кто выходил. Особенно когда арест производился по указанию политического отдела. А с Мартой было именно так. Я... я не находила себе места. Она обвинялась не в нарушении лагерных порядков. В такие дела гестапо не вмешивалось. Значит... она либо впуталась в какую-нибудь политическую авантюру — в лагере действовали подпольные организации,— либо прибыла сюда уже с приговором. Первому я не верила. Я слишком внимательно наблюдала за ней, чтобы это было возможно. А приговор... Чем она могла его заслужить? Она попала в Освенцим восемнадцати лет. Какое преступление могла совершить восемнадцатилетняя девушка? Какой вред причинить германскому государству? Уже одно то, что я задавала себе эти вопросы, было опасно, означало душевный кризис. Я это знала. Я ясно сознавала это и... боялась. Но не могла об этом не думать. Мои сведения о концентрационных лагерях, теория о необходимости существования исправительных учреждений для врагов национал-социализма, с которой я, приехав сюда, была полностью согласна, вступила в конфликт с тем, что я здесь увидела. Должно быть, только я одна думала о перевоспитании, а что касается всех остальных... Значит, или Освенцим был, как меня предупреждали перед отъездом, уродливым порождением, которое необходимо оздоровить,

изменить по образцу старых, хороших лагерей, или... или он был следующим звеном в цепи развития этой теории, и тогда... Думать об этом было опасно. И нелогично. Ведь если ты признаешь, что истребление миллионов жизней ради того, чтобы очистить место грядущим поколениям,— историческая необходимость, то как ты можешь восставать против убийства отдельного человека?

Я не могла с этим справиться. Я чувствовала, как с каждым днем увязаю все больше и больше. По ночам мне снилась Марта. Она тянула меня к себе, в свою камеру, и захлопывала дверь. Я просыпалась с криком, в холодном поту. Это был кризис. Я сознавала это. И знала, что многие переживают то же самое. Ведь это неправда, Вальтер, что все, абсолютно все эсэсовцы находили в убийстве радость, наслаждение, порою даже... сладострастие. Многие... впрочем, что говорить... слишком укоренилось традиционное представление. Если б у меня было больше уверенности в себе, если бы я так не боялась самой себя, я пошла бы со своими сомнениями к коменданту лагеря Гёссу... Но я слишком боялась. Недостаточно доверяла себе.

Только когда срок моей стажировки в Освенциме подходил к концу, я к нему обратилась. Но не для беседы. Я хотела получить пропуск в барак номер одиннадцать, в тот самый... бункер. Я хотела повидать Марту. У меня вдруг возникло ощущение, что мне необходимо увидеться с ней перед отъездом. Именно там. Что я должна ей что-то сказать. А в сущности, я ждала, что она мне скажет. Скажет нечто такое, что позволит мне уехать с чувством... такое, что позволит мне как-то завершить наши с ней отношения, оправдает мою слабость, недостойную эсэсовского мундира. Но меня сопровождал Грабнер, начальник политического отдела. Он показал мне все. И бункер, и стоячие камеры... Показал мне даже, с хохотом, голых мужчин. Я попятилась. Но заметила, что руки у них связаны сзади... колючей проволокой. Добравшись, наконец, до камеры Марты, я не могла произнести ни звука. Я не знаю даже, видела ли она меня. Она смотрела на нас, но смотрела так же, как тогда, когда я ее отбирала в свою команду. Она даже не шелохнулась, когда Грабнер сказал: «Вот еще один враг немецкой нации. Она разделит участь всех врагов». В этот миг прозвучали выстрелы. Несколько выстрелов, один за другим. Я не хотела знать, но знала. Казнь. У черной стены. Знакомой мне до сих пор только понаслышке. Грабнер захлопнул дверь, и мы с Мартой не обменялись ни единым словом. И все же... Я сделала одну вещь, которая... если б Грабнер заметил, погубила бы меня. Я уже раньше обратила внимание на охранника с красным треугольником и буквой «П». Поляк. Я воспользовалась моментом, когда моего провожатого позвали к телефону, и, протянув охраннику свой завтрак, сказала: «Передайте это в камеру номер пятнадцать». Он взглянул на меня. Но как! В этом взгляде было все. Насмешка, презрение. Только не то, чего такой жест заслуживал. Их благодарность мы не могли завоевать... ничем... Когда я выходила, асфальт двора поливали из шланга.

Она снова замолчала, казалось, у нее перехватило дыхание. Вальтер подождал минуту-другую и спросил:

— А она? Что с ней?..

Лиза хотела ответить, но разрыдалась. Слез у нее не было. Глаза оставались сухими, только плечи вздрагивали.

— Я не могу... я не в состоянии говорить об этом.

Вальтер поднялся с кресла. Ему больше ничего не нужно было знать. Все было ясно. Он снова подошел к иллюминатору.

— Раз так...— сказал он все тем же скрипучим голосом,— то... то это действительно не может быть она. Увы, нет.

Лиза быстро, испытующе взглянула на него. И снова зарыдала.

Он повернулся.

— Ты, должно быть, любила ее. Больше, чем предполагала.— И вдруг закричал:— Проклятая война! Идиотская, проклятая война!

Зазвонил телефон. Вальтер не сразу снял трубку. Наконец он поднял ее, но тут же, не слушая, повесил.

— Ты долго была там? На этой... стажировке?

— Нет,— торопливо ответила Лиза,— всего полгода. Вскоре после этого...

Внезапно раздались три коротких гудка. Лиза вздрогнула.

— Что это?

— Что? Ах, гудки... Вероятно, мимо проходит какое-нибудь судно.— Он подошел к иллюминатору и добавил: — Да. Под польским флагом.

— Польский корабль? — прошептала Лиза.— Кто бы мог подумать...

Она сказала это очень тихо, но Вальтер услышал.

— Что такие корабли будут плавать по водам великой Германской империи? — подхватил он.— Что ж! Маленький просчет великого фюрера. Со всяким случается.— И, помолчав, добавил: — И с тобой случилось. И со мной.

— С тобой?

— Да. Я пропустил мимо ушей то, что ты мне рассказала перед свадьбой о своей службе в «женских отрядах». Не спросил, что это были за отряды и что ты там делала. Это был мой просчет. А ты...

Он шагал по каюте — четыре шага туда, четыре обратно — и говорил, скорее с самим собой, чем с Лизой, хоть и обращался к ней. Говорил медленно, делая паузы, как бы с трудом подбирая слова.

— Ты... Ну что же? Мне это хорошо знакомо. Ты была молода. И позволила поймать себя на удочку этой идеологии, этой «программы могущества». Немногие ведь могли предугадать... чем это кончится. Не у каждого была моя проницательность. Да и мое счастье. Я изворачивался, как мог, лишь бы быть подальше от всей этой мерзости. И при этом не потерял голову, что было чертовски трудно. Мне известна механика этого дела. Я знаю, как все происходило. И поэтому не могу — возможно, даже не имею права — быть тебе судьей. Более опытные, чем ты, дали себя обмануть. Психический паралич, массовый психоз. Ты все же осталась человеком... судя по твоим словам... и я верю тебе. Верю, что ты не совершила ничего такого...

— Спасибо,— прошептала она,— что ты понимаешь.

Он продолжал, не обращая на нее внимания.

— Черт возьми! Когда подумаешь об этих женщинах-чудовищах, героинях послевоенных процессов!

У Лизы задрожали веки.

— Как тебе удалось выпутаться из этой... скверной истории?

Она пальцами прикрыла глаза, как будто они у нее болели.

— Мне помогла сестра.

— Сестра? Какая? Ведь у тебя только одна сестра.

— Да.

— Фрау Хассе? Из Бразилии? — Вальтер инстинктивно понизил голос.

— Я ей многим обязана.

— Но...—Вальтер еще не понимал.— Каким образом? Какое она имела к этому отношение?

Лиза с отчаянием взглянула на него.

— У нее... были большие связи в Берлине.

— Понимаю...— Он немного успокоился.— А... чем она занималась?

В каюте стало очень тихо.

— Она... тоже была там.

— Там? В Освенциме?!

— Да. Она была надзирательницей.

— Вот как?..— Вальтер медленно приближался к ней. Лицо его изменилось до неузнаваемости.— А кто там еще был? — прошипел он.— Кто? — И вдруг закричал, теряя самообладание: — Мать? Брат? Отец?!

— Вальтер! — лицо Лизы побелело.

Не отвечая, он выбежал из каюты.

■

Она осталась одна и, прислонившись головой к спинке кресла, смотрела в пространство пустым, невидящим взглядом.

Свершилось. Вальтер знает. Слово «Освенцим» произнесено. Может быть, оно разделило их? О чем он теперь думает? Он не осудил, не обвинил. Но что будет дальше? Если бы можно было сойти с парохода... Если бы можно было не видеть ее больше.

В дверь постучали, вошел стюард.

— Вы желали кофе?

Она кивнула, почти не вникая в смысл его слов. А когда стюард был уже в дверях, окликнула его:

— Послушайте...

— Что вам угодно?

— Я бы хотела кое о чем спросить.

— К вашим услугам, мадам.

— Я хотела бы знать, куда едет пассажирка из сорок пятой каюты и кто она такая?

Стюард заколебался.

— Извините, но это не входит...

— Для меня это очень важно,— прервала она его.

— Понимаю,— сказал он, будто о чем-то догадавшись.— Вообще-то... можно будет. Я в хороших отношениях с горничной и...

— Благодарю вас. И, если можно, поскорее.

— Слушаюсь, мадам. Вы будете довольны.

Когда стюард вышел, она с каким-то недоверием огляделась вокруг. Стемнело очень рано — ведь не было еще и семи. Из дансинга доносились ритмичные звуки джаза. Почему стало так темно? Лиза протянула руку к лампе, мягкий свет наполнил каюту. В зеркале напротив она увидела свое лицо и глаза — неподвижные, как стеклянные шарики. Она погасила лампу. В ту же минуту по пароходу разнесся какой-то странный звук, похожий на звон колокола, и Лиза вздрогнула. Гонг? Она включила полный свет. Но по-прежнему слышался гонг, и она видела отчетливо, как на экране, черную ночь, струи дождя, щупальца прожекторов и ряды перед бараками — насквозь промокшие, неподвижные, не похожие на людей фигуры. Лиза провела рукой по глазам, но изображение не исчезло. Тогда она подошла к бару и из первой попавшейся бутылки наполнила стакан.

Надо во что бы то ни стало выбросить из головы образ этой женщины, освободиться от призраков тех лет. Прошлое не имеет значения, ни для кого не имеет значения, и для нее тоже. Так почему же прошлое должно иметь какое-то значение для Вальтера? Именно для него, который все надежды своей жизни и жизни своей нации связывает с будущим? Она рассказала ему и теперь наконец чиста перед ним. Она рассказала ему все.

■

— Все?

Лиза резко обернулась, но нет, в каюте никого не было, слово прозвучало в ней самой. Что это? Неужели голос так называемой совести?

— Все самое важное,— ответила она этому внутреннему голосу,— все, что произошло между мною и ею, все, что было правдой.

— А *что* было правдой?

Хотя бы то, что Марта была счастлива. Счастлива *там*! Кто еще может похвастаться такой удачей? А она была счастлива. Благодаря мне. У нее была там любовь. И этим она обязана мне. Мне. Мне...

Она повторяла эти доводы страстно, исступленно, ведь в любую минуту мог войти Вальтер, ей надо быть готовой к его вопросам, она должна рассказать ему все это так, чтобы он увидел события прошлого ее глазами и оценил ее разумом.

— Я действительно была добра к ней, я на самом деле хотела спасти ее и привела к ней Тадеуша.

Но что-то непонятное, то ли совесть, то ли еще что-то, заставило Лизу увидеть маленький предмет... Медальон.

...Да, медальон появился раньше — еще до того, как она что-либо о них узнала. В тот день Лиза пришла на склад за несколько минут до начала работы и застала Марту в слезах. Застигнутая врасплох, Марта не успела вытереть слезы и спрятать то, что держала в руке. Лиза молча взяла медальон. Обыкновенная вещичка, какие любят католики: головка Христа в терновом венце, выгравированная на серебряной пластинке, на обороте — надпись: «Освенцим». Это слово ничего не сказало ей тогда, только значительно позднее узнала она, как назывался Аушвиц по-польски. А тогда она спросила:

— Откуда это?

— Сегодня пришел транспорт,— ответила Марта.

— Ну, так что же?

— Наверное, выпал из чьих-то вещей.

— Да? И поэтому вы плакали?

Молчание Марты Лиза расценила, как подтверждение.

— Такие мелочи производят впечатление на вас?

— Кому-то этот медальон мог быть очень дорог.

— Что вы намеревались с ним сделать?

— Оставить себе.

— Зная, что правила запрещают заключенным иметь такие вещи?

— Да. Я подумала, что этот грамм серебра не представляет большой ценности для немецкого государства.

— А для вас?

— Я хотела бы оставить его себе.

— Хорошо. Только скажите мне, зачем он вам нужен?

— Мне было бы легче... если бы он был у меня.

— Вы верите в чудеса?

— Я верю, что в определенных условиях такие талисманы могут творить почти что чудеса.

— Вы католичка?

— Да.

Она сказала: да. Сказала так, чтобы я подумала, будто угадала ее самые сокровенные мысли. Марта обманула меня — ведь совсем не талисман имела она в виду. Я убедилась в этом позднее. Но тогда я не отобрала у нее медальона. Вальтер, я видела в ее глазах благодарность, настоящую благодарность, я просто забыла тебе об этом сказать. Я не заносила своих благодеяний в особую тетрадку и многое уже не помню. А ведь это важно, особенно важно теперь, и я должна сделать все, чтобы вспомнить, вспомнить и подытожить... Стало быть... я привела к ней того парня, ее жениха и...

— Нет!

Теперь Лиза знала. Это был голос Марты, тот самый голос, чистый, может быть, слишком чистый, и этим голосом говорил ее, Лизы, страх.

Да. Она боялась. И в то мгновение, когда Лиза осознала, что боится, она поняла также и причину этого страха. Она увидела их почти наяву: Вальтера и ту женщину. Они сидели в баре, сосредоточенные, будто прислушиваясь к чему-то... К чему-то, что доносилось к ним издалека, приглушенно, так, что им приходилось напрягать все свое внимание, чтобы ничего не упустить. Лиза знала: они слушают ее мысли. Та *пока еще* молчала, *пока еще* не заговорила. Ждала. Ее глаза, «глаза с дном», были как будто устремлены на Вальтера, на самом же деле они смотрели сквозь Вальтера, искали ее, Лизу. Лиза вскочила, чтобы бежать, чтобы прервать эту ужасную встречу, но тут же бессильно упала на диван. Она ничему не могла помешать, ничего не могла предотвратить. Лиза снова почувствовала взгляд той женщины, устремленный мимо Вальтера на нее. «Он все равно узнает правду,— казалось, говорил этот взгляд,— ведь я здесь и могу рассказать ему, так не лучше ли тебе самой все вспомнить...»

И Лиза вспомнила...

Дорога между Бжезинкой и Освенцимом. Весна. Цветущие луга, звонкое пение жаворонков, дымка тумана над Солой, солнце. И она, надзирательница Анна-Лиза Франц,— на служебном велосипеде. Она обгоняет идущие на работу группы заключенных, не замечая их. Идиллический пейзаж. Только изредка слышен крик капо или хриплый лай овчарки. Лиза едет дальше. Эсэсовцы провожают ее взглядами. Она — новенькая. Приехала сюда с репутацией порядочной девушки, эсэсовки, пользующейся доверием начальства. К тому же она молодая, свеженькая, можно даже сказать, красивая. Надзирательнице Анне-Лизе Франц предоставлена большая свобода и большое поле деятельности. Никто не контролирует ее, во всяком случае, относятся к ней очень доброжелательно. Она ценит такое отношение, гордится им и преисполнена решимости оправдать доверие начальства. Ее команда станет образцовой: надзирательница Анна-Лиза Франц честолюбива, она сумеет добиться своего. Заключенный, которого она «одолжит» в конторе мужского лагеря, посвятит Марту в тайны идеального ведения учета. Порядок, столь необходимый женскому лагерю, будет наведен прежде всего на вещевом складе.

Освенцим-1, то есть мужской лагерь, чистый, аккуратный, чуть ли не благоухающий после этой свалки нечистот в Бжезинке.

Контора — и досадная неожиданность:

— Как это его нет? Ведь вы же обещали, начальник...

Тот и сам удивлен не меньше ее, он кричит:

— Что за порядки, черт возьми? Капо!

Капо Вернер, с красным треугольником без буквы. «Немец,— думает Лиза,— политический, враг».

— К сожалению, господин обершарфюрер,— объясняет капо,— я не успел вас предупредить: заключенный, о котором шла речь, сегодня отправлен в больничный барак.

— Что? В больницу? Так вдруг, ни с того, ни с сего? Ведь он знал, что сегодня должен идти в женский лагерь! Вчера был здоров, как бык.

И нагло-спокойный ответ капо:

— Какая-то опасная инфекция глаз.

— Вот видите.— Начальник конторы искренне огорчен.— Хотел вам все устроить, а этот... нашел время...

— Господин начальник,— говорит капо таким тоном, словно это он здесь распоряжается,— может быть, послать кого-нибудь другого?..

— Кого, например?

— Например, Тадеуша. Он знает дело не хуже того.— И, прежде чем обершарфюрер успел что-либо ответить, капо крикнул: — Тадеуш!

Лиза помнит ту минуту, когда он вошел в комнату и остановился перед ней. Сосредоточенное, неподвижное, как маска, лицо, заросшее темной щетиной, короткие уставные ответы: «Так точно, фрау надзирательница», «Нет, фрау надзирательница».

Обратный путь. А потом то мгновение, мгновение, когда они встретились — он и Марта. Лиза потрясена:

— Вы знакомы?

Молчание Марты и его спокойный ответ:

— Так точно, фрау надзирательница.

— Лагерная любовь?! — В голосе Лизы звучит угроза.

— Нет, фрау надзирательница.

— Так что же, родственники?

— Нет. Мы помолвлены. Были помолвлены. В том мире, где существуют помолвки.

Изображение бледнеет, отдаляется, остаются только те двое, там, в баре, они смотрят на Лизу, не отрываясь, выжидающе.

— Да, это правда, когда я везла его в свой лагерь, я не знала, кто он. Но ведь важнее другое: узнав, я не отослала его обратно, разрешила им остаться вдвоем — и только это существенно.

Уже тогда мне стало ясно, что вся история с болезнью того заключенного была придумана, чтобы дать Тадеушу возможность повидаться с Мартой. Я поняла, что нас — начальника конторы и меня — провели, что наш авторитет поставлен под угрозу. И все-таки я не воспользовалась своей властью, дала им этот день, целых двенадцать часов... Подарила им...

Лиза вздыхает с облегчением. Тот голос молчит. Она поднимает голову и, набравшись духу, смотрит в ту сторону, где сидят Вальтер и незнакомка. Нет, она уже не преследует Лизу взглядом. Ее глаза смотрят мимо Лизы — может быть, она вспоминает те двенадцать часов, и Лиза видит в ее глазах то же, что и тогда: благодарность. Лиза лихорадочно ищет блокнот и ставит в нем крестик. Потом еще один.

— Нет,— снова раздается голос.— Ведь это было сделано не бескорыстно.

— Не бескорыстно?

— Конечно! Вспомните, что произошло накануне. Накануне того дня, когда вы привезли...

Голос умолк, но непроизнесенное имя, казалось, заполнило всю каюту.

Лиза вздрогнула.

— Накануне? Не помню. Но, что бы там ни было, разве это уменьшает мою доброту к вам?

— К нам? Ведь вы преследовали свои цели. Вы хотели выиграть. Только это вас интересовало.

— А если и так: выиграть, но проявив великодушие?..

Взгляд той женщины устремлен на Вальтера.

— Если бы здесь была Зюта...

И голос Вальтера:

— Зюта? Кто это? Я хочу знать, Лиза, кто она...

— Зюта...— Лиза пытается вспомнить.— Зюта... Я действительно не знаю.

— Что же, попросить ее, чтобы она напомнила тебе?

— Нет-нет, не нужно! Я сейчас расскажу тебе, Вальтер. Ведь ты должен услышать это от меня. Только от меня. Что ж тут удивительного, если я не сразу вспомнила? Разве можно помнить все имена спустя столько лет? И почему, собственно, тебе так хочется, чтобы я вспомнила о ней?

— Я хочу знать, кто такая Зюта.

— Зюта... Нежная, стройная блондинка с белой, как фарфор, кожей и серыми, немного навыкат глазами. Да, теперь знаю. Нечестно напоминать о ней. Подло. Ты не можешь представить себе, как это мне неприятно. Я презирала и ненавидела Зюту. Она была первой, кто вынудил меня сделать то, к чему я прибегала с величайшей неохотой и только в крайнем случае: написать рапорт. Она перебрасывала со склада через проволоку теплые носки для заключенных, работавших на дороге. Обкрадывала немецкое государство и немецких солдат на фронте! Я не могла этого допустить. Как же быть? Другие надзиратели в таких случаях расправлялись собственноручно: избивали заключенных или назначали какое-либо наказание. Мне это было противно, я не была садисткой. Мои руки чисты, я никогда не ударила заключенного. И не моя вина, что другие это делали и что наказание, по существу справедливое, превращалось в оргию бессмысленной жестокости. Разве я могу отвечать за то, что рапортфюрер * Таубе был наркоманом?

Я написала рапорт, потому что это входило в мои обязанности. Провинившихся заключенных сажали в бункер или отправляли в штрафную команду. И не моя вина, что Таубе этого было недостаточно.

В тот день мы увидели преступницу у главных ворот. Она стояла нагая, с бритой головой и дощечкой на животе с надписью: «Все, что я имела, отдала мужчинам». В это время мужские команды, работавшие в женском лагере, уходили с его территории, но хотя начальники колонн приветствовали выдумку Таубе громким смехом, ни один заключенный, кроме какого-то капо, даже не взглянул в ее сторону. Когда проходила моя команда, я услышала шепот: «Зюта!» Я узнала голос Марты и заметила ее жест. Она приказывала той поднять голову. И та послушалась. В бараке я вызвала Марту к себе и сказала ей откровенно:

— Рапортфюрер Таубе — садист и дегенерат. Своими выдумками он компрометирует воспитательную функцию наказания. И все-таки Зюта заслужила наказание.

Молчание. Тогда я решила действовать напрямик:

— Вы ей сочувствуете?

— Мы с ней в одинаковом положении, фрау надзирательница,— ответила она, подумав.

Я поняла: чувство общности с остальными заключенными отгораживает ее от меня, мешает достижению моей цели. Если мне не удастся побороть в ней это чувство, я проиграю. Ибо то, что происходило между нами, можно назвать только одним словом: борьба. Подожди, Вальтер. Ну конечно же! Этим и объясняется мое отношение к ней. Я вела борьбу с ней и одновременно за нее. Марта принадлежала к нации, которая, согласно планам фюрера, со временем должна была исчезнуть с лица земли. Только немногие смогут остаться, те, кто сумеет раствориться в немецком организме. Я должна была научить ее *захотеть* этого. Быть может, поэтому я не отослала Тадеуша: чтобы добиться ее благодарности и, вопреки тому что произошло с Зютой, привязать ее к себе. Но... Разве это плохо, если я хотела спасти ее?

Правда, все мои действия совпадали с указаниями начальства. Ну и что же? Это было случайное совпадение, нисколько, впрочем, не уменьшающее искренности моего отношения к Марте. Чего нельзя сказать о ней. Эта женщина обманывала меня, обманывала нас, Вальтер, она была более коварна, чем мы. Ее дисциплинированность, исполнительность служили ширмой, под прикрытием которой она вредила нам, вредила, где могла и как могла. Ты видишь, она молчит. Не может ничего возразить. Так вот, послушай, что я расскажу, оцени ее поведение и тогда узнаешь правду.

---

* Дежурный по лагерю.

Однажды меня вызвала «старшая».

— Анни,— сказала она,— на твоем складе крутится слишком много мужчин, ты знаешь, что твоего предшественника выгнали именно за это. Твоя стажировка проходит успешно, постарайся положить конец нарушениям дисциплины. Используй капо, ну и ту, твою любимицу; помни, мы не справимся без помощи самих заключенных.

Это было очень просто сказать: используй ту, свою любимицу... Я сразу вернулась в лагерь. Вечерняя перекличка уже кончилась, и заключенные находились в бараках. Я решила немедленно поговорить с Мартой, но как и чем убедить ее? На складе было холодно, хотя в печке еще тлели угли. Я попыталась раздуть огонь, и тогда из топки выпало несколько предметов странной формы. Кольца. Вернее, то, что от них осталось. Камни, конечно, расплавились. Кто это мог сделать? Доступ в комнату имели только Марта и капо. Но капо всегда отдавала все, что обнаруживала в вещах, Марта — никогда. Хотя в отсутствие капо заключенные должны были сдавать найденные драгоценности Марте, они никогда ничего не находили. Да... Подозревать можно только ее. «Для немецкого государства это не представляет большой ценности»,— сказала она тогда о своей безделушке. А эти вещи представляли большую ценность. Именно поэтому она бросала их в огонь. Много ли ей удалось спалить? Сообщить в политический отдел?.. Начнется следствие... Чего я этим добьюсь? Ее уничтожат. Я зашла в барак. Она жила вместе со старостой, в отдельной комнатке: я перевела ее туда несколько дней назад.

Когда я вошла, Марта читала письмо. Мне показалось, что, увидев меня, она смутилась.

— Садитесь,— разрешила я ей. Это было большой честью — сидеть в присутствии эсэсовца.— Нам надо поговорить.

Марта села. Несколько мгновений я пристально смотрела на нее. Меня так и подмывало показать ей сожженные драгоценности. Но я не сделала этого. А только сказала:

— Команде угрожает отправка на внелагерные работы. Вы догадываетесь, в чем дело? Постоянные шашни с мужчинами.

— В нашей команде? — удивилась она, как будто имела право удивляться.

— Да. Тайная передача вещей и прочее...

— Не было еще случая...— начала она.

— Значит, он может произойти в любой момент.

— Я ничего не могу сделать, фрау надзирательница.

— Вы уклоняетесь от ответственности.

— Это... дело капо...

— Как хотите,— перебила я ее.— Мне все равно, кто здесь будет работать.

Она смотрела на письмо, лежавшее перед ней.

— Из дому?

— Да.

— Что пишут?

Она посмотрела на меня пронизывающим взглядом.

— Радуются, что я здорова и...— Она запнулась, но кончила фразу спокойно: — что у меня хорошая работа.

— Послушайте, Марта,— сказала я, возвращаясь к главной теме разговора.— Я многое понимаю. Я доказала это. Разрешила вам встретиться с женихом. Могу и впредь устраивать такие встречи...

Она просияла и не смогла скрыть этого, а я снова почувствовала, как и тогда, при первой их встрече, какую-то досаду и вместе с тем странное удовлетворение от того, что попала в ее самое слабое место.

— Но вы должны помочь капо прекратить шашни с мужчинами Этот месяц решит дальнейшую судьбу команды.

— Разве?..— Она хотела что-то спросить, но я резко оборвала ее.

— Мне не нужны пустые обещания, я хочу видеть дело.

Что Марта сказала заключенным? Передала им мою угрозу послать команду на тяжелые работы? До сих пор это не помогало. А теперь явно что-то изменилось. Во всяком случае, со следующего дня женщины были глухи и немы, когда мужчины находились поблизости. А если кто-нибудь все же пытался нарушить дисциплину, Марта немедленно наводила порядок. Я видела, как она отобрала у заключенного какую-то тряпку, которую ему подбросили.

Я собрала команду.

— Заключенная, которая это сделала, была бы уже в штрафной команде, если бы не Марта. На этот раз я не напишу рапорта. Здесь действует правило: один за всех, все за одного.

Я могла бы поставить это себе в заслугу, а ведь я...

— А что стало с Зютой?

Этот голос раздался неожиданно. И Лиза вся сжалась, как бегун перед препятствием. Финиш был так близок, она неслась к нему все увереннее, почти без усилий. И вдруг сразу почувствовала слабость во всем теле.

— С Зютой? Ведь я уже сказала.

— Нет. Что с ней случилось в тот день... ты знаешь... В тот вечер, когда ты пришла в барак.

Лиза не знала. Она прислушивалась к тяжелым и редким ударам своего сердца и молчала.

Надо было что-то говорить, Вальтер смотрел на нее выжидающе, но что, что она могла сказать? Откуда ей знать, что случилось с той... с Зютой? Она написала рапорт, провинившуюся перевели к штрафникам, стоило ли еще интересоваться ею? И вдруг Лиза увидела. Красные пятна на полосатых халатах, лагерная улица, туман. Изображение еще не стало отчетливым, но Лиза уже знала. Да, это было в тот вечер, когда она добилась от Марты молчаливого согласия сотрудничать с нею.

Возвращаясь в лагерь, она вначале ничего не видела. Только слышала крики. Группа заключенных отбывала наказание. Лиза проезжала мимо них по лагерштрассе. Это были штрафники. Лиза мельком взглянула в ту сторону и увидела красные пятна на спинах женщин, которые на коленях ползли к сапогам Пёршля, начальника отдела труда. Увидела жадно ловящие воздух рты, судорожно вытаращенные глаза, когда по приказу Пёршля они падали и поднимались, падали и поднимались. И так на всем протяжении лагерштрассе. Этот образ возник у нее перед глазами — неясный, смазанный, далекий. Она хотела задержать его, приблизить, смутно предчувствуя, что найдет в нем ответ на вопрос о Зюте...

— На четвертом часу «спортивных упражнений» Зюту забили насмерть. Она не поднялась по команде «встать», и Пёршль прикончил ее.

Лиза услышала тишину, которая воцарилась после этих слов. Она в упор посмотрела на Вальтера, глаза у него были холодные, ничего не выражавшие. Все ее тело покрылось холодным потом.

— Я этого не хотела, Вальтер! Откуда мне было знать, чем все это кончится? Не моя вина, что Таубе любил добивать «музулманок» * из двадцать пятого барака, а Пёршль — истязать заключенных «дисциплинарными упражнениями». Ведь я не могу отвечать за них! Неужели я обязана отвечать за всех и за все?

— Нет. Не обязана.

Ее глаза наполнились слезами.

---

* Так в лагерях называли совершенно истощенных, физически и психически надломленных заключенных. (Нем. Muselmann.)

— Благодарю тебя, Вальтер. Я ведь только написала рапорт, а меру наказания определяли другие. Я была новенькая и даже не знала, как все это происходит в действительности.

По правилам штрафник должен выполнять более тяжелую работу, и только. Я понятия не имела, что это лишь теория. Та заключенная, Зюта, была первой, на кого я вынуждена была написать рапорт.

— И последней?

— Я хотела, чтобы она была последней. Старалась изо всех сил. Для этого мне и нужна была Марта, ее расположение и помощь. За это я обещала устроить ей встречу с женихом. Видишь, мне приходилось прибегать к самым разнообразным приемам, и я делала это для их блага, в их интересах. Когда Марта помешала заключенной перебросить лохмотья мужчинам, она спасла ее от жестокого наказания. Казалось, она могла гордиться этим. Но нет. Марта вела себя неуверенно, беспокойно. Команда расценивала ее поступок иначе, а она не могла переступить границы стадного мышления. Моя признательность, даже некоторые привилегии, предоставленные мною команде, для нее ничего не значили. Марта ходила хмурая —стоило ей приблизиться к какой-нибудь группе заключенных, как они замолкали. Она чувствовала, что ее избегают. В их глазах она была чуть ли не «моим» человеком. Впрочем, я сама... я сама склонялась к мысли, что выиграла бой за нее. Что она действительно стала «моей». Несомненно, она помогла мне наладить порядок на складе. Это-то и обмануло меня.

Помню разговор со старшей надзирательницей... Дружеская беседа за чашкой кофе. Как завидовали мне другие эсэсовки! «Старшая» была мною очень довольна и уже говорила мне «ты».

— Твоя стажировка подходит к концу, Анни, ты отлично справилась с командой. Умение ладить с заключенными многое решает. Скажу тебе по секрету: сейчас рассматривается вопрос о назначении тебя старшей надзирательницей в Мюльхаузен. Что ты на это скажешь?

— Боюсь, что не справлюсь...

— Нечего бояться. Могу тебя уверить: в любом другом месте легче, чем здесь, в этой проклятой помойной яме. Я служила в разных лагерях, Анни... И знаю: тому, кто смог работать в Освенциме, никакой лагерь не страшен. Скажу откровенно, мне нелегко было решиться покинуть Равенсбрюк. Но обергруппенфюрер Поль сказал: «Лучшие должны быть на самых трудных постах». И вот я здесь. Ты не должна колебаться, Анни. Такая должность — это спокойная жизнь, по крайней мере на несколько лет. Сможешь завести себе ребенка.

Мне стало как-то не по себе. «Старшая», должно быть, заметила это.

— Супруги должны иметь детей, Анни, не говоря уже о том,— она рассмеялась,— что рейхсфюрер считает бездетность чуть ли не проявлением нелояльности к государству. Ведь твой муж приезжает в отпуск с фронта?

Дети. Я не могла их иметь. После одного случая мне пришлось отказаться от всякой надежды.

А транспорты привозили детей в несметных количествах. Некоторые, со светлыми прямыми волосами и голубыми глазами, совершенно не отличались от наших немецких карапузов... Я смотрела на них, когда они кувыркались на траве, играли в мяч или скакали через веревочку. Никто никогда не узнает правды о нас. Это невозможно. Разве ты поймешь, Вальтер, что я переживала, глядя на детей? Этого не знал никто, к счастью, никто, разве только... да... *она*, наверное, знала... Странно, что она знала обо мне больше, чем кто-либо другой, больше даже, чем моя сестра. Как это получилось? Может быть, она следила за мной, так же как я за ней? Но зачем?

Я стала часто думать об этом, особенно с момента нашей неожиданной встречи возле барака. В тот день прибыл транспорт с большим количеством детей. Я была в плохом настроении и то и дело подходила к тому месту, откуда виднелась плоская крыша газовой камеры с несколькими трубами. В эти трубы эсэсовец в маске всыпал содержимое банок с надписью «Циклон Б». Не сразу я обнаружила Марту. Она стояла за другим углом барака и смотрела в ту же сторону. А от железнодорожной ветки, играя мячиками, прыгая через веревочку, приближались дети; их беззаботный смех, время от времени сменявшийся плачем, раздавался все ближе и ближе. Мы заметили друг друга одновременно. Я сказала ей: «Идите в барак, здесь вам нечего делать».

С какой целью она следила за мной? Тогда я думала, что она хотела обнаружить во мне какие-то человеческие качества, которыми могла бы воспользоваться. Я обманывала себя, но мысль, что она, пусть с других позиций, тоже борется за меня, как и я за нее, не была мне неприятна. Ища во мне человеческие качества, так же как я...

— Так же, как ты подавляла в ней все человеческие качества,— досказал за нее внутренний голос, голос Вальтера, и Лиза задрожала.

— ...Нет, позволь мне сказать, Вальтер... Ты преждевременно добавил еще гирю к моему самообвинению. Я постараюсь убедить тебя в том, что твоя оценка по самой своей сути ошибочна. Ты говоришь «человеческое» и подразумеваешь «присущее человеку». Не возражаю против такого понимания. Хочу только напомнить, порядка ради, что в этическом словаре, которому меня учили с ранних лет, это слово было синонимом бессилия и неполноценности. Нас учили переступать тесные границы того, что человечно. Но это я говорю только так, для ясности. Вернемся к твоему определению...

Исходя из него, я относилась к ней по-человечески, а следовательно, не могла подавлять в ней человеческие качества. Я относилась к ней, как к человеку, хотя она была только «номером», и каждый самый ничтожный эсэсовец мог в любую минуту вычеркнуть этот номер. Я была «человечна», и потому, только потому меня обманули тогда «человеческие» намерения Марты, так же как теперь ты обманываешь себя, исходя лишь из нравственной стороны содержания этого слова. Она тогда понимала его так же, как мы, а не так, как ты его понимаешь, Вальтер. Она искала во мне «человеческие» качества для того, чтобы обнаружить мои слабости, а затем использовать их без зазрения совести против меня, именно в тот момент, когда я была убеждена в ее доброжелательности, можно даже сказать, преданности. Разве можно было назвать мою «человечность» иначе, чем слюнтяйство и неполноценность?

Разреши, я приведу факт: история с Майором. Майор — так звали собаку моей сестры. Необыкновенный экземпляр, и Хассе ее просто обожала. В сущности, это было доброе животное, но специально выдрессированное и опасное для заключенных. Как-то вечером Майор набросился на девушку из моей команды, стоявшую около проволочного заграждения. Не думаю, что Хассе специально натравила собаку, вероятно, ей просто захотелось припугнуть всех этих любителей флирта через проволоку, которые собирались там по вечерам.

Но, как я уже сказала, собака была дрессированная и оторвать ее от жертвы оказалось делом нелегким. Заключенную в бессознательном состоянии (она потеряла много крови) отнесли в больницу. Страх охватил команду, в которой и без того уже начались беспорядки. Потому ли, что Марту тяготило одиночество, или она решила, что я слишком долго не выполняю свое обещание и игра не стоит свеч? Мало того... Вскоре после этого случая... Бедная Хассе! Никогда я не видела ее в таком отчаянии. Собака исчезла. А утром, когда я ехала на работу, я увидела, что наш Майор висит на проволоке мужского лагеря. Хассе плакала, как ребенок:

«Бандиты, преступники! Уж я их найду. Все пойдут в газовую камеру». Марта писала что-то с каменным выражением лица. Как же я не догадалась тогда, что гибель собаки связана с приходом двух заключенных, приятелей Тадеуша. Одним из них был капо конторы Вернер, нахальный тип. Как, впрочем, и все немцы-политзаключенные. Они вошли в комнату, отрапортовали, но все время поглядывали на Марту.

— В чем дело? — спросила я.

— Наш начальник просил передать вам это,— ответил капо.

— Что это такое?

— Новые учетные книги и формуляры.

— Хорошо. Давайте. Ваш начальник пришлет кого-нибудь, чтобы мы могли разобраться в них?

— Уже прислал, фрау надзирательница,— отозвался другой заключенный.

Я догадалась, что это был тот самый писарь, вместо которого мне в прошлый раз подсунули Тадеуша.

— А-а-а... Это вы. Как у вас дела с глазами? Я вижу, вы все-таки не ослепли.

— Так точно!— Писарь щелкнул каблуками, а капо усмехнулся.

— Старый жулик,— прикрикнула я на него.— Вы когда-нибудь попадетесь, смею вас уверить...

— Так точно, фрау надзирательница.

— Так точно... так точно... Идет война, порядочные люди гибнут на фронте, а такие, как вы, окопались в концлагерях. Трусы!

Лицо капо налилось кровью.

— Вы ошибаетесь,— сказал он, отчетливо выговаривая каждое слово.— В тридцать шестом году я сражался в Испании. Добровольно, фрау надзирательница. Рейхсфюрер «наградил» меня красным треугольником не за трусость.

Я взяла себя в руки.

— Замолчите! Делайте свое дело и убирайтесь. Марта, ознакомьтесь с документацией.

Писарь стал объяснять:

— В эту графу... вот сюда... записывается номер транспорта, сюда — откуда прибыл, а вот здесь отмечаются вещи...— показывая, он то и дело вставлял польские слова, а Марта отвечала ему тоже по-польски.

— Говорите по-немецки,— потребовала я.

— Он плохо знает немецкий,— поспешил объяснить капо.

— Так какой мне от него толк? Можете идти. Если понадобится, начальник даст мне Тадеуша. Правда, Марта?

Она покраснела.

— Так точно,— капо и писарь вытянулись и ушли.

Только спустя несколько дней я сопоставила их приход с убийством Майора. Случалось и раньше, что в мужском лагере гибли эсэсовские собаки: заключенные их просто пожирали. Но на этот раз собаку бросили на проволоку. Лагерное начальство расценило такой поступок, как предостережение. Провели расследование, но, разумеется, безуспешно. А я была слепа. Даже когда объявили результаты вскрытия, я ни о чем не догадалась.

У Майора была одна постыдная слабость: швейцарский сыр. Этого никак нельзя было ожидать от породистого пса. Чтобы использовать его слабость, надо было о ней знать. Кто из заключенных мог знать об этом?

Хассе заглядывала иногда к нам на склад. На площадке, где лежали тонны продуктов, она выбирала лакомства для своего любимца. Марта знала об этом. Однажды я застала ее в тот момент, когда она кормила собаку. Я резко указала ей на недопустимость такого поведения. Марта принялась оправдываться: «Надзирательница Хассе оставила собаку

в комнате. Когда я вошла, собака зарычала на меня, я испугалась и...» Марта засунула руку в пакет, принесенный Хассе, и Майор, дрессированный пес, принял пищу из чужих рук. Потому что... это был сыр. На вскрытии в желудке собаки как раз и нашли сыр. Вот каким путем его подманили. Те, кто это сделали, получили сведения от Марты. Капо Вернер и его спутник.

Но все это только гораздо позднее начало складываться у меня в логическую цепь причин и следствий. Тогда же, несмотря на смутные подозрения, я была слепа.

■

Резкий настойчивый звонок прервал ее воспоминания. Она открыла глаза, с трудом возвращаясь к действительности, освобождаясь от видений. Иллюминаторы? Зажжен полный свет? Зачем? Что здесь происходило? Где Вальтер? Звонок раздался снова, Лиза наконец поняла, что это телефон. С бешено бьющимся сердцем она сняла трубку:

— Вальтер?

— Фрау Кречмер? Это Бредли. Добрый вечер.

— А... Это вы... мистер Бредли...

— Прошу извинить за смелость... Я подумал, что вы вздремнули...

— Действительно...

— И можете проспать ужин, если никто не решится...

— Ужин?

— Да-да. Поэтому я по старой солдатской привычке решил взять ответственность на себя...

— Ответственность?.. Не понимаю. О какой ответственности вы говорите?

— Об ответственности за то, что решился разбудить вас. К ужину.

— Ах... да... Спасибо...

— Так, значит, вы вскоре спуститесь?

— Да... то есть... Вальтер. Без меня.

— А вы? Значит, недомогание продолжается?

— Какое недомогание?

— Простите, я не совсем точно выразился. Я имел в виду эту... ну, кажется, вас беспокоила морская болезнь.

— Да-да, вот именно.

— Искренне сочувствую. Если вы разрешите, у меня есть одно средство...

— Американское?

Бредли, казалось, немного смешался.

— Да, американское... Но?..

— Извините. Мне просто вспомнились послевоенные годы. Тогда говорили «американское», и это значило «великолепное, не имеющее себе равных».

Бредли засмеялся:

— Но это на самом деле хорошее средство, неважно, что оно американское.

— Благодарю вас, мистер Бредли. Если вас не затруднит, передайте моему мужу...

— С удовольствием. Значит... Значит, ваш муж вскоре спустится к ужину?

Лиза не сумела скрыть удивления. Так Вальтера с ним не было?

Нет-нет. Не было. Он, Бредли, ждал их, само собой разумеется, их обоих, а потом решил позвонить. Ему очень неприятно, что он обеспокоил фрау Кречмер. Мистер Кречмер, несомненно, вскоре появится. Наверное,

он прогуливается перед ужином, хотя туман такой густой и отвратительный, что на палубе как будто никого нет... Даже самые заядлые любители морского воздуха попрятались в каюты.

— Мне помнится,— задумчиво произнесла Лиза,— что он собирался осмотреть пароход.

Бредли обрадовался. Конечно же! Как это он сам не догадался! Ведь он видел мистера Кречмера каких-нибудь... ну два часа назад в обществе капитана и еще одной дамы, несомненно тоже желавшей осмотреть пароход. Фрау Кречмер поймет, о ком идет речь, если он скажет, что это та, его соседка...

— Соседка? Нет, я не знаю, о ком вы говорите. Впрочем, мистер Бредли, разве это так важно, с кем...

— Да нет же, фрау Кречмер.— Бредли, казалось, развеселился.— Вы наверняка знаете. Я имею в виду ту даму со странными глазами, на которую мы все обратили внимание вчера в баре. Ту, из сорок пятой каюты. Я называю ее соседкой, потому...

— Ваша соседка из сорок пятой каюты?— трубка вдруг стала удивительно тяжелой, и Лиза невольно поддержала ее другой рукой.

— Вот именно. Я видел их втроем. Но это было часа два назад.

Она ответила ему что-то. Кажется, высказала предположение, что ее муж и та дама могли остаться с капитаном, и даже посоветовала Бредли не ждать Вальтера. Потом еще несколько мгновений прижимала трубку к уху, и только когда раздались короткие гудки, выпустила ее из рук, а сама сползла с кресла на пол... Перед глазами ее стремительно мелькали ярко-красные лепестки, тяжелые, бархатистые, пахучие.

— Розы. Розы из Райска *...

Конечно, Вальтер уже знает о них или будет знать. Та, из сорок пятой каюты, обязательно ему расскажет. Лицо Лизы горело. История с розами. Это было нечто такое, чего она сама ни за что на свете не рассказала бы Вальтеру, ни за что, даже если бы ценой этого признания могла скрыть какой-нибудь более неприятный, по существу более позорный для нее факт. Розы из Райска. Лиза помнила их, отчетливо видела, почти ощущала их запах.

Они заполнили всю каюту, как некогда ее комнату в административном корпусе. Розы, отобранные у Марты.

Теперь Лиза была сломлена, защищаться дальше бессмысленно. Ее сон, полный призраков прошлого, оказался вещим, а его страшный лейтмотив — Вальтер рядом с Мартой — стал фактом.

Они сидели где-то, быть может, действительно в баре — и разговаривали. Вернее, говорила та, Вальтер слушал, а она, Лиза, уже вышла из игры. Она была бессильна, все происходило без ее участия. Ее лишили даже права, которое предоставляется каждому преступнику,— права присутствовать на собственном процессе. Как это случилось? Почему она не предвидела такого поворота событий? Ведь следовало ожидать их встречи, она была неизбежна, та только подстерегала Вальтера. А ей, Лизе, почему-то казалось, что Марта охотится за ней. Как будто удар может быть направлен лишь непосредственно в нее. И вот случилось. В конце концов ведь Марта знала (она всегда все знала о Лизе), что больнее всего можно ударить Лизу, раскрыв глаза Вальтеру. Впрочем, так же, как она в свое время знала, что победит Марту...

■

Она вторично посетила начальника конторы, на этот раз в Бжезинке, куда перевели Тадеуша. Да, она снова хотела взять его «взаймы» и выполнить обещание, данное Марте.

* В Райске находились сельскохозяйственные плантации освенцимского лагеря, которые обрабатывали заключенные.

Эсэсовец был очень любезен:

— Тадеуша? Хорошо, но только немного позже. Теперь у него срочная работа для коменданта лагеря. Пойдемте со мной, вы увидите кое-что интересное.

Комнатушка в конце барака. На стенах развешаны серебряные тарелки — такие встречаются в старинных замках, на столе — кубки. И освещенная настольной лампой рука заключенного, водящая резцом по кубку. Заключенный встает, вытягивается по уставу, эсэсовец благодушно улыбается.

— Работай, работай, ты, изготовитель древностей! Неплохая коллекция, не правда ли, фрау Франц? — Да, это была мáстерская имитация старинного серебра, и человек непосвященный ни за что не догадался бы, что перед ним подделка.— Но самые интересные вещи — в ящике. Тадеуш, покажи нам свои сокровища.

Только теперь она взглянула на заключенного и узнала его.

— Вы гравер?— спросила она.

— Занимаюсь немного,— он снова встал.

— Продолжайте работу.

Лиза разрешила ему сесть и сама опустилась на стул. Осмотрела предметы, лежавшие в открытом ящике. Там были цветы, выгравированные по серебру, какие-то фантастические узоры, лошадиные головы, портрет коменданта лагеря и еще чьи-то портреты. На самом дне — маленькие пластиночки. Где она могла их видеть? Медальон? Она никогда не носила ничего похожего. Лиза взяла один из них в руки и узнала... знакомые черты. Мадонна в платке, завязанном под подбородком... Эсэсовец вышел, его позвали к телефону. Лиза взяла еще одну пластинку. То же самое. Таких образцов было довольно много. Она рассматривала их, чувствуя на себе взгляд Тадеуша.

Теперь Лиза знала, кто прислал Марте тот медальон, почему она плакала, глядя на него, и чьи черты придал гравер лику Христа на медальоне. Это был знак от него, может быть, первое за долгое время известие о его существовании, а потом... да... потом... те устроили так, чтобы он смог повидаться с ней.

— Почему вы изобразили ее без волос?— спросила Лиза.— Ведь вы знали ее прежде, с волосами.

— Я вырезал ее такой, какая она сейчас.

— Больше ее стричь не будут, разве вы не знаете об этом? У нее уже отросли волосы, вы в этом сами убедитесь.

Лиза ожидала какой-нибудь ответной реакции, но его лицо по-прежнему ничего не выражало.

— Вас это не интересует?

Он смотрел на нее несколько секунд с явным интересом, как на какой-то редкостный экземпляр. Заключенным не разрешали так смотреть на эсэсовца, и, будь на ее месте кто-нибудь другой, хотя бы ее сестра, надзирательница Хассе, Тадеуш получил бы пощечину. Она сказала:

— Те двое, капо и... писарь, говорили вам, что видели Марту?

— Да.

— Объясните мне вот что: другие заключенные под разными предлогами ухитряются проникать в женский лагерь. Вы этого никогда не делаете. Почему?

— Это ясно,— ответил он после паузы.— Я не хочу подвергать ее опасности.

— А другие?

— Они рискуют.

— Значит, вы более осторожны?

— Да.— Теперь он смотрел на нее в упор.— Потому что я больше рискую.

— Больше других? Но почему?

Он тяжело уперся руками о стол.

— Не знаю, смог ли бы я сдержаться, если бы ее ударили... при мне?

Неизвестно почему, Лиза спросила:

— Вы офицер?

— Так точно. Офицер.

— А это?— Лиза указала на серебряные предметы.— Мне казалось, что вы художник.

— Это моя профессия в мирное время.

— Понимаю. Вы считаете, что во время войны все становятся солдатами.

— Да, фрау надзирательница.— Ей послышалась в его голосе насмешка.— Я так считаю.

— И я того же мнения.

Она снова принялась рассматривать «лагерную мадонну», а он, казалось, изучал ее, старался разгадать.

— Ну так как же?— спросила она шутливо.— Придется мне еще раз приехать за вами? Со мной вам ничто не угрожает. И ей тоже.

Он помолчал немного, а потом произнес:

— Вы... разрешите быть с вами откровенным?

— Слушаю вас.

— Так, как будто на мне нет моего «мундира», а на вас вашего?

— Говорите.

— Благодарю вас за возможность повидаться с Мартой. Я не воспользуюсь ею.

Удивление Лизы было слишком велико. Она встала. Тадеуш тоже вскочил. Она постаралась придать своему голосу безразличное выражение:

— Я думала, что вам хотелось этого. Во всяком случае, в той же степени, как и ей.

Теперь в его взгляде была откровенная ненависть. И презрение.

— Мы оба находимся в концлагере. Марта и я.

Лиза пожала плечами.

— Какое это имеет значение? Если я вам гарантирую безопасность.

— Здесь только одно гарантировано, вы ведь знаете.

— Допустим. Но тем более нужно ценить такую возможность... Не понимаю вас...

— Фрау надзирательница... Раз уж вы разговариваете со мной, как с человеком, то и я отвечу вам, как человеку. Любовь неразрывно связана с жизнью. А здесь...

— Понимаю. Вы имеете в виду, что она связывает с жизнью.

Он молчал.

— Еще одно,— продолжала Лиза.— Вы не хотите видеть Марту, боясь за себя или... за нее?

Тадеуш посмотрел на нее с удивлением: она угадала.

— Я сильнее Марты.

Лиза понимала его. И была, как никогда раньше, убеждена в его правоте. Он не хотел поддерживать любовь Марты, давать ей иллюзию надежды.

— Хорошо. Продолжайте работу.

В дверях Лиза обернулась.

— Я обещала Марте, что она вас увидит. Могу ли я сказать ей, что вы сами не захотели прийти?

Он стал навытяжку.

— Так точно, фрау надзирательница.

Лиза в бешенстве вскочила на велосипед. Как легко он разгадал ее, как быстро раскрыл ее замысел. Какой-то заключенный выбежал из-за

угла барака прямо под колесо. Она спрыгнула с велосипеда, чтобы обругать его, и тут увидела виселицы. Их было четыре. Вокруг них суетилось несколько заключенных. Они подставляли лестницы. Пустые петли чуть покачивались на ветру. Лиза удивилась. Она ехала сюда той же дорогой, но не заметила их.

Она отправилась в женский лагерь, хотя был вечер и ее рабочее время давно кончилось: ей необходимо было увидеть Марту сию же минуту, немедленно. Лагерштрассе поражала странной пустотой. Обычно появление эсэсовца в такое время вызывало переполох. В промежутке между перекличкой и сном заключенные чувствовали себя относительно спокойно. Они занимались своими личными делами, неизменно нарушая при этом лагерный режим, или позволяли себе роскошь уноситься мыслями в прошлое. Но теперь Лиза не видела крадущихся от барака к бараку фигур, лагерь словно вымер. Она поняла, в чем дело, когда услышала пение. Таубе был в лагере. Всегдашняя его песня — «Голубые драгуны».

«Далек наш путь на родину обратный, далек, далек»,— разносилось по лагерю стройное, слаженное пение. Ни одна команда не умела петь так, как «отряд» Таубе, с таким чувством мелодии и пониманием духа песни.

— Добрый вечер, фрау Франц.— Приветствуя ее, Таубе поднял деревянную палку, словно маршальский жезл.— Хочу навести порядок,— похвастался он.

Лиза кивнула. Мимо нее вслед за Таубе прошли три пятерки. Тупые лица, пустые глаза, как и у самого Таубе! Все с повязками вспомогательной службы. Старые рецидивистки, с многолетним лагерным стажем. Уголовницы. Преступницы. Они несли заступы, а некоторые, как и их начальник, палки. «Ведь человек живет всего однажды, и путь земной ему не повторить»,— пели они, направляясь к двадцать пятому бараку, бараку «музулманок». Они выволакивали больных на улицу и убивали ударами заступов или бросали под палку Таубе. А потом получали из его рук треть буханки хлеба и сто пятьдесят граммов колбасы — добавку, предназначенную для работающих в особо тяжелых условиях.

«Да, далек наш путь на родину обратный, далек, далек»,— все еще слышала Лиза пение отряда Таубе, когда подходила к бараку Марты.

Капо просияла, увидев ее.

— Марта у проволоки, фрау надзирательница. Она всегда там стоит в это время. И в тот день, когда Майор покалечил заключенную, она тоже была там. Ей повезло, ведь пес мог и ее изуродовать. Кажется, она даже помогала отнести пострадавшую в больницу.

И тогда, только в это мгновение, у Лизы открылись глаза. Марта участвовала в убийстве собаки. Это ясно. За день до этого пришли те двое, из мужского лагеря, и, когда Лиза затеяла нелепый спор с капо Вернером, Марта обменялась с писарем несколькими отрывочными фразами. Конечно же, она описала собаку и научила, чем ее можно приманить.

Не говоря ни слова, Лиза направилась к проволоке, капо за ней. Они остановились за углом последнего барака. Марта стояла почти неподвижно, глядя в сторону мужского лагеря. Какая бессмыслица! На таком расстоянии не только нельзя услышать друг друга, но и различить лица. Впрочем, в тот момент у проволоки мужского лагеря никого не было: там происходил общий сбор. Может быть, даже казнь. Но почему он, Тадеуш, почти официально отказавшись от свидания с Мартой, счел возможным видеться с ней таким образом? И снова Лиза поняла. Между ними была проволока. Ее нельзя не заметить, пренебречь ею, вычеркнуть из их любви. Этого он как раз и добивался. Чтобы она не забывала, где они находятся и что́ из этого следует. Чтобы она не питала иллюзий, которые раз-

дувают любовь и «связывают с жизнью». Надзирательница Анна-Лиза Франц приказала капо привести Марту, но так, чтобы другие заключенные ничего не заметили.

— Ну, Марта,— заговорила она дружески, доверительно, как подруга, принесшая приятное известие.— Я привезла тебе хорошую новость. Завтра здесь будет твой Тадеуш.

Ответа не последовало. Марта молчала, точно так же, как молчал он, только лицо ее выражало попеременно неуверенность и надежду, а глаза тревожно бегали по сторонам.

— Что же ты? Не рада?

— Спасибо, фрау надзирательница,— сказала она совершенно безразлично.— Я очень рада.

— Ага... значит, рада... Великолепно. Это очень любезно с твоей стороны, что ты изволишь радоваться. А теперь марш! — закричала Лиза, давая выход долго сдерживаемой ярости.— Разогнать всю эту компанию!

Марта даже не вздрогнула. Она стояла перед Лизой по стойке смирно, как-то неестественно, даже издевательски выпрямившись. И не искала уже чего-то взглядом беспокойно и беспомощно, а пристально, в упор смотрела на Лизу.

— Живо!— надзирательница Анна-Лиза Франц чувствовала, что бледнеет.— Или... или ты не увидишь его. Ни здесь, ни...

Лиза не закончила фразу. Еще секунду они стояли, глядя друг другу в глаза, потом Марта повернулась и побежала к проволоке. Что-то сказала первой заключенной. Та кинулась прочь. Немедленно, не оглядываясь. Вторая тоже. Надзирательница Франц впервые наблюдала «их» технику. Эти жесты, сигналы, предупреждающие об опасности, были почти неуловимы, она сама никогда бы не заметила их. Но сейчас ее интересовало другое.

— Капо!— крикнула она.— Разогнать эту банду!

Капо только того и дожидалась. Она, как фурия, бросилась на женщин, крича, ругаясь, сбивая с ног, колотя всех, кто подвертывался под руку. Через минуту у проволоки не осталось ни души.

А на следующее утро капо с радостью сообщила надзирательнице:

— Марту бойкотируют. Никто с ней не разговаривает. Из-за вчерашнего...

Лиза выслушала эту новость равнодушно.

— Да? А она?

— Ходит хмурая, с таким видом, словно собирается броситься на проволоку.

Капо была довольна.

— Пришлите ее ко мне.

Лиза ничего не смогла прочесть на лице Марты, кроме всегдашнего показного служебного рвения.

— Учетные книги приготовлены?

— Так точно, фрау надзирательница.

— Кажется, я говорила вчера, что должен прийти заключенный из конторы мужского лагеря?

— Да, фрау надзирательница.

— Он не придет.

— Что я должна делать, фрау надзирательница?

— Записывайте очередные транспорты.

— Слушаюсь, фрау надзирательница.

— Положение изменилось. Вы, вероятно, и сами это поняли?

— Поняла, фрау надзирательница.

Лиза внезапно заговорила мягче.

— Я хочу тебе кое-что сказать, Марта... И, в свою очередь, спросить тебя кое о чем.

— Слушаю, фрау надзирательница.

— Садитесь.— Немного помолчав, Лиза продолжала: — Мне жаль вас. Нет, в этом нет ничего странного, во всяком случае, на мой взгляд. Рано или поздно война кончится, вы вернетесь к нормальной жизни, может быть, даже сумеете найти свое место в будущем немецком государстве. Поэтому я могу, не греша против своей совести, выразить вам свое «человеческое» или, наконец, просто женское сочувствие.

Лиза увидела в глазах заключенной испуг, и действительно нечто вроде сочувствия шевельнулось в ней.

— Успокойтесь, ничего не случилось.— Она снова помолчала.— Я хотела бы, однако, знать, что бы вы сказали, если бы тот заключенный, имея возможность прийти сюда и увидеть вас, отказался от этого.

Марта побледнела.

— Может быть, потому...

— Сейчас я спрашиваю, Марта...

— Я поняла бы, что он не хочет меня видеть.

— И что вы безразличны ему?

— Может быть... Может быть, и безразлична.

— Так что бы вы об этом подумали?

— Мне кажется, в данном случае не о чем особенно раздумывать, фрау Франц,— твердо сказала она.— Я попыталась бы принять это как должное.

— Должное? Отказываться от невесты в такое время, в таком положении, лишать ее хотя бы моральной поддержки, раз уж другая невозможна? Ведь он прекрасно знает, что значит для вас его поддержка, а? Думаю, что только поляки способны на такое.

— Вы не знаете поляков, фрау надзирательница.

— Слава богу. Ни одна даже самая последняя немецкая женщина не потерпела бы такого отношения.

— А я считаю, что он прав.

— Серьезно? Вы в этом уверены? Что бы ни сделал этот ваш «герой»?

— Да. Что бы он ни сделал, все правильно, фрау надзирательница.

Лиза молча смотрела на нее несколько мгновений, потом пожала плечами:

— Сочувствую.

Но хотя она вложила в это слово всю иронию, на какую была способна, оно прозвучало бледно и фальшиво.

— Возвращайтесь на работу.— Лиза снова перешла на официальный тон.— А что касается его прихода... Есть более серьезные причины, нежели «хочу» или «не хочу» заключенного. Нити следствия по делу об убийстве собаки фрау Хассе ведут в контору. Неизвестно, чем все это кончится.

Марта выслушала эти слова с каменным лицом.

— Надеюсь, что вскоре все выяснится.

«Действительно ли Марта не имела ничего общего с этой историей или же разгадала мою игру, поняла, что нужна мне, и потому могла быть спокойна за себя и за Тадеуша? Да, скорее всего второе. У меня накопилось слишком много доказательств того, что она разгадала меня — ведь последнее время и она, и Тадеуш позволяли себе такое, что еще несколько месяцев назад было бы немыслимо. Ну кто из тех лживых и лицемерных писак, обожавших изображать освенцимские ужасы, описал вот такой разговор эсэсовца с заключенным? Или историю с розами?»

Лицо Лизы покрылось испариной. Никто, никто не заставит ее рассказать об этом случае, даже если бы все и так стало известно. В этом поступке, совершенно незначительном по сравнению с другими, было нечто постыдное, и теперь она чувствовала это еще острее, чем прежде.

Лиза гнала от себя воспоминания с упорством и отчаянием, будто именно история с розами могла опозорить ее в глазах Вальтера и других людей. Но она была слишком слаба, чтобы защищаться. Ей казалось, что ее привязали к креслу, каким-то странным способом открыли глаза и заставили смотреть фильм, ужасный фильм, где она играла главную роль. Одним из кадров этого фильма, самым страшным для нее и самым неправдоподобным для постороннего зрителя, были розы из Райска. Она снова видела котел, чувствовала тошнотворный запах лагерной похлебки, непонятным образом смешанный с запахом роз.

В тот день команда работала дольше обычного. Нужно было подготовить место для завтрашнего транспорта. Трупы тех, кого привезли сегодня, сжигали частично в ямах, так как крематорий не мог всех вместить. Дым, смешанный с туманом, стлался над лагерем, и угарный запах паленого мяса усиливался с каждой минутой.

Женщины с пожелтевшими лицами суетились около вещей, некоторых рвало. Работа не клеилась, несмотря на резкие крики капо. Лиза распорядилась, чтобы вечерний кофе принесли из кухни прямо на склад. Ужин и получасовой перерыв. Разлили кофе. Заключенные сидели группами между кучами как попало сваленных вещей и ели. Марты в комнате не было.

Почему меня это беспокоило? И почему, вместо того чтобы позвать ее, я отправилась на поиски? Что нас связывало, и почему я следила за ней, даже вопреки моему желанию? Мне хотелось и на этот раз подойти незаметно, чтобы *увидеть* ее среди заключенных. Да... пожалуй, именно так. Я ревновала ее, ревновала в те минуты, когда она сидела среди своих, целиком принадлежала им и разговаривала на непонятном шелестящем языке о чем-то таком, чего я не знала и не понимала... Да, именно в этом была причина моей ревности. В таких случаях я всегда подзывала ее к себе, они это, наверное, заметили и, может быть, даже посмеивались.

На сей раз я не нашла ее среди них. Они не успели даже предупредить ее, ибо я подошла с другой стороны барака. Марта стояла около груды детских вещей. Здесь валялись тысячи маленьких цветных туфелек, бантиков, миниатюрные платьица из муслина, кружев и игрушки... игрушки... Она стояла там, склонившись над суповым котлом, всматриваясь в него завороженно, как будто молилась.

— Марта,— окликнула ее Лиза, подходя ближе.

Но та даже не шевельнулась. А когда Лиза остановилась совсем рядом, вдруг сказала как ни в чем не бывало, так естественно и просто, словно была на свободе и обращалась к своей доброй знакомой:

— Посмотрите, какие красивые.

Она вынула их из котла и, как во сне, поднесла к лицу.

Сколько их было там, этих роз с бархатистыми ярко-красными лепестками, бессмысленно прекрасных в этой обстановке, на фоне барахла, оставшегося от только что уничтоженных людей! Во всяком случае, больше, чем получал их кто-либо на свободе.

— Сегодня мои именины, фрау надзирательница,— продолжала Марта, не дожидаясь вопроса,— и Тадеуш мне их прислал.

Марта впервые назвала его по имени, и только теперь Лиза заметила, что у нее сильный жар; да, собственно, ее уже несколько дней лихорадило, но сегодня это было особенно заметно. Лицо у нее горело, глаза неестественно блестели.

Да. Лиза и теперь еще испытывает те же чувства, что в ту минуту.

«Наши розы. Из наших оранжерей в Райске. Мы, немецкие женщины, ограблены... Наши розы. Я никогда не получала таких подарков, не могла даже мечтать, а для этих «номеров» все было просто. Для себя они доставали все что угодно. Достаточно одного слова Тадеуша, чтобы

кто-то в Райске тайком переслал ему розы с кухонной командой... Им плевать, что они заключенные...»

И Лиза сказала:

— Дай мне их.— А в ответ на вопросительный взгляд лихорадочно блестевших глаз Марты добавила:— Здесь им не место.

Марта молча отдала розы. Выходя, Лиза протянула ей одну.

— Это тебе от меня, к именинам.

На другой день Марта не вышла на работу. Она отправилась в больницу.

■

В дверь постучали. Появился стюард. Подошел к столику.

— Разрешите...

Она очнулась.

— Что это?

— Ужин, мадам. Ваш муж поручил мне принести его вам в каюту.

— Спасибо. Оставьте. Или нет. Заберите все, кроме бутербродов и чая.

— Вам нездоровится?

— Да. Я плохо переношу море.

Она заметила, что стюард мнется, будто ожидая чего-то.

— Вы... вы что-нибудь...

— Да, мадам. Я кое-что узнал. Пассажирка из сорок пятой каюты — англичанка.

— Англичанка,— повторила она.

— Так точно. И направляется в Рио-де-Жанейро.

— Это все?

— Пока все. Если вы пожелаете еще что-либо...

— Спасибо.

Лиза дала ему денег. Стюард поклонился.

— Одну минутку,— остановила она его уже в дверях.— Узнайте еще фамилию. И... одна ли она едет.

— Каюту она занимает одна. Мне кажется, однако, что она входит в состав международной группы... Какая-то комиссия или что-то в этом роде.

— Спасибо.

Стюард ушел, и Лиза поднялась с кресла. Она выбросила окурки из пепельницы, отломила кусочек бутерброда, но тут же положила его обратно и подошла к зеркалу. «Значит, англичанка. И, конечно, у нее другое имя. Не Марта. Почему, в самом деле, ее должны звать Мартой?»

Внезапно на нее напала отчаянная зевота. Как после мигрени, когда под влиянием лекарства боль отступает и остается только ужасная слабость, усталость и необоримое желание спать. Теперь каюта освещалась лишь отблеском палубных огней, тень какой-то лампы плясала на потолке в такт порывам ветра. Лиза закрыла глаза.

■

— Нет, я не удивляюсь, мистер Бредли... Если меня что-либо поражает, так совсем не то, о чем вы с таким беспокойством сообщили мне, а скорее ваше недоумение. Да-да, и я думаю, что, поразмыслив, вы согласитесь со мной: если уж я должен удивляться чему-то, так именно этому. Ведь даже менее проницательный наблюдатель, чем вы, дорогой мистер Бредли, мог бы... да, по крайней мере, году в сорок девятом... мог бы предвидеть ход событий и то, во что все это выльется в наши дни.

Конечно, в какой-то мере вас оправдывает то обстоятельство, что вы не принадлежите к немецкой нации, а в еще большей степени то, что вы американец.

— Вы хотите сказать, что на всем земном шаре нет нации, которая обладала бы меньшим политическим чутьем, чем американцы? — в голосе Бредли прозвучала нотка легкого раздражения.

— Нет, конечно, нет, уважаемый и дорогой коллега. Если бы я хотел что-либо сказать в том состоянии, в каком теперь нахожусь, то ограничился бы разъяснением, что отнюдь так не считаю. Вместе с тем я полагаю (пусть уж между нами не будет недомолвок), что американцы, как и любая другая нация,— заметьте, я не говорю «американцы в особенности», хотя у меня есть к тому некоторые основания,— так вот, американцы, как и любая другая нация, не слишком охотно замечают изъяны в своей вроде бы идеальной системе государственного устройства. Они часто предпочитают закрывать глаза на эти изъяны или попросту отворачиваться, чтобы не определять своего отношения к ним. Вы согласны со мной?

— Возможно, возможно, мистер Кречмер. Однако я не вижу связи между эмоциональным отношением американцев к своему государству и тем, что сейчас происходит в Германии.

— Неужели?

Бредли в темноте не заметил его чуть насмешливой улыбки. Они сидели на корме, защищенные от ветра и тумана, и, пристроившись на бухте канатов, вели беседу так, словно нашли единственно подходящее для этого место.

Несомненно, здесь можно было разговаривать свободнее, чем в салонах или баре парохода, где атмосфера стала за последнее время напряженной и малоприятной. Кроме того, Бредли, отправившись после ужина, который он съел в одиночестве, на поиски Кречмера, нашел его именно здесь.

— Если это так,— продолжал Вальтер,— то вопрос еще более осложняется. Я отнюдь не намерен брать на себя такую трудную задачу: разъяснять вам эту связь.

Но Бредли не собирался отступать, хотя с самого начала понимал, что Вальтер был бы ему крайне признателен, если бы он оставил его в покое. Бредли чувствовал себя чуть ли не оскорбленным демонстративным нежеланием Вальтера спорить с ним, тогда как он, Бредли, искал этого спора. Плохое самочувствие Кречмера американец не считал достаточно веской причиной и был склонен подозревать, что Вальтер хочет избежать ответа на его вопросы. Нет, Бредли и не думал облегчать положение своему собеседнику.

— Доктор Штрайт, мой друг, рекомендовал вас, как человека...

— «С которым можно говорить обо всем»,— докончил Вальтер.— И в некотором смысле он прав. Однако позвольте мне внести маленькую поправку. «Обо всем» — не значит исключительно о немцах и о Германии, а вы ожидаете от меня только этого. Германия существует в конкретном мире, мистер Бредли.

— Меня интересуют ваши взгляды, мистер Кречмер. Впрочем, не буду скрывать: вы единственный человек, с которым можно говорить разумно. Больше я никого не знаю. Рискуя быть навязчивым, я все-таки хотел бы пригласить вас к себе на рюмочку коньяку...

— Признаться, я чувствую себя далеко не блестяще. Надеюсь, в этом нет ничего предосудительного? Вот я и сижу здесь, на палубе, уже несколько часов, несмотря на холод и туман, потому что в каюте.. и вообще в утробе этой посудины меня начинает тошнить. Кажется, морская болезнь добралась и до меня.

— Ох уж эта Атлантика, вечно с ней неприятности. То ли дело Тихий океан — спокоен, спокоен во всех отношениях. А все-таки сколько же вы намерены здесь сидеть? Ведь это небезопасно.

— Благодарю вас. Конечно, я не намереваюсь торчать здесь всю ночь. В конце концов надо и о жене позаботиться. Еще четверть часика, не больше.

— Я останусь с вами, мистер Кречмер. Качка все усиливается — мне не хотелось бы, чтобы вы оказались за бортом или подхватили грипп. Я предусмотрительно захватил кое-что с собой, чтобы согреться.

— Спасибо. Вы славный малый, Бредли.

— Хотя и «джонни»?

— Вот именно.— Вальтер улыбнулся.

Плоская бутылка, с которой, по общему мнению, американец не расставался, оказалась в руках у Вальтера.

— А в сорок пятом вы нас не любили,— услышал он голос Бредли.

Вальтер сделал несколько глотков и, отдавая бутылку, ответил:

— Согласитесь, никто не любит победителей и мало кто любит миссионеров. Вы были и тем и другим. Вы принудили нас исповедаться перед всем миром, обратиться в вашу веру да еще представить вам доказательства нашего обращения.

— А вы чего ожидали?

— Каждый ожидал, если вообще можно говорить о каком-то ожидании, чего-то другого. И для каждого немца то, что вы, американцы, делали, было не тем, чего он ожидал. Что бы вы ни делали! Таков удел победителей. Правда, вы быстро поумнели, это надо признать; к несчастью, даже слишком быстро.

— К несчастью? Вы это так понимаете?

— Так же, как и вы. Вот почему к вашим словам: «Не вижу никакой связи» я отнесся, как к риторическому обороту. Ведь невозможно, чтобы вы на самом деле не видели этой связи. Вы не возражаете — ну, значит, согласны со мной. А раз так, то вы должны понимать, что заданный вами вопрос имеет ко мне лишь косвенное отношение. Скажу больше: я последний, от кого вы вправе ожидать ответа. Конечно, ваш вопрос дал мне возможность лучше вас понять. Ваш интерес к германской проблеме — вы меня извините, несколько необычный для рядового американца,— получил теперь дополнительное освещение, которое раскрывает его глубинный подтекст. Дело даже не в вашем историческом образовании, во всяком случае, не только в нем, а в том подсознательном беспокойстве, которое не покидает вас с той минуты, когда вы, вернувшись домой с этой ужасной войны, впервые увидели двухлетнего мальчугана, вашего сына. Именно это беспокойство, для которого ваше историческое образование и знание предмета послужили дополнительной пищей, заставило вас так внимательно следить за тем, что происходит в этой части Европы. Вы сказали недавно: «Моему сыну сейчас столько лет, сколько было мне в тридцать девятом году. И опять начинается то же самое»... Что я могу вам ответить на это, мистер Бредли? Не исключено, что многие немцы, может быть их даже гораздо больше, чем предполагают судьи немецкого народа, такие, как вы и я, сказали бы в эту минуту или хотя бы подумали: «Нет, не то же самое». И это должно вас радовать. Ибо ваш сын, Бредли-младший, если уж ему придется погибать, погибнет, сражаясь не против нас, а вместе с нами...

— ...ради вас.

Кречмер не заметил или сделал вид, будто не заметил выпада американца:

— ...плечом к плечу, как говорится в таких случаях, против общего врага, который угрожает всему миру. И вам тоже, мистер Бредли.

— Чепуха! Чертовски старая и надоевшая всем выдумка, за которую мир уже поплатился десятками миллионов убитых. Американцы легко могли бы договориться с русскими о разделе сфер влияния и сидели бы за океаном, как у Христа за пазухой.

— Возможно... Я с вами согласен. Ибо, как вы, наверное, заметили, я изложил вам только определенную точку зрения, впрочем, довольно распространенную в наши дни, сохраняя по отношению к ней нечто большее, чем просто дистанцию. Но независимо от этого вы совершили одну ошибку. То есть ваше правительство совершило ее за вас, а вы, американцы, не желая выражать свое отношение к ней, предпочли не заметить этой ошибки или на самом деле ее не заметили. Допускаю, что могло быть и так. Во всяком случае, нынешнее положение является следствием той ошибки. Создалась ситуация, когда можно задавать, собственно, только один вопрос: тот, который вы задали мне. Надеюсь, теперь-то вы понимаете, что обратились не по адресу. В результате той ошибки (давайте примем это определение, не вдаваясь в семантический разбор самого слова) ваш сын, мистер Бредли, получит возможность погибнуть смертью храбрых в крестовом походе против большевизма. Что и говорить, перспектива куда более почетная, чем та, которую имели вы, сражаясь с нами. Так решило ваше правительство, и заметьте, что его решение полностью совпало с мнением так называемого среднего немца, позиция которого вызывает у вас такое возмущение. Того самого немца, которому союз с Америкой до такой степени заслонил весь остальной мир, что через неполных двадцать лет после окончания войны он уже забыл, как выглядит смерть. Вы, американцы, здорово помогли ему в этом, приодев костлявую гостью в новые наряды. Не знаю, сможет ли Бредли-младший представить ее себе, идя на защиту своей родины, которая якобы находится в опасности. Вскоре, однако, если он обладает, как и его отец, даром мышления, его жизненная философия обогатится еще одним понятием: понятием бессмысленной смерти. И с этим понятием, в отличие от вас, он пойдет проливать кровь в будущей войне. В отличие от вас, потому что вы не только верили, но и твердо знали: Германия угрожает вашей родине. Вы не могли не знать об этом, даже если бы хотели. Фюрер сделал все, чтобы каждый американец убедился в его агрессивных намерениях, к тому же его союзница — Япония — добралась до вас... Между тем ваш сын, если он придерживается тех же взглядов, что и вы...

— Я не собирался беседовать с вами о том,— Бредли уже не скрывал своего раздражения,— как будет умирать мой сын.

— Нет? — Вальтер изобразил на лице удивление.— А о чем же тогда, разрешите вас спросить?

— Теперь, когда радио сообщает вести о важных событиях на вашей родине, я хотел бы знать, как относятся к этому немцы?

Молчание продолжалось так долго, что Бредли уже стало казаться, будто это и есть ответ Кречмера. Неожиданно и на американца начала действовать качка. Он взглянул на часы и встал.

— Минуточку,— проговорил Вальтер.— Мне бы очень не хотелось, чтобы вы ушли, полагая, будто я уклоняюсь от ответа. Вы спросили меня: «Как относятся к этому немцы?» — а такой вопрос требует ясного, прямого и полного ответа. Вот я и думал, возможен ли такой ответ и сумею ли я его сформулировать. Кроме того, мне казалось... что в каком-то смысле я уже ответил на него в нашем предыдущем разговоре.

— А как относятся к этому сознательные немцы, даже если их мало? Такие немцы, как вы?

— Благодарю за комплимент и одновременно прошу прощения, если выражусь несколько грубо. Эти сознательные немцы увидят в буду-

щей войне естественный результат политики государства, гражданином которого вы являетесь, вину этого государства, мистер Бредли. Вы смеетесь. Но если вы можете противопоставить моим словам только улыбку, согласитесь — это немного. А возразить вам нечего...

— Извините, мистер Кречмер... Не принимайте мою улыбку за аргумент в споре. Я рассмеялся потому, что мне в голову пришла одна мысль: как изменяется угол зрения в зависимости от перемены позиции наблюдателя! Этот закон из области точных наук великолепно подтверждается и в психологии. Особенно в Германии. Если в сорок пятом году, слыша обвинения в свой адрес, немцы, как правило, молчали, то уже через три года они начали добавлять «но», стремясь переложить вину на Гитлера и его подручных. Все оказались виновными: союзные державы, версальский договор, все, только не сами немцы. Я внимательно следил за послевоенными публикациями такого рода — теперь они встречаются очень редко,— и что же я обнаружил? Что даже лучшие, говоря о «виновности немцев», не могут удержаться от этого самого «но». Даже величайший и честнейший из немцев — Томас Манн говорит устами Цейтблома:

«Я говорю об этом сравнительно спокойно, так как в согласии со значительной частью нашего населения, даже наиболее тяжко пострадавшей и оставшейся без крова, полагаю, что мы получаем по заслугам, а если расплата за грех страшнее самого греха, то следует помнить: кто посеял ветер, пожнет бурю».

Видите, мистер Кречмер: «Если расплата за грех страшнее самого греха». Хотя вряд ли можно определить достаточно страшную кару за те ужасы, за миллионы погибших, которыми Германская империя устилала свой путь к мировому господству. Еще один человек говорил об этом, не добавляя «но». Доктор Штрайт. Он говорил о своей собственной вине и ответственности. Собственной ответственности, понимаете, мистер Кречмер! И это говорил доктор Штрайт, который большую часть гитлеровской диктатуры провел за колючей проволокой. Да, их было много, таких, как он, когда мы ворвались в Дахау. А теперь...

— Доктор Штрайт тоже начинает добавлять «но»?

— Нет, не то.

— А что же?

Бредли помолчал немного, потом сказал:

— Германия снова сильна. И Штрайт в одиночестве.

— Послушайте, мистер Бредли. Я не совсем понимаю, куда вы клоните. Если вы хотите доказать мне, что немцы не изменились, то, ради бога, не употребляйте таких туманных аргументов. Я сам это знаю. Но тогда разрешите спросить вас, кто несет за все это ответственность, кто сделал так, что мы вновь стали могущественны? Ведь вы прекрасно знаете, кого благодарят миллионы немцев за стабилизацию и процветание, за то, наконец, что поражение превратилось в победу. А сытую жизнь немцы ценят превыше всего и не видят, что под этим благополучием погребена самая главная возможность — возможность жизни. Да-да, мистер Бредли. Мы были побеждены полностью — морально и физически, мы были так слабы, так беззащитны в нашей духовной и физической бедности, что с нами можно было сделать все что угодно. И хорошее в том числе. Все дело в выборе направления. Вы сказали: «Германия снова сильна»,— подразумевая, что немцы снова считают себя невиновными. Но кто помог нам стать сильными? Мы снова стали опасны, ибо убедились, что мир ни в коем случае не может обойтись без нас, что наши так называемые преступления не столь уже преступны, коль скоро на них махнули рукой, а так называемые военные преступники — вполне порядочные люди, если вчерашние миссионеры и рыцари антигитлеровского крестового похода призвали их на службу новому порядку. И пос-

ле этого вы еще удивляетесь, что немец, которого вы спрашиваете об этих «преступлениях», отвечает: «Не знаю». Вы пришли сюда, разыскали меня, одиноко сидящего в темноте и тумане, чтобы потребовать у меня, именно у меня, ответа на вопрос: почему ваш сын должен гибнуть за немцев и их грязные дела? Да потому, мистер Бредли, что этого хотело ваше правительство, а если отождествлять правительство с народом, как вы поступаете с немцами, то, значит, и вы *сами* этого хотели.

Только после длительной паузы Бредли ответил хрипловатым голосом:

— Вы, наверное, шутите. Или поддались полемическому запалу. «Вы сами хотели...»! Да мое отношение к событиям мне разрешают выразить только на выборах. А потом... я могу идти спать. Эти господа делают все, что им заблагорассудится, не интересуясь моим мнением.

— Не мое дело убеждать вас, что могло бы быть иначе. Это прозвучало бы странно в устах немца — представителя народа, который в течение многих веков безвольно выполнял указания своих правительств. В свою очередь, то, что вы сейчас сказали, звучит не менее странно в устах человека, который именно соглашательскую позицию считает главной виной немецкого народа. Ибо при ближайшем рассмотрении окажется, что «попустительство преступлению» было по существу приятием действительности, которая поначалу вовсе не была откровенно преступной. И если мы внесем эту поправку, то увидим, что такая соглашательская позиция не является чертой, присущей исключительно немецкому народу. С таким же успехом можно спросить и вас, почему вы попустительствовали тому, что делали рулевые американского политического корабля? Разве это не «попустительство преступлению»? Пусть оно еще незаметно, только в зародыше, но где же ваше воображение, где политическое мышление? Его не хватило вам, так же как и нам, когда мы, видя на улицах людей с желтыми звездами, не поднимали голоса протеста. Почему? Может быть, и потому, в частности, что ничье воображение не могло предвидеть, что последствием такого рода фактов будет газовая камера. Разрешите мне сказать еще несколько слов и закончим эту беседу в тумане. Беседу, которая ни к чему не приведет, может быть, именно потому, что она происходит в тумане и нам не хватает твердой почвы, мистер Бредли. Твердой почвы убеждений, на которой стоит, например, наш общий друг, доктор Штрайт. Я позволил себе провести аналогию между нами и вами не для того, чтобы продемонстрировать полемический прием, хотя у вас были основания так думать. Нет, мистер Бредли, это не полемический прием, это говорит моя горечь, столь же искренняя, как и та, которая слышится в ваших вопросах. Моя горечь удивила вас, привыкшего к всеобщему у нас культу Америки. Но ведь именно этот культ ясно указывает, кто главный виновник. Если вообще можно произносить слово «виновник», говоря о действительности, которую принято называть «чудом». Но я уже объяснил вам, что как раз в этом «чуде» я вижу утраченные немецким народом возможности, в том числе утраченные и мною, мистер Бредли.

Как вы уже знаете, в те времена я постарался сделать все, чтобы не стать негодяем. Я думал тогда об одном: после войны наступит время, когда человек сможет оставаться честным, не прибегая к головоломным выкрутасам — просто и свободно. Программа не слишком героическая, согласен, но я никогда не переоценивал своих возможностей. На мой взгляд, мистер Бредли, человека не следует подвергать слишком тяжелым испытаниям, он их не выдержит. Героизм — удел немногих. Естественное состояние человека — не героизм, а потому можно утверждать, что эпохи, рождающие большое количество героев, это эпохи варварства и одичания. Совершенно очевидно, что в задачи человечества отнюдь не

входит изготовление героев. Человек должен иметь одну элементарную возможность: быть добрым, не повреждая позвоночника. Я действительно сделал тогда все, что было в моих силах, чтобы не дать втянуть себя в это свинство, я дошел до предела своих сил. И если бы мой дядя, оберштурмбанфюрер, в свое время решил во что бы то ни стало пристроить меня в эсэсовскую полицию, вероятно, я не избежал бы звания «военного преступника». Другое дело, что теперь я спокойно сидел бы где-нибудь в военном министерстве, если не в правительстве, а какой-нибудь другой, «чистый» Вальтер Кречмер, страдал бы от угрызений совести, потому что согласился представлять меня на международной арене. Вот что я понимаю под утраченной возможностью — то, что не могу быть порядочным человеком, не вступив в конфликт со своим правительством, общественным мнением и своей совестью. Вы спросите, почему же я все-таки согласился представлять за границей это государство, все более и более напоминающее то, прежнее, двадцатилетней давности? Но до каких же пор можно оставаться внутренним эмигрантом?

Когда вы пришли к нам, я думал, что наступил конец старого мира. Мы были ничем, абсолютным нулем, но у нас зато было нечто исключительно ценное: возможность измениться, стать нацией, способной жить в мире среди других наций. Доказать, что мы изменились и слова Черчилля: «Немцы могут быть либо под ногами, либо у горла» — уже не относятся к нам. Вы отняли у нас эту единственную возможность, оставив нам ту, о которой говорил Черчилль: мы снова должны тянуться к чьему-то горлу. Такую возможность гарантирует нам первый в немецкой истории и столь желанный для наших политиков союз с вами.

— Очевидно, вас привлекала эта возможность, коль скоро вы с таким энтузиазмом согласились на наш союз.

Наступило молчание, и казалось, больше уже ничего не будет сказано. Но после томительно долгой паузы Вальтер снова заговорил:

— Вот почему наш разговор не может дать результата. Мы отбиваем мячик ответственности, будто играем в теннис. Но это не так, к сожалению, ибо я был бы очень рад, если бы наши проблемы ограничились теннисным кортом. Вы начали этот разговор и, так как я «человек, с которым можно говорить обо всем», что же, пользуйтесь! Может быть, завтра со мной уже ни о чем нельзя будет говорить...

■

Впервые за много лет Лиза позволила себе вспомнить все, ибо теперь она обрела способность, какой обладают немногие. Если им приснится кошмарный сон, они не стремятся ценой огромных усилий стряхнуть его с себя, проснуться, а, наоборот, принимают в нем активное участие, следят за развитием событий, уверенные в том, что, когда станет совсем невмоготу, они сумеют проснуться.

Уже многие годы, с тех пор как Лиза вышла замуж за Вальтера, она жила под угрозой возможной встречи с Мартой. Страх осаждал ее постоянно. Он подстерегал в ночной тишине, подкрадывался в редкие минуты послеобеденного сна, нападал даже днем, в моменты усталости и расслабления воли. Но никогда он не мог захватить ее врасплох, принять зримый образ. Она мгновенно просыпалась, напрягая волю, и противостояла надвигающемуся кошмару. В такие минуты мозг ее работал точно и четко, предупреждая об опасности. Лиза могла бороться только так, ведь если враг захватит ее врасплох, она уже не сумеет с ним справиться. И вот этот недосмотренный сон грубо ворвался в действительность. А когда Лиза, поверженная, охваченная ужасом, поняла, что не в силах проснуться, стряхнуть с себя этот страшный сон, ставший явью, тогда при-

шел стюард и сказал: «Она англичанка». И Лиза была свободна. Теперь она могла себе позволить досмотреть свой сон, досмотреть спокойно, без паники, без замирания сердца, смело глядя в лицо прошлому. Ведь в любой момент можно было позвать стюарда и заставить его повторить: «Дама из сорок пятой каюты — англичанка; она едет в составе международной комиссии».

Лиза улыбнулась про себя. «Международной»... Как болезненно, почти до смешного ненавидела это слово Мария Мандель!

■

Бедная Мария. «Если бы я родилась снова, то сделала бы то же самое». Она сказала это в последнем слове перед своей ужасной казнью. А тогда, двадцать лет назад, она говорила Лизе — в то время надзирательнице Анне-Лизе Франц:

— Анхен, сюда должна приехать какая-то дурацкая международная комиссия. Мы хотим показать ей твою команду: твои люди выглядят лучше других, у них лучшие бытовые условия. Нужно подсунуть таких заключенных, которые на возможные вопросы ответят как следует. Необходимо принять меры, чтобы не было никаких инцидентов. Как ты думаешь, эта твоя любимица?..

Мария Мандель спрашивала, а она, Анна-Лиза Франц, пользовавшаяся ее абсолютным доверием, не могла ответить быстро и точно, как требовалось. Ведь она не знала даже, жива ли еще эта ее «любимица». Уход Марты в больницу оказался для Лизы, к ее собственному удивлению, своего рода освобождением. Как это ни парадоксально, но она почувствовала себя свободной, почувствовала облегчение, как солдат, узнавший о перемирии. Только тогда она поняла, сколь мучительной была их странная игра, а поняв, решила покончить с этим, избавиться от Марты, перевести ее в другую команду, если каким-то чудом та не умрет в лагерной больнице.

А теперь старшая надзирательница спрашивала ее: «Как ты думаешь, эта твоя любимица?..» Что ей ответить?

— Она в больнице.

— Тиф?

— Не знаю. У нее была довольно высокая температура.

— Жаль. Она приметная, твоя Марта.

— Фрау Мандель,— надзирательница Франц, как и подобает хорошему солдату, быстро примирилась с мыслью об окончании перемирия,— что, если перевести ее из больницы в барак? Конечно, если у нее не тиф.

«Старшая» задумалась:

— А что это нам даст? Они наверняка предпочтут посетить больницу, чем смотреть одну больную.

— Индивидуальный уход может показаться более убедительным...

Несколько мгновений «старшая» с нескрываемым интересом разглядывала ее.

— Это неплохая мысль, Анни, очень неплохая. Согласна. Переведи больную в барак. Конечно, если у нее не тиф.

У Марты не было тифа, ее перевели в барак и тем самым спасли от почти верной смерти. И это сделала она, надзирательница Анна-Лиза Франц. Она сказала Вальтеру правду. А обстоятельства? Кто посмел бы обвинить ее? Ведь только так она могла спасти Марту. Все, что случилось позднее, не было ею задумано. Разве могла она предположить, что, придя в больницу к Марте, встретит там Тадеуша? Это было какое-то странное стечение обстоятельств. Она хотела только перевести Марту в барак, чтобы показать ее комиссии, а то, что было потом... произошло по вине Тадеуша.

Лиза увидела его у постели Марты, когда сразу же после разговора со «старшей» зашла в больничный барак. Куда девался его инстинкт старого заключенного? Марта не могла видеть Лизу: она лежала спиной к двери, но он-то! Лиза остановилась у входа и смотрела на него в упор. Тадеуш, по-видимому, забыл, где находится, забыл обо всем. Склонившись к Марте, он что-то говорил ей и даже улыбался. И в этой улыбке было столько серьезной, почти отцовской нежности, что у надзирательницы Анны-Лизы Франц сжалось сердце. Женщина, на которую никто так не смотрел, обижена жизнью. Вот о чем она подумала в тот момент и даже не почувствовала стыда от такой мысли. Любовь никогда не была для нее только вопросом физиологии, но другой любви она не знала. И глядя теперь на Марту, надзирательница Франц завидовала ей. Завидовала этой жалкой заключенной, лишенной даже тени надежды на завтрашний день, ибо каждый новый день мог стать последним в ее жизни. Но Тадеуш... «Любовь связывает с жизнью, а здесь надо быть готовым к смерти»,— так ведь думал Тадеуш, а теперь он улыбался. Разве эти слова говорил он в ту минуту? Почему же он пришел сюда? Ну конечно! Он отказался только от ее посредничества, от посредничества надзирательницы, лишая ее средства воздействия на Марту. Он разгадал ее тайный замысел. А... что, если вызвать Таубе? Неужели этот «номер» в самом деле не выдержит, если Таубе ударит его невесту?

Она зашла к старосте барака.

— Позовите ко мне заключенного, который пришел навестить больную.

Тадеуш не испугался.

— Так как же? — спросила она.

Он молчал.

— Вы знаете, каковы последствия подобного поступка?

— Так точно, фрау надзирательница.

— Вы ничего не хотите сказать в свое оправдание?

— Нет, фрау надзирательница.

— Подумайте, молчание не всегда золото.

— У меня нет оправданий: ни перед вами, ни перед лагерным уставом.

— А перед самим собой вы можете оправдать этот поступок?

— Фрау надзирательница, идя сюда, вы, конечно, видели горы трупов возле бараков. По ним бегают крысы.— Лиза понимала, что он принуждает себя отвечать ей, и почувствовала удовлетворение.— Завтра и она может оказаться там. И я не увидел бы ее... с отросшими волосами.

Лиза сделала вид, что не поняла, хотя на самом деле была потрясена жестокостью этих слов.

— Значит ли это, что вы не намерены встречаться с ней, если она будет здорова?

— Да, именно так.

— Можете идти.

— Разрешите мне только успокоить Марту насчет...

— Я сама это сделаю. А если еще раз встречу вас здесь, то буду рассматривать это как попытку обмануть меня и приму соответствующие меры, не считаясь с Мартой.

Он надел шапку и ушел. Выглянув в окно, Лиза увидела, как Тадеуш обернулся. Она подошла к постели Марты.

— Завтра тебя переведут в барак,— сказала Лиза как можно мягче.— А то, чего доброго, подхватишь здесь тиф.

Марта даже не шелохнулась, в глазах ее было отчаяние.

— И... ты даже не благодаришь меня за заботу?

— Спасибо, фрау надзирательница,— ответила она с тем же выражением.

Тогда Лиза сухо успокоила ее:

— Тебе незачем убиваться. Тадеушу ничего не угрожает. Пока...

— Пока? — переспросила больная.

Впервые в ее глазах была мольба, и надзирательница Франц холодно улыбнулась:

— Я не напишу рапорта, если... Словом, только от тебя зависит, дам ли я этому делу ход.

Следующий день показал, что Марта правильно поняла предупреждение надзирательницы.

Приехала эта идиотская комиссия. Какие-то шведы, швейцарцы, привыкшие зарабатывать на нейтралитете и гуманизме. Боже, как они смотрели на немецкий персонал лагеря! Как на людоедов! Надзирательница Анна-Лиза Франц едва сдерживала возмущение. Она чувствовала себя глубоко оскорбленной. По какому праву? Что они о нас знают? Она искренне сочувствовала Марии Мандель, которой пришлось сопровождать комиссию, и вместе с тем восхищалась ее хладнокровием и самообладанием.

Все разыгралось как по нотам. А ведь на самом деле, если какая-то подготовка и была проведена, то очень незначительная. Случайность завершила этот спектакль и придала ему совершенную форму. В эсэсовской аптеке Лиза достала для Марты лекарства, вызвала старшего врача лагерной больницы. Когда раздалась команда «Achtung» и комиссия вошла в барак, у постели больной стояли заключенная-врач, профессионально серьезная, и она, надзирательница Анна-Лиза Франц, которой с этого дня предстояло стать легендарной фигурой, воплощением благородства. Члены комиссии сразу же кинулись к Марте; до сих пор они не встречали больных в бараках. Осмотрели лекарства и обменялись взглядами.

— Что с ней? — спросил врача один из членов комиссии, верзила с лошадиным лицом.

— Воспаление легких.

— Давно больна?

— Неделю.

— С каких пор получает лекарства?

— С сегодняшнего дня.

— Почему так поздно? — возмутился другой член комиссии.

— В больничной аптеке не было нужных лекарств,— спокойно ответила врач.

А Мария добавила холодно:

— Я вынуждена напомнить вам, что идет война. Наши солдаты на фронте не всегда получают эти лекарства.

Члены комиссии снова переглянулись. Один обратился к Марте:

— Вы давно в лагере?

— Полтора года.

— Вы... впервые заболели здесь?

Чуть-чуть помедлив, Марта ответила:

— Да.

— За полтора года? — удивился он.— И вы ни разу не болели? Никакой простуды, гриппа или насморка?

И тогда Марта посмотрела на него.

Не было произнесено ни одного слова, но ведь она *говорила!* Почему этого никто не услышал? Почему «старшая» не прервала ее, не велела им уйти? Ведь она *говорила!* Столько насмешки, столько нескрываемой иронии было в ее взгляде, что тот, из комиссии, все понял. Он слегка покраснел и отвел взгляд. Посмотрел на коменданта лагеря, потом на Лизу.

— Какую работу выполняет эта заключенная?

— Она работает писарем,— вежливо ответила Лиза.— В моей команде, в конторе вещевого склада.

Теперь в разговор вступил первый, с лошадиным лицом.

— Эта работа утомительна?

И снова тот же взгляд Марты. Нет. Этого нельзя было допустить! Лиза поспешила вмешаться:

— Не более, чем любая конторская работа, не правда ли, Марта?

Та автоматически повторила:

— Не более, чем любая конторская работа...

Члены комиссии уже не знали, к чему бы придраться.

— А... письма из дому вы получаете регулярно?

— Да,— ответила Марта,— регулярно.

— А... могут родственники навещать заключенных?

Тут уж «старшая» не выдержала:

— Разве вам известна хоть одна страна, где это практикуется? — спросила она ледяным тоном.— У нас здесь политические заключенные!..

— Достаточно того...— Лиза неожиданно для самой себя перебила «старшую». Разве могла она предугадать последствия своего легкомысленного поступка? — Достаточно того, что в некоторых случаях заключенным разрешают посещать друг друга. Если они состоят в родстве.

— В каких это случаях? — комиссия явно заинтересовалась.

— Например, в случае болезни,— ответила Лиза, краем глаза заметив удивленный и одновременно веселый взгляд Марии Мандель.

— Да? Может быть, и в данном случае тоже? — спросил тот, с лошадиным лицом.

Марта побледнела. Ее взгляд на мгновение остановился на лице Лизы. Лиза испугалась: откажется, и не только откажется, расскажет все, как было. Нельзя медлить ни минуты.

— Да. У этой заключенной здесь жених. Тоже политический. Он навещал ее вчера.

Теперь все смотрели на Марту: и комендант, и «старшая», и члены комиссии. Но она молчала. Страшная бледность, покрывшая ее лицо, не могла ускользнуть от их внимания. Надо было действовать. Заставить ее ответить, прежде чем она опомнится и на что-то решится.

— Ну что же ты, Марта! Скажи нам, навещал тебя вчера твой Тадеуш? — спросила Лиза, придав голосу добродушно-шутливый тон.

И в тишине, наступившей после этого вопроса, раздалось еле слышное «Да».

Провожать комиссию пошел только комендант, «старшая» осталась.

— Девочка! — хохотала она.— Это было замечательно! Считай, что повышение у тебя в кармане. А твоя Марта... ну, ну, конечно, она заслужила перевод в группу «проминентов». Заканчивай свою стажировку и отправляйся в Мюльхаузен.

— Смогу я взять с собой Марту? — спросила Лиза и сама удивилась своему вопросу.— Мне кажется, такие случаи бывали в нашей практике.

«Старшая» похлопала ее по плечу.

— Понятно, понятно. Ты прекрасно усвоила истину: управлять ими с их помощью.

Действительно ли Лиза имела это в виду, обращаясь к начальнице с просьбой, которая для нее самой была неожиданна? Нет, такая оценка ее просьбы была бы слишком примитивной и неверной, хотя анализ ее поведения с позиций сегодняшнего дня давал материал для такого рода предположений. В тот момент, когда Лиза спросила: «Смогу ли я взять с собой Марту?» — у нее не было никаких задних мыслей. Перед ее

мысленным взором стоял только один образ: Тадеуш, склонившийся над Мартой. Лиза отнюдь не собиралась разлучать их. Они и так были в достаточной степени разъединены, и не только из-за строгостей лагерного режима, а потому, что сами так решили

Ведь после истории с комиссией и Марта, конечно, поняла, что здесь не место для любви, так же как она, надзирательница Анна-Лиза Франц, поняла, что это последняя партия, которую ей удалось выиграть в ее нелепой борьбе с Мартой. Чем же в таком случае была вызвана странная просьба Лизы, если еще два дня тому назад она твердо решила избавиться от Марты? Она не могла ответить на этот вопрос, не сумела объяснить себе тогда, что руководило ею, да и теперь тоже.

Впрочем... Стоит только позвать стюарда или произнести вслух его слова: «Она англичанка», как все встанет на свое место. Значит, можно досмотреть этот сон, не опасаясь, что не проснешься, когда будет особенно страшно. Можно вернуться в прошлое, почти на двадцать лет назад, посмотреть на себя, молодую идеалистку, которая в концлагере пыталась действовать по принципу личных побед над отдельными заключенными. И Лиза, сегодняшняя Лиза, понимает, что ее тогдашняя нелепая просьба нанесла сокрушительный удар по ее глупой выдумке. Впрочем, непригодность этого принципа обнаружилась значительно раньше — еще тогда, когда Лиза прибегла к нечестному способу, решив использовать любовь Марты, чтобы подчинить ее себе. Следующей ступенью был шантаж, а потом оставался только террор. Ибо решение забрать уже совершенно ненужную ей Марту в другой лагерь нельзя было расценить иначе, как террористический акт. Теперь отношения между ними строились только на этом. Да иначе и не могло быть. Ведь Лиза, вопреки тому что она о себе думала, начиная службу в СС, приехала в концлагерь с грузом дурацких идеалистических представлений. Ее жалкая теория личных побед была, несомненно, явлением болезненным — любой рядовой эсэсовец мог без труда поставить такой диагноз. И все же она должна была пройти через это. Только так она узнала то, что другие знали с первого дня службы: террор — это единственное средство. Но Лиза никогда не была хорошей эсэсовкой. Она просто не годилась для такой работы. Даже усвоив истину о терроре, она пугалась его последствий. Оказалось, что одних благих намерений, даже подкрепленных верой в фюрера, недостаточно. Необходимо было еще решиться перейти границы того, что сентиментальные слюнтяи окрестили словом «человечность». А она не сумела. Ведь сортировка вещей убитых, которой она занималась на своем складе, это еще не сортировка...

Нет, это уж слишком, надо проснуться.

— Она англичанка,— произнесла Лиза вслух,— она англичанка и ничего не знает. Ничего. Любой пассажир мог сесть там, в темном холле, и зажечь свет, когда я остановилась перед зеркалом. И любой мог по каким-то своим, личным мотивам заказать эту дурацкую песенку, которая так напугала меня.

Вообще, если бы исследовать вопрос о восприятии музыки людьми — и не только легкой музыки, тесно связанной с повседневной жизнью и переживаниями слушателей, а всякой, даже самой сложной,— наверняка оказалось бы, к ужасу сторонников чисто эстетических эмоций, что восприятие музыки в огромной степени зависит от внешних, внемузыкальных факторов. Разве можно, например, предположить, чтобы у Марты — если, конечно, она жива — музыка «Тангейзера» не вызывала в памяти тот же образ, который уже многие годы, с тех пор как Лиза стала счастливой фрау Кречмер, неизменно преследует ее в концертных залах: симфонический оркестр, оркестранты в полосатых бело-голубых куртках, с бритыми головами...

Да. Надзирательница Франц заставила Марту пойти на концерт в мужской лагерь. Это был очередной номер вновь открытой Лизой и, как оказалось, единственно возможной программы — программы террора. Надзирательница Франц прекрасно знала, что Марта не хочет идти туда. Во-первых, потому, что это была привилегия, предоставленная капо и старостам, с которыми Марта не желала иметь ничего общего. А во-вторых, она как-то сказала Лизе во время одного из концертов: «Здесь не место для музыки». Тем не менее Лиза привела ее туда, в этот единственный в своем роде концертный зал.

Он был великолепен, этот мужской симфонический оркестр. Его стоило бы показать тем типам из комиссии, космополитам, специалистам по вопросам гуманизма. Наверняка у них в Стокгольме или Цюрихе не нашлось бы лучшего. Ах, как они исполняли Вагнера, эти поляки! Не хуже, чем знаменитый мюнхенский оркестр, который они с Генрихом слушали в последний его приезд. Уже несколько месяцев ее муж, Генрих, не подавал признаков жизни. Нет, она не страдала. Генрих! Как она разочаровалась в нем! Они просто стали чужими. Возможно, это случилось еще до его отъезда на фронт. Если время от времени Лиза и вспоминала его, то делала это скорее из чувства долга: как-никак он служил в армии фюрера, сражался за родину. И в конечном счете не так уж важно, делал он это по своей собственной воле или нет. Вот теперь — мимолетное воспоминание о нем появилось и быстро исчезло, не взволновав Лизу. Шквал мощных звуков налетел на нее, и надзирательница Анна-Лиза Франц забыла обо всем. О том, что идет война, что рядом вместо элегантно одетых завсегдатаев концертных залов сидят люди в зеленых мундирах и, вопреки правилам хорошего тона, держат на коленях форменные фуражки с уродливой, в сущности, эмблемой; что у нее болит голова от угарного запаха паленого мяса, запаха, который уже целую неделю стелется над лагерем; что по железным дорогам мчатся все новые и новые составы с этим живым мясом; что, наконец, «здесь не место для музыки». Она забыла и о Марте, которую привела сюда для того, чтобы в музыке Вагнера та увидела еще одно проявление мощи немецкого духа, и которая сидела где-то сзади, среди «проминентов», сосредоточенная, внешне спокойная. Лиза закрыла глаза рукой, как это делают меломаны, и с наслаждением погрузилась в мир звуков. Через некоторое время она случайно подняла голову, увидела дирижера в полосатой лагерной форме и, внезапно вспомнив о Марте, захотела взглянуть на нее, чтоб увидеть ее лицо, ее реакцию. Лиза обернулась и несколько минут тщетно искала ее глазами. И тогда она заметила Тадеуша. Он стоял, прислонившись к стене, в углу зала и смотрел в другую сторону. Проследив за его взглядом, Лиза обнаружила наконец Марту. Та сидела, подавшись всем телом вперед, как бы желая приблизиться к нему. Ее лицо было спокойно и безжизненно, как маска.

На этот раз Тадеуш почувствовал взгляд Лизы. Но не испугался, не отвернулся. Некоторое время он смотрел ей прямо в глаза, нагло, почти цинично. Неужели... и он умеет читать ее мысли? Движением руки Лиза указала ему на дверь. Он немедленно вышел. Лиза еще раз взглянула на Марту. И так же, как раньше, следя за его взглядом, она отыскала Марту, так теперь... Он стоял в толпе заключенных за окном и смотрел. Стекло то и дело покрывалось паром от его дыхания, капельки воды стекали вниз, прочерчивая извилистые дорожки, а они смотрели друг на друга, ничего не замечая. Два человека с мертвыми лицами, на которых жили только глаза.

Внезапно раздался всем хорошо знакомый гудок паровоза на лагерной ветке. Несколько эсэсовцев вскочили, среди них комендант лагеря Гёсс. Выходя, он махнул рукой остальным: не отвлекайтесь. В зале снова воцарилась тишина. «Тангейзер» торжествовал.

Полоса света проникла в каюту, и Лиза очнулась. Она увидела в дверях Вальтера, хотела спросить: «Уже поздно?» — но голос изменил ей. Вальтер вел себя как-то странно: с величайшей осторожностью закрыл дверь и на цыпочках прошел к себе. Лиза слышала, как он раздевался, ложился. Сейчас он должен закурить — он всегда выкуривает сигарету перед сном. Ей даже казалось, что она слышит стук сигареты по коробке, но так и не увидела огонька зажигалки. Она продолжала напряженно прислушиваться, не скажет ли он ей хотя бы «Спокойной ночи». Но на его половине была тишина — неестественная, беспокойная, словно кто-то притаился и ждал. Внезапно ее ужаснула мысль, что муж может заснуть, так и не сказав ничего. Она позвала: «Вальтер». И еще раз, погромче: «Вальтер!» Но Вальтер уже спал или притворился спящим. Пытаясь себя успокоить, Лиза повторяла: «Ведь она англичанка, англичанка»,— но теперь это спасительное заклинание не помогало. Тогда она дрожащей рукой зажгла ночную лампочку и пошарила в ящике стола. Вынула из коробочки таблетку, потом другую и, подумав, еще одну. Морщась, запила их холодным чаем.

■

Ее разбудил настойчивый телефонный звонок. Наступил день, и сквозь спущенные шторы пробивался солнечный свет. Еще не совсем проснувшись, она огляделась. Вальтера в каюте не было. Лиза подняла трубку.

— Не желаете ли позавтракать, мадам? — спросил голос в трубке.— Ваш муж поручил мне...

Лиза взглянула на часы. Стрелка приближалась к одиннадцати.

— Хорошо,— ответила она.— Через четверть часа.

Поднимаясь с постели, Лиза покачнулась. Голова была тяжелая, словно чужая, лоб ежеминутно покрывался испариной. Она с трудом оделась, подкрасила губы, причесалась. Когда стюард принес завтрак, Лиза выпила чашку кофе и попыталась что-то проглотить, но в этот момент в каюту вошел Вальтер. Он был в свитере, в руке держал теннисную ракетку.

— Ты долго спала,— заметил он, вопреки обыкновению даже не поздоровавшись с ней.

Лиза обиделась.

— Доброе утро, Вальтер.

— Доброе утро...

Их взгляды встретились, и оба тотчас отвели глаза.

— Позавтракала?

— Да.

— Чувствуешь себя лучше?

— Как видишь.

— Ты ужасно бледна.

— Ничего, это пройдет.

— Конечно. Главное — не поддаваться.

Вальтер смотрел на нее в упор и молчал. Ей стало не по себе.

— Умоляю тебя, Вальтер! Ведь я не подопытное животное. Что это значит?

— Успокойся. Ничего особенного. Просто я пытался представить себе, какая ты была в мундире. Впрочем, я не знаю, как выглядела у вас женская форма. У тебя нет фотографии?

— Фотографии?!

— Ну, не сердись на меня...

— Вальтер!..

Он подошел к ее столику, взял лежавшую там коробочку.

— Ты принимала снотворное?

— Да.

— До сих пор ты этого не делала.

— До сих пор, ложась спать, ты говорил мне «Спокойной ночи», а вставая — «Доброе утро».— Голос у нее задрожал, хотя она крепилась изо всех сил.

Вальтер заметил это, и ему стало жаль ее.

— Я не хотел тебя будить.

— Неправда. Я не спала. И ты это знал. Знал, что я жду... И...

— Лиза, нам надо поговорить.

— Это бесчеловечно, вести себя так после того, что я тебе рассказала! Ты злоупотребил моим доверием.

— Лиза, прошу тебя, постарайся взять себя в руки. И не бросайся обвинениями. В конце концов, это...

— Одно слово можно было сказать. Независимо ни от чего.

— Быть может,— согласился он.— Но я не мог выговорить его, понимаешь? — Он повысил голос.— Именно это одно слово я не мог произнести.

Лиза взглянула на мужа. Красные, воспаленные глаза, опухшие веки.

— Ты пил?.. Пил из-за этого?

— Неважно. Впрочем... не скрою — я чувствую себя разбитым. Совершенно разбитым. Я все понимаю. Но мне от этого не легче. И ты не должна винить меня за то, что я не мог сразу примириться с этим.

— Вальтер... Я не виню тебя. Но и ты... Ведь ты знаешь все. Знаешь... что ничего такого...

— Знаю, знаю. Но уже одного факта службы в лагере достаточно. Концлагеря! Самая страшная страница немецкой истории, страница, которая навсегда останется в памяти людей. Вчера я наблюдал за тобой. Сам я вышел чистым из этой мерзости, и мне неприятно, что через пятнадцать лет после войны моя жена должна чего-то бояться.

— Ошибаешься! Я не бежала из Германии, как... большинство тех, у кого... у кого были грязные руки. Потому что я не боялась! Мне нечего бояться. Я ни разу не ударила заключенного... ни разу... Мои руки чисты...

Несколько мгновений Вальтер напряженно всматривался в лицо жены.

— Верю. Я верю тебе, Лиза. Должен верить. Ибо в противном случае...

В каюте стало так тихо, что они слышали собственное дыхание.

— Что тогда? — прошептала она.

— К черту! — крикнул Вальтер.— Не слишком большое удовольствие быть немцем после всей этой гадости. Невозможно даже разговаривать с людьми нормально, по-человечески. В глазах собеседника сразу же появляется вопрос: «Интересно, а где ты был «тогда»? Кого убивал?» Следовало бы вешать на грудь табличку: «Не служил ни в гестапо, ни в СС, ни в СА, не состоял в партии». Но это, к сожалению, невозможно. И приходится обо всем рассказывать. Всегда с самого начала. Говорить, говорить, говорить и не позволять себе сердиться, возмущаться, когда собеседник смотрит на тебя скептически и думает: «Какие они все чистенькие, какие невинные, эти немцы. Интересно, где же те, кто?..» Вот что ужасно! Серьезная проблема сводится, по существу, к спору о грамматических правилах. Стоит заговорить о трагедии поколения второй мировой войны, которое было впряжено в колесницу кровавого маньяка, и сразу же находится какой-нибудь Бредли, который с педантичностью

языковеда не преминет отметить необоснованное употребление страдательного залога. И вежливо поправит: «Было впряжено? Нет, оно впряглось».

— Ты был вчера с Бредли?

Он кивнул.

— Тебе не следует разговаривать с ним на такие темы.

Ее слова прозвучали так трезво и до нелепости деловито, что Вальтер несколько мгновений смотрел на нее, не понимая. Внезапно его возбуждение улеглось.

— Не в этом суть,— произнес он устало.— Суть в том, что... весь этот... грамматический спор о действительном и страдательном залогах был... спором о тебе.

— Спасибо, Вальтер. Но он этого не знает?

— Нет. Он пока еще не знает.

— Ему и не следует знать.

Вальтер снова взглянул на нее.

— Конечно. Ему не следует знать.

Он сел на диван и уперся локтями в колени.

— Если бы я мог,— теперь он говорил, обращаясь не столько к жене, сколько к самому себе,— если бы я мог управлять своими чувствами! Я хочу простить тебя не только разумом, но и сердцем. Я не лишен воображения, и оно подсказывает мне все, что там было; я представляю себе, как ты исстрадалась, измучилась за те месяцы.

— Спасибо тебе, Вальтер.

— И все-таки... остается какой-то осадок. Удастся ли мне избавиться от него? Нужно время... Пойми это...

— Я понимаю. Хочу понять...

Он посмотрел на нее.

— Все это очень сложно, Лиза, и... некоторое время нам будет трудно. Мы должны постараться пройти через это и... не потерять друг друга. Расставаться было бы бессмысленно. Да. Мне кажется, бессмысленно.

Напряжение последних часов сломило Лизу. Она разрыдалась.

— Ты так добр, Вальтер, так великодушен... А я подумала... вчера, когда ты молча прошел к себе, я подумала...

— Что я решил бросить тебя?

Эта мысль взволновала и его самого. Он подошел к жене, поднял ее с кресла.

— Посмотри на меня, Лиза. Я знаю тебя *настоящую*. Тогда была война. Прошло шестнадцать лет. Мы имеем право забыть о ней. Окончательно и навсегда.

— Да, Вальтер.

— Мы уезжаем надолго. Это нам поможет.

— Да...

— Ты рассказала мне, теперь я знаю все, и мы постараемся больше к этому не возвращаться. Никогда. Это единственный выход, Лиза. Будем жить так, будто ничего не было: ни войны, ни концлагерей, ни твоей службы...

Она плакала тихо, с облегчением. Вальтер не стал успокаивать жену, он снова усадил ее в кресло и прошел к себе. В дверях он остановился и добавил:

— Ах, да... Та дама, которая тебе так не вовремя напомнила прошлое,— англичанка, деятельница какого-то Британского комитета защиты мира.

— Ты разговаривал с ней?

— Нет. Просто в моем присутствии она обменялась несколькими словами с капитаном. Она говорит с настоящим шотландским акцентом. И ни слова по-немецки.

■

Бал удался на славу. Оркестранты прекрасно поняли, что́ от них требуется. Среди элегантной публики в зале почти не было молодежи, преобладали солидные люди среднего возраста. Поэтому лишь изредка, просто чтобы показать богатство репертуара, исполнялся какой-нибудь бешеный современный танец. Как и двадцать лет назад, танцевали главным образом танго, вальс-бостоны и слоуфоксы.

Вальтер сидел за столиком и улыбался. Лиза уже второй раз танцевала с капитаном. Она сегодня была очень оживлена. Быть может, даже слишком. Вальтер не помнил ее такой и даже немного удивился: после таких потрясений... Он искал ее взглядом среди танцующих пар, когда услышал голос Бредли:

— Я вижу, у вас похитили жену?

— Вот именно. А я даже пикнуть не смею. И не кто-нибудь, а «первый после бога»!

— Да ну? Неужели капитан? — Бредли расхохотался. Он уже успел выпить, был возбужден и, как всегда в присутствии Лизы, далек от мыслей о немецкой проблеме.— На вашем месте я держал бы ухо востро.

Но Вальтер был настроен миролюбиво.

— Почему же? Это в какой-то степени входит в его обязанности — быть внимательным к пассажирам.

— Особенно он внимателен к пассажиркам, заметьте.

— Ну, пожалуй, мы с вами не особенно нуждаемся в его ухаживаниях?

Оба рассмеялись.

— Красивая у вас жена.— Бредли следил за танцующими парами.— В Бразилии это может доставить вам немало хлопот.

Вальтер снисходительно улыбнулся.

— Вы давно женаты?

— Четырнадцать лет.

— Ну и как? Без потомства?

Вальтер поморщился.

— Извините, пожалуйста! — Бредли стал серьезен.— Нужно быть идиотом, чтобы задавать такие вопросы.

«Или янки, пьяным янки»,— подумал Вальтер, а вслух сказал:

— Чепуха. Ведь я человек, «с которым можно говорить обо всем».

То, что Вальтер так ловко свел все к шутке, тронуло американца.

— Черт возьми! Не знаю, можно ли с вами в самом деле говорить откровенно...

— Не знаете?

— Нет, я не уверен в этом, хотя своими разговорами здорово вас измучил. Но зато я твердо уверен, что вы самый разумный немец из всех, кого я знаю... более разумный, чем Штрайт.

— Вы так думаете?

— Да. Штрайт всегда мрачен. Он почти не умеет смеяться, а уж если засмеется, так остальным плакать хочется. Не говоря уже о том, что у него нет такой красивой жены. Но мне кажется, что быть человеком, «с которым можно говорить обо всем», чертовски неудобно. Подумайте сами: вечно к вам пристают всякие типы, вроде меня — болтливые, навязчивые... Вот ваша жена в этом смысле может быть спокойна.

— Вы в этом уверены?

— К ней не полезешь с такими вопросами, она обезоруживает. С ней нельзя говорить обо всем.

— Моя жена не любит разговаривать «обо всем», если пользоваться вашей формулой.

— Это вполне естественно, мистер Кречмер.

— Да? — Вальтер неожиданно для себя стал внимательнее прислушиваться к болтовне американца.

— Вы удивлены?

— Признаться, да. Ведь вы, кажется, не считаете это естественным, скорее наоборот.

— Нет правил без исключения.

— Разумеется.

— А исключения только подтверждают правила.

— Конечно, конечно.

— А вас не интересует, почему я делаю исключение для вашей супруги?

Вальтеру весь этот разговор уже порядком надоел.

— Нет. Но, вероятно, у вас есть на то причины...

— Разумеется, есть. Я знаю о вашей жене больше, чем вы думаете.— Американец на мгновение умолк, а Вальтер с удивлением обнаружил, что все предметы вокруг стали вдруг расплываться, как в тумане.— Знаю, что она женщина незаурядная, натура исключительно тонкая и впечатлительная. Я догадываюсь также, что у нее было трудное детство. Мы оба с вами прошли через войну и знаем, что́ такое военное детство. Поэтому нужно оберегать ее и не спрашивать «обо всем». Она слишком молода, чтобы ее об этом спрашивать. Слишком молода...— повторил он и с грустью посмотрел на Вальтера. Он был уже изрядно навеселе.

— Пойдемте в бар,— предложил Вальтер.

— А фрау Лиза, то есть, извините, ваша супруга?

— Она разыщет нас. Не бойтесь. «Первый после бога» доставит ее в целости и сохранности.

Но как раз в этот момент оркестр перестал играть и Лиза села за столик. Капитан поклонился и ушел.

— Если вы будете так часто оставлять нас одних, нам придется поискать себе другую компанию,— шутливо пригрозил Бредли.

— Не возражаю,— с улыбкой отпарировала Лиза. Она раскраснелась после танца, глаза у нее блестели.

Вальтер почувствовал былую нежность к ней.

— Значит, вы разрешаете? — продолжал американец.

— Конечно.

— Прекрасно. На следующий танец я приглашу свою соседку. В конце концов, я каждый день говорю ей «Доброе утро» и «Спокойной ночи». Ведь это дает мне какое-то право... Как вы думаете, мистер Кречмер?

Вальтер рассмеялся.

— С этим вопросом вам лучше обратиться к моей жене. Я не специалист в этой области.

Он тут же пожалел о своих неосторожных словах. Лицо Лизы, с застывшей улыбкой на губах, напомнило ему о вчерашней сцене в каюте. Как не ко времени пришлась его шутка! Ведь именно соседка Бредли, дама из сорок пятой каюты, была главной, хотя невольной и косвенной, причиной признания Лизы, роковые последствия которого она, несмотря на свое напускное веселье, конечно, сознавала. Вальтер попытался замять неудачную шутку, но было уже поздно. Бредли повернулся к Лизе:

— Фрау Кречмер! Как бы вы отнеслись, если бы мужчина, вроде меня, который каждый день говорит вам «Доброе утро» и «Спокойной ночи», если бы этот мужчина только по праву соседства однажды вечером, на балу, когда все веселятся...

— Не думаю, чтобы это было достаточным поводом.— Лиза даже не дала ему договорить, и ее слова прозвучали так сухо и неприязненно, что захмелевший Бредли сразу протрезвел.

— Кажется, я снова ляпнул какую-то глупость. Прошу прощения, мне очень неприятно. Я выпил несколько больше, чем нужно. Извините, пожалуйста...— И он поднялся.

— Да ничего страшного, сидите,— шутливо вмешался Вальтер, но Бредли не поддался на уговоры.

— Поищу в баре чего-нибудь отрезвляющего. Если у вас будет желание, приходите ко мне туда.

Он поклонился и направился в бар.

Лиза увидела, как в проходе он встретился с незнакомкой и демонстративно раскланялся, сделав при этом такое движение, будто хотел заговорить с ней. Но она прошла мимо, чуть кивнув головой, лишь какое-то подобие улыбки появилось на ее лице. Увидев эту улыбку, Лиза вдруг похолодела.

— Налей мне...— попросила она Вальтера.

— Не много ли ты пьешь?

— Не думаю.

— Это может тебе повредить. Вчера ты принимала бром.

— Верно. Ну... Ну, так что же мы будем делать?

— Вот видишь... Тебе уже скучно со мной. Может, зря мы отделались от Бредли?

— Мне он не нужен.

— Мне тоже. Он чересчур откровенно ухаживает за тобой.

Лиза только пожала плечами. Внезапно она почувствовала страшную усталость. Слишком дорого стоила ей эта маска беззаботной веселости, эта непрестанная борьба с тревогой, сжигавшей ее изнутри. Незнакомка из сорок пятой каюты все время находилась у нее перед глазами, и это было невыносимо. Лизе не надо было здесь оставаться, вернее, не надо было вообще приходить сюда. Но Вальтер сказал: «Будем жить так, будто ничего не было»,— и ей пришлось пойти. Она пила для храбрости, пила больше, чем следовало, чтобы выдержать этот ужасный бал. А время — еще одно орудие пытки — тянулось удивительно медленно. Она взглянула на часы, но вид стрелок не принес ей облегчения.

— Еще рано,— сказал Вальтер.— Бал кончится часа в два ночи.

— Разве мы обязаны оставаться до конца?..

— Это зависит от тебя. Но почему бы нам не остаться? Выглядишь ты великолепно. Впрочем, в этом нет ничего удивительного.— Он рассмеялся.— Ты проспала почти весь день.

Оркестр заиграл слоуфокс, и они пошли танцевать. Это была одна из тех популярных песенок, в которых слова и музыка одинаково банальны. Но известная французская певица, которая села на пароход в Гавре, исполняла эту песенку так, что безвкусные слова о «чуде вечно молодой любви» звучали искренне и свежо, как волнующее открытие. Танцующие старались держаться поближе к эстраде, чтобы лучше слышать солистку. И неожиданно Лиза увидела незнакомку почти рядом, совсем близко. Она тоже танцевала, и это поразило Лизу, показалось странным, почти невозможным. Ее лицо, видневшееся над плечом партнера, было в эту минуту мертвым, словно маска. Как на том лагерном концерте, когда исполняли «Тангейзера», а Марта смотрела на Тадеуша, стоявшего за окном. Только глаза жили на этом лице, пронзительно красноречивые глаза, и взгляд их был устремлен на Лизу. Лиза попыталась выдержать этот взгляд, но не смогла и отвернулась.

— Лизхен,— остановил ее Вальтер,— кто из нас ведет — ты или я?

Поворот, и та исчезла на минуту. А потом снова появилась, но уже с другой стороны. Опять поворот, еще один, ее лицо по-прежнему маячило перед Лизой, а глаза не отрывались от Лизиного лица. Наконец и Вальтер это заметил.

— У тебя, оказывается, есть телепатические способности...

— Ты о чем? — через силу спросила Лиза.

— О той женщине,— ответил он тихо,— которая показалась тебе знакомой. Вчера ты приглядывалась к ней, а сегодня она все время смотрит на тебя.

Лиза оглянулась, словно желая проверить слова мужа.

— Эта... англичанка?

— Вот именно. Разве ты не заметила, что она наблюдает за тобой?

— Нет... не заметила.

— Ну, может быть, мне показалось.

Молча они закончили танец, и Лиза предложила пойти в бар.

— Ты больше не хочешь танцевать? Ведь это только начало.

— Нет, почему же, еще потанцуем, но сейчас пойдем выпьем чего-нибудь.

— Хорошо. Но там мы встретим Бредли.

Они протиснулись сквозь плотную толпу танцующих. Незнакомка и ее партнер, очевидно, продолжали танцевать. Лиза облегченно вздохнула. Три девушки, смеясь, подбежали к Вальтеру и замкнули круг. Лиза помахала ему рукой и, не дожидаясь, пошла в бар. Кто-то окликнул ее: «Мадам...» Это был стюард, сообщивший ей сведения о незнакомке.

— Не хотите ли мазаграна? — спросил он, а потом быстро и тихо добавил: — Моя информация оказалась не совсем точной, мадам... Пассажирка из сорок пятой каюты — британская подданная, но... не англичанка.

— Не англичанка...— повторила Лиза еле слышно — А... кто же она?

— Видимо, полька,— ответил стюард, подавая ей стакан.— Она читает польские книги. Горничная видела у нее в каюте...

Должно быть, стакан он подал неловко — раздался звон стекла, и метрдотель поспешил к стюарду с нагоняем. Лиза повернулась и быстро пошла к выходу. Уже в дверях кто-то взял ее за локоть. Она резко вырвала руку.

— Это я,— засмеялся Вальтер.— Куда ты бежишь?

— Я хочу отдохнуть...

— Но, Лизхен, мы же собирались идти в бар.

— А теперь я раздумала.

— Раздумала? Но почему?

— Я слишком много выпила.

— Ну, детка, в баре мы найдем что-нибудь прохладительное. Танцы только начинаются.

— Нет, Вальтер... ты оставайся, если хочешь...

Пока они разговаривали, Лиза все время видела ее, ту женщину. Она шла за Вальтером, а когда он остановился, тоже остановилась неподалеку. Теперь она смотрела на них — нет, на нее. А Вальтер как бы нарочно задерживал Лизу — точно хотел, чтобы незнакомка могла получше ее рассмотреть.

— Не задерживай меня, Вальтер,— сказала Лиза, едва владея собой.— Я немного отдохну, а потом вернусь.

— Ты портишь мне все удовольствие.— В его голосе звучала обида.

Как объяснить ему? Та направлялась к ним, в упор глядя на Лизу. Еще минута...

— Ради бога, Вальтер, пусти меня! — Голос ее истерически задрожал.— Иначе может произойти нечто ужасное!

Он отпустил ее руку, испуганный выражением ее лица, инстинктивно оглянулся, ища причину странного поведения жены, увидел незнакомку, еще раз взглянул на Лизу и больше не колебался.

— Идем.

Не говоря ни слова, он повел ее в каюту. По коридорам сновали парочки, сюда доносились приглушенные звуки музыки, отголоски ве-

селья. Войдя в каюту, Лиза почти упала в кресло. Вальтер некоторое время молча стоял перед ней, потом глухо произнес:

— Значит, я знаю не все... еще не все...

— Возвращайся на бал,— чуть слышно сказала она,— жалко терять вечер...

Вместо ответа он пододвинул стул, сел рядом с женой, взял в свои руки обе ее маленькие ладони.

— Выслушай меня, Лиза. Если есть что-то такое, что я мог бы узнать... из других источников... будет лучше, если я узнаю это от тебя.

Она молчала. Тогда он повторил более настойчиво:

— Будет плохо, очень плохо, если кто-то другой... откроет мне глаза. Ведь ты этого боишься, правда? — Вальтер повысил голос.

Лиза зажала уши.

— Не кричи! — потребовала она.— Не кричи!

Он схватил ее за плечи.

— Успокойся! Немедленно! — приказал он, бледнея от волнения; потом снова сел рядом с ней и спокойным, хотя и напряженным голосом продолжал:

— Послушай, Лиза. Перестань бояться и постарайся все обдумать. Если есть что-то серьезное, я должен это знать. Хотя бы для того, чтобы меня не застигли врасплох, когда... чтобы иметь возможность защищаться... И защищать тебя. Тебя тоже. Понимаешь? Одно мне уже ясно: она тебя знает, эта англичанка. Но я не понимаю, почему это тебя так пугает...

— Она не англичанка,— прошептала Лиза.

— Не англичанка? А кто же?

— Полька.

— Ах, вот как... она тоже была... там?

Лиза отрицательно покачала головой.

— Так что же тогда? — допытывался он, отирая пот со лба.— Что? Ведь та... Марта... погибла?

Молчание.

— Разве ты не говорила?..

Лиза резко подняла голову, Вальтер увидел ее лицо, ожесточенное, решительное.

— Нет, ничего подобного я не говорила,— произнесла она холодно.— Когда я уезжала из Освенцима, она была жива.— И внезапно закричала, прижимая к лицу кулаки.— Понимаешь? Жива! Жива!

Вальтер отодвинул стул. Снова, как и накануне, он подошел к иллюминатору, ища чего-то взглядом, хотя за стеклом была ночь и слышалось только завывание ветра. Он искал, лихорадочно искал ответа. Потом стремительно повернулся к Лизе.

— Ты была добра! — воскликнул он почти умоляюще.— Была добра к ней! Так чего же?..— Он увидел съежившуюся в кресле фигурку жены, опущенную голову и что-то пугающе отчужденное во всем ее облике.— Разве что...— задумчиво произнес он,— разве что этот бункер, куда...

— Нет! Ее поместили туда не по моей вине. Я понятия не имела, за что ее взяли. Может быть, она прибыла в лагерь с приговором? Правда, уже за несколько дней до этого я заметила, что с ней творится что-то неладное, но вытянуть из нее что-либо было невозможно. Она не слышала, когда к ней обращались, не отвечала на вопросы, вела себя, как помешанная. Не считаясь с лагерными порядками, она часами сидела перед бараком, уставившись в одну точку, словно не могла оторвать взгляд от видневшихся на горизонте гор. Вероятно, она не спала по ночам, потому что глаза у нее покраснели, а зрачки расширились, как у наркоманов. Я заметила также, что другие заключенные стараются не

шуметь, проходя мимо нее, а однажды увидела, как они уговаривали ее поесть.

Я вызвала капо.

«Что происходит с Мартой?»

«Не знаю. Она... ничего не ест. Совершенно ничего».

Все выяснилось в тот же день. Под вечер на склад явился Грабнер, начальник политического отдела. То, что Марта встала при его появлении, меня не удивило. Таков был устав. Мне и в голову не пришло, что его приход каким-то образом связан с ней. А она знала. Не успел Грабнер подойти к ней, чтобы проверить номер, как она направилась к дверям. Молча, даже не взглянув в мою сторону, будто меня вообще не было в комнате. Можно подумать, что она с величайшим нетерпением ждала этого момента. А ведь все заключенные прекрасно знали, что такое политический отдел. Я задержала на минуту Грабнера, с которым была в хороших отношениях:

«Что она натворила?»

Он загоготал в ответ:

«А вот это мы и выясним».

Мне стало как-то не по себе, но вместе с тем я облегченно вздохнула:

«Значит... особых причин нет?»

«Да? Причины всегда найдутся,— Грабнер наклонился ко мне.— У нее здесь был жених. Он сидит, ну и ее нужно... Чтобы одному не обидно было, что другой гуляет на свободе, и... наоборот». Он снова расхохотался.

«Давно?» — спросила я.

«Что... давно?»

«Давно он сидит в бункере»?

«Несколько дней».

«Он выдал ее?»

«Э-э-э...— протянул гестаповец.— У нас есть документы. Она из-за него попала в лагерь. Как его невеста».

Уже несколько дней... Так вот в чем было дело. Мне все стало ясно. Она узнала об этом и потому отказывалась от пищи. Может быть, хотела умереть от голода? Потеряла надежду? Так, сразу? Значит, ей была известна причина ареста, если она горевала о нем, как о покойнике. Что с ним случилось? Жив ли он еще? Что будет с ней?.. И я пошла в политический отдел, чтобы выяснить все эти вопросы... И выяснила. «Ее постигнет участь всех наших врагов»,— сказал тогда Грабнер. Судьба ее была решена, и я ничего не могла сделать. Разве она не была врагом Германии? В лагере раскрыли подпольную организацию, и Тадеуш был к ней причастен. Теперь ты видишь, Вальтер, как они были опасны? Даже там, лишенные свободы, они еще вредили нам, замышляя заговоры... А она знала, безусловно знала о его деятельности, даже если сама и не принимала в ней участия. Теперь все было кончено. Моя стажировка в лагере тоже подходила к концу, оставалось еще недели три, не больше, и я решила просить администрацию лагеря, чтобы меня откомандировали раньше срока. Никто не чинил мне препятствий, да и сестра мне очень помогла. Нужно было сдать дела, команду, и... я была свободна.

— А она? — спросил Вальтер.— Ее ты больше не видела?

— Видела...— ответила Лиза после томительно долгой паузы.— Видела. И она... меня видела.

— Значит, ее не расстреляли?

— Это был первый случай, когда пощадили женщину.

— Значит, она вышла оттуда?

— Да...— еле слышно подтвердила Лиза.— Вышла. Вышла только

для того, наверно, чтобы посмотреть на меня еще раз... чтобы увидеть меня...

Она снова прижала к лицу свои маленькие, всегда умилявшие его руки, и ему стало жаль ее, так жаль, что он готов был сказать ей еще раз: «Забудем прошлое, ведь тогда была война». Готов был так сказать, но не мог. Предчувствие чего-то ужасного не покидало Вальтера с той минуты, как Лиза сказала: «Я знаю ее оттуда»,— теперь он должен посмотреть правде в глаза, хочет он этого или нет. И Вальтер задал вопрос, который не мог не задать.

— Чтобы тебя увидеть?.. Где?

Молчание Лизы подтверждало самые худшие его предположения, он потребовал ответа:

— Лиза, я же просил тебя: скажи мне всю правду, скажи сама. Лучше, чтобы я узнал все от тебя, чем от кого-нибудь другого. Чем от нее. Потому что теперь и я начинаю верить, что это... она...

Лиза не выдержала:

— Боже мой! Да ведь я спасла ее от верной смерти. Благодаря тому что присутствовала при *этом*.

— При чем... *при этом?* — казалось, он с огромным усилием произнес эти слова, но Лиза, не обращая внимания на его вопрос, продолжала:

— Она наверняка попала бы в газовую камеру. После бункера она была едва жива. Надзирательница Борман с удовольствием отправила бы ее в крематорий. Эсэсовцы ненавидели бывших «проминентов» больше, чем сами заключенные. И если бы я не участвовала в *этом*....— Лиза говорила все громче, все яростнее, сама того не замечая, не замечая искаженного ужасом лица Вальтера,— если бы я не присутствовала тогда при *этом*, ее бы не было сейчас здесь. Никогда! *Никогда!*

— При чем... *при этом?* — повторил Вальтер.

Она взглянула на мужа, усилием воли взяла себя в руки и продолжала уже спокойнее:

— Я никогда не имела ничего общего с тем, что закрепило за Освенцимом название лагеря уничтожения. Я не причастна к массовым казням.

За несколько дней до моего отъезда «старшая» сказала мне: «Анни, завтра селекция *, ты должна принять в ней участие». Я почувствовала, что бледнею. Должно быть, она заметила это, потому что сухо добавила: «Справедливость требует, чтобы все мы несли одинаковую ответственность». Я поняла. Мы снова потерпели поражение на Востоке и теперь важно было сделать всех в равной мере виновными. Отказаться от участия в «селекции»? Говорят, были такие. Они кончали жизнь самоубийством или сами превращались в узников концлагерей, как мой предшественник, Эффингер. Я не была способна ни на первое, ни на второе. На роль героини я не годилась. А если Германия будет великой державой... «Кто сегодня осудит Рим за разрушение Карфагена? — любила повторять «старшая».— Победителей не судят».

Было воскресенье. Наверно, во многих воспоминаниях бывших заключенных описан этот день. С самого утра весь лагерь выстроился на перекличку. На так называемый общий сбор. Кухня, разумеется, не работала, еду должны были раздавать только вечером. Шел дождь, и женщины, простояв несколько часов, совсем посинели. Мы тоже замерли на своих местах, ожидая приказа из штаба коменданта лагеря. Только под вечер бараки были распределены между надзирательницами. Задача: очистить лагерь от «музулманок». «Но как же их узнать? — спросила я.— Ведь они совершенно здоровы на вид, только очень истощены». Присутствовавшие при этом эсэсовцы расхохотались. «А вы устройте

* Периодические осмотры заключенных, во время которых эсэсовцы отбирали ослабевших и больных для умерщвления в газовых камерах.

олимпиаду, фрау Франц,— посоветовал Таубе,— как римские императоры. Кто победит, останется в живых, остальных — в печку». Мне вместе с надзирательницей Борман достался седьмой барак, тот самый, из которого я, приехав в Освенцим, набирала свою команду. Тогда, указывая на ту или другую заключенную, я давала им работу под крышей, надежду на жизнь. Теперь... теперь тот же жест означал смерть. Самую страшную из всех возможных смертей. Не помню, как я шла между рядами. Из первого ряда я не выбрала никого. Из второго тоже. Их лица мелькали передо мной, расплывались, как в тумане, я не могла поднять руку, указать на кого-либо. Когда я приблизилась к концу второго ряда, Борман не выдержала: «Надзирательница Франц! Вы пропустили этот труп!» — и она вытолкнула из ряда женщину с распухшими, как бревна, ногами. Я чувствовала, что вот-вот потеряю сознание, ужас охватил меня. Кажется, я подумала тогда: «Таубе прав, надо кого проверить»,— а потом услышала свой голос: «Вся шеренга — бегом! По улице, через этот ров!» Они из последних сил бросились вперед. Упавших сразу же оттаскивали капо и старосты бараков, толпившиеся вокруг. Я с благодарностью подумала о Таубе. *Не я* отбирала их, не от движения моей руки зависели их жизнь или смерть.

«Следующая шеренга»,— скомандовала я и в тот же момент... увидела Марту. Мне показалось, что я ошиблась, что это галлюцинация. Ведь она в бункере. И все-таки это была она, Марта. Она смотрела на меня, да, я с самого начала чувствовала на себе чей-то взгляд. Мне казалось, что это все они смотрят на меня, а на самом деле это был ее взгляд. Я увидела в нем отвращение, ненависть, презрение и... торжество. Да-да. Она торжествовала, как будто исполнилось ее самое заветное желание. Я остановилась перед ней. Ты подумай, Вальтер. Ведь я имела право, у меня были все основания поступить так. За ее неблагодарность, за то, что она ненавидела меня — меня, которая... Она смотрела нагло, оскорбительно, выжидающе, как бы требуя, чтобы я действовала. Знаешь, чего она хотела? Чтобы я указала на нее. У меня тогда мелькнула мысль, что ей не терпится увидеть мой жест, потому что она не уверена, сделаю я это или нет. Можешь себе представить, чего стоило мне сказать: «Идите на склад и приступайте к работе!» Ты подумай...

— Ты совершила ошибку,— холодно перебил ее Вальтер.— Если бы не это, ты избежала бы сейчас всей этой канители. Жила бы себе припеваючи за спиной любящего мужа. Или в худшем случае, если бы тебе встретился кто-нибудь оттуда, могла бы сыграть трогательную роль сентиментальной эсэсовки, которая делилась своим завтраком с обреченной на смерть заключенной...

— Вальтер! — крикнула она.— Как ты смеешь!— Но тут же овладела собой: — Ты прав. Конечно, я совершила ошибку. Я имела право так поступить. Да-да. Это значило бы всего-навсего пойти навстречу ее желанию. Она этого добивалась. Я долгое время безуспешно пыталась доказать ей, что не все эсэсовцы одинаковы, что есть разница между мной и остальными. Она не хотела этого видеть. Мне следовало уступить. Быть такой, какой она меня считала. Я даже обязана была сделать это. Ведь она оказалась нашим врагом, заклятым врагом, тогда у меня уже не оставалось на этот счет сомнений... А вскоре я получила еще одно доказательство. Я спасла ее как бы для того, чтобы окончательно убедиться в этом, до конца прочувствовать свое поражение.

Я спасла ее. Ты подумай, она даже не поблагодарила меня, не соизволила произнести простое «Спасибо». И все же я взяла ее в свою команду. Почему? Конечно, уже не в силу той симпатии, которую питала к ней прежде. Я сама не могла разобраться, в чем же дело. Иногда я жалела ее, как никто никогда не жалел меня. В одну из таких минут я сказала ей: «Бедный Тадеуш»,— но она сделала вид, что не слышит.

Это был уже не человек, а мертвая кукла, которую ничто не могло расшевелить. Я как-то увидела у нее письмо из дому. Неделю оно пролежало нераспечатанным, и, если бы заключенных не заставляли отвечать на письма, Марта так и не раскрыла бы его.

А потом произошел случай, когда я особенно ясно поняла, что внутри у нее все умерло. У нас в лагере появился новый начальник. Его фамилия была Шульц, но все — и заключенные и эсэсовцы — звали его Крысоловом. Крысы были его страстью. Он устраивал даже такую забаву: заставлял весь барак затыкать норы и гонять крыс, а сам становился в дверях и стрелял по убегающим животным. Потом брал за хвост несколько штук и выходил на улицу. Там он подзывал первую попавшуюся заключенную и вступал с ней в непринужденную беседу, словно невзначай размахивая при этом своей добычей. Беседа кончалась всегда одинаково: Шульц бросал крыс в лицо заключенной. У женщин начиналась истерика, одна из них даже сошла с ума. Позднее, когда Шульца перевели в мужской лагерь, жизнь потеряла для него всякую прелесть: мужчины были равнодушны к его фокусам, говорят, иногда они просто съедали крыс.

Но в женском лагере его боялись больше, чем Таубе. Марта, узнав, что Крысолов вертится поблизости, вся зеленела. Она боялась до безумия. Так же, впрочем, как и я. И вот...

Однажды после работы, зайдя в барак, я услышала звуки губной гармоники. Какая-то женщина исполняла популярную песенку «Розамунда». Меня поразило, что она играет так исступленно, с остервенением.

«Им весело, я вижу»,— обратилась я к старосте барака.

«Ох, фрау надзирательница,— оправдывалась староста,— я сама заставляю ее играть, когда крысы начинают свои пляски».

Не знаю, как я вынесла это зрелище. Во всем мире, наверно, нет крыс такой величины, как те, освенцимские. На маленьком свободном пространстве у печки их было штук двадцать. Они резвились, как котята, не обращая ни на кого внимания, ничего не пугаясь. Они катали, отталкивали и бросали друг дружке, словно мяч, небольшой рулончик бумаги. Прыгали, становились на задние лапы, кружились. И все под аккомпанемент этой бешеной игры на гармонике. Мне показалось на мгновение, что они пляшут именно потому, что тут играют, и я истерически закричала: «Тише!» Гармоника умолкла, и тогда я услышала крысиный визг. Мне сделалось дурно.

«Поэтому-то она и играет»,— сказала староста, провожая меня к дверям.

Выходя, я заметила Марту. Она сидела у печки, и эта чудовищная стая прыгала у самых ее ног. Она сидела неподвижно и смотрела. Уже не боялась крыс. Не обращала на них внимания... Была к ним так же безразлична, как трупы на больничном дворе.

Не знаю, как я могла находиться в одном помещении с ней и почему все еще терпела ее присутствие. Ведь от нее можно было избавиться в любую минуту. Я знала, что она ненавидит меня, что я ей так же противна, как она мне. И все же я не делала этого. Можно подумать, что я боялась ее и старалась не упускать из виду, чтобы она не задумала чего-нибудь против меня, не застигла врасплох. Но это было не так, хотя то, что произошло потом, как будто и подтверждает такие предположения. Нет, дело было не в этом — ведь если б я боялась, я могла бы просто оставить ее и уехать. Мой отъезд лишь немного затянулся, потому что в Берлине не успели все оформить. Но я собиралась уезжать, и она должна была ехать со мной. Да. Ее уже оформили, внесли в список вместе с еще несколькими заключенными из вспомогательной службы. Я сообщила ей об этом, как о вопросе решенном, да так оно и было на самом деле. Мне и в голову не пришло спрашивать ее согласия. Она ответила:

«Слушаюсь»,— но я отнюдь не была уверена, что она послушается. Я тогда ожидала всяких сюрпризов. Каким-то непонятным образом, совершенно незаметно, многие должности вспомогательной службы постепенно захватили политические заключенные, и мы внезапно обнаружили, что они имеют в лагере некоторую власть. Им даже удавалось саботировать решения коменданта лагеря. Я подозревала, что в данном случае они нажмут на все пружины, чтобы сорвать мои планы. Разве что Марта сама захочет ехать. Но на нее я не имела никакого влияния.

Однажды к нам в барак ворвался Шульц. Когда он велел всем построиться, женщин охватила паника. Я наблюдала за ним из своей комнаты. Его я терпеть не могла и намерена была осадить, если бы он начал свои обычные фокусы. Но на этот раз Шульц пришел за другим: он искал драгоценности, медальоны, четки. С остервенением срывал он с женщин чудом раздобытые медальоны. Я не вмешивалась. Это было не мое дело. Меня только поразила внезапная бледность Марты. И вдруг я вспомнила: *его* медальон. Он упал на дно сумки Шульца вместе с остальными. Я вышла из барака вслед за Шульцем и попросила разрешения порыться в его добыче.

«Подарите мне эту бляшку».

Он засмеялся и махнул рукой. Лицо Христа с *его* чертами. «Жаль,— подумала я,— жаль. Я отдам ей. Да. Пусть хоть это у нее останется». Я направилась к бараку, но едва прошла несколько шагов, как услышала крик Шульца:

«Ага, попались, писари проклятые!»

Я оглянулась. Шульц обыскивал двух заключенных. Они стояли навытяжку, с непокрытыми головами, они говорили что-то — спокойно, без всякого страха. Я узнала их: это были те самые из конторы — капо Вернер и писарь поляк, которых я считала причастными к истории с собакой. Я ждала, не найдет ли у них Шульц чего-нибудь, но где там! Он только приходил во все большую ярость.

«Вон отсюда! — заорал он.— Вот всыплю каждому по двадцать пять, тогда забудете про баб!»

Меня смешил этот Шульц, все еще не понимавший, что такое Освенцим. Он не знал, например, что некоторые заключенные имеют право ходить без охраны и им ничего нельзя сделать, пока не поймаешь их с поличным.

Я вошла в контору, но Марты там не оказалось. Она была в соседнем бараке, на сортировке вещей. Я послала за ней.

«Отдам ей это,— думала я.— Просто выну и положу на стол...» Раздались шаги. Я взяла в руки медальон, но вместо Марты появилась капо.

«Фрау надзирательница, я нашла интересную вещь».— И она протянула мне тщательно сложенный листок бумаги.

«Что это?»

«Думаю, что секретная записка».

Листок был запачкан и потерт на сгибах.

«Разверните».

Капо не ошиблась. Листок был исписан мелким, убористым почерком, фиолетовым химическим карандашом.

«Написано по-польски»,— сказала капо.

Меня вдруг осенило:

«Где вы это нашли?»

«На дороге между бараками, ближе к бараку номер два».

«Покажите где».

Мы вышли. Да, совершенно точно. Именно здесь Шульц обыскивал тех двоих. Со стороны барака шла Марта. Я окликнула ее, и мы вошли в контору.

«Переведите это». Я протянула ей записку.

Марта нахмурила брови. Почерк был неразборчивый, и она читала с трудом, я бы сказала — нарочито с трудом, но читала. И переводила. Сначала запинаясь, а потом совсем бойко. Это было любовное письмо, красивое, хотя слишком поэтичное. Девушка писала о какой-то горе, фиолетовой от вереска, на которую они взойдут оба и которая будет свидетелем их любви, когда любовь станет возможной.

Должна сказать, что это письмо не возбудило во мне ничего, кроме любопытства. Хотелось узнать, кто из моих девушек мог написать такое. Я созвала команду.

«Марта, переведите».

Она вышла вперед.

«Найдена записка. Вот она.— Я пустила листок по рядам.— Пусть та, которая ее написала, признается».

Листок обошел ряды и вернулся. Заключенные молчали.

«Письмо глупое, но безобидное. Если виновница признается сама, я не напишу рапорта. Если же она будет ждать, пока ей в этом помогут, я ее отправлю в карцер. Если виновница не найдется, в карцер пойдет вся команда. Даю вам сутки на размышление... и выявление виновной».

Когда сутки были на исходе, Марта обратилась ко мне и попросила разрешения поговорить. Я обрадовалась, уверенная. что она знает автора письма и решила назвать его, чтобы спасти команду.

«Давно пора,— сказала я.— Через час было бы уже поздно».

Она как-то странно поглядела на меня.

«Я... пришла просить вас...»

«Просить?»

«Да. Чтобы вы сами назначили нам наказание».

«Как это понять?»

«Мы просим, чтобы вы не писали рапорта».

«Команда просит? Команде известно мое решение».

«Я прошу, фрау надзирательница».

Это было уже слишком. Я чувствовала, как у меня холодеют щеки.

«Вы совершенно забываетесь,— сказала я,— совершенно... Кто вы такая, чтобы обращаться ко мне с личными просьбами? Вы что, свободный человек?»

Она побледнела и ответила:

«Фрау надзирательница, свободен тот, кому нечего терять. Рабом делает человека жажда жизни...»

— Любопытно...— перебил Вальтер.— Сколько ей было лет?

— Меньше двадцати.

— Черт возьми! Она все же кое-чем обязана нам, немцам. Такая философия в ее возрасте...

— Я вспомнила тогда про медальон.— продолжала Лиза.— Он лежал у меня в кармане, и каждый раз, доставая платок, я касалась его рукой. Но нет, Марта не заслуживала того, чтобы получить его обратно. Я прекратила наш философский спор.

«Рапорт будет подан. Если завтра до одиннадцати утра виновница не найдется, вся команда понесет наказание».

Я еще не знала тогда, насколько Марта заслуживала это наказание. И не узнала бы никогда, если бы не случай... В тот же день, поздно вечером, ко мне прибежали моя сестра Хассе и надзирательница Борман. Они были вне себя.

«Анни,— сказала Хассе,— опять в этой идиотской передаче названы наши фамилии».

«В какой передаче?»

«Вы не знаете? — прохрипела Борман.— «Ад Европы».

Их волнение не передалось мне, я испытывала скорее любопытство.

«А... в какой связи?» — спросила я.

Борман взглянула на меня, как на полоумную.

«В связи с последней селекцией, надзирательница Франц!»

Мне стало не по себе.

«...Они знают? Об этом?»

«Знают. Причем со всеми подробностями,— засмеялась Борман.— О вас тоже говорили».

«Обо мне?» Я не узнала собственного голоса.

«О вас, о вас! Хассе, скажи ей!»

«Да, Анни. Там была такая фраза: «В селекции впервые приняла участие начальница команды вещевого склада, надзирательница Анна-Лиза Франц». Это все мужчины! — закричала она.— Сколько раз я говорила: не пускать мужчин на территорию женского лагеря! За передачу записок карать бункером и виселицей!»

Я ничего не сказала, но, когда они ушли, достала из сумки ту записку. Медленно, с лупой в руке я изучала строку за строкой. И наконец увидела в самом низу, в последней строчке, слова: «Команда», «Анна-Лиза Франц». Я не верила своим глазам, но все же... там были и другие знакомые слова: «Хассе», «Борман», несколько раз повторялось слово «селекция» и цифры. Да, это было число отправленных в газовые камеры. Так вот что находилось у меня в руках! Но как же это попало в радиопередачу, если... И тут только я сообразила. Ведь это была копия! Одна из нескольких, разбросанных по лагерю в условленных местах. Эту подобрали те двое: капо Вернер и поляк. Заметив Шульца, они выбросили ее и втоптали в грязь. Но подлинник попал по назначению. Итак, я напала на след! Нет, это писала не она, но она знала содержание записки и сознательно обманула меня. Я напала на след, но... у меня больше не было сил. «Свободен тот, кому нечего терять». Так ведь она сказала. И она была свободна. Действительно свободна! Свободна, хотя и окружена проволокой, собаками, эсэсовцами! Если я передам дело в гестапо, мне придется пробыть в лагере бог весть сколько времени, по меньшей мере до окончания следствия, а я была сыта, сыта всем по горло. Кроме того, это могло навлечь неприятности и на меня. Марта была «моей любимицей». Записка побывала в моей команде. Моя команда была связана с подпольной организацией лагеря. А ведь и мой и ее отъезд был уже оформлен. Я просто не в силах была раскрывать эту историю и расхлебывать всю кашу.

С каким отвращением ехала я на следующий день в лагерь! Мне предстояло решить вопрос о команде и еще раз потягаться с Мартой. Почему я чувствовала себя такой беспомощной? Ведь все доказательства были у меня в руках.

В одиннадцатом часу прибежала посыльная от Марии Мандель.

«Старшая надзирательница просит вас зайти. Немедленно».

Я ждала этого вызова. Поданный мною рапорт обязательно должен был ее заинтересовать. Целая команда? Это случалось не часто. Но «старшая» сказала только:

«Я подписала ваш рапорт. Этим делом займутся».

И немного погодя, просматривая стопку бумаг на столе, добавила:

«Вам перевели эту записку?»

«Конечно».

Она кивнула. Но ее вопрос и официальный тон испугали меня. В рапорте я написала: «Любовное письмо» и «упорно скрывают виновную». Подавая рапорт, я еще не знала подлинного содержания записки. Потом, узнав... Ну что же. Я испугалась ответственности. А вдруг все раскрылось? Старшая надзирательница продолжала листать бумаги, откладывая некоторые в сторону, и, казалось, сознательно избегала моего взгляда. Она держалась так, что я не отважилась ни о чем спросить. Однако мне удалось разглядеть на папке надпись «Вещевой склад», и я

еще больше испугалась. Я попросила разрешения выйти на минутку, не веря, что она меня выпустит, и почти удивилась, услышав в ответ: «Только, пожалуйста, не задерживайтесь». Я вышла, в уборной просмотрела еще раз записку и разорвала ее в клочья. Когда я вернулась, в кабинете у «старшей» сидели комендант лагеря и Труда Венигер, бледная и расстроенная.

«Вы знаете, о чем идет речь? — спросила «старшая».— О ребенке. Еврейский ребенок, которого спрятали в вашей команде, а затем тайком переправили в лагерь. Его до сих пор не нашли».

Я похолодела. Так вот в чем дело.

Я еще не рассказала тебе, Вальтер,— ты выбежал из каюты, и я не успела,— что из всех ужасов Освенцима самым чудовищным было умерщвление детей. Все остальное не шло с этим ни в какое сравнение. Даже то, что делали с детьми. Я, например, видела однажды, как на ручке грудного младенца вытравили номер. Я видела, как ребят отбирали у матерей. Это были польские и русские женщины. Из так называемых семейных эшелонов. Они так сжимали детей в своих объятиях, что ребенка приходилось вырывать силой. Да и не всегда это удавалось. Женщины вели себя, как обезумевшие животные, их вой разносился по лагерю еще много дней. А ведь их детям не грозила смерть, и они знали об этом. Ребят отправляли в детские дома, и матерям следовало бы радоваться. Освенцим, право же, не был местом для детей. Через месяц-другой они все равно погибли бы от клопов. Мы не могли справиться с клопами. У нас не было таких химикалий... Клопы буквально высасывали кровь из детей. Детские тельца были сплошь в пузырях. Пузыри разбухали, гноились... Но весь этот ужас, эти кошмарные сцены, когда детей отнимали у матерей — даже у старшей надзирательницы при этом выступали слезы на глазах,— не шли ни в какое сравнение с тем, что я видела каждый день по прибытии еврейских эшелонов...

Их было так много... Иные ничем не отличались от наших, немецких, малышей; у них были светлые, прямые волосы и голубые глаза. Я наблюдала за ними, когда они кувыркались на траве, играли в мяч, резвились. От них было трудно оторвать глаза, невозможно было слушать их визг, смех, крики, порою плач. Никто никогда не узнает о нас всей правды, Вальтер. Разве можешь ты понять, что я чувствовала, глядя на этих детей? К счастью, этого не понимал никто. Разве только она. И поэтому она позволила себе...

В тот день... Это было воскресенье. Яркое солнце и зелень. Березовая роща за крематориями была так хороша... У ворот женского лагеря оркестр играл песенку. Ту самую песенку, Вальтер, что вчера пели в баре. Мы с Мартой стояли рядом — тогда нас еще не разделяла такая смертельная ненависть — и смотрели на людей, шедших вдоль железнодорожного полотна. Прибыл новый эшелон. Люди шли спокойно и с любопытством озирались по сторонам. Некоторые насвистывали мелодию, которую исполнял оркестр. А певица, чудесное колоратурное сопрано, выводила: «Хотел бы быть всегда влюбленным, и петь и пить, и петь и пить, и петь и пить». Транспорт был большой... и, казалось, сплошь состоял из матерей с детьми в возрасте до трех лет. И коляски... коляски... Они катились в сторону крематория, который уже дымился. А потом... потом прибывали к нам на склад... пустые. Их с силой толкали, и, прокатившись через весь барак, они останавливались в противоположном его конце. В тот день у эшелона дежурила надзирательница Венигер. Она тоже была на хорошем счету у начальства. Дружила со мной. Мы все трое — Труда, Марта и я — заметили эту коляску с опущенным верхом. Она промчалась мимо нас так же, как и остальные, но мы обратили на нее внимание.

«Там ребенок,— засмеялась Труда.— Кто-то протащил».

«Ерунда,— возразила я.— Разве они додумаются? Исключено».

Марта вскинула на меня глаза.

«Пойду посмотрю»,— сказала она.

Я кивнула.

«Бегите... потом доложите надзирательнице Венигер».

Труда пристально посмотрела на меня.

«Однако, ты ей доверяешь».

Мне стало как-то не по себе.

«Не больше, чем она того заслуживает,— ответила я небрежно.— Впрочем, поди проверь, ведь сейчас твое дежурство. Действуй!»

Она опять взглянула на меня, как бы колеблясь. И в эту минуту мы услышали... Нет, я услышала, я одна — слабый крик младенца. Но нет, мне лишь показалось. Ведь если бы крик раздался на самом деле, Труда тотчас помчалась бы... Она всегда проявляла усердие в службе. Между тем она не двигалась с места и продолжала смотреть на меня, словно неожиданно обнаружила во мне нечто любопытное. И только спустя несколько мгновений решила:

«Ладно, пойду посмотрю».

Но Марта уже возвращалась. Она шла к нам не спеша и несла что-то в руках, как несут ребенка. У меня перехватило дыхание.

«Глупые шутки зондеркоманды *»,— сказала Марта, протягивая мне сверток.

Я вздрогнула, а Труда расхохоталась. Это была кукла.

На какую-то долю секунды наши взгляды встретились: мой и ее, этого «номера», этой рабыни. Я почувствовала страх. Они способны на все! Теперь у меня не оставалось сомнений. Возможно, что кукла действительно лежала в коляске, но возможно также, что Марта взяла ее из груды детских игрушек, валявшихся неподалеку. А плач я слышала. Слышала! Еще не поздно было нарушить молчаливый сговор, благодаря которому она стоит здесь, держит куклу и лжет мне прямо в глаза, я могла еще проучить ее и доказать надзирательнице Венигер, что я доверяла Марте не больше, чем она того заслуживала. Но вместо этого я сказала:

«Вот, Труда, бери своего «ребенка». Он по праву твой».

И Труда, которой, конечно, следовало бы пройти на другой конец барака и проверить, со смехом развернула одеяльце, словно она только для того и приехала в Освенцим, чтобы играть в куклы.

... А теперь она хотела погубить меня. У меня не было выхода. Пришлось еще раз спасать Марту.

— Марту? — удивился Вальтер.— По-моему, ты прежде всего спасала себя.

— Спасая себя, я спасала и ее. И ребенка. И еще кое-кого. Марта, несомненно, знала, где ребенок. Если бы ее взяли в гестапо...

— Ты раньше не говорила о ребенке,— сказал Вальтер тихо.

— Я не успела. Да и вообще я только сейчас о нем вспомнила. Ведь там я не вела счет своим добрым делам или, вернее, нарушениям служебного долга. Нет у меня бухгалтерской книги, в которой записано то, что я сама уже успела забыть. Словом, я ответила старшей надзирательнице спокойно, как только могла:

«В моей команде? Это недоразумение».

«Нет.— Голос «старшей» бил, словно удар хлыста.— Надзирательница Венигер дежурила тогда и не отрицает, что это могло произойти».

«Если надзирательница Венигер допускает, что во время ее дежурства возможно было...»

«Вспомни! — перебила меня Труда.— Ведь и ты там была. Я сразу

---

* Особая команда заключенных, обслуживавшая крематорий.

сказала, что в той закрытой коляске лежит ребенок, а ты... а она принесла куклу, и ты...»

Она запиналась от волнения. Нельзя было медлить ни минуты.

«Нет. Не помню. Никакой закрытой коляски. Никакой куклы. В моем присутствии ничего такого не могло быть».

«Как ты смеешь!» — накинулась на меня Труда.

«Я полностью доверяю словам надзирательницы Франц,— обратилась «старшая» к коменданту лагеря.— Известно, что у нее в команде железная дисциплина».

И она протянула мне пачку бумаг, которые...

Лиза остановилась, не закончив фразы, но тут же продолжала:

— Комендант пожал мне руку...

Но Вальтер спросил:

— Что это были за бумаги?

Она ответила не сразу.

— Мой... рапорт. Она только подписала его.

— Ты сказала: пачку бумаг.

— Я оговорилась.

Он посмотрел на нее долгим взглядом.

— И одна эта бумажка,— сказал он медленно,— сразу перетянула чашу весов в твою пользу? Имела такое значение, что сразу отмела все подозрения? Или, может быть, я ошибаюсь? Может быть, не отмела?

Лиза не обратила внимания на необычную интонацию его голоса.

— Да,— сказала она.— Комендант лагеря поблагодарил меня за работу и пожелал успеха на новом месте. Но, как ты знаешь, я туда не поехала. Сестра, использовав свои связи в Берлине, добилась моего увольнения. Я ни на что больше не годилась. Освенцим доконал меня...

— Что же стало с этой... Венигер?

— Не знаю. Выходя из кабинета «старшей», я слышала, как она плакала. Мне было даже жаль ее. Но она сама была во всем виновата. Держала эту куклу у себя в комнате, на диване — я сама видела — и вдобавок всюду болтала, что получила ее вместо еврейского младенца и это очень выгодная сделка. А теперь хотела погубить и меня. Тем не менее все это было мне крайне неприятно, я испытывала почти отвращение к себе. Я просто не могла сидеть в конторе, видеть Марту с ее каменным лицом и стеклянными глазами. В одиннадцать часов я созвала команду.

«Даю вам последнюю возможность. Еще есть время взять рапорт обратно».

Молчание было ужасным. Одна из женщин не выдержала и расплакалась.

«Но мы действительно не знаем...»

«Ну что ж,— сказала я.— Не расходитесь. Через пятнадцать минут придет рапортфюрер.— Затем, взглянув на Марту, добавила, точь-в-точь как тогда, во время селекции: — Идите работать».

Она посмотрела мне прямо в глаза. Да. Хлестнула меня взглядом.

«Я состою в этой команде, фрау надзирательница»,— сказала она спокойно.

Мне вспомнилась записка.

«Это мы еще посмотрим».

Она осталась в первом ряду. В окно я видела, как пришел рапортфюрер, как он с издевкой что-то говорил заключенным. Я крикнула:

«Пришлите сюда на минутку моего писаря».

Марта вышла из рядов медленно, нехотя. Остановилась передо мной, выпрямившись, и ждала. Я собиралась с мыслями, напрягая все силы...

«Вы прекрасно знаете, что заслуживаете наказания во сто крат больше, чем вся команда. Гора, вереск и прочая чушь — это, может, и

было в ваших записках, а в той... было совсем другое. За это кончают в бункере, как вам известно. Вы ведь там уже однажды побывали. Выбирайте: либо бункер, либо уход из команды и выезд со мной. Даю вам пять минут на размышление».

Она не раздумывала ни секунды:

«Я состою в команде, фрау надзирательница».

И, не ожидая разрешения, повернулась и ушла. Через минуту она уже шагала в первом ряду. Я опустила руку в карман за носовым платком и нащупала маленький холодный предмет. Он не был больше нужен... никому. Я швырнула его далеко, как можно дальше.

■

В каюте забрезжил рассвет. В ту ночь ни Лиза, ни Вальтер не могли заснуть. Они молчали последние несколько часов, каждый замкнувшись в своем одиночестве. Лиза видела, как Вальтер курил, как искал в темноте бутылку. «Опять коньяк»,— подумала она с испугом, но ничего не сказала. Она больше не могла говорить, могла только ждать. Ждать приговора. Веки у нее распухли и горели, она почти ощущала в темноте, как углубляются складки у рта, вваливаются щеки. «Уснуть бы»,— думала Лиза. Это было так просто — принять снотворное. Но она боялась. Боялась пошевелиться, чтобы Вальтер не произнес приговора сейчас же, боялась уснуть, чтобы во время сна не случилось чего-нибудь... Ей казалось, что, бодрствуя, она может как-то влиять на ход его мыслей. Через задвинутый иллюминатор просочился первый луч солнца, и Лиза увидела свое вечернее платье, брошенное на спинку кресла. Она изумилась: «Неужели это мое платье?» Ей казалось невероятным, что она, именно она, бывала на людях, в светском обществе, надевала вечернее платье.

■

Капитан был искренне огорчен.

— А я надеялся еще потанцевать с вашей супругой у нас на балу... Быть может, наш врач сумеет все-таки помочь ей?

— Мне не хочется рисковать. Однажды, во время такого же путешествия, при полном штиле жена заболела желтухой.

— Ну, конечно, конечно...— капитану были понятны опасения Вальтера.— Раз так... последний порт на этом полушарии — Лиссабон. А потом уже...

— Нельзя будет сказать: «Остановитесь, я выхожу»,— улыбнулся Вальтер.

— Вот именно.

— А вы не знаете, капитан, хотя бы приблизительно, когда вылетает самолет из Лиссабона и сколько это будет стоить? Видите ли... я еду на работу, и у меня пока нет текущего счета в заграничных банках. Мне выдали деньги на дорожные расходы, сумму, правда, довольно большую, но такая неожиданность...

— Я понимаю... Сейчас мы все точно выясним, чтобы вам не опасаться досадных неожиданностей.

— Вы исключительно любезны.

— Нисколько,— засмеялся капитан.— Просто наша пароходная компания пользуется доверием пассажиров, а это обязывает. Итак...— Капитан нашел в справочнике все нужные сведения. Самолет на Рио вылетает из Лиссабона через два дня. Значит, нужно считать расходы на гостиницу и питание на трое суток, ну и, разумеется, билет на самолет. Поскольку компания вернет господину Кречмеру часть стоимости пароходного билета супруги, то он потеряет около двухсот долларов.

— Да...— сказал Вальтер, подумав,— это мне, пожалуй, по карману, если только...

— Не будет никаких непредвиденных расходов?

— Вот-вот. Давайте сделаем так, капитан... Попробуем обменять наш номер...

— На одноместную каюту для вас?

— Именно.

— О, это очень легко. Мы сейчас дадим радиограмму и через полчаса получим ответ.

— Большое вам спасибо, капитан...

— Я рад, что смог вам хоть чем-то помочь. Кланяйтесь, пожалуйста супруге...

— Спасибо.

Вальтер вернулся в каюту.

Лиза стояла у иллюминатора так же, как он вчера, и не повернулась при его появлении. В лучах солнца ее волосы отливали светлым золотом. Она стояла неподвижно, глядя на море. И внезапно вздрогнула так сильно, что у Вальтера сжалось сердце. Он не знал причины ее испуга. Но вдруг все понял. Перед иллюминатором появилась собака. Та самая, которая уже однажды напугала Лизу. «Что за чертовщина,— подумал он,— какие воспоминания вызывает у нее эта собака?» В ту же минуту он осознал всю глубину совершившейся в нем перемены. Окружающая действительность, привычная и безопасная, как старый, давно обжитой дом, грозно изменила свой облик Каждая вещь, до сих пор заурядная и незаметная, внезапно обнаружила как бы свою, скрытую сущность, и Вальтер понял, что отныне он во всем будет искать эту сущность, этот двусмысленный и подозрительный подтекст.

— Капитан очень обеспокоен твоей болезнью,— сказал Вальтер.— Он хотел обязательно прислать врача.

Лиза повернулась к нему:

— Надеюсь, ты ему объяснил...

— Да. Я сообщил, что мы решились на крайнюю меру: пересесть на самолет.

— На самолет? — в глазах ее сверкнула надежда.

— Через несколько часов мы придем в Лиссабон,— продолжал Вальтер, избегая ее взгляда.— Я думаю, что разумнее всего будет сойти с парохода.

— Сойти? — Лиза оживилась.— Ну конечно же, Вальтер. И мы приедем быстрее.

— Ты... ты приедешь быстрее.

— Я? Что это значит? А ты?

— Разве не ясно? — удивился Вальтер.— Я останусь на пароходе.

— Один? Без меня? Я думала...

— Нам не хватило бы денег и...

— Одна? — повторила она.— Что же я там буду делать до твоего приезда?!

— Мы отправим из Лиссабона телеграмму твоей сестре. Она тебя встретит в Рио. Ты остановишься у нее... пока...

— Почему нам нельзя лететь вместе? Это неправда, что не хватит денег!

— Послушай, Лиза.— Он начал нервничать.— Прежде всего я хочу, чтобы ты вела себя спокойно.

— Ладно...— голос ее неожиданно стал холодным.— Итак, какова дальнейшая программа?

Он едва заметно вздохнул:

— Ты выходишь в Лиссабоне, ночуешь в гостинице, через два дня

садишься в самолет... а еще через два дня будешь в Рио. Там тебя встречает Хассе... твоя сестра.

Он остановился, но Лиза докончила деловым тоном:

— Я еду к ней и... остаюсь там,— она сделала паузу,— до твоего приезда?

Под ее упорным взглядом Вальтер смутился.

— Да,— ответил он неуверенно.

— Понимаю.

— Вот видишь.

— Я понимаю больше, чем ты думаешь.

Он ничего не ответил. Их взгляды встретились, но оба сразу же отвели глаза и одновременно потянулись за сигаретами. Лиза ждала, что Вальтер подаст ей зажигалку, но тот, как видно, забыл о долге вежливости. Он закурил сам и встал у иллюминатора спиной к Лизе. Лиза взяла зажигалку. Рука у нее дрожала.

— Меня удивляет одно,— сказала она, помолчав.— Как легко у тебя получилось все это.

— Что именно?

— Как быстро ты отказался даже от попытки что-либо спасти.

Он обернулся.

— Ты это так поняла? Напрасно. Я только предложил выход из нынешнего тупика. Не больше.

— А что потом?

— Это я еще успею обдумать. Знаю только, что любое решение — и «да» и «нет» — дастся мне нелегко.

Он впервые сказал вслух то, о чем она лишь догадывалась. Лиза пришла в отчаяние.

— Это ужасно. Еще вчера...

— Лиза...— перебил ее Вальтер.— Вчера я говорил: постараемся справиться с этим. Но сегодня... Положение все-таки изменилось.

— Я виновата сегодня не больше, чем вчера! Я вообще не виновата! Я была лишь...

— Хорошей надзирательницей. И честно выполняла свой патриотический долг.

— Я хотела быть хорошей немкой. Так же как ты хотел быть хорошем немцем.

Он посмотрел на нее с искренним изумлением.

— Ты не видишь никакой разницы?

— Нет! За четырнадцать лет ты ни разу не поинтересовался подробностями моей работы. А сейчас хочешь меня бросить! По причине, которая для тебя до сих пор вообще не существовала! Я не могу с этим примириться! Иначе... она оказалась бы права, говоря, что когда-нибудь и я пойму...

— Что? — Вальтер произнес это почти шепотом.

— Что свободен тот, кому нечего терять. Не заставляй меня убеждаться в этом! — Голос ее дрожал.— Это, только это было бы моим поражением! И ее настоящей победой! Не проигранная война, а... это!

— Лиза...— Вальтер был потрясен.— Ведь я еще ничего не решил. Я только сказал, что после всего случившегося жить вместе нам будет так же трудно, как... Моя жизненная программа...

— Твоя программа! — закричала она.— Почему ты молчал, когда мир принадлежал нам? Разве ты сидел в концлагере, как наши противники?! Разве ты протестовал против подлостей, которые творились?!.. Что ты делал согласно твоей программе?

Он сказал очень тихо:

— Разве быть человеком — так уж мало в эпоху, когда другие состязались в том, чтобы им не быть? Ты меня осудила.— Он улыбнул-

ся.— Смешно, что меня осудила именно ты, и лишь за то, что я не спрашивал о прошлом. А может быть, ты права? Да. Мы, безусловно, слишком мало спрашиваем. Но я любил тебя. Мог ли я хоть на минуту подумать, что твои руки производили се-лек-ци-ю?! Черт возьми! Слово-то какое! Селекция! — Помолчав, он добавил: — Ты упрекаешь меня именно за то, что я любил тебя.

Он сел в кресло и опустил голову. Лиза как-то сразу поникла.

— Меня заставили... Вальтер... Я не сумела быть героиней!

Не меняя позы, он ответил:

— Странно. Эти слова мне очень знакомы. Не говорил ли я нечто подобное мистеру Бредли? Действительно. Я не был одним из твоих узников, потому что говорил, как и ты: я не рожден героем. Так же, как и ты... Значит ли это, что я мог очутиться... рядом с тобой? В той же роли?

Тут Лиза потеряла самообладание и с плачем бросилась на диван.

— Вальтер,— повторяла она сквозь слезы,— Вальтер...

Он встал и двинулся к двери, словно намереваясь убежать. Но не ушел, а лишь сказал умоляюще:

— Лиза, не усложняй всего еще больше. Поверь, мне тоже тяжело. Я женился не на бывшей эсэсовке, а на хорошей немецкой девушке, немало выстрадавшей во время войны. Ты понимаешь? Это ужасно — так обмануться. А ведь могло получиться еще хуже. Я мог с таким же успехом встретить какую-нибудь Хассе или Ильзу Кох. Ведь не осталось никаких меток на руках, которые... производили селекцию. Эти руки могли меня обнимать. Черт возьми! Мне, можно сказать, еще повезло.

Она подбежала к нему:

— Мне не страшен ничей суд, кроме твоего. Ничей приговор — кроме твоего. Осуди меня, но останься со мной!

Вальтер отстранил ее:

— Лиза... Не требуй от меня приговора. Я не хочу быть твоим судьей.

— Ты уже стал им,— не сразу сказала она.

— Ошибаешься, Лиза. Еще ничего... уверяю тебя...

Она опять схватила его руку.

— Вальтер, не отталкивай меня!

— Не знаю...— сказал он устало, снова высвобождая руку.— Сейчас, во всяком случае, тебе придется сойти в Лиссабоне. Если ты не хочешь, чтобы эта женщина...

Внезапно успокоившись, Лиза перебила его:

— Хорошо. Я сойду. Я это делаю... исключительно... ради тебя. Ты ведь знаешь, мне ничто не угрожает.

■

Лиза принялась собирать вещи. Она методично укладывала платья и кофточки, тщательно просматривала все тумбочки и ящики. Куда-то запропастился целлофановый чехол для обуви. Лиза поискала его, держа туфли в руке. Нашла. Остались только мелочи на туалетном столике. Она стала собирать их, когда в дверь постучали и вошел стюард. Он был немного смущен.

— Простите, пожалуйста... Не хотелось бы, чтобы меня здесь увидели, я сегодня дежурю в туристском классе. Но у меня, как мне кажется, важные...

— Я вас слушаю...

Он понизил голос.

— Я узнал, что пассажирка из сорок пятой каюты выходит в Лиссабоне.

Лиза не смогла скрыть изумления.

— Как же так? Ведь вы говорили, что она совершает дальнее путешествие...

— Так оно и было. Но она решила сойти.

— Вы уверены?

— Абсолютно. Я слышал разговор за завтраком. Я хорошо знаю английский язык. Говорили, что дальше она полетит самолетом.

— Да...— сказала Лиза слабым голосом.— Но это могли быть лишь предположения.

— Простите. Я не пришел бы к вам с непроверенным сообщением: час назад она распорядилась относительно багажа. Она выходит в Лиссабоне.

■

Вальтер шагал по палубе от кормы к носу и обратно. Несколько раз он спрашивал у проходившего мимо офицера:

— Когда мы будем в Лиссабоне?

— Через два часа.

— Через час.

Наконец он уселся в холле.

— Кофе и папиросы,— сказал он стюарду.

Вальтер устал и даже здесь, в тени, у него болели глаза. Он снова надел темные очки.

В холле суета все усиливалась. Сновали пассажиры и обслуживающий персонал. Выносили чемоданы тех, кто высаживался в Лиссабоне. Чемоданы ставили неподалеку, и Вальтер волей-неволей поглядывал на них. Его внимание привлек изящный серый чемодан с аккуратно прикрепленной визитной карточкой. Фамилии он разглядеть не мог, зато заметил большой пароходный жетон с четким черным номером: сорок пять. С минуту он смотрел неподвижно, затем встал и подошел ближе. Миссис Марта... фамилия — одна из типичных английских фамилий — не запечатлелась в сознании Вальтера. Он смотрел, и в его глазах, за темными стеклами очков, двоилось, троилось, росло это имя: «Марта». Матрос, поставивший следующие чемоданы, спросил:

— Ваш багаж уже принесли? Вы тоже выходите в Лиссабоне?

Вальтер очнулся.

— Нет. Я просто рассматривал чемодан. Очень красивый. А... это все в Лиссабон?

— Да. Здесь многие выходят.

Вальтер пошел вдоль коридора. Сначала он шел быстро, но по мере приближения к каюте постепенно замедлял шаг. У двери остановился, словно обдумывая что-то. Взялся за дверную ручку, но не нажал на нее. Так в нерешительности постоял с минуту, затем резко повернулся и очень быстро, почти бегом двинулся обратно. Он вышел на палубу и присел на свернутом тросе.

Было холодно и ветрено, но Вальтер то и дело вытирал платком вспотевший лоб. Он сидел, погруженный в свои мысли, ничего не замечая вокруг.

— Вы простудитесь! — крикнул, проходя, какой-то офицер.

Вальтер поднялся, поблагодарил его улыбкой и медленно направился в каюту.

■

Лиза сидела в кресле и курила. На диване стоял раскрытый чемодан.

— Ты готова? — спросил он.

— Как видишь.

— Итак...— Вальтер сел и тоже закурил.— Нам осталось уточнить кое-какие детали. Ты вылетаешь из Лиссабона первым же рейсом...

— Не знаю,— сказала она как бы про себя.

Вальтер удивился:

— Чего ты не знаешь?

— Не знаю... сойду ли я на берег.

— Не знаешь? Как это? Ведь...

— Почему я, собственно, должна бежать?

— Мы, кажется, условились...

— Мне нечего бояться ее,— продолжала Лиза.

— Нечего бояться? Ты уже два дня только это и делаешь... Даже удивительно. В конце концов, сейчас не сорок пятый год, когда бывших эсэсовцев вылавливали, как бешеных собак.

— Если я и боялась, то из-за тебя.

— О! Вот новая версия. Значит, говоришь, из-за меня?

— Ты сам прекрасно знаешь...

— Допустим. Ну... а сейчас?

Она молчала. Вальтер взглянул на нее почти с любопытством:

— Понимаю. Ты хочешь сказать, что теперь уже не обязана заботиться обо мне? Да? Прекрасно. Это и меня освобождает. Стало быть... ты не выходишь в Лиссабоне?

Лиза поняла, что совершила ошибку. Голос ее задрожал:

— Вальтер... выслушай меня...

Он не слушал.

— В таком случае выхожу я. Еще не поздно.

Он снял с полки чемодан и начал быстро совать в него что попало.

— Вальтер! — Лиза подбежала и схватила его за руки.— Ты... не сделаешь этого! Это невозможно! Нет, нет!

Он молча решительно оттолкнул ее.

— Вальтер! Выслушай меня,— молила она в ужасе.— Я узнала одну вещь, которая меняет все.

— Что это значит?

— Мне не нужно от нее убегать. Она сама выходит в Лиссабоне! — сказала Лиза торжествующим тоном.

Вальтер хотел было ответить, но промолчал. Он отвернулся и посмотрел в иллюминатор.

— По-моему, это не меняет положения,— сказал он наконец.— Даже в той части, которую ты считаешь единственно важной. Она может из Лиссабона оповестить всех, весь мир: «Вновь назначенный представитель правительства ФРГ, доктор Вальтер Кречмер, со своей женой, бывшей эсэсовкой...» Такое сообщение может прибыть в Рио значительно раньше нас. Нам необходимо ехать врозь.

Лиза смотрела на него почти с состраданием:

— Что это тебе даст, кроме нашей разлуки?

— Запутает следы... Кроме того, если случится самое худшее — позволит опровергнуть ее сведения.

— В твоих рассуждениях есть одна ошибка: она не остается в Лиссабоне.

— Ведь ты сказала...

— Нет. Она продолжает путь... самолетом. Я думаю, что она постарается попасть на тот же самолет, на котором полетит... один из нас. И кто знает, может быть, для ее целей даже лучше, чтобы это оказался ты.

Вальтер снова повернулся к иллюминатору.

— Послушай, Вальтер,— ее голос опять звучал умоляюще.— Есть только один выход... Один для нас обоих: остаться на пароходе. После

Лиссабона будет спокойно... целых три недели. А там, если она даже попробует, ей придется сначала доказать, что я... это я... Она не докажет. Там — нет. А теперь она выходит... Мы спасены...

Он посмотрел на нее таким ледяным взглядом, что она побелела.

— Ты ничего не поняла,— сказал он вполголоса.— Ничего. Мы обречены! Независимо от того, что предпримет она.

Несколько мгновений они смотрели друг другу в глаза. Ее лицо постепенно застывало, словно гипсовая маска.

— Подумай,— сказала она тихо и внятно.— Хорошенько подумай...

Он сорвал с вешалки пальто и выбежал из каюты, не дав ей договорить. Пароход подходил к причалу.

■

Марту он нашел на боковой палубе. Она стояла, облокотившись о перила, и смотрела на берег. Она была здесь одна. Группа, в составе которой она путешествовала, поджидала ее в главном холле. Вальтер видел их всех. А она стояла одна, будто высматривала кого-то. Он тоже остановился и издали наблюдал за ней, даже не скрывая этого. Она несколько раз взглянула в его сторону, словно с немым вопросом. Вальтер шагнул к ней, но она уже отвернулась. С парохода спускали трап. Марта взглянула на часы и стала натягивать перчатки. Она делала это медленно и аккуратно, целиком поглощенная своим занятием. И тут внезапно на палубе появилась Лиза. Вальтер заметил ее, когда она уже прошла мимо. Лиза сразу увидела Марту, на мгновение заколебалась и решительно направилась к ней. Вальтер крикнул: «Лиза»,— но она не оглянулась. Обеспокоенный, он догнал ее.

— Ты куда?

— К ней.

— Ты сошла с ума!

— Я хочу получить свой долг,— сказала Лиза, не глядя на него.

— Что ты несешь? Какой долг?

— Долг благодарности. За то, что она пережила Освенцим.

В этот момент Марта взглянула на них с нескрываемым любопытством. Вальтер побледнел.

— Сейчас же вернись в каюту.

В ответ Лиза только рассмеялась.

Он схватил ее за плечо:

— Ты слышишь?

Она не обращала на него внимания и в упор смотрела на Марту напряженным, полубезумным взглядом. Вальтер испугался не на шутку.

— Чего ты хочешь?

Она ответила, по-прежнему не сводя глаз с Марты:

— Чтобы она подошла ко мне и сказала: «Guten Tag, Frau Aufseherin» *.

— Лиза,— он попытался оттащить ее,— опомнись!

— Оставь меня! — Она оттолкнула его руку и впервые посмотрела на него.— Ты сделал все, чтобы я поняла тогдашние ее слова: «Только жажда жизни делает человека рабом». Она была права. Десять лет я была рабою страха. Дрожала, боялась потерять твою любовь. Сейчас я свободна.

— Понятно. Ты хочешь меня погубить.

— Я хочу расквитаться. Отойди!

— Теперь я тебя разглядел,— сказал он медленно, отодвигаясь.— Только теперь. Эсэсовка!

---

* Добрый день, фрау надзирательница *(нем.)*.

Она засмеялась.

— Это будет один из самых пикантных скандалов! Я уже вижу газетные заголовки: «Жена известного экономиста, доктора Вальтера Кречмера, нового советника посольства ФРГ в Бразилии, оказалась бывшей надзирательницей концлагеря».

— Лиза...— не выдержал он.— Ты не можешь хотеть этого, если...

— Хватит,— отрезала она.— Я тоже тебя разглядела.

Он снова схватил ее за плечо:

— Ты сейчас невменяема. Пойдем отсюда!

— Нет. Твоя совесть молчала десять лет... Ее разбудил... страх за карьеру. Можешь идти. От того, что сейчас случится, ты все равно не уйдешь.

— Лиза, умоляю тебя, ты погубишь нас обоих.

— Слишком поздно,— сказала она, отступая,— поздно говорить о нас обоих.

Она пошла в сторону перил, у которых стояла Марта. Шла, как лунатик, не сводя с нее глаз. Шагов за пять остановилась и продолжала смотреть настойчиво, вызывающе. От этого взгляда нельзя было уклониться. Марта повернулась к ней. Сначала ее глаза, хотя и обращенные к Лизе, смотрели куда-то поверх ее головы. Потом вдруг она хлестнула ее взглядом.

Несколько мгновений обе женщины молча смотрели друг другу в глаза. Вальтер видел издали лицо Марты — презрительное, равнодушное. И видел, как она затем обошла стоящую у нее на пути Лизу, брезгливо, как что-то нечистое, и, не оглядываясь, зашагала дальше. Он прислонился к стене, вытирая пот со лба. Затем по внутреннему коридору побежал в холл, а оттуда на палубу. Он подоспел как раз вовремя, чтобы увидеть, как Марта, кивнув в последний раз провожавшей ее группе, взошла на трап.

■

Пароход снова был в открытом море. Они стояли у борта и глядели на воду.

— Ты говорил вчера,— начала Лиза,— что мы постараемся как-то справиться с этим.

Вальтер поднял голову и посмотрел вперед. Но, вероятно, тропическое солнце резало ему глаза, и он надел темные очки.

— Да, говорил.

— Мы прожили вместе больше десяти лет, Вальтер.

— Да,— согласился он,— это много.

За их спиной раздался знакомый голос. Они испуганно рванулись к ближайшей двери. Вальтер, однако, не успел ускользнуть.

— Наконец-то! Я ищу вас уже полдня, мистер Кречмер. Телефон не отвечает... Вы уже читали? Неслыханный скандал! Немецкое правительство требует...— И Бредли, возбужденный, протянул ему газету.

Вальтер отвел его руку.

— Нет. Вы меня напрасно искали. Понимаете?.. Напрасно.

И, заметив изумление Бредли, Вальтер добавил мягче:

— Как видно...— он помолчал,— как видно, вам не с кем будет поговорить об этом. Да. Очень сожалею. Просто... просто вам не везет, мистер Бредли.

УИЛЬЯМ ДЮБУА

ГАНА ЗОВЕТ

Перевод с английского
ЕВГ. ДОЛМАТОВСКОГО

Когда ребенком, дома, в мире детства,
Я жил среди людей чужих,
Я знал мальчишек, росших по соседству,
И все приметы родословной их.
Родители одних — из благородной Франции,
Другие были немцами, шотландцами,
А третьих предки были с берегов
Далеких изумрудных островов.

Я, черный, им казался безобразным.
Не знаю, где начало неприязни,
Не понимаю, где ее исток,
Но он был беспощаден и жесток.
Одни об этом говорили прямо...
Другие: «Мне играть с тобой не разрешила мама».
А третьи только улыбались криво.
То было так давно... Но в памяти все живо...

Что было дальше... Я увидел сон.
Все, что я знал, сошлось со всех сторон,
Слились в одно намеки и обиды.
Я сон увидел,
Я увидел сон,
Но был, как явь, правдив и ясен он:
Из ада поднялась несчастная страна,
Огнем обожжена
И вся как пекло,
В рубцах и ссадинах, покрытых пеплом.

И был я опален ее огнем,
И содрогался в ужасе немом,
И боль ее моею болью стала.
И вот оно — прозрения начало.
Проснулся я.
Но боль во мне была,
И часть моей души по-прежнему спала,
И, продолжая жить, не мог я позабыть,
Но никогда не вспоминал
Тот призрак рабства, что кроваво-ал...

Я жил и рос, трудился и мечтал,
Надеялся и по земле бродил.
Почти на все вопросы находил
Ответ — и лишь одно волненье и сомненье
Спало во мне, готовясь к пробужденью...
Состарился. Устал и поседел.
Был долог путь мой. Много трудных дел.
Прошла война...
Потом еще одна...
Я видел Нищету и страшные болезни,
И слышал рядом Смерти шаг железный...

Был долог путь. Но не было и дня,
Чтоб старый тот вопрос не посещал меня,
Все юношеский сон мне не давал покоя:
Где Африка? И что она такое?
И вот однажды к сердцу на порог
Вновь память подступила, как Пророк...
И приказала мне идти по свету,
В трех путешествиях познать планету
И подойти к заветному ответу —
Загадки Сфинкса...
Я отправился в Москву
И там сумел увидеть наяву
Рожденье чуда — стала светом тьма.
Свобода мне увиделась сама.

А из Москвы в Пекин лежал мой путь,
Хотел я Азии в глаза взглянуть,
Узнать Китай...
Затем я прибыл в Аккру,
Сквозь солнце, жарко жгущее и ярко
Светящее,
Я вновь увидел сон,
Тот юношеский сон... Услышал голос,
Открывший тайники твои, душа.
Вверху как будто небо раскололось,
И вдруг на землю Африка сошла.
И поднял я свои глаза при встрече с Ганой,
И огласил ее холмы Осанной,
И ввысь смотрел на Солнце, не моргая,
Пока оттуда не сошла ко мне
Земля зелено-красно-золотая,
Увиденная в юности во сне.
Она ко мне протягивает руки,
Бушуют краски, торжествуют звуки,
Бьют барабаны, барабаны бьют —
Мечта и подвиг породнились тут.
Вокруг родные бархатные лица,
И солнце золотится,
Когда их обжигает и целует.
Поет листва, и дерево танцует,
И лилии возносят аллилую.
Сиянье золотых корон,
И солнце — жрец — взошло на трон,
И словно детство давнее, близки
Волос курчавых жестких завитки.

Таинственны лесов цветные чащи,
И запахи цветов и трав пьянящи.
Но сила и величье юной Ганы
Не в красках и цветах, а в широте
Ее души... Как добр мой край желанный,
Открыт Простору, Радости, Мечте!
Больницы, школы — знаки новой жизни
На расцветающей моей земле,
Зеленые ростки социализма
На коммунизма вековом стволе.

Я встал и крикнул, словно умирая,
Свой голос обращая к небесам,
К саваннам и тропическим лесам:
Прими меня, земля моя родная!
О племени мечтаю Золотом
И больше не хочу смотреть на Запад.
Пускай перед своим последним днем
Вдыхает он гниенья смрадный запах.

Встань, черная Америка... Иди
За нами! Гнев кипит в твоей груди.
Мы знаем, кто пытался уничтожить
Не только черных — желтых, краснокожих,—
Кто смерть готовит миру... Кто Христа
Линчует...
А моя земля чиста.
Вставай, дремавший мир! И солнце славь!
И плечи великанские расправь,
И поклоняйся звездам! Ведь они
Такие ж солнца, но на черном фоне.
Пусть справедливость будет в наши дни
Воплощена в незыблемом Законе.
Да сгинет алчность! Пусть Земля цветет,
Пусть Африка моя идет вперед!

ЖАН КАНАПА

СОЛДАТЫ, СОЛДАТЫ...

РАССКАЗ

Перевод с французского
Т. ИВАНОВОЙ

Смыло ли, наконец, море непереносимо страшные следы той поры? Много воды утекло с тех пор, как нас высадили на этот пляж, подобный аду, где трупы убитых цеплялись за кустарник и где — куда ни глянь — валялись обломки искромсанных танков... Навело ли, наконец, море порядок в этом хаосе вздыбленных песков, перепаханных взрывами, развороченных самыми различными орудиями боя, испещренных зыбучими воронками, на дне которых смешались воедино пепел и кровь,— поглотило ли в конце концов море все это?.. В те дни неделя за неделей, не помня себя, мы мчались вперед, ослепшие от пота, пьяные от усталости. Это не было форсированным маршем, а, скорее, каким-то призрачным скоростным бегом, без отмеченных поворотов и линии финиша. Говорили, что позади нас продолжаются бои, но мы, подобно струе огнемета, мчались только вперед, все время вперед, как если бы нашей обязанностью было проложить путь, расчистить дорогу, что пролегала между неприятельскими опорными пунктами... Потом, проскочив через какую-то чудом уцелевшую деревушку, прилепившуюся на склоне холма, мы внезапно остановились среди причудливого нагромождения камней.

Случилось ли это потому, что силы людей вконец иссякли? Обычно, когда грузовики останавливались на полном ходу, мы иной раз даже и не пытались спрыгнуть на землю, чтобы передохнуть в тени какой-нибудь стены,— до такой степени мы не были уверены, что нам сразу же не отдадут приказ снова садиться в грузовик,— мы и касок уже не снимали, чтобы не делать лишних движений. А те, кто находился в легких танкетках, вылезли из своих стальных ящиков совсем растерянные, лица у них раздулись и от напряжения стали лиловыми... И все же этот только что полученный приказ был нам непонятен. Через несколько часов распространился слух, будто мы должны выждать какое-то время, так как незаконно опередили американцев: надо дать им пройти... Тут же возникла другая версия: там наверху, в горах, образовалась пробка. На самом же деле нам надлежало, о чем нас скоро и поставили в известность, всего-навсего обеспечить безопасность участка дороги протяженностью по пяти километров в обе стороны от деревушки. На северо-западе от нее вздымались холмы, склоны некоторых были настолько отвесны, что походили на скалы. Можно ли было предполагать, что немцы атакуют дорогу именно с этой стороны? Но ведь мы совсем не знали, что делается на наших флан-

гах. В таких условиях любое предположение могло иметь место. А если бы данное оказалось верным, мы никак не смогли бы выбить оттуда немцев, у нас были всего лишь танкетки, которые, может, и добрались бы до подножия холмов, но дальше двинуться не смогли бы. К тому же жители рассказывали, что в холмах построены доты... Одно было во всяком случае ясно: наше подразделение превращалось в дорожный полицейский отряд. Сперва мы возмутились. Потом начали свыкаться с этой мыслью и принялись за устройство лагеря.

На южной окраине деревни находился участок с редко посаженными оливковыми деревьями. Именно там мы и разбили свои палатки, окружив их изгородью из колючей проволоки. В местной харчевне мы взяли длинные столы и поставили их в самой середине лагеря, впервые за много недель мы распаковали свое снаряжение. Что касается офицеров, то они нашли для себя комнаты в деревне. Наш капитан поселился в единственном двухэтажном доме, где занял весь верхний этаж. Глядя как-то раз на то, с каким довольным видом он спускается вниз, Силач, служивший у него шофером, сказал ему:

— А вы, мой капитан, видно, живете у какого-нибудь из местных дворянчиков!

— Ну и что же? — парировал капитан, ставший еще более озлобленным после получения последнего приказа.— Я и сам дворянчик, как вы выразились, я тоже владею землей.

— Не в этом дело, мой капитан, у меня есть сведения... говорят, он давно уже снюхался с фашистами.

— Тем больше оснований занять его дом. Не плохо доставить ему неприятность.

Силач говорил мне впоследствии, что капитан остановил свой выбор на двухэтажном доме вовсе не по этой причине.

— Видишь ли, во всей деревне это единственный дом с удобствами... Впрочем, я даже не поручусь, что наш капитан не найдет общего языка с фашистом...

Силач тоже поселился в деревне. Оснований для этого не было, так как он обязан находиться в лагере вместе со всеми нами. Но его всегда выделяли. И вовсе не потому, что он водил капитанский «джип», это не имело никакого значения. Дело было в другом: он отличный механик — второго такого, пожалуй, не сыщешь во всем мире. Это совершенно неоспоримо. Благодаря ему ни одна из наших машин не простаивала больше пяти минут, и ребята по собственной инициативе всегда обращались только к нему: «Силач, будь другом, выручи...» Он был совершенно незаменим. Именно поэтому ему все и потворствовали. Кто-кто, а уж он-то не должен простужаться и ест пусть вволю, и имеет возможность спокойно выспаться... А если случалось ему побуянить, все старались отвлечь внимание унтер-офицеров, чтобы те, чего доброго, не наказали его. Скандалил же Силач постоянно. Он не желал обосабливаться, жил нашими интересами, делил все наши невзгоды, поэтому-то и спорил, и протестовал. Все время приходилось убеждать его, ссылаясь на неизбежную грубость военных нравов, а главное, доказывать ему, что все происходящее — «справедливо». Только этим и можно было его пронять: торжество справедливости было для него важнее всего. По той же причине Силач не признавал никаких отступлений от закона. Всякий раз, когда мы попадали в переделку, я, лежа ничком и размышляя, суждено ли мне будет сегодня вечером вскрыть очередную консервную банку с соевыми сосисками, все время старался повернуть голову так, чтобы видеть Силача, находившегося рядом. Силач с неизменной бодростью кричал мне: «Прижимайся покрепче, ну и шарманку же они завели!..»

Силач... Знал ли я когда-нибудь его настоящее имя? Все называли его просто Силачом за размах его широких плеч. Кажется, и в Париже,

в «заведении», как он выражался, его звали так же. Родом он был из коррезской * деревни — вот откуда его слегка напевная речь. Казалось, слова выскакивают у него изо рта как разноцветные шарики, в особенности когда он в хорошем настроении. Но до Корреза далеко. Париж поглотил Силача. И не какой-то безликий Париж, а район Гренель, тот самый кусочек пятнадцатого округа, что расположен вдоль Сены напротив самого странного из всех островов, который хотя и называется Лебяжьим, но представляет собой нечто вроде черной каменной клавиатуры, где веками не появлялся ни один лебедь, возможно, из-за того, что чересчур уж это место печально, да и вовсе не походит ни на какой остров... Силач жил на Театральной улице, работал у Ситроена, а по воскресеньям день-деньской пропадал на зимнем велодроме. Он вращался в замкнутом кругу своего района. Даже капитан наш и то звал его Силачом. Хотя он вкладывал в это слово скорее презрение, чем восторг. В его устах слово «Силач», звучало как «грубиян»... или «свинья»... Да и взял он Силача к себе в шоферы только потому, что тот был лучшим механиком. В действительности капитан не любил Силача, и как раз потому, что все мы слишком его любили. «Это не человек, а какая-то ходячая легенда,— ворчал капитан, разговаривая с офицерами,— подумаешь, незаменимый! Любого можно заменить. Все это выдумки». К тому же Силач был очень могуч и представителен, а это тоже раздражало капитана. Думаю, капитан его даже побаивался. Когда Силач вставал из-за стола или разгуливал по улице, его широченные плечи и мощная грудная клетка действительно производили очень внушительное впечатление. Но мы-то знали, что он разумен, сдержан и дружелюбен, я бы даже сказал, добр, если бы не война и не повсеместное огрубление нравов.

Водворив капитана в дом местного богача, Силач зашел за мной в лагерь, и мы вместе пошли взглянуть на квартиру, которую лейтенант велел занять Силачу, сказав при этом: «Не спорьте, Силач, это бесполезно. Я вас помещаю сюда потому, что здесь вы будете ближе всего к машинам; в случае надобности — всегда у меня под рукой. Справедливо, не так ли?» Низенький домик стоял на самом краю деревни, а вдова, жившая с мальчуганом восьми или девяти лет, была, как говорили, очень бедна, но чистоплотна...

— До чего мне эти кривляки офицеры опостылели! — сказал Силач, когда мы подошли к домику.— Поверь, я буду чаще находиться в лагере, чем здесь. Ведь я совсем не создан для одиночества...

Войдя в дом, надо было спуститься на две ступеньки, после чего вы попадали в большую, почти пустую комнату, где стояла огромная чугунная плита — ровесница первых локомотивов, высокий дубовый ларь, моренный до черноты стол и вдоль него лавки без спинок да складная кроватка, где спал мальчуган,— вот и все. В подоконник, находившийся несколько ниже уровня улицы, была уперта гладильная доска, над которой низко склонилась женщина... Едва только мы вошли, ребенок бросился к матери и уткнулся в ее юбку. Мать будто и не заметила этого и, не оборачиваясь, продолжала гладить.

— Послушай-ка,— обратился Силач к мальчику,— дня через два нас с тобой и водой не разольешь, а есть ты будешь, только сидя у меня на коленях!

Женщина продолжала гладить, упрямо стоя к нам спиной. Плечи у нее были хрупкие, шея тонкая, она казалась совсем молодой. На ней было черное платье, ноги босые.

Силач показал мне свою комнату. Это была крохотная комнатенка, также почти пустая: там стояла высокая кровать из такого же дуба, покрытого черной политурой, высоченный, как и кровать, комод да еще

---

* Коррез — один из департаментов Франции.

над самой кроватью распятие из какого-то тусклого металла. Простыни казались особенно белыми по контрасту с чернотой дерева. До появления Силача женщина, несомненно, спала именно здесь. Теперь ей придется перейти в большую комнату и разделить с сыном узенькую раскладную кровать...

— Нет, это несправедливо,— сказал Силач.— Надо отыскать какой-нибудь диван или что-нибудь в этом роде.

Мы вновь пересекли большую комнату. Женщина теперь расхаживала от плиты к ларю. Она по-прежнему не обращала на нас никакого внимания. Силач остановился на пороге и, улыбнувшись, сказал:

— До свиданья, ребятишки!

Тогда она повернулась как бы для ответа, и на мгновение я увидел ее. Но она тут же отвернулась, так ничего и не сказав.

■

То, что мы предвидели, действительно случилось: мимо нас безостановочно шли американские машины, они двигались к северу, а мы изображали дорожную полицию. В направлении молчащих холмов наше всего опасавшееся командование выставило пушки, сперва замаскировав их наспех, а потом уже все с большей и большей тщательностью. От нечего делать люди всячески изощряли свою фантазию, придумывая самую невероятную декоративную маскировку. Вскоре на месте пыльного кустарника вырос настоящий лес. Однако вся эта изобретательность очень быстро привела к обратным результатам — правда, пушки стали незаметны даже для пилота, проносящегося над нами на бреющем полете, но в то же время эта искусственная плотная густая зелень так выделялась среди нагромождения камней, что прямо как бы приглашала сбросить на себя бомбы. Люди, казалось, не отдавали себе в этом отчета: они испытывали первозданный восторг перед делом собственных рук — этим фантастическим лесом. Справившись со своей канцелярской работой, я пошел взглянуть на маскировщиков. Как бы предчувствуя, что вскоре им вовсе нечем будет заняться, они отчаянно спорили по поводу деталей водруженной ими декорации. Это было забавно, но быстро мне наскучило. Я решил проведать Силача.

Странная то была деревушка, совсем одинокая среди каменистой голой равнины; она была окружена холмами, которые как бы защищали ее от беспощадного солнца, немилосердно сжигавшего все вокруг. Возможно, когда-нибудь здесь находилась крепость, господствовавшая над равниной и прикрывавшая горный проход. Если хорошенько поискать, может быть, и найдешь старинные плиты, остатки крепостных стен. За исключением дороги, дугообразно огибавшей деревню, боковые проулки были до того узки, что двое встречных с трудом могли разойтись; в пыли резвились поросята со злыми глазками, а ребятишки приставали ко всем прохожим, выпрашивая шоколад и сигареты, и не отвязывались до тех пор, пока из какой-нибудь двери не высовывалась сухая черная женская рука и не втаскивала ребенка в дом,— тогда слышались резкие крики, сыпались удары, чередуясь с новыми криками... Деревня была до того печальна и бедна, что невольно возникал вопрос, чем же живут ее обитатели, раз их лишили ободранных олив, разбросанных вдоль поля... Как бы истощив себя, время, казалось, кончает здесь свой бег, словно нет больше ни смысла в том, чтобы его продолжить, ни стремления к этому. Даже то оживление, какое мы внесли своим появлением в этот безжизненный пейзаж, словно не проникло вглубь, а коснулось всего лишь его поверхности.

Я вошел в дом, где жил Силач, спустился по двум ступенькам... Женщина стояла у окна и гладила. Время от времени она подносила к

лицу тяжелый утюг, чтобы определить, насколько он нагрелся. Она бросила на меня быстрый взгляд и продолжала работать.

— Мой друг?..— спросил я.

— Хе!..— Она сделала жест, показывая, что Силач ушел.

Я смутился, не зная, куда деваться. Она не предложила мне сесть и подождать возвращения Силача. Я понимал, что мне лучше бы уйти, наверно, у меня очень уж глупый вид — стою здесь на ступеньке этой странной лестницы и не произношу ни звука...

Она вздохнула:

— *Ах, солдаты, солдаты!..*

Потом бросила на меня разгневанный взгляд:

— Ведь ты должен был знать, что его нет дома,— сказала она, внезапно обретая дар речи,— и вот все же пришел. *Эх, солдаты, солдаты!..*

Голос у нее был сердитый и в то же время какой-то смиренный, а главное, очень серьезный, в нем чувствовалась глубокая затаенная тоска. Она обвиняла и меня, и все армии мира, а я смотрел на нее... И вот я вспоминаю теперь, как что-то незаметно для меня самого поднялось во мне и сразило наповал. Жестокий мир раскололся, и зияющая трещина прошла по моему сердцу, кровоточа, словно рана... и то ли всему виной этот голос, изнемогающий от грусти, то ли овальное лицо с резкими чертами, то ли та откровенно беспощадная твердость, которую скорбь придает взгляду? Мне эта женщина представилась живым воплощением несчастья. Она вполне гармонировала с окрестным пейзажем: ведь сама жизнь здесь облачилась в траур. А женщина была как бы воплощением того времени, настоящая мать во плоти, скорбящая скорбью всех страждущих, олицетворяя мадонн всех музеев мира, всех стенных ниш всей Италии. *«Солдаты, солдаты!..»*

Я сказал ей, что не надо так плохо относиться к солдатам, ведь далеко не каждый солдат грубиян и лжец.

Но она твердила свое:

— Знаю я вас, знаю...

Она подняла утюг над бельем, ослепительно белевшим на синеватом фоне окна, и взглянула на меня через плечо:

— Искал предлога, да?

Я не ответил.

— Ну? — И она вновь склонилась над доской, пожав плечами и как бы говоря: «Попробуй отрицать!» — Война вздымает на поверхность все самое дурное, что есть в людях,— добавила она более спокойно, как бы говоря сама с собой, будто меня и не было уже тут.— Да, только самое плохое.

Потом она сказала: «Уходи»,— и я ушел.

■

— Так ты же отлично знал, что я должен быть здесь,— сказал Силач, которого я встретил в лагере.— Я ведь тебя предупредил об этом.

— Я как-то не подумал.

— Она очень хороша, не правда ли?

Я молчал и смотрел куда-то вдаль.

Силач продолжал:

— Ей не повезло... Она мне все о себе рассказала. Ее зовут Пиер. Замуж она вышла совсем молоденькой, семнадцати лет. А потом, спустя года два, когда она была беременна, ее муж оказался в числе тех немногих итальянцев, что погибли во время войны в Эфиопии. Не было даже точно известно, пал ли он в бою. Поговаривали, что у него произошла какая-то стычка с унтер-офицером, но дело так и осталось невыясненным. От волнений она выкинула мертвого ребенка. Несколькими годами

позже она взяла квартиранта: в деревне ее за это осуждали, но ведь существовать как-то надо. Квартирант был батраком, все считали, что парень он башковитый. Высоченного роста и собой недурен, как сообщили Силачу. Пиер вскоре сошлась со своим квартирантом. Но он отказывался жениться на ней. Она не могла понять почему и была из-за этого очень несчастна. Все объяснилось, когда политическая полиция арестовала его. Уходя под конвоем двух подлецов из ОВРА *, он сказал ей: «Теперь ты понимаешь почему...» После этого ареста ее тоже таскали на допросы, но ведь они не были женаты, она ничего не знала о его делах, даже придраться было не к чему. Так она осталась в одиночестве, с ребенком, который родился от их союза...

— А с ним что сталось? — спросил я у Силача.

— Через неделю после ареста его труп нашли в поле с лицом, изуродованным то ли ударами каблуков, то ли прикладов... Она опознала его по одежде... Это, бесспорно, был один из наших товарищей...

Товарищ... Я понял, что именно хотел сказать Силач. У него «свои» товарищи повсюду — в Италии, как и в Сингапуре. Это слово является краеугольным камнем странного сообщества, куда наряду с ним входят совсем не известные ему люди, которых он никогда не видел, о которых ничего не знает, если не считать того, что они — его товарищи, о чем он всегда говорит с оттенком гордости. Слово «товарищ» оправдывает все: и жизнь, и смерть. «Он был наш товарищ...» Это звучит в его устах как прощальный привет человеку, убитому чернорубашечниками, как отдание почести «своему» мертвецу, хоть он никогда и в глаза его не видел. А меня это же слово «товарищ» держит в некотором отдалении: я ведь не принадлежу к их невидимому братству. Когда Силач впервые употребил при мне это слово, я его даже не понял.

— Ты его знал? — спросил я.

— Нет.

Я удивленно уставился на него:

— Ты же говоришь: наш...

— Так ведь он — коммунист,— пояснил Силач, будто этим все объяснялось само собой.

Если я умру, знаю, Силач не скажет обо мне «наш товарищ»... Я предполагаю, что он скажет — «друг». Но я никогда не удостоюсь наименования «товарищ» — этой наивысшей, по его мнению, оценки. Возможно, я это понял именно тогда, когда он рассказывал мне о жизни Пиер, возможно, именно тогда я и воспользовался случаем, чтобы получить у него разъяснение, возможно, именно так я и спросил его тогда, а возможно, уже запамятовал его точный ответ... Но все-таки, кажется, я сказал:

— Ведь фашисты многих убили.

— Разумеется...

Он согласился со мной — только и всего. Было, однако, совершенно очевидно, что для него этот человек имел большее значение, чем все остальные, именно его гибель была для Силача особенно тяжела. Мне казалось, что он ошибается, я хотел об этом сказать Силачу, но он перебил меня.

— Не здесь бы мне следовало находиться,— сказал он, разминая песок носком ботинка.

Он уже однажды говорил мне это, на озере Чад. Ведь вначале он приехал в Англию через Испанию. Однажды он сказал, что жалеет о том, что пришлось оставить Францию — его место там. С товарищами.

— Там мне следовало бы находиться,— сказал он сегодня опять.

Я пытался переубедить его; не стоит, мол, предаваться глупым

---

* Тайная политическая полиция в фашистской Италии.

мыслям, солдаты нужны повсюду. Но тут какой-то шофер прибежал за ним: сломался грузовик.

Уходя, Силач крикнул мне:

— Приходи за мной вечером в деревню.

■

В большой комнате Пиер, служившей ей кухней, столовой, гостиной и прачечной одновременно, сидит Силач и ест суп, сваренный из муки, которую он взял в лагере. Пиер, как всегда, гладит белье. Луч солнца играет в струйке пара, вырывающегося из-под утюга.

Силач чувствует себя как дома. Он рассказывает длинные истории мальчугану, взобравшемуся на краешек стола, и тот хоть и болтает ногами, но слушает жадно, стараясь не проронить ни слова. Смысл не вполне доходит до мальчика, но его чарует иностранный акцент Силача, хотя улавливает он только отдельные слова, понятные для него по созвучию. Да и то, что этот человек с добрым взглядом и ласковыми руками уделяет ему столько внимания, тоже вызывает у ребенка симпатию к Силачу.

Пиер делает вид, будто ничего не замечает. И все же, когда по стуку деревянной ложки о тарелку ей становится ясно, что Силач кончил есть, она подходит и наливает ему вина.

— Оставь,— говорит Силач,— я не привык, чтобы мне прислуживали.

Пиер, ничего не отвечая, наливает ему полный стакан и вновь принимается гладить.

Когда, окончив есть, Силач встает из-за стола, я выхожу вместе с ним. Он сообщает, что нашел для себя диван. Дом, куда мы идем, почти столь же беден, как и дом Пиер, и там тоже нет мужчины, а только женщина с тремя сыновьями; мальчишки, словно попрошайки, сейчас же окружают нас. Диван стоит в чулане, за домом, изрядно потрепанный, обивка изъедена молью. Но Силач на нем поместится, а это главное. Мы взваливаем диван себе на плечи, но тут женщина, задыхаясь, начинает что-то быстро и длинно говорить. Силач всячески пытается объяснить ей, что мы берем диван временно и вернем его с благодарностью. «Услуга за услугу...» Это она понимает. Но вот именно за услугу-то она и просит вознаграждения. В конце концов Силач решает оставить ей все коробки сигарет, которыми он каждый день запасается на всякий случай. Мы торжественно уносим диван.

Вначале Пиер ничего не понимает. Потом долго колеблется и кончает тем, что неуверенно, изменившимся голосом произносит: «Grazia»*. Потом она проходит к себе в комнату, берет там белоснежные подушки, возвращается и кладет их на диван. Только после бесконечных препирательств она переносит подушки обратно на свою постель. Уложив ребенка, Пиер уходит к себе, и мы слышим, как она передвигает тяжелый комод, загораживая им дверь.

— Она поступает справедливо,— говорит Силач, вздыхая,— война невеселая штука для женщины.

Теперь до нас часто доносятся с севера раскаты артиллерийской стрельбы. Уже несколько дней между нашими и вражескими орудиями длится некое подобие дуэли, которая иногда, едва начавшись, затихает, а иной раз не прекращается так долго, что кажется, ей вообще не будет конца.

Вначале, услышав первые выстрелы, женщины тотчас загоняли детей домой, как если бы деревушка находилась в непосредственной опасности. Теперь все привыкли, и никто уже не обращает внимания на

---

* Спасибо *(итал.)*.

отзвуки этой отдаленной битвы. Мы объяснили Пиер, что прямой опасности пока нет. Фронт проходит по крайней мере в шестидесяти километрах от деревни, а здесь война, по всей видимости, уже закончилась.

— Это только солдаты могут думать, что война когда-нибудь кончается,— сказала она нам, пожимая плечами.— А война вроде дурной собаки. Она уходит от двери, когда вы ее пинаете ногой, а потом у вас за спиной возвращается через сад. Уж я-то знаю, как это бывает, хорошо знаю.

Почти каждый вечер ходил я к ней. Во всяком случае, когда рассчитывал застать там Силача,— эта видимость предлога была нужна мне самому в качестве оправдания. Я усаживался в плохо освещенной комнате на одну из скамеек, Силач и мальчик вели бесконечные разговоры, а Пиер молчаливо хлопотала по хозяйству. Когда я собирался наконец уходить, она желала мне спокойной ночи, иногда даже и не взглянув на меня...

Однажды, забравшись на вершину холма, я уселся там на камне, не зная, как убить время, и поджидая, когда можно будет пойти к Силачу. Вдруг я увидел Пиер, поднимавшуюся вверх и несшую корзину с бельем... Поравнявшись со мной, она со вздохом опустила корзину на землю и только тогда поздоровалась. Я жестом пригласил ее присесть, и она уселась на выкорчеванный пень старого оливкового дерева.

— До чего же всегда устаешь! — сказала она, вытирая рукой вспотевший лоб.

И спросила, как меня зовут.

— Франсуа,— ответил я,— Франческо.

— Я знавала одного Франческо,— сказала она, глядя вдаль, и вновь погрузилась в молчание.

Я не мог придумать, что сказать, лишь поглядывал на нее украдкой, словно считая, что мне не следовало бы этого делать. Через какое-то время она, вздыхая, поднялась и наклонилась к своей корзине. Я тоже поднялся и с той резкостью, какую приобретают движения во сне, схватил ее за руку, уже сжимавшую ручку ивовой корзины. Она медленно разогнулась и поглядела на меня, тело ее напряглось от тяжести корзины, потом она передала ее мне и пошла по направлению к деревне. Дойдя до своего дома, она остановилась и поблагодарила меня, потом быстро захлопнула дверь.

В этот вечер я не пошел к Силачу. Я остался в лагере и лежал там на своих нарах, устремив взгляд в небо. Я вспоминал женщин, которых любил прежде, и удивлялся тому, что они были до странности похожи одна на другую... Вот студентка, изучавшая английский язык, с которой я однажды оказался почти помолвленным, она была очень светловолосой, невероятно красивой и вела себя крайне самоуверенно. Как же ее звали — Мари-Анн или Анн-Мари? (О, как быстро память утрачивает имена тех, кого уже не любишь...) Но в конце-то концов это было весьма ничтожное существо. А вот и другая, та, на которой я женился, несомненно, только потому, что она необыкновенно походила на студентку и была таким же ничтожеством... Что касается Пиер, то она совершенно другая — печальная и черная, как обгоревшая виноградная лоза.

■

Скоро это стало для меня привычкой: каждый вечер я направлялся к камню на вершине холма. Постепенно я настолько пригляделся к местности, что обнаружил на склоне ручеек, протекавший среди красноватых камней. Вероятно, где-то здесь есть пологий бережок, и конечно же именно туда Пиер приходила стирать белье, которое ей дают некоторые жители деревни, стараясь незаметно как-то помочь ей.

Поднявшись на холм, она всегда садилась рядом со мной, чтобы передохнуть. Долгое время мы ни о чем друг с другом не разговаривали. Только обменивались приветствиями и банальностями по поводу погоды или проходивших мимо американских грузовиков... И вот однажды я сказал, пристально глядя на носки своих ботинок, покрытых тонкой красноватой пылью, именно это я отлично помню — тонкой красноватой пылью,— я сказал: «Если бы я не был солдатом, Пиер, если бы только я не был солдатом...» Но продолжать не смог... В другой раз я взял ее руку, коричневую сухую руку, которая не распухла даже от непрерывной стирки, руку с круглыми, твердыми ногтями, и поднес эту руку к губам. А Пиер тогда пробормотала: «Хе, ты...» В этот вечер я тоже не пошел к Силачу: из боязни, что он прочитает что-нибудь на моем лице.

■

Надолго ли застряли мы там в полном бездействии, отодвинутые куда-то на задворки, не зная, чем заполнить время? Нам казалось, что так будет продолжаться вечно. Уверенность в этом мы почерпнули также из внезапного слуха, будто к нам пришлют кинопередвижку. Мне даже поручили подыскать для нее помещение: ригу, крытый двор — все равно что, лишь бы там можно было установить проекционный аппарат, экран и сотню скамеек. Я потратил целый день и отказался от этой затеи: ни в одном хозяйстве не нашлось риги; нечто вроде большого навеса я обнаружил у дома, где разместился наш капитан, но он сам решил, что достаточно того, что он занимает целый этаж, не следует, мол, вести себя как в завоеванной стране и восстанавливать жителей против себя. «Такого рода действиями вы рассчитываете заставить их полюбить демократию?» — спросил меня капитан. Школа тоже не подходила, она примыкала к церкви и была не больше свинарника кюре. Значит, киношникам придется прислать нам палатку, существуют ведь, наверно, такие, вроде как для странствующего цирка, или же нашему подразделению предстоит строить своими силами подходящий барак. В лагере отчаянно спорили по этому поводу, но я ушел: в это время я всегда отправлялся к Силачу.

Я застал Пиер за мытьем плиточного пола. Она стояла на коленях среди лужи мыльной воды. За столом сидел мальчишка и ел что-то, уткнувшись носом в тарелку. Пиер подняла голову. На лице ее яснее, чем когда-либо, отражалась безысходная тоска.

— Они арестовали твоего друга,— сказала она.

Потом вновь принялась тереть широкие красноватые плитки.

— Кого? Кого арестовали?

— Твоего друга, который спит здесь. Солдаты его арестовали.

— Силача? Но это же невозможно! Ты шутишь...

— Да нет, они его взяли и увезли в «джипе», где сидело еще трое солдат с белыми нарукавными повязками военной полиции.

— Но почему? На каком основании?

Пиер пожала плечами: ей-то откуда знать? Война...

Я бегом бросился в лагерь, в висках у меня стучало. Это невозможно, тут какая-то ошибка, за что они арестовали Силача?.. В лагере ни о чем другом уже не говорили, там распространялись самые нелепые слухи: «Он связался с партизанами... Он сбыл с рук какой-то грузовик... Да нет, всего лишь свечу... Грузовик... Одну свечу...» Дело оказалось действительно в свече. Силач был, видимо, известен всей округе. Однажды его остановил в деревне какой-то тип и попросил помочь партизанам починить грузовик. Силач не согласился. Слишком уж это было опасно. Он поинтересовался, о какой поломке идет речь, а потом сказал: «Не понимаю. Все, чем я могу помочь,— вот...» И дал свечу, чтобы хоть что-то сделать. «Ведь они — товарищи»,— наверно, подумал он... Один про-

хвост, старый судейский чиновник, узнал об этом и рассказал хозяину, у которого проживал капитан,— и вот Силача арестовали. За свечу. «Какая низость — говорили ребята.— Чего доброго, еще упекут его на неделю в каталажку». Я с облегчением вздохнул и пошел отыскивать лейтенанта... лейтенанта... (До чего же быстро улетучиваются из памяти все эти третьестепенные, ничего не выражающие имена, запоминается ведь только то, что имеет существенное значение, а весь этот лагерь останется у меня в памяти только как некое безликое сборище безымянных людей, которые, словно призраки, топчутся в пыли...) Я пошел отыскивать молодого лейтенанта, пытавшегося подражать небрежным манерам американских офицеров и тупо перекатывавшего во рту жевательную резинку.

Ему я и сказал, что хочу повидать Силача.

— А вы имеете на это право? — изумленно спросил меня лейтенант.

— При чем тут право? Мы — друзья.

— Друзья, друзья... Вы что, старина, действительно воображаете, будто все это в кино видите? Идет война, зарубите это себе на носу. А с кино придется повременить. В будущем сделают фильмы о войне, и в них окажется полным-полно «друзей»...— В это слово он вложил столько издевки, сколько смог.— Да уж и друг у вас хорош, нечего сказать... Плечи — широкие, ну а мозги — узковаты. Нашему подразделению, право, только такого не хватало...

— Значит, не разрешаете, лейтенант?

— Нет.

...Откуда вдруг такая ненависть к Силачу? Почему так старательно стряпают «дело» из-за сущего пустяка? По всему лагерю уже ползут тяжелые, угрожающие и, помимо всего прочего, нелепые, совершенно нелепые слухи...

Я вернулся к Пиер. Она развешивала на протянутой позади дома веревке тряпки, которыми мыла пол. Взгляд ее, казалось, лишился ставшего для меня уже привычным напряжения. Теперь в нем была какая-то отрешенность, нечто трогательное в своей трагичности. Я постарался успокоить ее, уверяя, что Силач отделается всего лишь несколькими днями заключения.

— Это глупость, придирка, но нет оснований впадать в отчаяние, Пиер, не нужно создавать из этого драму.

— *Ах, солдаты, солдаты!* — вздыхала она, покачивая головой.

Она старалась уверить меня, что я рассуждаю совсем как ребенок. А ведь мне следовало бы понимать, чем все это грозит в такое время: если человека арестовывают, он никогда уж больше не возвращается, пора бы и мне это понимать, как понимает она...

— Они убьют его, Франческо, уверяю тебя, убьют его...

Все это было настолько невероятно, что вначале я даже смеялся. Но потом, не в силах сломить ее упрямства, я начал злиться: ну что она смыслит в подобных вещах, ведь наша армия все-таки не фашистская полиция. Военное правосудие, конечно, в известной мере жестоко, но все же мы не какая-нибудь банда убийц. Никто не имеет права использовать, как ему заблагорассудится, военное имущество, даже такую, казалось бы, малозначащую мелочь, как свеча для мотора, потому что она принадлежит армии. Силач, конечно, виноват, с любой точки зрения виноват. Он и понесет за это наказание. Но совсем легкое. Только потому, что должен восторжествовать принцип. Наказание будет легким еще и потому, что Силач незаменим, ведь без него долго не обойдешься... Я старался говорить с Пиер разумно, терпеливо, но это ни к чему не привело, и я не мог ни в чем ее убедить. Солнечные лучи, еще достаточно обильные для предвечерней поры, заливали светом черное

платье Пиер. Не знаю, что со мной вдруг сталось, но я увлек Пиер в дом и крепко обнял ее...

— Ты меня дождешься? — спросил я, целуя ее волосы.

Она удивленно глядела на меня.

— Возможно, пройдет какое-то время, прежде чем я смогу вернуться,— пояснил я.— После войны не так скоро открывают границы. Но я найду способ. Я вернусь. Будешь меня ждать?

— А ты вернешься?

Я уверил ее, что вернусь. В тот момент я был в этом совершенно уверен и уж не знаю даже, что мне было приятнее — целовать ее или смотреть на нее: во взгляде ее вдруг появилась нежность, которой я до тех пор у нее никогда не замечал... Но тут послышались поспешные шаги, кто-то приближался к дому. Лицо Пиер снова стало строгим, и она выскользнула из моих объятий. Не постучавшись, кто-то резко распахнул дверь и крикнул мне:

— Слушай, его будет судить военный трибунал!..

Нет. Это совершенно немыслимо! Какой-то кошмар, я в бреду, как и все остальные... Разве может военный трибунал судить человека за свечу?.. Я бросился в лагерь. Разбившись на маленькие группы, все обсуждали происходящее. Я переходил от одной группы к другой и всем твердил: «Это немыслимо, человека нельзя расстреливать из-за свечи...»

— Ну конечно, если бы дело было только в свече... Но тут речь идет еще и о ручном пулемете. Он передал ручной пулемет партизанам...

— Но это ж невероятно, совершенно невероятно! Я ведь его знаю...

— Вот именно — ты его знаешь. Значит, должен понимать, как он рассуждал: партизаны — товарищи...

Я бросился искать лейтенанта. Он посмотрел на меня отчужденно, но и сам тоже слегка побледнел.

— У вашего друга все шансы быть расстрелянным,— сказал он.— Можете повидаться с ним. Ну, и если он сообщит вам что-либо важное...

Силач стоял в одной из палаток, которая служила тюрьмой. Снаружи находилась охрана — два солдата, внутри сидел сержант, и, когда я вошел в палатку, он тут же поднялся. «Я на минутку, по нужде»,— сказал он и удалился. В палатке было жарко, как в бане. Силач безостановочно зашагал из угла в угол, но говорил он спокойно, почти насмешливо.

— Понимаешь, они хватились, что недостает одного пулемета. Заметь, его не хватало уже давным-давно. Но тут присобачили пулемет к свече. Больно уж это показалось им соблазнительно. Свеча — ну да, тут я виноват. Она была у меня в кармане, так, на всякий случай, вот я и отдал ее парню. Я ведь даже не знал, заметь, подойдет ли она к их моторам. Просто чтоб они не подумали, будто мне на них совсем наплевать... Но пулемет — ну знаешь, ведь я же все-таки не сумасшедший. Здесь во всем замешан капитан. Он меня не взлюбил, еще когда мы стояли у Чада, и все ворчал, будто я затеваю смуту в подразделении. С чего бы это?.. Я ведь ему прямо сказал: «Подумайте, господин капитан, как же это я мог передать им пулемет? Ведь я знаю, чем это пахнет, не сумасшедший же я в самом деле?» И знаешь, что он ответил? «Военный трибунал не прибегает к психиатрической экспертизе». Тогда я сказал ему: «Послушайте, может, здесь это и неуместно, но...— тут я немножко помедлил,— даю вам слово коммуниста». Он издевательски захохотал: «Вот-вот, в самый раз... Все отлично знают, чего оно стоит, слово коммуниста. В особенности после пакта...»

Я понимал, что Силач, рассказывая обо всем этом, не думает ни обо мне, ни о наших спорах. Ему ведь так и не удалось убедить меня в том, что Советский Союз был прав, заключив договор с немцами, и мы вооб-

ще не касались этого в наших разговорах. Но то, что такой довод будет пущен в ход на суде против Силача, это сразу заставило меня усомниться в его справедливости: я испытываю инстинктивное недоверие ко всему, что пристегивают в качестве доказательства те, кто стремится учинить несправедливость. Как объяснить все это сейчас Силачу? Он ведь думает совсем о другом, да и говорит-то он только для себя...

— Капитан при мне обратился с речью к офицерам. Он им сказал: «Так вот всегда. Нельзя и неделю продержать людей на отдыхе, сразу начинаются всякие истории. Дисциплина летит вверх тормашками, да и бдительность тоже. Их надо непрерывно держать под огнем».— И так далее... Ты понимаешь, он уже построил целую теорию, послушать его — так я не только похитил пулемет, но и в довершение всего передал оружие итальянцам, то есть врагу. «Партизаны они или не партизаны, кто их разберет? — сказал он...— А потом, с кем эти партизаны воюют и против кого?» Заметь, ведь мы действительно ничего не знаем, не знаем и самих этих парней. Именно поэтому-то я никогда и не передал бы им пулемета, даже если бы парень, которому я дал свечу, и попросил меня... Уже из одного этого ясно, что капитан совсем меня не знает...

Силач помолчал, потом продолжил:

— И рассуждает он как-то формально. Сперва — свеча. Потом — пулемет. Значит, один и тот же солдат повинен и в одном преступлении и в другом. Расхищение имущества. Сделка с врагом... Рассуждая таким образом, он еще до исхода ночи сумеет обвинить меня в шпионаже... Бездушный и безотказно действующий механизм, поверь мне, я-то уж в них разбираюсь.

Он вновь замолчал, глядя на солнечный луч, пробившийся сквозь палаточный шов:

— Наверно, капитана обозлило, что в подразделении слишком много толков об искусном мастере, который все умеет наладить... Ну и дисциплина, конечно, ослабла... о чем тут говорить.

Я видел, как тщетно старается Силач объяснить себе нелепость создавшегося положения, и не знал, что ему сказать.

— А может быть, капитан просто не любит коммунистов,—промямлил я неуверенно.

Не отрывая глаз от полотняных стен, Силач задумчиво сказал:

— Ну, уж ты слишком далеко хватил. Коммунистов он не любит, это несомненно. Но все-таки... Ведь воюем-то мы все вместе, верно? К тому же капитан знает свое дело. И теперь он против фашизма... Нет, это объяснение не подходит. Он — тронутый, да и дворянчик к тому же, но и патриот, этого у него не отнимешь... Так что ты брось эти свои домыслы.

Силач подошел и положил мне руку на плечо:

— Послушай... Ты ведь повидаешься с моей женой? Скажешь ей? А потом...— Он поколебался мгновение: — Послушай. Коммунисты... это не так просто, но я попробую тебе объяснить... Они группируются по ячейкам. Так это называется. Не могу тебе объяснить почему, сам не знаю, но так уж это называется. Говорят: ячейка... У меня их две. Одна ячейка — на заводе, но ту ты едва ли легко отыщешь. Из-за войны ребята переместились, увидеть их — дело сложное. Но я посещал также и другую, в том районе, где жил. В ней, наверно, произошло меньше изменений... Понимаешь... Так вот... мне хотелось бы, чтобы ты туда непременно пошел: моя жена даст тебе адрес, и ты им тоже обо всем расскажешь, ладно? Ты ведь живой свидетель. Не хотелось бы, чтобы поверили бог знает чему... Ты им попросту расскажешь, как все было на самом деле...

Я согласился.

— Вот теперь и ты видишь,— продолжал Силач,— я был прав...

Надо мне было оставаться там. В Париже. Там меня, может, тоже расстреляли бы, но не об этом ведь речь. Там, по крайней мере, это было бы не зря. Я бы кое-что сделал такое, за что стоило бы идти на смерть. Тогда как здесь... да к тому же все получилось уж очень несправедливо...

■

Выйдя от него, я направился к канцелярии нашего подразделения. Ночное небо было обычным, в лунном свете вырисовывались палатки совсем как всегда; а там, на дороге, слышался неумолчный шум проходивших мимо машин. Они начали неделю назад свое шествие, которое, казалось, будет продолжаться изо дня в день целую вечность. Деревня спала, но мир завтра будет совсем не таким, как сегодня. Силача, во всяком случае, я уже не повстречаю больше... Я не переставая твердил себе: «Капитан — убийца». Потом отбрасывал эту мысль: как-никак капитан все время думал о том, чтобы привести нас обратно на родину, всем при этом рискуя, и разве не покидала его обычная озлобленность, когда мы опрокидывали врага или когда он произносил «Франция»... Силач был прав: капитан — патриот, и все те из нас, кто выберется отсюда, частично будут обязаны ему, если встретятся с женами и детьми, да и с республикой, которую, кстати говоря, не так уж наш капитан, наверно, и любит... Тогда почему же он изо всех сил старается избавиться от Силача, как бы смахивая его ружейным залпом, словно взмахом руки, со своего пути? Разве Силач не меньше, чем он, любит родину? Где тут справедливость, в чем тогда смысл войны, где оправдание смерти?

Один из сержантов опустился рядом со мной на землю.

— Двое из моих ребят объявили мне, что они солидарны с Силачом. Когда я рассказал об этом капитану... Можешь себе представить, как он прорычал: «Солидарны? Они воображают, что находятся у себя на заводе! Или где-нибудь на бирже труда!.. Для меня существует сейчас лишь одна солидарность. С Францией... Сержант, посадите этих голубчиков на два дня за решетку. За недостаток патриотизма...»

Сержант ушел, и я остался один. Из всего того, что произошло позднее, в сознание врезалось лишь воспоминание о том, как непереносимо сжималось мое сердце... Потом в лагерь примчались два «джипа» с потушенными огнями. В одном из них я успел разглядеть молодого парня, типичного крестьянина, бородатого, с непокрытой головой, в старой поношенной кожаной куртке. Минутой позже появилась и машина капитана, за рулем сидел новый шофер.

Лагерь продолжал спать. Вероятно, один только Силач не смыкает глаз: всей силой своего ума стараясь побороть отчаяние, он уставился, наверно, в землю или, наоборот, вперил взор куда-то ввысь, тщетно пытаясь разглядеть небо сквозь дыры своей полотняной тюрьмы.

Все приехавшие на трех машинах собрались вокруг одного из огромных деревянных столов, поставленных рядом с канцелярией подразделения. Меня позвали, «чтобы вести запись»,— сказал капитан. Пять офицеров и двое из военной полиции окружили молодого штатского. В лунном свете он казался необыкновенно бледным, он не дрожал, но чувствовалось, что сердце у него неистово колотится и он делает видимое усилие, чтобы его скрещенные руки, оставленные несвязанными, не дрожали. Я понял, это — партизан, которого задержали наши люди и тут же решили, что именно он получил пулемет от Силача.

— У него ведь прямо под курткой и нашли ручной пулемет,— сказал кто-то.

— Пулемет немецкий,— отрывисто бросил парень, усиленно морща лоб и изо всех сил стараясь понять французскую речь.

— Немецкий? — заинтересовался капитан.

— Захвачен у противника,— ответил парень.— Мы давно уже сражаемся с немцами. И нанесли им большой урон. Об этом всем известно.

— Вы также были их союзниками. Это тоже всем известно.

— Нет. Мы никогда не были их союзниками. И всегда считали их своими врагами. Пулемет я взял у одного из них...

— Та-та-та-та,— поддразнил его капитан.— А может, они тебе его оставили, чтобы ты в нас стрелял?..— Парень пожал плечами.— Хочешь биться об заклад, что ты стал партизаном только после прихода Бадольо *? — продолжал капитан.

— Да,— согласился парень, не опуская головы,— но до этого я участвовал в Сопротивлении.

— И вообще, к чему все это, какое мне до всего этого дело? Мы строго-настрого запретили находиться во фронтовой зоне каким бы то ни было вооруженным группам. А вы, вы имели при себе оружие. Кто знает, против кого — против немцев или против нас? Почему я должен тебе верить?

Внезапно парень выпрямился, и голос его прозвучал с особой силой:

— Моего брата замучили фашисты.

— Фашисты, фашисты... Немцы или итальянцы?

— Итальянские фашисты. Фашисты все одинаковы.

— А для меня все итальянцы одинаковы. Вчера — противники, сегодня — побежденные... Позовите Силача.

Привели Силача. Он старался разглядеть в темноте лица окружающих. Видимо, офицерам во что бы то ни стало хотелось, чтобы партизан и Силач узнали друг друга. При появлении Силача парень подтянулся: он небось думал, что перед ним какой-нибудь предатель — немецкий шпион или дезертир... Полный презрения, он начисто отрицал, что когда-либо видел Силача. Силач, в свою очередь, спокойно объяснил, что это вовсе не тот парень, которому он дал свечу.

— Хорошо, то был другой,— согласился капитан.— Когда вам передали ручной пулемет? — спросил он у молодого штатского.

— Никогда ничего не слыхал о том, что французский солдат передал нам оружие.

— Еще бы!.. Вот видите,— сказал капитан, поворачиваясь к офицерам.— Видите?.. У них строго замкнутые группы. Нижестоящие понятия не имеют о том, что происходит в вышестоящих. Изоляция. Метод хорошо известен.— Он снова обратился к парню:— А о свече ты что-нибудь слыхал?..

— Нет.

— Разумеется!..

Мне показалось, что офицеры смущены. Капитан тоже, по-видимому, это почувствовал.

— Говорят, вы незаменимый работник, Силач,— сказал он.— А вот я не признаю незаменимых. Такого рода люди только и делают, что гонятся за популярностью...

Кто-то из офицеров шепнул на ухо соседу что-то, чего я не расслышал, но капитан внезапно разразился.

— Кто здесь говорит о де Латтре **? — завопил он.— И что именно? — Капитан размахивал руками. Затем он заговорил более тихим, неожиданно приглушенным голосом: — Здесь, в этот момент, господа, ответствен за все я...

---

* Итальянский маршал, ставший премьер-министром после свержения Муссолини и подписавший акт о капитуляции Италии.

** Французский генерал, во время войны примкнувший к де Голлю и командовавший армией.

Наступило длительное молчание, и мне показалось, что Силач улыбается. Для меня это было непостижимо и таинственно, но он улыбался. В глазах Силача светился какой-то насмешливый огонек...

— Покончим с этим,— проговорил наконец капитан.— Ситуация ясна. Ручной пулемет исчез, и эти двое подозреваются в его похищении...

Подозреваются? Я едва сдержался. Час назад Силача приговорили к смертной казни, а теперь он всего лишь подозревается... Капитан заколебался, любой исход казался мне теперь возможным. Молодой штатский уставился в небо, он был почти уверен, что ему не миновать кары, и старался возможно лучше запечатлеть в своем сознании всю красоту мира, вот эти облака, разорванные ветром, которые временами, словно вуалью, закрывают луну. Силач стоял спокойно, как-то совершенно по-обыденному поглядывая на меня. Я уже не слышал, о чем говорили капитан и офицеры, низко наклонившись друг к другу. Наконец капитан опять возвысил голос:

— Отвезите итальянца в главный штаб,— сказал он.— Пусть делают с ним, что хотят... Силач...

О чем же все-таки думал Силач?

— Силач, я ведь к вам обращаюсь! Вы отсидите десять дней за решеткой...— И, помолчав, добавил: — Это не значит, однако, что вам запрещается пойти добровольцем на какое-нибудь дело, если в добровольцах будет нужда...

Мне так хотелось в эту минуту броситься к Силачу. Но его тут же увели обратно. Я тоже пробрался к себе в палатку. Мне казалось, что все давно спят, на самом же деле большинство людей бодрствовало, чутко прислушиваясь ко всему, что происходило в лагере. Сперва грохот ворвавшихся машин, потом громкие голоса... Как только я вошел, посыпались вопросы:

— Что там стряслось?

— Силача не расстреляют,— ответил я, растягиваясь на нарах.

— А тот, другой, он кто?

— Итальянец.

— Итальянский шпион?

— Неизвестно. Партизан.

Наш разговор разбудил остальных. Один из проснувшихся — начало разговора он, видимо, упустил — заворочался:

— Шпион, с которым Силач поддерживал связь?

Я кинулся на того, кто это сказал, и засветил ему кулаком в глаз. Пришлось нас разнимать.

■

Утром я пошел к Пиер рассказать о происшедшем. Об итальянце ей все уже было известно. Она его знала. Его зовут Анжело. Он из деревни, что в двадцати километрах отсюда. Она и брата его тоже знала. Я говорил ей о Силаче, а она мне об итальянцах.

— До чего же бедняки бедны! — восклицала она.— Анжело такой же, каким был его брат. Но ведь набрасываются-то всегда на одних и тех же, проклятье тяготеет как раз над бедняками...

Я уверял ее, что с Анжело ничего не случится, в штабе его обязательно освободят, но она все твердила:

— Нет, не миновать ему беды. Он уже отмечен судьбой. И твой друг тоже. Я-то знаю, не зря живу на свете.

Я никак не мог понять, почему Пиер так неистово предается отчаянию. Я пытался заставить ее разделить со мной радость по поводу того, что Силач отделался какими-то десятью днями заключения, тогда как всего лишь несколько часов назад он был присужден к смертной казни.

Но она твердила свое:

— Когда идет война, несчастье все время держит людей в своих лапах. Вот и сейчас арестовали солдата, то есть своего, а не врага.

Она причесывала сынишку, игравшего с только что пойманной бог знает где черепахой. Все вокруг было напряжено, как туго натянутая скрипичная струна, и в этой обстановке особенно заметной казалась черепаха, такая медлительная и ко всему равнодушная (хотя темно-коричневая ее шея и содрогалась от страха). Я взял Пиер за плечи и попытался заставить ее взглянуть на меня.

— И ты тоже, ты ведь тоже уедешь,— сказала она.

— Я вернусь, Пиер, верь мне!

— Иной раз я взгляну на тебя и верю. Но тут же говорю себе: вот ты уйдешь от меня и снова станешь всего лишь солдатом в войне, а несчастье вновь побежит по твоему следу... Бедняки да солдаты — вот она, Италия.

Стараясь побороть отчаяние, которое она утверждала в себе с какой-то томительной покорностью, я легонько тряхнул ее за плечи:

— Война кончится, Пиер, мы уедем отсюда. Я увезу тебя... Мир велик.

— Хе, мир больше, чем Италия, но повсюду происходит то же, что в Италии, я-то знаю....

— Надо верить в счастье, Пиер, надо. Оно существует. Ты увидишь, я буду любить тебя...

В тот вечер я задержался у Пиер. Внезапно где-то вдали на севере загрохотало тяжелое орудие. И сердце Пиер неистово застучало у самой моей груди.

■

Силача убили. Вернулись только двое из восьми человек, которых, словно в насмешку, послали взорвать спрятанный в холмах дот после того, как ночью оттуда обстреляли дорогу. Силач пошел с этим отрядом: он так и остался там, повис на кусте перед гранитной стеной.

Я сидел на раскаленном камне у края той дороги, где много раз поджидал Пиер. Подо мной, по склону, среди олив, расщепленных во время последних обстрелов, медленно прохаживалась лошадь, пощипывая редкие пучки желтой пыльной травы. Солнце испепеляло все вокруг, накаляя добела землю, и от жары у меня по груди непрерывно стекали ручейки пота. Рядом на земле сидел сержант Гудер (не оттого ли, что он до конца был с Силачом, его имя попало в число избранных, которых время не властно изгнать из моей памяти?)... Гудер смотрит вперед, ничего не видя, как слепец, и говорит отрывисто, короткими рублеными фразами, и после каждой из них голос его внезапно падает, и весь он словно никак не может выйти из состояния оцепенения...

— Вчера вечером, ты, верно, и сам слышал... Немцы начали обстреливать дорогу. Капитан сказал: «Это — из дота, надо его взорвать...» Мы понимали, что тут нужна артиллерия, но получилось так, что пришлось нам идти, не дожидаясь ее. Ведь именно нам поручили защищать дорогу, нам, а не кому-нибудь другому... Силач сказал: «Хоть воздухом подышу на свободе». И пошли... Издали ничего не увидишь, но когда подойдешь вплотную, стена гладкая, словно вощеный паркет... а высотой с добрую отвесную скалу. Можно подумать — кусок холма стесан по вертикали. А внутри отверстия. Не очень их много... Приблизишься на триста-четыреста метров — и сразу всего тебя видно, будто на ладони. Сюда бы морские орудия крупного калибра. Люди тут мало что могут сделать. Но артиллерия-то, кажется, появится только сегодня. Дорогу, спору нет, защищать приказали нам... Да только чем? Разве что грана-

тами... Когда Силач это увидел, он сказал: «Понимаю, что тут требуется!..» Мы двигались короткими перебежками, держа гранаты за спиной. Страшновато, знаешь ли... А мысль была такая: подобраться к самому подножию этой отвесной штуковины. Тогда мы стали бы не видны и, возможно, выиграли бы: ну мы и начали свое восхождение — подобраться бы, не обнаруживая себя, к самой пасти штуковины и зашвырнуть в нее начинку... Только бы добраться туда...— Он остановился, как бы уточняя что-то для себя самого: — Пока мы шли по ровному месту, они косили нас, точно кроликов. Силач мне и говорит: «Тут, понимаешь, мой девиз, выходит, не применишь»... А я ведь даже и не знаю, какой такой у него был девиз...

— Один за всех,— ответил я.

— Ах, да. И все за одного...

— Нет. Только один за всех. Он придерживался только первой половины этого правила.

— Да? Ну, там-то все было ни к чему. Мы все же продвигались... Пытались вскарабкаться на эту стену... В конце концов, когда осталось нас всего трое, я сказал ребятам: «Надо возвращаться». Мы и вернулись... Напоследок они еще одного скосили... Силача — того в самом начале...

Заходящее солнце, казалось, истощило все свои силы и теперь, потеряв полуденную неистовость, устало золотило стены домов. И то сказать, женщинам деревни теперь уж не придется осушать трудовой пот: не осталось ведь ни крошки топлива, ни ослов, на которых его перевозили,— их останавливали у стены дома, где они приседали, как бы моля о пощаде... «Лет через десять,— думал я,— тем, кто попадет сюда, ничто уже не напомнит о войне, прошедшей по этим местам, а ведь здесь гремели бои, отчаянно стонали раненые, трупы лежали грудами, мертвецы валялись с открытыми глазами, в которых застыло удивление. Через десять лет здесь уже раскинется умиротворенная равнина, исполненная спокойствия... А что будет достигнуто с помощью всех этих жертв?» Лошадь, неподалеку щипавшая траву, жалобно заржала, возможно, с голоду... А вдруг Пиер в самом деле права? Может, и впрямь над людьми тяготеет какое-то бессмысленное проклятие? Накануне утром, под предлогом выполнения своих канцелярских обязанностей, я заглянул на минутку к Силачу в его тюремную палатку. Пересказал ему все, что Пиер говорила о войне, о несправедливости, о людских несчастьях... Он рассмеялся:

— Все это религиозный дурман! Лично я не верю россказням о злосчастной судьбе. А горести минуют, увидишь, они минуют нас.

— Ну, а несправедливость? Ведь партизан арестован, ты осужден... Нет, она права.

— Нисколько. Все это временно. И происходит только здесь. Пойми, идет война. Но и война тоже кончится. Увидишь...

— Весь мир похож на Италию,— опять повторил я слова Пиер.

— Ну нет, ну нет! И потом, мир изменяют, его сделают совершенно другим, увидишь...

Вот я и вижу. Силач погиб... Мне пришла в голову безумная мысль: Когда наше подразделение двинется в путь, я останусь в деревне под крылом у Пиер, спрячусь, дождусь конца войны... Но я отлично знал, что не сделаю этого. И все же Пиер была в тот момент единственным существом, которое что-то для меня значило. Пиер, чей трагический взгляд вобрал в себя всю черноту, весь траур всех женщин мира, став столь же пронзительным, как их горькая мудрость... Я смотрю на деревню, на дом Пиер, на ребятишек, которые, покачиваясь, несут чересчур тяжелые для них ведра воды, на старух, вытаскивающих на порог своих жилищ скамьи и стулья, усаживающихся и принимающихся болтать, как если

бы война уже окончилась, как если бы вдалеке, и в конце-то концов не в столь уж далеком далеке, пушки не палили изо всех сил по гранитной стене, у которой пал растерзанный Силач... Но почему же все-таки Силач, глубоко убежденный в том, что мир вовсе не подвержен проклятью, сам явился жертвой этого проклятья? В свою последнюю минуту, когда его настигла пуля и вся жизнь вытекла горлом, когда последний оборот крови, подобно оглушительному удару тарана, обрушился на его сердце и разорвал его, когда мир раскололся перед его расширенными от ужаса глазами на тысячи кусков, сохранил ли он и тогда свою веру, для уничтожения которой было как будто сделано все? Силач, Силач, почему не открыл ты мне, что именно питало твою уверенность и как надо поступать, чтобы разогнать печаль, непрестанно кружащую вокруг Пиер, словно не знающая устали черная птица, а сейчас она и меня задевает своим темным крылом?..

— Он вскрикнул,— продолжал свой рассказ Гудер,— и все было кончено.

Там, вдалеке, артиллерия смолкла. Гудер поднялся.

— Они его прикончили,— сказал он, уходя.

Я не понял, кого он имел в виду — Силача или дот.

■

На следующий день, как если бы наша судьба без нашего ведома зависела лишь от разрушения дота, пришел приказ выступать.

Деревню мы покидали на рассвете. Лишь немногие вышли на пороги домов взглянуть на наш уход. Когда мы проходили мимо дома Пиер, она вышла на улицу, а сын стоял рядом, уткнувшись в ее юбку. Она держалась прямо и неподвижно, с мертвенно-бледным лицом, только в глазах у нее светился пламень, черный пламень. Я уже приподнял было руку, чтобы подать ей знак, но совсем поднять не решился и лишь пристально глядел на нее, словно видел ее в последний раз. Потом то-ли пыль запорошила мне глаза, то-ли солнце...

На дороге за мостом, нас поджидали грузовики. В тот момент, когда я взбирался в кузов, я невольно обернулся: там, справа, я искал глазами Силача...

ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ

РАЗОБЛАЧЕНИЕ

РАССКАЗ

Перевод с английского
ИВАНА КАШКИНА

Бар Чикоте в старое время был для Мадрида тем же, что бар «Сторк», только без музыки и дебютанток, или мужской бар в «Уолдорф-Астории», если бы туда допускали женщин. Конечно, они и туда проникали, но это было мужское пристанище, и прав у женщин там не было никаких. Лицо своему заведению придавал владелец бара — Педро Чикоте. Он был незаменимый бармен, всегда приветливый, всегда веселый и, что называется, с огоньком. А это теперь довольно редкая штука, и немногие сохраняют его надолго. И не надо путать его с напускной веселостью. Так вот, огонек у Чикоте был, и не напускной, а настоящий. Сам Чикоте к тому же человек скромный, простой, дружелюбный. Он был так хорош и приятен и притом деятелен, что его можно сравнить только с Жоржем, барменом парижского «Рица», а это сравнение говорит о многом для тех, кто там побывал,— и помимо всего прочего бар он держал превосходный.

В те времена золотая молодежь Мадрида предпочитала посещать так называемый Новый клуб, а к Чикоте ходили хорошие ребята. Конечно, многие из посетителей мне вовсе не нравились, так же как, скажем, и в баре «Сторк», но мне всегда приятно было посидеть у Чикоте. Тут, например, не рассуждали о политике. Были кафе, куда ходили как в дискуссионный клуб, и других разговоров там не бывало, а у Чикоте о политике не говорили. Но и без этого было о чем поговорить, а вечером сюда приходили самые красивые девушки города, и здесь можно было завязать знакомство на весь вечер, и много хороших вечеров мы начинали именно здесь.

Завернув сюда, можно было узнать, кто сейчас в городе или кто куда уехал. А летом, когда в городе никого не оставалось, здесь можно было посидеть и выпить вволю, потому что официанты здесь были приятны и внимательны.

Это было похоже на клуб, но только никаких взносов не взимали и можно было познакомиться с девушкой. Без сомнения, это был лучший бар в Испании, а может быть, и на всем свете, и все мы, его завсегдатаи, были очень к нему привязаны.

Напитки здесь были восхитительные. Если вы заказывали мартини, его приготовляли из лучшего джина. Чикоте не жалел денег, и виски ему доставляли бочонками из Шотландии. Оно было настолько лучше рекламируемых марок, что его нельзя было даже сравнивать с обычным

«шотландским» брэнди. Так вот, когда начался мятеж, Чикоте находился в Сан-Себастьяне, где у него был летний филиал. Он и теперь держит его, и говорят, что это лучший бар во всей франкистской Испании. А мадридское заведение взяли на себя официанты и продолжают дело и сейчас, хотя хорошее виски там уже кончилось.

Большинство старых клиентов Чикоте перешли на сторону Франко, но и среди республиканцев есть завсегдатаи этого бара. Так как это было очень веселое место — а веселые люди обычно самые смелые люди, которые погибают первыми,— случилось так, что большей части посетителей Чикоте теперь уже нет в живых. Бочоночное виски кончилось уже много месяцев назад, а к маю 1938 года мы прикончили и остаток желтого джина. Теперь и ходить-то туда, собственно, незачем, и Луис Дельгадо, проникни он в Мадрид немного позднее, вероятно, не вздумал бы зайти сюда и не попал бы в беду. Но когда он явился в Мадрид в ноябре 1937 года, у Чикоте еще оставалось немного желтого джина и можно было получить индийскую хинную. Ради этого, собственно, не стоило рисковать жизнью, но, может быть, ему просто захотелось посидеть в привычном месте. Зная его и зная, каким был этот бар в прежние времена, это вовсе не кажется непонятным.

В этот день в посольстве закололи корову, и швейцар зашел в отель «Флорида» сказать, что нам оставили по десять фунтов парного мяса. Я пошел за ним в ранних сумерках мадридской зимы. Два штурмовых гвардейца с винтовками сидели у входа в посольство, а мясо было оставлено нам в сторожке.

Швейцар сказал, что кусок нам достался хороший, но корова была очень тоща. Я угостил его поджаренными семечками и желудями, завалявшимися в карманах моей куртки, и мы побалагурили с ним, стоя у ворот на гравии посольской дорожки.

Я пошел домой через город с тяжелым свертком мяса под мышкой. Гран-Виа обстреливали, и я зашел переждать к Чикоте. Там было людно и шумно, и я присел за маленький столик в углу у заложенного мешками окна, мясо положил рядом на скамейку и выпил джина с хинной. Как раз на этой неделе мы обнаружили, что у них еще есть хинная. После начала мятежа ее не выписывали, и цена на нее осталась довоенная. Вечерних газет еще не было, и я купил у старухи газетчицы три листовки разных партий. Они стоили по десять сентаво, и я сказал ей оставить себе сдачу с песеты. Она сказала, что бог меня помилует. Я в этом усомнился и стал читать листовки и пить джин с хинной.

Ко мне подошел старый официант, которого я знал еще по прежним временам. То, что он сказал, меня удивило.

— Нет,— сказал я.— Не верю.

— Да,— настаивал он и махнул головой и подносом в том же направлении.— Только не оборачивайтесь. Он там.

— Не мое это дело,— сказал я ему.

— Да и не мое тоже.

Он ушел, я купил вечерние газеты у только что появившейся другой старухи и стал читать их. Относительно того человека, на которого указывал официант, сомнений не было. Мы оба слишком хорошо его знали. Я мог только подумать: «Ну и глупец. Просто сумасшедший».

Тут подошел один греческий товарищ и подсел за мой столик. Он командовал ротой в Пятнадцатой бригаде и при бомбежке его завалило. Четверо рядом с ним были убиты, его же продержали под наблюдением в госпитале, а теперь посылали в дом отдыха, или как это сейчас называется...

— Как дела, Джон? — спросил я.— Попробуйте.

— А как называется, что вы пьете, мистер Эмундс?

— Джин с горькой.

— Это какая же горькая?

— Индийская хинная. Попробуйте.

— Я много не пью. Но хинная — это хорошо от лихорадки. Я выпью.

— Ну, что говорят врачи о вашем здоровье, Джон?

— А мне не надо врачей. Я здоров. Только в ушах все время жужжит.

— Вам все-таки следовало бы зайти к врачу, Джон.

— Я был. Он не понимает. Говорит — нет направления.

— Я скажу им. Я там всех знаю. Что, этот доктор — немец?

— Так точно,— сказал Джон.— Немец. Английский говорит плохо.

Тут снова подошел официант. Это был старик с лысой головой и весьма старомодными манерами, которых не изменила и война. Он был очень озабочен.

— У меня сын на фронте,— сказал он.— Другого убили. Как же быть?

— Это ваше дело.

— А вы? Ведь раз уж я вам сказал...

— Я зашел сюда выпить перед ужином.

— Ну, а я работаю здесь. Но скажите, как быть?

— Это ваше дело,— сказал я.— В политику я не мешаюсь. Вы понимаете по-испански? — спросил я греческого товарища.

— Нет. Только несколько слов. Но я говорю по-гречески, английски, по-арабски. Давно я хорошо знал арабский. Вы знаете, как меня засыпало?

— Нет, представляю только, что вы попали под бомбежку. И все.

У него было смуглое, красивое лицо и очень темные руки, которые все время двигались. Он был родом с какого-то греческого острова и говорил очень напористо.

— Ну, так я вам расскажу. У меня большой военный опыт. Прежде я был капитаном греческой армии тоже. Я хороший солдат. И когда увидел, как аэроплан летает над нашими окопами в Фуентес-дель-Эбро, я стал следить. Я видел, что аэроплан прошел, сделал вираж и сделал круг (он показал это руками) и смотрел на нас. Я говорю себе: «Ага! Это для штаба. Произвел наблюдения. Сейчас прилетит еще».

И вот, как я и говорил, прилетели другие. Я стою и смотрю. Смотрю все время. Смотрю наверх и объясняю роте, что делается. Они шли по три и по три. Один впереди, а два сзади. Прошла еще тройка, я говорю роте: «Вот прошло звено».

Прошли еще три, и я говорю роте: «Теперь о'кей. Теперь ол райт. Теперь нечего бояться». И очнулся через две недели.

— А когда это случилось?

— Уже месяц. Понимаете, каска мне налезла на лицо, когда меня засыпало, и там сохранился воздух, и, пока меня не откопали, я чуть не задохнулся. Но с этим воздухом был дым от взрыва, и я от этого долго болел. Теперь я о'кей, только в ушах звенит. Как, вы говорите, называется то, что вы пьете?

— Джин с горькой. Индийская хинная Швепса. Тут, знаете, было до войны очень шикарное кафе, и это стоило пять песет, но тогда за семь песет давали доллар. Мы недавно обнаружили здесь эту хинную, а цену они не подняли. Остался только один ящик.

— Очень хороший напиток. Расскажите мне, как тут было в Мадриде до войны?

— Превосходно. Вроде как сейчас, только еды вдоволь.

Подошел официант и облокотился на стол.

— А если я этого не сделаю? — сказал он.— Я же отвечаю.

— Если хотите, подите и позвоните по этому номеру. Запишите.— Он записал.— Спросите Пепè,— сказал я.

— Я против него ничего не имею,— сказал официант.— Но дело в республике. Такой человек опасен для нашей республики.

— А другие официанты его тоже узнали?

— Должно быть. Но никто ничего не сказал. Он старый клиент.

— Я тоже старый клиент.

— Так, может быть, он теперь тоже на нашей стороне?

— Нет,— сказал я.— Я знаю, что нет.

— Я никогда никого не выдавал.

— Это уж вы решайте сами. Может быть, о нем сообщит кто-нибудь из официантов.

— Нет. Знают его только старые служащие, а они не донесут.

— Дайте еще желтого джина и пива,— сказал я.— А хинной еще немного осталось в бутылке.

— О чем он говорит? — спросил Джон.— Я совсем мало понимаю.

— Здесь сейчас человек, которого мы оба знали в прежнее время. Он был замечательным стрелком по голубям, и я его встречал на состязаниях. Он фашист, и для него явиться сейчас сюда было бы очень глупо, чем бы это ни было вызвано. Но он всегда был очень храбр и очень глуп.

— Покажите мне его.

— Вон там, за столом с летчиками.

— А который из них?

— Самый загорелый, пилотка надвинута на глаз. Тот, который сейчас смеется.

— Он фашист?

— Да.

— С самого Фуентес-дель-Эбро не видел близко фашистов. А их тут много?

— Нет, но изредка попадаются.

— И они пьют то же, что и вы? — сказал Джон.— Мы пьем, а другие думают, мы фашисты. Что? Слушайте, были вы в Южной Америке, Западный берег, в Магальянесе *?

— Нет.

— Вот где хорошо. Только слишком много вось-ме-ро-но-гов.

— Чего много?

— Восьмероногов.— Он произносил это по-своему.— Знаете, у них восемь ног.

— А,— сказал я.— Осьминог.

— Да. Осьминог,— повторил Джон.— Понимаете, я и водолаз. Там можно много заработать, но только слишком много восьмероногов.

— А что, они вам досаждали?

— Я не знаю, как это. Первый раз я спускался в гавани Магальянес и сразу восьмероног. И стоит на всех своих ногах, вот так.— Джон уперся пальцами в стол, приподнял локти и плечи и округлил глаза.— Стоял выше меня и смотрел прямо в глаза. Я дернул за веревку, чтобы подняли.

— А какого он был размера, Джон?

— Не могу сказать точно, потому что стекло в шлеме мешает. Но голова у него была не меньше четырех футов. И он стоял на своих ногах, как на цы-пучках, и смотрел на меня вот так (он выпялился мне в лицо). Когда меня подняли и сняли шлем, я сказал, что больше не спущусь. Тогда боцман говорит: «Что с тобой, Джон? Восьмероног, он больше испугался тебя, чем ты восьмерогa». Тогда я ему говорю: «Это невозможно!» Может, выпьем еще этого фашистского напитка?

— Идет,— сказал я.

---

* Провинция на юге Чили.

Я следил за человеком у того стола. Его звали Луис Дельгадо, и в последний раз я видел его в 1933 в Сан-Себастьяне на стрельбе по голубям. И помню, мы стояли с ним рядом на верхней трибуне и смотрели на финал розыгрыша большого приза. Мы с ним держали пари на сумму, превышавшую мои возможности, да, как мне казалось, превосходившую и его платежеспособность в том году. Когда он, спускаясь по лестнице, все-таки заплатил проигрыш, я подумал, до чего же он хорошо себя держит и все старается показать, что считает за честь проиграть мне пари. Я вспомнил, как мы тогда стояли в баре, потягивая мартини, у меня было удивительное чувство облегчения, как если бы я сухим выбрался из воды, и вместе с тем мне хотелось узнать, насколько тяжел для него проигрыш. Я всю неделю стрелял из рук вон плохо, а он превосходно, хотя выбирал почти недосягаемых голубей и все время держал пари на себя.

— Хотите реванш на счастье? — спросил он.

— Как вам угодно.

— Да, если вы не возражаете.

— А на сколько?

Он вытащил бумажник, заглянул в него и расхохотался.

— Собственно, для меня все равно,— сказал он.— Ну, скажем, на восемь тысяч песет. Тут, кажется, наберется.

Это по тогдашнему курсу равнялось почти тысяче долларов.

— Идет,— сказал я, и все чувство внутреннего покоя мигом исчезло и опять сменилось пустым холодком риска.— Кто начинает?

— Раскрывайте вы.

Мы потрясли тяжелые серебряные монеты по пяти песет в сложенных ладонях. Потом каждый оставил свою монету лежать на левой ладони, прикрывая ее правой.

— Что у вас? — спросил он.

Я открыл профиль Альфонса XIII в младенчестве.

— Король,— сказал я.

— Берите все эти бумажонки и, сделайте одолжение, закажите еще выпить.— Он опорожнил свой бумажник.— Не купите ли у меня хорошую двустволку?

— Нет,— сказал я.— Но, послушайте, Луис, если вам нужны деньги...

Я протянул ему туго сложенную пачку толстых глянцевито-зеленых тысячных банкнот.

— Не дурите, Энрике,— сказал он.— Мы ведь поспорили, не так ли?

— Разумеется. Но мы достаточно знаем друг друга.

— Видимо, недостаточно.

— Ладно,— сказал я.— Ваше дело. А что будем пить?

— Как вы насчет джина с горькой? Очень славный напиток.

Мы выпили джина с горькой, и хотя мне было ужасно неприятно, что я его обыграл, но я все же был очень рад, что выиграл эти деньги; и джин с горькой казались мне вкусными как никогда. К чему лгать о таких вещах и притворяться, что не радуешься выигрышу, но этот Луис Дельгадо был классный игрок.

— Не думаю, чтобы игра по средствам могла доставлять людям удовольствие. Как по-вашему, Энрике?

— Не знаю. Никогда не играл по средствам.

— Будет выдумывать. Ведь у вас куча денег.

— Если бы,— сказал я.— Но их нет.

— О, у каждого могут быть деньги,— сказал он.— Стоит только что-нибудь продать, вот вам и деньги.

— Но мне и продавать нечего. В том-то и дело.

— Выдумаете тоже. Я еще не встречал такого американца. Вы все богачи.

По-своему он был прав. В те дни других американцев он не встретил бы ни в «Рице», ни у Чикоте. А теперь, оказавшись у Чикоте, он мог встретить таких американцев, каких раньше он никогда не встречал, не считая меня, но я был исключением. И много бы я дал, чтобы не видеть его здесь.

Ну, а если уж он пошел на такое полнейшее идиотство, так пусть пеняет на себя. И все-таки, поглядывая на его столик и вспоминая прошлое, я жалел его, и мне было очень неприятно, что я дал официанту телефон отдела контрразведки Управления безопасности. Конечно, он узнал бы этот телефон, позвонив в справочное. Но я указал ему кратчайший путь для того, чтобы задержать Дельгадо, и сделал это в приступе объективной справедливости и невмешательства и нечистого желания поглядеть, как поведет себя человек в момент острого эмоционального конфликта,— словом, под влиянием того свойства, которое делает писателей такими притягательными друзьями.

Подошел официант.

— Как же вы думаете? — спросил он.

— Я никогда не донес бы на него сам,— сказал я, стремясь отделаться от тягостного поступка.— Но я иностранец, а это ваша война, и вам решать.

— Но вы-то с нами!

— Всецело и навсегда. Но это не означает, что я могу доносить на старых друзей.

— Ну, а я?

— Это совсем другое дело.

Я понимал, что все это так и ничего другого не оставалось сказать ему, но я предпочел бы ничего об этом не слышать.

Моя любознательность насчет того, как ведут себя люди в подобных случаях, была давно и прискорбно удовлетворена. Я повернулся к Джону и не смотрел на стол, за которым сидел Луис Дельгадо. Я знал, что он более года был летчиком у фашистов, а здесь он оказался в форме республиканской армии, в компании трех молодых республиканских летчиков последнего набора, проходившего обучение во Франции.

Никто из этих юнцов не мог знать его, и он, может быть, явился сюда, чтобы угнать самолет или еще как-нибудь навредить. Но зачем бы его сюда ни принесло, глупо было ему показываться у Чикоте.

— Как себя чувствуете, Джон? — спросил я.

— Чувствую хорошо,— сказал он.— Хороший напиток, о'кей. От него я немножко пьян. Но это хорошо от шума в голове.

Подошел официант. Он был очень взволнован.

— Я сообщил о нем,— сказал он.

— Ну что ж,— сказал я.— Теперь нечего и колебаться.

— Да,— сказал он с достоинством.— Я на него донес. Они уже выехали арестовать его.

— Пойдем,— сказал я Джону.— Тут будет неспокойно.

— Тогда лучше уйти,— сказал Джон.— Всегда и всюду беспокойно, хоть и стараешься уйти. Сколько я должен?

— Так вы не останетесь? — спросил официант.

— Нет.

— Но вы же дали мне номер телефона..,

— Ну что ж. Побудешь в вашем городе, узнаешь кучу всяких телефонов.

— Но ведь это был мой долг.

— Конечно. А то как же. Долг — великое дело.

— А теперь?

— Теперь вы этим гордитесь, не правда ли? Может быть, и еще будете гордиться. Может быть, вам это понравится.

— Вы забыли сверток,— сказал официант. Он подал мне мясо, завернутое в бумагу от бандеролей журнала «Шпора», кипы которого громоздились на горы других журналов в одной из комнат посольства.

— Я вас понимаю,— сказал я официанту.— Хорошо понимаю.

— Он был нашим давним клиентом, и хорошим клиентом. И я еще ни разу ни на кого не доносил. Я донес не ради удовольствия.

— Я не хочу быть циничным или грубым. Скажите ему, что донес я. Теперь он, должно быть, ненавидит меня, как политического противника. Ему было бы тяжело узнать, что это сделали вы.

— Нет. Каждый должен отвечать за себя. Но вы-то понимаете?

— Да,— сказал я. Потом солгал: — Понимаю и одобряю.

На войне очень часто приходится лгать, и, если солгать необходимо, надо это делать быстро и как можно лучше.

Мы пожали руки друг другу, и я вышел вместе с Джоном. Я оглянулся на столик Дельгадо. Перед ним стояли джин с горькой, и все за столом смеялись его словам. У него было очень веселое смуглое лицо и глаза стрелка, и мне интересно было, за кого он себя выдавал.

Все-таки глупо было показываться у Чикоте. Но это было как раз то, чем он мог похвастать, возвратясь к своим.

Когда мы вышли и свернули вверх по улице, к подъезду Чикоте подъехала большая машина, и из нее выскочило восемь человек. Шестеро с автоматами стали по обеим сторонам двери. Двое в штатском вошли в бар. Один из приехавших спросил у нас документы, и, когда я сказал: «Иностранцы»,— он сказал, что все в порядке и чтобы мы проходили дальше.

Выше по Гран-Виа под ногами было много свежеразбитого стекла на тротуарах и много щебня из свежих пробоин. В воздухе еще не рассеялся дым, и на улице пахло взрывчаткой и дробленым гранитом.

— Вы где будете обедать? — спросил Джон.

— У меня есть мясо на всех, а приготовить можно и у меня.

— Я поджарю,— сказал Джон.— Я хороший повар. Помню, раз я готовил на корабле...

— Боюсь, оно, должно быть, очень жесткое,— сказал я.— Только что закололи.

— Ничего,— сказал Джон.— На войне не бывает жесткого мяса.

В темноте мимо сновало много народу, спешившего домой из кинотеатров, где они пережидали обстрел.

— Почему этот фашист пришел в кафе, где его знают?

— С ума сошел, должно быть.

— Война это делает,— сказал Джон.— Слишком много сумасшедших.

— Джон,— сказал я,— вы как раз попали в точку.

Придя в отель, мы прошли мимо мешков с песком, наваленных перед конторкой портье, и я спросил ключ, но портье сказал, что у меня в номере два товарища принимают ванну. Ключ он отдал им.

— Поднимайтесь наверх, Джон,— сказал я.— Мне еще надо позвонить по телефону.

Я прошел в будку и набрал тот же номер, что давал официанту.

— Хелло, Пепе.

В трубке прозвучал сдержанный голос:

— Олла. Què tal *. Энрике?

— Слушайте, Пепе, задержали вы у Чикоте такого Луиса Дельгадо?

---

* Как дела? *(Исп.)*.

— Si, hombre. Si. Sin novedad *. Без осложнений.
— Знает он что-нибудь об официанте?
— No, hombre, no **.
— Тогда и не говорите о нем. Скажите, что сообщил я, понимаете? Ни слова об официанте.
— А почему? Не все ли равно. Он шпион. Его расстреляют. Вопрос ясный.
— Я знаю,— сказал я.— Но для меня не все равно.
— Как хотите, hombre. Как хотите. Когда увидимся?
— Заходите завтра. Выдали мяса.
— А перед мясом виски. Ладно, hombre, ладно.
— Salud ***, Пепе, спасибо.
— Salud, Энрике, не за что. Salud.

Странный это был, тусклый голос, и я никак не мог привыкнуть к нему, но теперь, поднимаясь в номер, я чувствовал, что мне полегчало.

Все мы, старые клиенты Чикоте, относились к бару по-особенному. Должно быть, поэтому Луис Дельгадо и решился на такую глупость. Мог бы обделывать свои дела где-нибудь в другом месте. Но, попав в Мадрид, он не мог туда не зайти. По словам официанта, он был хороший клиент, и мы когда-то дружили. Если в жизни можно оказать хоть маленькую услугу, не надо уклоняться от этого. Так что я доволен был, что позвонил своему другу Пепе в Сегуридад, потому что Луис Дельгадо был старым клиентом Чикоте и я не хотел, чтобы перед смертью он разочаровался в официантах своего бара.

1938 г.

---

* Да, дружище. Да. Ничего нового *(исп.)*
** Нет, дружище, нет *(исп.)*.
*** Привет *(исп.)*.

ЙОЗЕФ ГАНЗЛИК

ЛАМПА

Перевод с чешского
МАРКА МАКСИМОВА

Отец мой засыпал всегда при свете,
включал он лампу,
после, лежа тихо,
он жил в трепещущем соседстве света:
отец мой был слепым,
но знал он твердо,
что свет на свете есть —
недаром сухо щелкал выключатель
и на губах был электронный вкус, —
и ощущенье света для него
всегда равнялось ощущенью жизни.

Отец мой жил без глаз,
он их не мог зажечь и погасить,
но то, что люди видят каждый раз,
когда мечтают, опуская веки,
он тоже видел.
Важно он лежал и неподвижно,
а внутри под кожей дрожало тело от приливов крови,
как будто от сейсмических толчков.

Горела лампа.
Подогретый свет отец, казалось, изучал на ощупь.
И он, отец, вдыхал, и слушал свет,
и пробовал его на вкус губами.
И свет спешил, гудя по струнам вен,
врывался в сердце
и в горячий мрак живого мозга.
И тогда отец все вещи видел так, как видит зрячий,—
в сырых их формах, в муках их рождений,
с едва заметным запахом животным.

Он видел дни свои и дни людей,
с которыми знаком он даже не был,
и похороны видел он, и ливни,
наивность первых юношеских страхов,
и все свои скитанья без работы,
и все мои голодные слова,
и тухлых рыб он видел, и безногих детей,

тех самых, что, когда их видят,
вздыхают: — Эта свинская война!
И мать мою, конечно, видел ясно:
как, заломив растресканные руки,
она стояла, скорбная, прямая,
как обелиск. А лампа все горела.

Отец мой, он смотрел в глаза и тем,
кто у последних стен стояли прямо.
Отец мой видел плачущих собак,
хрипящих лошадей с горящей гривой,
и видел дым — он тяжко стлался в небе и был он от людей,—
и видел тех, с нетерпеливой песней
пришедших, чтобы пасть на камни Праги.

Горела лампа.
Мой отец шагал по мастерской,
жил в спешке веретен
и мягких ритмах вечных шестеренок,
и видел снова напряженность воль,
мышц и движений.
И в окно он видел
рисунки мелом — книги мостовых,
написанные о ребячьем утре,
и вечером он видел пары теней,
которые шептались о любви.

Он видел мир в его рожденьях, муках,
в кипенье человеческих страстей
и действий,
и позор, и злобу видел,
и смерть он видел, и борьбу за жизнь.
Горела лампа.
И вдыхал он свет,
и был он весь открыт живому свету
и весь пропитан им.
И на губах был электронный вкус,
И ощущенье света для отца
равнялось ощущенью жизни мира.

Сижу на той постели, где он спал,
смотрю на вещи — те, что с ним дружили,
и по ночам, едва сгустится мрак,—
я зажигаю лампу.

КАРЕЛ ТОМАШЕК

ПЕСНЯ О РЕКЕ

Перевод с чешского
БОРИСА СЛУЦКОГО

Я спросил у реки:
— Кто тебя умывает?
Наверное, дождь?
А еще я спросил,
где она спит
и каково ей тащить
суда, и листья,
и сонных уклеек —
весь этот мир?

Я спросил у реки.
Она шумела в ответ
и сверкала во всю свою гладь,
на которую мечут икру облака,
как большие спокойные рыбы.

Я спросил у реки,
тесно ли в берегах —
в половодье она выступает из них!
Я спросил берега,
не больно ли им
от теченья реки?
И у воды —
как сумела она
быть ровной и гладкой в любом русле
и тоскливо ли ей,
когда тянется клин диких гусей
и машет ей крыльями сверху?

Я спросил у реки.
Она шумела в ответ,
что это не так просто — течь.
И текла все дальше—большая вода,
что пахнет деревом и листвой.

РЭЙ БРЭДБЕРИ

Перевод с английского
Л. ЖДАНОВА

ДУГ

Рушится стена... За ней другая, третья; глухой гул — целый город превращается в развалины.

...Разгулялся ночной ветер.

Мир притих.

Днем снесли Лондон. Разрушили Порт-Саид. Выдернули гвозди из Сан-Франциско. Перестал существовать Глазго.

Их нет больше, исчезли навсегда.

Ветер негромко стучит досками, кружится маленькими смерчами песок.

На дороге, ведущей к сумрачным развалинам, появляется старик — ночной сторож. Он идет к высокой проволочной ограде, отворяет калитку и смотрит.

Вот в лунном сиянии Александрия, Москва, Нью-Йорк. Вот Иоганнесбург, Дублин, Стокгольм. И Клируотер в штате Канзас, Провинстаун и Рио-де-Жанейро.

Несколько часов назад старик сам видел, как это происходило: видел машину, которая с ревом подкатила к ограде, видел стройных загорелых мужчин в машине, мужчин в элегантных черных костюмах, с блестящими золочеными запонками, толстыми золотыми браслетами ручных часов, ослепительными кольцами; мужчин, которые прикуривали от ювелирных зажигалок...

— Вот смотрите, джентльмены, во что это превратилось. Все ветер да непогода.

— Да-да, мистер Дуглас, сплошная рухлядь, сэр.

— Может быть, еще удастся спасти Париж.

— Да, сэр!

— Постой... черт дери! Да он размок от дождя! Вот вам и Голливуд! Сносите! Расчищайте до конца! Этот участок нам пригодится. Сегодня же присылайте рабочих!

— Есть, сэр... мистер Дуглас!

Машина взвыла и исчезла.

■

И вот — ночь. Старый ночной сторож подходит к калитке.

Он вспоминает, что было потом, когда предвечернюю тишину нарушили рабочие.

Стук, грохот, треск, гром падения. Пыль и гул, гул и пыль!

Весь мир трещал по швам и рассыпался, роняя гвозди, перекладины, барельефы, рамы, целлулоидные окна; город за городом, город за городом рушились наземь и замирали.

Легкое трепетание... нарастающий, затем стихающий гром... и опять лишь легкий ветерок.

Ночной сторож медленно бредет по пустынным улицам.

Вот он в Багдаде: причудливые лохмотья дервишей, в узких окнах женская улыбка под чадрой и глаза, ясные, как сапфиры.

Ветер несет песок и конфетти.

Женщины и дервиши пропадают.

И снова кругом балки и жерди, папье-маше, холст с масляной краской, реквизит с маркой компании, а за фасадами строений — ничего, только ночь, звезды, космос.

Старик достает из ящика для инструментов молоток и горсть длинных гвоздей, потом роется в строительном мусоре, пока не находит с десяток хороших, крепких досок и немного целого холста. Он берет шершавыми пальцами блестящие стальные гвозди, гвозди с маленькими шляпками.

И начинает сколачивать Лондон, стучит и стучит... Доска за доской, стена за стеной, окно за окном, стук-стук, громче, громче, сталь о сталь, сталь в дерево, дерево ввысь — работает час за часом, до полуночи, без передышки, стучит, приставляет, опять стучит.

— Эй, вы!

Старик останавливается.

— Эй, сторож!

Из темноты выбегает незнакомец. Он в комбинезоне, он кричит:

— Эй, вы, как-вас-там!

Старик поворачивается.

— Моя фамилия Смит.

— О'кей, Смит, что это вы тут затеяли?

Ночной сторож спокойно глядит на чужака.

— Кто вы?

— Келли, бригадир.

Старик кивает.

— Ага, вы из тех, что все сносят. Сегодня вы немало успели. Вот и сидели бы дома, хвастали этим.

Келли откашливается, сплевывает.

— Я проверял механизмы там, где Сингапур...— Он вытирает губы.— А вы, Смит, чем вы тут занимаетесь, черт возьми? Положите-ка молоток. Да ведь вы опять все сколачиваете! Мы сносим, а вы снова строите. Вы что, рехнулись?

Старик кивает.

— Возможно. Но ведь кому-то надо восстанавливать.

— Послушайте, Смит. Я делаю свое дело, вы делаете свое — и всем хорошо. Я не могу вам позволить заниматься ерундой, ясно? Так и знайте, я доложу мистеру Дугласу.

Старик продолжает стучать молотком.

— Позвоните ему. Вызовите его сюда. Я с ним поговорю. Это он рехнулся.

Келли хохочет.

— Вы смеетесь? Дуглас не станет говорить с первым встречным.— Он делает рукой пренебрежительный жест, потом наклоняется, изучая работу Смита.— Эй, что за черт! Какие у вас гвозди? Маленькие шляпки! Кончайте! Нам их завтра выдергивать!

Смит оборачивается и смотрит на Келли.

— Ясное дело, разве мир сколотишь гвоздями с большими шляпками? Их слишком легко выдернуть. Тут нужен другой гвоздь, с маленькой шляпкой, да и вколачивать надо как следует. Вот так!

Он сильно бьет по гвоздю, так что тот совершенно уходит в дерево.

Келли подбоченивается.

— Предупреждаю в последний раз. Кончайте это дело, и все будет шито-крыто.

— Молодой человек,— говорит ночной сторож, заколачивая очередной гвоздь, задумывается и снова говорит: — я бывал здесь задолго до того, как вы родились. Я приходил сюда, когда тут не было ничего — один сплошной луг. Подует ветер, и по лугу бегут волны... Больше тридцати лет я наблюдал, как все это вырастает, как здесь вырастает целый мир. Я жил этим. Я был счастлив. Только здесь для меня настоящий мир. Тот мир, за оградой,— место, куда я хожу спать. У меня маленькая комнатка в доме на маленькой улочке, я вижу газетные заголовки, читаю о войне, о чужих, недобрых людях. А здесь? Здесь собраны все страны и все дышит покоем. Давно уже я брожу по этим городам. Захотелось — закусываю в час ночи в баре на Елисейских полях! Захотелось — выпил отличного амонтильядо в летнем кафе в Мадриде. А то могу вместе с каменными истуканами вон там, наверху,— видите, под крышей собора Парижской богоматери?— порассуждать о важных государственных делах и принимать мудрые политические решения!

— Да-да, дед, точно.— Келли нетерпеливо машет рукой.

— А тут появляетесь вы и превращаете все в развалины. Оставляете лишь тот мир, снаружи, где не представляют себе, что значит жить в согласии, не знают и сотой доли того, что узнал я в этом краю. Пришли и принялись все сокрушать... Вы, с вашей бригадой — чем вы гордитесь? Тем, что сносите... Рушите села, города, целые страны!

— У меня семья,— говорит Келли.— Мне надо кормить жену и детей.

— Вот-вот, все так говорят. У каждого жена и дети. И поэтому истребляют, кромсают, убивают. Дескать, приказ! Дескать, велели! Мол, вынуждены!

— Заткнись, давай сюда молоток!

— Не подходи!

— Что?! Ах ты старый болван!..

— Этим молотком можно не только гвозди!..— Молоток со свистом рассекает воздух, бригадир Келли отскакивает в сторону.

— Черт,— говорит Келли,— да вы свихнулись, вот и все. Я позвоню на главную студию, чтобы полицейских прислали. Это же черт знает что — сейчас вы тут гвозди заколачиваете и порете чушь, а через две минуты — кто его знает! — обольете все керосином и устроите пожарчик!..

— Я здесь даже щепки не трону, и вы это отлично знаете,— возражает старик.

— Вы весь участок спалить способны,— твердит Келли.— Вот что, старина, стойте тут и никуда не уходите!

Келли поворачивается и бежит среди деревьев и разрушенных городов, среди спящих двухмерных селений этой ночной страны; вот шаги его стихли вдали, и слышно, как ветер перебирает серебристые струны проволочной ограды, а старик все стучит и стучит, отыскивает длинные доски и воздвигает стены, пока не начинает задыхаться. Сердце бешено коло-

тится, ослабевшие пальцы роняют молоток, гвозди рассыпаются на тротуаре, звеня, как монеты, и старик, отчаявшись, говорит сам себе:

— Ни к чему все это, ни к чему. Я не успею ничего починить, они приедут раньше. Мне нужна помощь, и я не знаю, как быть.

Оставив молоток на дороге, старик бредет без цели неведомо куда. Похоже, у него теперь одно стремление: в последний раз все обойти, все осмотреть и попрощаться с тем, что еще есть и было в этом краю. Он бредет, окруженный тенями, а час поздний, теней много, они повсюду, всякого рода и вида — тени строений и тени людей. Он не глядит прямо на них, нет, потому что, если на них смотреть, они развеются. Нет, он просто шагает, шагает вдоль Пикадилли... эхо шагов... или по Рю-де-ля-Пэ... старческий кашель... или вдоль Пятой авеню... и не смотрит ни влево, ни вправо. И повсюду, в темных подъездах, в пустых окнах,— его многочисленные друзья, хорошие друзья, очень близкие друзья. Откуда-то долетает бормотание, бульканье, тихий треск кофеварки и полная неги итальянская песня... Порхают руки в темноте над открытыми ртами балалаек, шелестят пальмы, звенят бубны — бубенчики, колокольчики, глухо падают на мягкую траву спелые яблоки, но это вовсе не яблоки, это босые женские ноги медленно танцуют под тихий звон бубенчиков и трель золотистых колокольчиков. Хрустят кукурузные зерна, крошась о черный вулканический камень, шипят, утопая в кипящем масле, тортильи, трещит, разбрасывая тысячи блестящих светлячков, раздуваемый кем-то древесный уголь, колышатся листья папайи... И причудливый бег огня там, где озаренные факелом лица испанских цыган плывут в воздухе, будто в пылающей воде, а голоса поют песни о жизни — удивительной, странной, печальной. Всюду тени и люди, всюду тени и люди, и пение, и музыка.

Или это всего-навсего, всего-навсего ветер?

Нет, люди, здесь живут люди. Они здесь уже много лет. А завтра?

Старик останавливается, прижимает руки к груди.

Завтра их здесь не будет.

■

Рев клаксона!

За проволочной оградой у калитки — враг! У ворот — маленькая черная полицейская машина и большой черный лимузин киностудии, что в пяти километрах отсюда.

Снова рев клаксона!

Старик хватается за перекладины приставной лестницы и лезет, звук клаксона гонит его вверх; вверх. Створки распахиваются, враг врывается в ворота.

— Вот он!

Слепящие прожектора полицейской машины заливают светом города на лугу, прожектора видят мертвые кулисы Манхеттена, Чикаго, Чунцина! Свет падает на имитацию каменной громады собора Парижской богоматери, выхватывает на лестнице собора фигурку, которая карабкается все выше и выше к покатому звездно-черному пологу.

— Вот он, мистер Дуглас, на самом верху!

— Господи, до чего дело дошло. Нельзя уж и вечер провести спокойно. Непременно что-нибудь да...

— Он зажег спичку! Вызывайте пожарную команду!

На самом верху собора ночной сторож, защищая рукой от ветра крохотное пламя, смотрит вниз, видит полицейских, рабочих, продюсера — рослого человека в черном костюме. Они глядят на него, а он медленно поворачивает спичку, прячет ее в ладонях и подносит к сигаре. Прикуривает, сильно втягивая щеки.

Он кричит:

— Что, мистер Дуглас приехал?

Голос отвечает:

— Зачем я понадобился?

Старик улыбается.

— Поднимайтесь сюда, только один! Если хотите, возьмите оружие! Мне надо потолковать с вами!

Голоса гулко разносятся над огромным кладбищем.

— Не ходите туда, мистер Дуглас!

— Дайте-ка ваш револьвер. Живее, я не могу здесь так долго торчать, меня ждут. Держите его под прицелом, я не собираюсь рисковать. Чего доброго, спалит все макеты. Тут на два миллиона долларов одного леса. Готово? Я пошел.

Продюсер карабкается по темным лестницам, вдоль раковины купола, к старику, который, прислонившись к гипсовой химере, спокойно курит свою сигару. Высунувшись из люка, продюсер останавливается с револьвером наготове.

— Ол райт, Смит, не шевелитесь.

Смит невозмутимо вынимает изо рта сигару.

— Вы зря меня боитесь. Я вовсе не помешанный.

— В этом я далеко не уверен.

— Мистер Дуглас,— говорит ночной сторож,— вы когда-нибудь читали про человека, который перенесся в будущее и увидел там одних сумасшедших? Но так как они все — все до единого — были помешанные, то никто из них об этом не знал. Все вели себя одинаково и считали себя нормальными. А наш герой оказался среди них единственным здоровым человеком, но он отклонялся от привычной нормы и для них был ненормальным. Так что, мистер Дуглас, помешательство — понятие относительное. Все зависит от того, кто кого в какую клетку запер.

Продюсер чертыхается про себя.

— Я сюда лез не для того, чтобы всю ночь язык чесать. Чего вы хотите?

— Я хочу говорить с Творцом, с вами, мистер Дуглас. Ведь вы все это создали. Пришли сюда в один прекрасный день, ударили оземь волшебной чековой книжкой и крикнули: «Да будет Париж!» И появился Париж: улицы, бистро, цветы, вино, букинисты... Снова вы хлопнули в ладоши: «Да будет Константинополь!» Пожалуйста, вот он! Вы тысячекратно хлопали в ладоши, и всякий раз возникало что-то новое. Теперь вы думаете, что достаточно хлопнуть еще один, последний раз и все обратится в развалины. Нет, мистер Дуглас, это не так-то просто!

— В моих руках пятьдесят один процент акций этой студии!

— Студия... А что вас с ней связывает? Приходило ли вам когда-нибудь в голову приехать сюда поздно вечером, взобраться хотя бы на этот собор и посмотреть, какой великолепный мир вы создали? Приходило ли вам в голову, что недурно бы посидеть здесь наверху, со мной и моими друзьями и выпить бокал амонтильядо? Пусть наше амонтильядо запахом, видом и вкусом больше похоже на кофе... а фантазия, мистер Творец, фантазия на что? Нет, вы ни разу не приезжали сюда, не поднимались на этот собор, не смотрели, не слушали, вас это не трогало. Вас постоянно ждал какой-нибудь прием, какая-нибудь вечеринка. А теперь, когда прошло столько лет, вы хотите, не спросив нас, все уничтожить. Пусть вам принадлежит пятьдесят один процент акций, но *они* вам не принадлежат.

— Они?— воскликнул продюсер.— Что это еще за «они»?

— Трудно, трудно подобрать слова... Это люди, которые живут тут.— Широким жестом сторож показывает темнеющие в ночном воздухе двухмерные города.— Сколько фильмов снимали в этом краю! Сколь-

ко статистов в самых разнообразных костюмах ходили по улицам, говорили на тысячах языков, курили сигареты и пенковые трубки, даже персидский кальян. Танцовщицы танцевали. Женщины под вуалью улыбались с балконов. Солдаты печатали шаг. Дети играли. Бились рыцари в серебряных доспехах. В китайских чайных пили чай люди с чужеродным произношением. Звучал гонг. Варяжские ладьи выходили в море.

Продюсер вылезает из люка и садится на доски, пальцы, держащие револьвер, уже не так напряжены. Он глядит на старика, как любопытный щенок — сначала одним, потом другим глазом,— слушает одним, потом другим ухом, наконец в раздумье качает головой.

Ночной сторож продолжает говорить:

— А когда статисты и люди с кинокамерами, микрофонами и прочим снаряжением ушли, когда ворота закрыли и все сели в машины и уехали — все равно что-то осталось от этого множества разноплеменных людей. Осталось то, чем они были или пытались быть. Чужие языки и костюмы, религия и музыка, людские драмы — все, малое и большое, осталось. Дальние дали, запахи, соленый ветер, океан. Все это здесь сегодня вечером, если хорошенько вслушаться.

Продюсер и старик, окруженные паутиной балок и стояков, слушают. Луна слепит глаза гипсовым химерам, и ветер заставляет их пасти шептать, а снизу доносятся звуки тысячи стран этого края, что вздыхает, качается, рассыпает пыль по ветру, и тысячи желтых минаретов, молочно-белых башен и зеленых бульваров, оставшихся еще нетронутыми в окружении сотен развалин, бормочут в ночи; бормочут тросы и каркасы, будто кто-то играет на огромной арфе из стали и дерева, и ветер несет звук к небесам и к двум людям, которые стоят, разделенные расстоянием, и слушают.

Продюсер усмехается, качает головой.

— Вы услышали,— говорит ночной сторож.— Ведь правда — услышали? По лицу видно.

Дуглас прячет револьвер в карман.

— Стоит захотеть — и услышишь все что угодно. Я не должен был вслушиваться. Вам бы книги писать. Вы бы переплюнули пяток моих лучших сценаристов. А теперь пошли вниз, что ли?

— Вы заговорили почти вежливо,— отвечает ночной сторож.

— А повода как будто нет. Вы испортили мне приятный вечер.

— Действительно? Неужели вам тут так скучно? Не думаю, скорее, наоборот. Вы даже кое-что приобрели.

Дуглас тихо смеется.

— А вы ничуть не опасны. Просто нуждаетесь в компании. Это все от вашей работы, и от того, что все идет к черту, и еще от одиночества. А в общем, я вас что-то не пойму.

— Уж не хотите ли вы сказать, что мне удалось заставить вас думать?— спрашивает старик.

Дуглас снисходительно фыркает.

— Поживешь с мое в Голливуде, ко всему привыкнешь. Просто я сюда не поднимался. Вид отличный, тут вы правы. Но пусть я провалюсь на этом месте, если понимаю, какого черта вы так мучаетесь из-за этого барахла. Что вам в нем?

Сторож опускается на колено и постукивает ребром одной ладони по другой, подчеркивая свои доводы.

— Слушайте. Как я только что сказал, вы явились сюда много лет назад, хлопнули в ладоши, и одним махом выросло триста городов! Потом вы добавили еще полтыши стран и народов, самых разных верований и политических взглядов. И тут начались осложнения! Не то чтобы это можно было увидеть. Все, что происходило, происходило в пустоте и разносилось ветром. И однако осложнения были те же, к каким привык

тот мир, за оградой,— ссоры, стычки, невидимые войны. Но в конце концов воцарился покой. Хотите знать почему?

— Если бы я не хотел, я не сидел бы здесь и не стучал зубами от холода.

«Где ты, ночная музыка?» — мысленно взывает старик и плавно взмахивает рукой, словно кто-то аккомпанирует его рассказу...

— Потому что вы объединили Бостон и Тринидад,— говорит он тихо,— сделали так, что Тринидад упирается в Лиссабон, а Лиссабон одной стороной прислонился к Александрии, сцепили вместе Александрию и Шанхай, сколотили гвоздиками и костылями Чаттанугу и Ошкош, Осло и Суитуотер, Суассон и Бейрут, Бомбей и Порт-Артур. Пуля поражает человека в Нью-Йорке, он качается, делает шаг-другой и падает в Афинах. В Чикаго политики берут взятки, а в Лондоне кого-то сажают в тюрьму. Негра, повешенного в Алабаме, хоронят венгры. Погибшие евреи Польши загромождают улицы Сиднея, Портленда, Токио. Нож вонзается в живот человека в Берлине, а острие ножа выходит из спины фермера в Мемфисе. Все — близко, все так близко одно от другого. Мы здесь живем настолько тесно, что мир просто необходим, иначе все полетит к чертям! Один пожар способен уничтожить всех нас, кто бы и почему бы его ни устроил. Поэтому здесь все люди, или ожившие воспоминания, или как вы их там еще назовете, утихомирились. Вот что это за край — прекрасный край, мирный край.

Старик смолкает, облизывает пересохшие губы, переводит дух.

— А вы,— говорит он,— хотите завтра его уничтожить.

Несколько секунд старик стоит, сгорбившись, потом выпрямляется и глядит на города, на тысячи теней в городах. Огромный гипсовый собор колышется на ветру, колышется взад-вперед, взад-вперед, будто укачиваемый летним прибоем.

— Мда-а-а,— произносит наконец Дуглас,— что ж... а теперь... пойдем вниз?..

Смит кивает.

— Я все сказал, что было на душе.

Дуглас исчезает в люке, сторож слышит, как он спускается вниз по лестницам и темным переходам. Выждав, старик берется за лестницу, что-то бормочет и начинает долгий путь в царство теней.

■

Полицейские, рабочие, двое-трое служащих — все уезжают. Возле ворот остается лишь большая черная машина. На лугу, в ночных городах, разговаривают двое.

— Что вы собираетесь делать?— спрашивает Смит.

— Пожалуй, поеду опять на вечеринку,— говорит продюсер.

— Там будет весело?

— Да,— продюсер мнется,— конечно, весело!— Он глядит на правую руку сторожа.— Это что — тот самый молоток, которым вы работали? Вы думаете продолжать в том же духе? Не сдаетесь?

— А вы бы сдались, будь вы последним строителем, когда все вокруг стали разрушителями?

Дуглас и старик идут по улицам.

— Что ж, до свиданья, может быть, мы еще увидимся, Смит.

— Нет,— отвечает Смит,— меня уже здесь не будет. Здесь ничего уже не будет. Слишком поздно вы сюда вернетесь.

Дуглас останавливается.

— Проклятие! Что же я, по-вашему, должен сделать?

— Чего уж проще — оставить все, как есть. Оставить города в покое.

— Этого я не могу, черт возьми! Бизнес. Придется все сносить.

— Человек, который по-настоящему разбирается в бизнесе да еще обладает хоть каплей воображения, придумал бы выгодное применение этим макетам,— говорит Смит.

— Машина ждет! Как отсюда выбраться?

Продюсер обходит кучу обломков, потом шагает прямо по развалинам, отбрасывая ногой доски, опираясь на стояки и гипсовые фасады. Сверху сыплется пыль.

— Осторожно!

Продюсер спотыкается. Облако пыли, лавина кирпичей... Он качается, теряет равновесие, старик подхватывает его и тянет вперед.

— Прыгайте!

Они прыгают, за их спиной с грохотом рушится половина дома, превращается в горы досок и рваного картона. В воздух поднимается огромный пылевой цветок.

— Все в порядке?

— Ничего, спасибо.— Продюсер глядит на развалившееся строение; пыль оседает.— Кажется, вы меня спасли.

— Что вы. Большинство кирпичей из папье-маше. В худшем случае получили бы несколько ссадин и синяков.

— Все равно спасибо. А что это за строение рухнуло?

— Нормандская башня, ее здесь поставили в 1925 году. Не ходите туда, она еще не вся обвалилась.

— Я осторожно.— Продюсер медленно подходит к макету.— Господи, да я всю эту дрянную постройку одним пальцем могу сковырнуть.— Он упирается рукой, постройка накреняется, дрожит, скрипит. Продюсер стремительно отступает.— Ткни — и рухнет.

— И все-таки вы этого не сделаете,— говорит ночной сторож.

— Не сделаю? Подумаешь, одним французским домом больше или меньше, когда столько уже снесено.

Старик берет его за руку.

— Пойдемте взглянем с той стороны.

Они обходят декорацию.

— Читайте вывеску,— говорит Смит.

Продюсер щелкает зажигалкой, поднимает ее, чтобы было видно, и читает:

— Фёрст нейшнл бэнк, Меллин Таун.

Пауза.

— Иллинойс,— медленно заключает он.

Высокое строение освещено редким светом звезд и мягким светом луны.

— С одной стороны,— руки Дугласа изображают чаши весов,— французская башня. С другой,— он делает семь шагов влево, потом семь шагов вправо и все время смотрит,— Фёрст нейшнл бэнк. Банк. Башня. Башня. Банк. Черт побери.

— Вам все еще хочется свалить эту французскую башню, мистер Дуглас? — с улыбкой спрашивает Смит.

— Постойте, постойте, не спешите,— говорит Дуглас.

Он внезапно начинает видеть стоящие перед ним строения. Он медленно поворачивается, глаза смотрят вверх, вниз, влево, вправо, изучают, исследуют, примечают, снова изучают. Продюсер молча идет дальше. Двое людей проходят через города на лугу, ступают по траве, по диким цветам, идут к развалинам, по развалинам, сквозь развалины, пересекают нетронутые бульвары, селения, города.

Они все говорят и говорят, пока идут. Дуглас спрашивает, сторож отвечает, Дуглас снова спрашивает, и сторож отвечает.

— Что это?

— Буддийский храм.
— А с обратной стороны?
— Лачуга, в которой родился Линкольн.
— Здесь?
— Церковь святого Патрика в Нью-Йорке.
— А с другой стороны?
— Русская православная церковь в Ростове.
— А это что такое?
— Ворота замка на Рейне.
— А за воротами?
— Бар в Канзас-сити.
— А там? А там? А вон там? А это что? — спрашивает Дуглас.— Что это? А вон то? И то?

Они спешат, почти бегут, перекликаясь, из города в город, они и тут, и там, и повсюду, входят и выходят, карабкаются вверх, спускаются вниз, щупают, трогают, отворяют и затворяют двери.

— А это, это, это, это?

Сторож рассказывает все, что можно рассказать.

Их тени летят вперед по узким переулкам и широким проспектам, что кажутся реками из камня и песка.

За разговором они описывают огромный круг, обходят весь участок и возвращаются к исходной точке.

Они снова примолкли. Старик молчит, так как сказал все, что следовало сказать, продюсер молчит, так как слушал, примечал, обдумывал и прикидывал. Он рассеянно достает портсигар. Целая минута уходит на то, чтобы его открыть, думая о своем, и протянуть ночному сторожу.

— Спасибо.

Они задумчиво прикуривают. Выпускают дым и смотрят, как он тает в воздухе.

— Куда вы дели ваш проклятый молоток? — говорит Дуглас.
— Вот он,— отвечает Смит.
— И гвозди захватили?
— Да, сэр.

Дуглас глубоко затягивается, выпускает дым.

— О'кей, Смит, давайте работайте.
— Что?!
— Вы слышали. Почините, сколько сможете, сколько успеете. Всего уже не поправишь. Но коли найдете поцелее, получше на вид — сколачивайте. Слава богу, хоть что-то осталось! Да, не сразу до меня дошло. Человек с коммерческим чутьем и хоть каплей воображения, сказали вы... Вот где мирный край, сказали вы. Мне следовало это понять много лет назад. Ведь вот оно, все что надо, а я, словно крот, не видел такой возможности, не видел. У меня на пустыре Всемирная федерация — а я ее громлю! Видит бог, нам нужно побольше помешанных ночных сторожей.

— Это верно,— говорит сторож,— я уже состарился и стал чудаковат. А вы не смеетесь над старым чудаком?

— Я не обещаю большего, чем могу сделать,— отвечает продюсер.— Обещаю только попытаться. Есть шансы, что дело пойдет. Фильм получится отличный, это ясно. Мы можем снять его целиком здесь, на лугу, хоть десять вариантов. И фабулы искать не надо. Вы ее сами создали. Вы и есть фабула. Остается только посадить за работу несколько сценаристов. Хороших сценаристов. Пусть даже будет короткометражный фильм, двухчастевка, минут на двадцать,— этого достаточно, чтобы показать, как все страны и города здесь опираются и подпирают друг друга. Идея мне по душе, очень по душе, честное слово. Такой фильм

можно демонстрировать где угодно и кому угодно, и он всем понравится. Никто не пройдет мимо, слишком в нем много будет заложено.

— Радостно вас слушать, когда вы вот так говорите.

— Надеюсь, я и впредь буду так говорить. Но на меня нельзя положиться. Я сам на себя не могу положиться. Слишком поддаюсь настроению, черт возьми, сегодня — одно, завтра — другое. Может быть, вам придется колотить меня по голове этим вот молотком, чтобы я помнил.

— С удовольствием,— говорит Смит.

— И если мы действительно затеем съемки,— продолжает продюсер,— то вы нам должны помочь. Кто лучше вас знает все эти макеты! Мы будем вам благодарны за все предложения. Ну а после съемок — уж тогда-то вы не станете больше возражать, если мы снесем остальное?

— Тогда — разрешу,— отвечает сторож.

— Значит, договорились. Я отзываю рабочих — и посмотрим, что выйдет. Завтра же пришлю операторов, пусть поглядят, прикинут. И сценаристов пришлю. Потолкуете с ними. Черт возьми. Сделаем, справимся! — Дуглас поворачивается к воротам.— А пока орудуйте молотком в свое полное удовольствие. Бр-р, холодно!

Они торопливо идут к воротам. По пути старик находит ящичек, где лежит его ужин. Он достает термос, встряхивает.

— Может, выпьем, прежде чем вы уедете?

— А что у вас? Тот самый амонтильядо, которым вы так хвастались?

— 1876 года.

— Ну что ж, пригубим.

Термос открывают, горячая жидкость льется в крышку.

— Прошу,— говорит старик.

— Спасибо. Ваше здоровье.— Продюсер пьет.— Здорово. Чертовски здорово!

— Может, он больше похож на кофе, но я клянусь, что лучшего амонтильядо еще никто не пил.

— Согласен.

Они стоят под луной, окруженные городами всего мира, пьют горячий напиток, и вдруг старик вспоминает:

— А ведь есть старая песня, она как раз подходит к случаю, застольная, кажется... Все мы, что живем на лугу, поем ее, когда есть настроение, когда я все слышу и ветер звучит, как музыка. Вот она:

Нам всем домой по пути,
Мы все заодно! Мы все заодно!
Нам всем по пути, домой по пути,
Нам незачем врозь идти,
Мы будем всегда заодно,
Как плющ, и стена, и окно...

Они допивают кофе в Порт-о-Пренсе.

— Эй,— вдруг говорит продюсер.— Осторожно с сигаретой! Так можно весь мир поджечь!

Оба смотрят на сигарету и улыбаются.

— Я буду осторожен,— обещает Смит.

— Пока,— говорит продюсер.— Сегодня я бесповоротно опоздал на вечеринку.

— Пока, мистер Дуглас.

Калитка отворяется и затворяется, шаги стихают, лимузин ворчит и уезжает, освещенный луной, оставляя города на лугу и старого человека, который стоит за оградой и машет на прощанье рукой.

— Пока,— говорит ночной сторож.

И снова — лишь ветер...

Вельд

— Джорджи, пожалуйста, посмотри детскую комнату.

— А что с ней?

— Не знаю.

— Так в чем же дело?

— Ни в чем, просто мне хочется, чтобы ты ее посмотрел, или пригласи психиатра, пусть он посмотрит.

— При чем здесь психиатр?

— Ты отлично знаешь при чем.

Стоя посреди кухни, она глядела на плиту, которая, деловито жужжа, сама готовила ужин на четверых.

— Понимаешь, детская изменилась, она совсем не такая, какой была прежде.

— Ладно, давай посмотрим.

Они пошли по коридору своего звуконепроницаемого дома типа «Все для счастья», который стал им в тридцать тысяч долларов (с полной обстановкой),— дома, который их одевал, кормил, холил, укачивал, пел и играл им. Когда до детской оставалось пять шагов, что-то щелкнуло и в ней зажегся свет. И в коридоре, пока они шли, один за другим плавно, автоматически загорались и гасли светильники.

— Ну? — сказал Джордж Хедли.

Они стояли на крытом камышовой циновкой полу детской комнаты. Сто сорок четыре квадратных метра, высота — десять метров; она одна стоила пятнадцать тысяч. «Дети должны получить все самое лучшее»,— заявил тогда Джордж.

Тишина. Пусто, как на лесной прогалине в знойный день. Гладкие тонкие стены. Но на глазах у Джорджа и Лидии Хедли они вдруг, мягко жужжа, стали таять, словно уходя в прозрачную даль, а вокруг раскинулся африканский вельд * — в красках, трехмерный, совсем как подлинный, вплоть до мельчайшего камешка и травинки. Потолок над ними превратился в далекое небо с жарким желтым солнцем.

Джордж Хедли ощутил, как на лбу у него проступает пот.

— Лучше уйдем от солнца,— предложил он,— слишком уж оно настоящее. И вообще, я ничего такого не вижу, все как будто в порядке.

— Подожди минуточку, сейчас увидишь,— сказала жена.

В этот миг скрытые одорофоны, вступив в действие, направили волну запахов на двух людей, стоявших среди опаленного солнцем вельда. Густой, сушащий ноздри запах жухлой травы, запах близкого водоема, едкий, резкий запах животных, запах пыли, которая клубилась в раскаленном воздухе облачком красного перца. А вот и звуки: далекий топот антилопьих копыт по упругому дерну, шуршание крадущихся хищников

В небе проплыл какой-то неясный силуэт, по закинутому вверх потному лицу Джорджа Хедли скользнула тень.

— Мерзкие твари,— услышал он голос жены.

— Стервятники...

Вельд — дикие степи Южной Африки, излюбленная «натура» комиксов, а также голливудских «фильмов-кошмаров».

— Смотри-ка, львы, вон там, вдали, вон, вон! Пошли на водопой. Видишь, они там сожрали что-то.

— Какое-нибудь животное.— Джордж Хедли защитил воспаленные глаза ладонью от слепящего света.— Зебру... или жирафенка...

— Ты уверен? — ее голос звучал как-то странно.

— Теперь-то уверенным быть трудно, слишком поздно,— шутливо ответил он.— Я вижу только обглоданные кости да стервятников, подбирающих объедки.

— Ты не слышал криков? — спросила она.

— Нет.

— Так, с минуту назад?

— Ничего не слышал.

Львы медленно приближались. И Джордж Хедли — в который раз! — восхитился гением конструктора, создавшего эту комнату. Чудо совершенства, и притом за абсурдно низкую цену. Всем бы домовладельцам такие! Конечно, иногда эти детские отталкивают своей аптекарской точностью, даже пугают, вызывают неприятное чувство, но чаще всего служат источником забавы не только для вашего сына или дочери, но и для вас самих, когда вы захотите развлечься короткой прогулкой в другую страну, сменить обстановку. Как сейчас, например!

Вот они, львы, в пяти метрах, такие правдоподобные — да-да, такие до ужаса, до безумия правдоподобные, что ты чувствуешь, как твою кожу щекочет жесткий синтетический мех, а от запаха разгоряченных шкур у тебя во рту вкус пыльной обивки, их желтизна отсвечивает в твоих глазах желтизной французского гобелена... Желтый цвет львиной шкуры и жухлой травы, шумное львиное дыхание в тихий полуденный час, запах мяса из открытых, влажных от слюны пастей.

Львы остановились, глядя жуткими желто-зелеными глазами на Джорджа и Лидию Хедли.

— Берегись! — вскричала Лидия.

Львы ринулись на них. Лидия стремглав бросилась к двери. Джордж невольно кинулся следом. И вот они в коридоре, дверь захлопнута, он смеется, она плачет, и вдруг каждого из них поражает реакция другого.

— Джордж!

— Лидия! Моя бедная, дорогая, милая Лидия!

— Они чуть не схватили нас!

— Там же светящиеся стены, Лидия, только и всего! Неужели ты могла забыть? Конечно, я не спорю, выглядят они очень правдоподобно — Африка в комнате! — но ведь все это лишь цветной объемный фильм сверхповышенного воздействия и психозапись, проектируемые на стеклянный экран, а потом еще одорофоны и стереозвук. Вот, возьми мой платок.

— Мне страшно.— Она подошла и, тихо плача, всем телом прильнула к нему.— Ты видел? Ты почувствовал? Это слишком правдоподобно.

— Послушай, Лидия...

— Скажи Венди и Питеру, чтобы они больше не читали про Африку.

— Конечно... конечно.— Он погладил ее по волосам.

— Обещаешь?

— Разумеется.

— И несколько дней проследи сам за детской, пока я не справлюсь с нервами.

— Ты ведь знаешь, как трудно с Питером. Месяц назад я наказал его, запер комнату на несколько часов — что было! Да и Венди тоже... Детская для них — все.

— Ее нужно запереть, и никаких поблажек.

— Ладно.— Он нехотя запер тяжелую дверь.— Ты переутомилась, тебе нужно отдохнуть.

— Не знаю... не знаю.— Она высморкалась и села в кресло, которое сразу же тихонько закачалось.— Возможно, у меня слишком мало дел. Возможно, остается слишком много времени для размышлений. Почему бы нам на несколько дней не запереть весь дом и не уехать куда-нибудь?

— Ты хочешь сказать, что готова сама жарить мне яичницу?

— Да.— Она кивнула.

— И штопать мне носки?

— Да.— Она снова нервно кивает, глаза ее полны слез.

— И заниматься уборкой?

— Да, да... конечно!

— А я-то думал, мы для того и купили этот дом, чтобы ничего не делать самим.

— Вот именно. Я здесь вроде ни к чему. Ведь дом этот — и жена, и мать, и горничная. Разве я могу соперничать с африканским вельдом? Разве могу выкупать детей так хорошо и быстро, как это делает автоматическая ванна? Не могу. И не во мне одной дело, а и в тебе тоже. В последнее время ты стал ужасно нервным.

— Наверно, слишком много курю.

— У тебя такой вид, словно и ты не знаешь, куда себя деть в этом доме. С утра куришь немного больше, чем раньше, по вечерам выпиваешь немного больше, чем раньше, на ночь принимаешь две таблетки снотворного вместо одной. Ты тоже начинаешь чувствовать себя ненужным.

— Я?..— Он помолчал, пытаясь взглянуть на себя со стороны.

— О, Джорджи! — Она поглядела мимо него на дверь детской.— Эти львы... Они ведь не могут выйти оттуда?

Он тоже посмотрел — в этот момент дверь дрогнула, словно от удара изнутри.

— Разумеется, нет,— ответил он.

Они ужинали одни. Венди и Питер отправились на стереокарнавал в другом конце города и сообщили домой по видеофону, что вернутся поздно, не надо их ждать. Озабоченный Джордж Хедли смотрел, как стол-автомат исторгает из своих механических недр горячие блюда.

— Вы забыли кетчуп,— сказал он.

— Простите,— произнес тонкий голосок где-то внутри стола, и появился кетчуп.

«Детская...— подумал Джордж Хедли — Что ж, детям и впрямь не вредно некоторое время пожить без нее. Во всем нужна мера. А они, это совершенно ясно, слишком уж увлекаются Африкой». Это солнце... Он до сих пор чувствовал на коже его лучи — словно прикосновение горячей лапы. А эти львы! И запах крови. Удивительно, насколько точно детская улавливает телепатическую эманацию психики детей и воплощает любое их пожелание. Стоит им подумать о львах — пожалуйста, вот они. Представят себе зебр — вот зебры. И солнце. И жирафы. И смерть.

Вот именно. Он машинально жевал пищу, которую приготовил стол. Мысли о смерти. Венди и Питер слишком молоды для таких мыслей. А впрочем, разве дело в молодости? Задолго до того, как ты понял, что такое смерть, ты уже желаешь смерти кому-нибудь. В два года ты стреляешь в людей из пугача...

Но это... Жаркий безбрежный африканский вельд... Ужасная смерть в когтях льва... Снова и снова смерть.

— Ты куда?

Он не ответил. Поглощенный своими мыслями, он шел, провожаемый волной света, к двери детской. Откуда-то донесся львиный рык.

Он отпер замок и распахнул дверь. В тот же миг его слуха коснулся далекий крик. Снова рычание льва... тишина.

Он вошел в Африку. Сколько раз за последний год он, открыв дверь, встречал Алису в стране чудес, или Веселую черепаху, или Аладина с его волшебной лампой, или Джека Тыквенную Голову из страны Оз, или доктора Дулитла, или корову, которая прыгала через луну, очень похожую на настоящую,— всех этих чудесных обитателей воображаемого мира. Сколько раз видел он летящего в небе Пегаса или розовые фонтаны фейерверка или слышал ангельское пение. А теперь перед ним желтая раскаленная Африка, огромная печь, которая пышет убийством. Может быть, Лидия права. Может, и впрямь надо на время расстаться с фантазией, если она стала чересчур реальной для десятилетних детей. Разумеется, очень полезно упражнять воображение ребенка, но если пылкая детская фантазия чрезмерно сосредоточена на чем-то одном? Кажется, весь последний месяц он только и слышал львиный рык, даже у себя в кабинете чувствовал резкий запах хищников, да по занятости не обращал на это внимания.

Джордж Хедли одиноко стоял в степях Африки. Львы, оторвавшись от своей трапезы, смотрели на него. Если бы не открытая дверь, через которую он видел в дальнем конце темного коридора, будто портрет в рамке, рассеянно ужинающую жену, была бы полная иллюзия настоящих зверей.

— Уходите,— сказал он львам.

Они не послушались.

Он отлично знал устройство комнаты. Достаточно послать мысленный приказ, и он будет исполнен.

— Пусть появится Аладин с его лампой,— приказал он.

По-прежнему вельд и все те же львы...

— Ну, комната, выполняй желание! Мне нужен Аладин.

Никакого впечатления. Львы что-то грызли, тряся косматыми гривами.

— Аладин!

Он вернулся в столовую.

— Проклятая комната,— сказал он,— сломалась. Не слушается.

— Или...

— Или что?

— Или не может послушаться,— ответила Лидия.— Дети уже столько дней думают про Африку, львов и убийства, что комната застряла на одной комбинации.

— Возможно.

— Или же Питер заставил ее застрять.

— Заставил?

— Открыл механизм и что-нибудь подстроил.

— Питер не разбирается в механизме.

— Для десятилетнего парня он совсем не глуп. Коэффициент его интеллекта...

— И все-таки...

— Хелло, мам! Хелло, пап!

Супруги Хедли обернулись. Венди и Питер вошли в прихожую: щеки — мятный леденец, глаза — ярко-голубые мраморные шарики, от джемперов так и веет озоном, в котором они купались, летя на вертолете.

— Вы как раз поспели к ужину,— сказали родители вместе.

— Мы объелись земляничного мороженого и сосисок,— ответили дети, отмахиваясь руками.— Но мы посидим с вами за столом.

— Вот-вот, идите-ка сюда, расскажите про детскую,— позвал их Джордж Хедли.

Брат и сестра удивленно посмотрели на него, потом друг на друга.

— Детскую?

— Про Африку и все прочее,— продолжал отец с наигранным добродушием.

— Не понимаю,— сказал Питер.

— Ваша мать и я только что совершили путешествие по Африке; Том Свифт и его Электрический Лев,— усмехнулся Джордж Хедли.

— Никакой Африки в детской нет,— невинным голосом возразил Питер.

— Брось, Питер, мы-то знаем.

— Я и не думаю об Африке.— Питер повернулся к Венди.— А ты?

— И я нет.

— А ну, сбегай проверь и скажи нам.

Она повиновалась брату.

— Венди, вернись! — крикнул Джордж Хедли, но она уже убежала.

Свет провожал ее, словно рой светлячков. Джордж слишком поздно сообразил, что забыл запереть детскую.

— Венди посмотрит и расскажет нам,— сказал Питер.

— Что мне рассказывать, если я сам видел?

— Я уверен, отец, ты ошибся.

— Я не ошибся, пойдем-ка.

Но Венди уже вернулась.

— Никакой Африки нет,— объявила она, запыхавшись.

— Сейчас проверим,— ответил Джордж Хедли.

Они все вместе пошли по коридору и отворили дверь в детскую.

Чудесный зеленый лес, чудесная река, лиловая гора, ласкающее слух пение, а в ветвях — русалка, очаровательная и таинственная, и на длинных распущенных волосах ее, словно ожившие цветы, трепещут многоцветные бабочки. Ни африканского вельда, ни львов. Только русалка, поющая так восхитительно, что невольно на глазах выступали слезы.

Джордж Хедли внимательно осмотрел новую картину.

— Ступайте спать,— велел он детям.

Они открыли рты.

— Вы слышали?

Они отправились в пневматический отсек и взлетели, словно сухие листья, вверх по шахте в свои спальни.

Джордж Хедли пересек солнечную полянку и что-то подобрал в углу, поблизости от того места, где стояли львы. Потом медленно возвратился к жене.

— Что это у тебя в руке? — спросила она.

— Мой старый бумажник,— ответил он и протянул его ей.

От бумажника пахло жухлой травой и львами. На нем были капли слюны, и следы зубов, и с обеих сторон пятна крови.

Он затворил дверь детской и надежно ее запер.

В полночь Джордж все еще не спал, и он знал, что жена тоже не спит.

— Так ты думаешь, Венди ее переключила? — спросила она наконец в темноте.

— Конечно.

— Превратила вельд в лес и на место львов вызвала русалку?

— Да.

— Но зачем?

— Не знаю. И пока не выясню, комната будет заперта.

— Как туда попал твой бумажник?

— Не знаю,— ответил он,— ничего не знаю, скажу только одно я уже жалею, что мы купили детям эту комнату. Они и без того нервные а тут еще такая комната...

— Она ведь и предназначена для того, чтобы помочь им избавиться от неврозов.

— Ой, так ли это...— Он уставился в потолок.

— Мы давали детям все, чего они просили. А в награду получаем непослушание, недоверие к себе...

— Кто это сказал: «Дети — ковер, иногда на них надо наступать»?.. Мы ни разу не подняли на них руку. Откровенно говоря, они стали несносными. Уходят и приходят, когда вздумается, с нами обращаются так, словно мы — их дети. Мы их портим, они нас.

— Они ожесточились с тех самых пор — помнишь, месяца два-три назад? — когда ты запретил им лететь на ракете в Нью-Йорк.

— Я им объяснил, что они еще малы для такого путешествия.

— Объяснил, а я вижу, как они с того дня стали хуже к нам относиться.

— Я вот что сделаю: завтра приглашу Дэвида Макклина и попрошу его взглянуть на эту Африку.

— Но ведь Африки нет, теперь там лукоморье и русалка.

— Сдается мне, к тому времени снова будет Африка.

Мгновением позже они услышали крики.

Один... другой... Внизу кричали двое. Затем — рычание львов.

— Венди и Питер не спят,— сказала ему жена.

— Да,— отозвался он.— Они проникли в детскую.

— Эти крики... они мне о чем-то напоминают.

— В самом деле?

— Да, мне страшно.

И как ни трудились кровати, они еще целый час не могли укачать супругов Хедли. В ночном воздухе пахло кошками.

■

— Отец,— сказал Питер.

— Да?

Питер разглядывал носки своих ботинок. Он давно избегал смотреть на отца, да и на мать тоже.

— Ты что же, навсегда запер детскую?

— Это зависит...

— От чего? — резко спросил Питер.

— От тебя и твоей сестры. Если вы не будете чересчур увлекаться этой Африкой, станете ее чередовать... скажем, со Швецией, или Данией, или Китаем...

— Я думал, мы можем играть в то, что нам нравится.

— Безусловно, в пределах разумного.

— А чем плоха Африка, отец?

— Так ты все-таки признаешь, что вызывал Африку!

— Я не хочу, чтобы запирали детскую,— отрезал Питер.— Никогда.

— Так позволь сообщить тебе, что мы вообще собираемся на месяц оставить этот дом. Попробуем пожить по золотому принципу: «Каждый делает все сам».

— Ужасно! Значит, я должен сам шнуровать ботинки, без автоматического шнуровальщика? Сам чистить зубы, причесываться, мыться?

— А тебе не кажется, что для разнообразия это будет даже приятно?

— Это отвратительно! Мне совсем не было приятно, когда ты убрал автоматического художника.

— А мне хотелось, чтобы ты научился рисовать, мой мальчик.

— Зачем? Достаточно смотреть, слушать и обонять! Все остальные занятия ничего не стоят.

— Хорошо, ступай играй в Африке.
— Так вы решили наш дом выключить?
— Мы подумывали об этом.
— Советую тебе подумать еще раз, отец.
— Но-но, сынок, без угроз!
— Ну и прекрасно.— И Питер отправился в детскую.

■

— Я не опоздал? — спросил Дэвид Макклин.
— Поешь с нами,— предложил Джордж Хедли.
— Спасибо, я уже завтракал. Ну, так в чем же дело?
— Дэвид, ты разбираешься в человеческой психике?
— Как будто.
— Так вот, проверь, пожалуйста, нашу детскую. Год назад ты в нее заходил — тогда ты заметил что-нибудь особенное?
— Вроде нет. Обычные проявления агрессивности, тут и там налет паранойи, присущей детям, которые считают, что родители постоянно их преследуют. Но ничего, абсолютно ничего серьезного.

Они вышли в коридор.

— Я запер детскую,— объяснил отец семейства,— а ночью дети все равно проникли в нее. Я не стал вмешиваться, чтобы ты мог посмотреть на их затеи.

Из детской доносились ужасные крики.

— Вот-вот,— сказал Джордж Хедли.— Интересно, что ты скажешь?

Они вошли без стука.

Крики смолкли, львы кого-то пожирали.

— Ну-ка, дети, ступайте поиграйте в саду,— распорядился Джордж Хедли.— Нет-нет, не меняйте ничего, оставьте стены как есть. Марш!

Оставшись вдвоем, мужчины внимательно посмотрели на львов, которые сгрудились поодаль, жадно уничтожая свою добычу.

— Хотел бы я знать, что это,— сказал Джордж Хедли.— Иногда мне кажется, что я вижу... А что, если я принесу сильный бинокль?..

Дэвид Макклин иронически усмехнулся.

— Вряд ли поможет.— Он стал разглядывать одну за другой все четыре стены.— Давно это продолжается?
— Чуть больше месяца.
— Да, ощущение неприятное.
— Мне нужны факты, а не чувства.
— Дружище Джордж, найди мне психиатра, который смог бы опереться хоть на один факт. Он слышит то, что ему сообщают об ощущениях, то есть нечто весьма неопределенное. Итак, я повторяю: это производит гнетущее впечатление. Положись на мой инстинкт и мое предчувствие. Я всегда чувствую, когда назревает беда. Тут кроется что-то очень скверное. Советую вам выключить эту проклятую комнату самое малое на год и ежедневно приводить ко мне ваших детей на процедуры.
— Неужели дошло до этого?
— Боюсь, что да. Первоначально эти детские были задуманы и для того, чтобы мы, врачи, без обследования могли по образам, которые рождаются у ребенка, изучать его психологию и воспитывать его. Но в данном случае детская вместо того, чтобы избавлять ребенка от разрушительных наклонностей, развивает их!
— Ты это и раньше понимал?
— Я понимал только, что вы больше других балуете своих детей. А теперь закрутили гайку. Что произошло?
— Я не пустил их в Нью-Йорк.
— Еще что?

— Убрал из дома несколько автоматов, а месяц назад пригрозил запереть детскую, если они не будут делать уроки. И действительно запер на несколько дней, чтобы знали — я не собираюсь шутить.

— Так.

— Тебе это что-нибудь объясняет?

— Все. Рождественского деда заменили букой. Дети предпочитают рождественского деда. Ребенок не может жить без привязанностей. Вы с женой позволили этой комнате, этому дому занять ваше место в их сердцах. Детская комната стала для них матерью и отцом, оказалась для них куда важнее, чем вы. Теперь вы хотите ее запереть. Не удивительно, что вспыхнула ненависть. Вот — даже небо излучает ее. И солнце. Джордж, вам надо изменить образ жизни. Как и для многих других — слишком многих,— для вас главным стал комфорт. Если завтра на кухне что-нибудь сломается, вы же с голоду умрете! Не сумеете сами даже яйца разбить! И все-таки я советую: выключайте все. Начните новую жизнь. На это понадобится время. Ничего, за год из дурных детей можно сделать хороших, вот увидишь.

— А не будет ли это слишком сильным ударом для ребят — вдруг запереть навсегда детскую?

— Я не хочу, чтобы дело зашло чересчур далеко, понимаешь?

Львы кончили свой кровавый пир. Они стояли на опушке, глядя на двух мужчин.

— Теперь даже я чувствую, что меня преследуют,— произнес Макклин.— Уйдем. Эти проклятые комнаты никогда не вызывали во мне восторга. Они мне действуют на нервы.

— А львы — совсем как настоящие, верно? — спросил Джордж Хедли.— Ты не допускаешь возможности...

— Чего?!

— ...Того, что они могут стать настоящими?

— По-моему, нет.

— Какой-нибудь порок в конструкции, переключение в схеме или еще что-нибудь?..

— Нет, что ты.

Они пошли к двери.

— Мне кажется, комната не захочет, чтобы ее выключили,— сказал Джордж Хедли.

— Никому не хочется умирать, даже комнате.

— Интересно: она ненавидит меня за мое решение?

— Здесь все пропитано паранойей,— ответил Дэвид Макклин.— До осязаемости. Эй! — Он нагнулся и поднял окровавленный шарф.— Твой?

— Нет.— Лицо Джорджа окаменело.— Это Лидии.

Они вместе прошли к распределительному щитку и повернули выключатель, убивающий детскую.

■

Дети бились в истерике. Они кричали, прыгали, швыряли вещи. Они вопили, рыдали, бранились, метались по комнатам.

— Вы не смеете так поступать с детской, не смеете!

— Перестаньте сейчас же!

Они в слезах бросились на диван.

— Джордж,— сказала Лидия Хедли,— включи детскую на несколько минут. Нельзя так вдруг.

— Нет.

— Это слишком жестоко.

— Лидия, комната выключена и останется выключенной. И вообще,

пора кончать с этим проклятым домом. Чем больше я смотрю на все это безобразие, тем противнее мне все это становится. И так мы чересчур долго созерцали свой механический электронный пуп. Видит бог, нам необходимо сменить обстановку!

И он стал ходить из комнаты в комнату, выключая говорящие часы, плиты, отопление, чистильщиков обуви, механические губки, мочалки, растиралки и все прочие автоматы, которые попадались под руку.

Казалось, дом полон мертвецов, а его обитатели словно очутились на кладбище механизмов. Тишина. Смолкло жужжание скрытой энергии машин, готовых вступить в действие при первом же нажатии кнопки.

— Не позволяй им это делать! — завопил Питер, подняв лицо к потолку, словно обращаясь к дому, к детской комнате.— Не позволяй отцу все убить! — Он повернулся к отцу.— До чего же я тебя ненавижу!

— Оскорблениями ты ничего не добьешься.

— Хоть бы ты умер!

— Мы долго были мертвыми. Теперь начнем жить по-настоящему. Мы привыкли быть предметом забот всевозможных автоматов — отныне мы будем жить сами.

Венди по-прежнему плакала, Питер снова присоединился к ней.

— Ну, еще немножечко, на минуточку, только на минуточку! — кричали они.

— Джордж,— сказала ему жена,— это им не повредит.

— Ладно, ладно, пусть только замолчат. На одну минуту, учтите, потом выключу совсем.

— Папочка, папочка, папочка! — запели дети, улыбаясь сквозь слезы.

— А потом — каникулы. Через полчаса вернется Дэвид Макклин, он поможет нам собраться и проводит на аэродром. Я пошел одеваться. Включи детскую на одну минуту, Лидия, слышишь — не больше одной минуты.

Дети вместе с матерью, весело болтая, поспешили в детскую, а Джордж, взлетев наверх по воздушной шахте, стал одеваться. Через минуту появилась Лидия.

— Я буду рада, когда мы покинем этот дом,— вздохнула она.

— Ты оставила их в детской?

— Мне тоже надо одеться. О, эта ужасная Африка. И что они в ней видят?..

— Ничего, через пять минут мы будем на пути в Айову. Какая сила загнала нас в этот дом?.. Что нас побудило купить этот кошмар?..

— Тщеславие, деньги, глупость.

— Пожалуй, лучше спуститься, пока ребята опять не увлеклись своим чертовым зверинцем.

В этот самый миг они услышали голоса своих детей.

— Папа, мама — скорей сюда, скорей!

Они спустились по шахте вниз и ринулись бегом по коридору. Детей нигде не было видно.

— Венди! Питер!

Они ворвались в детскую. В пустынном вельде — никого, ни души, если не считать львов, глядящих на них.

— Питер! Венди!

Дверь захлопнулась.

Джордж и Лидия Хедли метнулись к выходу.

— Откройте дверь! — закричал Джордж Хедли, дергая ручку.— Зачем вы ее заперли? Питер! — Он заколотил в дверь кулаками.— Открой!

За дверью послышался голос Питера:

— Не позволяй им выключать детскую комнату и весь дом.

Мистер и миссис Хедли стучали в дверь.

— Что за глупые шутки, дети! Нам пора ехать. Сейчас придет мистер Макклин и...

И тут они услышали...

Львы, подкрадывающиеся с трех сторон в желтой траве вельда, шуршание сухих стеблей под их лапами, рев их глоток.

Львы.

Мистер Хедли посмотрел на жену, потом они вместе повернулись лицом к хищникам, которые медленно, припадая к земле, подбирались к ним.

Мистер и миссис Хедли закричали.

И вдруг они поняли, почему крики, которые они слышали раньше, казались им такими знакомыми.

■

— Вот и я,— сказал Дэвид Макклин, стоя на пороге детской.— О, привет!

Он удивленно воззрился на Питера и Венди, а те сидели на поляне, уписывая бутерброды, рядом был водоем, над головами — жаркое солнце. У него выступил пот на лбу.

— А где отец, где мать?

Дети обернулись к нему с улыбкой.

— Они сейчас придут.

— Хорошо, уже пора ехать.

Мистер Макклин приметил вдали львов — сначала они из-за чего-то дрались между собой, потом успокоились и улеглись со своей добычей в тени деревьев.

Заслонив глаза от солнца ладонью, он присмотрелся внимательнее.

Львы кончили есть и один за другим пошли на водопой.

Какая-то тень скользнула по разгоряченному лицу мистера Макклина. Потом много теней. С ослепительного неба спускались стервятники.

— Чашечку чаю? — прозвучал в тишине голос Венди.

БЛАГА ДИМИТРОВА

ВЕРНОСТЬ

Перевод с болгарского
ВЕРЫ ИНБЕР

Родина

Невелика моя родина —
горсть небольших пространств:
пестрые кромки пашен,
горных порсд клубки.

Но развернуть их попробуй,
бережно их распутать —
горную нить за нитью,
за бороздой борозду,
за вершиной вершину, за морщиной
морщину,
рану за раной, за цветком цветок,
боль за болью, стон за стоном,
песню за песней,
за мечтой мечту.

И тогда ты увидишь,
как велика, бескрайна
родина моя милая,
родина моя малая —
горсть небольших пространств.

К Луне

Таинственная спутница земная,
ты неотступно шла за человеком,
его по трудным тропам восхожденье
безмолвно освещая век за веком.

Прозрачные изламывала пальцы
о переплет заржавленной решетки,
чтоб узника в его железной клетке
порадовать хотя б на час короткий.

Глядела ты в чердачное окошко,
стараясь задержаться дольше срока,
чтоб старого, больного звездочета
порадовать в печали одинокой.

Ты золотые сыпала червонцы,
чтоб зимними, холодными ночами
влюбленные в нетопленых
мансардах
себя почувствовали богачами.

Недремлющий фонарь свой
подымая,
ты следовала по пятам поэта,
чтобы ему не изнемочь во мраке,
чтоб ярче воспевал он силу света.

О преданная спутница земная,
идущая все время с нами рядом,
проверенная миллионнократно,
узнай: за верность ждет тебя
награда.

В твои, без жизни, кратеры немые,
в метеоритных каменных осколках,
Земля направит воздух для
дыханья,
растенья, песни — ждать уже
недолго.

К мирам далеким на дорогах
млечных
ты станешь первой пристанью
небесной
для кораблей, идущих в
бесконечность;
пускай они твоим сияют блеском.

Ты все это давно предугадала,
страшилась, но, возможно, и хотела
прилета властелина-человека,
вторжения его в свои пределы.

И вот теперь, в надежде и томленье,
порой незримая, но каждый вечер,
свершая в небе путь свой
неизменный,
глядишь на Землю в жажде этой
встречи

День и ночь

Едва рассвет позолотит вершину,
скользнет лучом по каменной тропе,
я просыпаюсь с мыслию единой,
что не должна я думать о тебе.

В заботах дня, разумных или праздных,
в житейских буднях, в жизненной борьбе —
живу все время с думой неотвязной,
что не должна я думать о тебе.

Не сплю я до рассвета ночью длинной.
А чуть забудусь в сонной ворожбе—
вновь просыпаюсь с мыслию единой,
что не должна я думать о тебе.

Мне остаешься ты...

Уходишь ты. Но остается мне
гора — я поверяла ей все тайны,—
весна в замедленной голубизне
и город — покровитель встреч
случайных.

Слова остались мне. По их следам
в страницах нахожу тебя повсюду,
твое дыхание я не забуду,
ему я улетучиться не дам.

Удерживать не стану. Уходи.
Все, что увидишь ты в пути
далеком,—
вселенная в сиянье звездных окон,
ты растворен во всем. Мне
остаешься ты.

Деревья

Деревья в Болгарии
когтями впиваются в горные склоны,
за ветер хватаются,
чтобы крепче расти в вышину.
Исторгая дожди
для полей, обессиленных жаждой,
узловатыми пальцами
царапают грудь облаков.

При дороге под вязом
с юнаком прощалась подруга.
Пеструю люльку качало
деревце средь полей.
Умирал под раскидистым буком
богатырь, истерзанный пыткой.
На суку был повешен
единственный у матери сын.
Потому так искривлены наши
деревья:
это от горестных воспоминаний,
от длительных мук.

Каменистая почва, безводье,
а не то вдруг апрель-искуситель
рано почки раскроет —
мороз омертвит
их младенческий сон на заре.

Потому так не схожи
друг с другом наши деревья:
у каждого свой рисунок,
свой облик и силуэт.
И даже пронзенное громом,
каждое неповторимо,
птичьи гнезда лелеет,
цветет и плодоносит.

Отталкивает объятия
вероломного ветра,
верным остается
каменистой земле,
где белые кости врастают
в черные корневища,
а молодые всходы
тянутся ввысь, к весне.

КИПРИАН ЭКВЕНСИ

КОГДА ГОРИТ ТРАВА

ПОВЕСТЬ

Перевод с английского
АНДРЕЯ СЕРГЕЕВА

«Когда горит трава» — причудливая, поэтичная повесть, пронизанная фольклором, поэзией странствий, древних африканских пословиц, волшебных птиц. И все же эта повесть очень точно вписывается в современную прозу Нигерии и шире — в современную прозу Западной Африки.

Нигерийские романисты Киприан Эквенси и Чинуа Ачебе широко известны в своей стране и за ее пределами. Их книги — это начало современного реалистического романа в Нигерии. Зачиная его, романисты идут к воплощению проблемы огромной важности для Нигерии и Африки в целом. Это конфликт двух укладов жизни, двух «образов жизни» — древнего, традиционного, патриархального быта племен и той «цивилизации», которую принесли с собой буржуазные колонизаторы и которая в нигерийских романах почти всегда воплощается в пороках большого города, столицы — Лагоса. Сопоставляя эти два уклада, поворачивая эту проблему все новыми гранями, романисты, в сущности, пытаются продумать пути своей родины, своего континента. Пойдут ли их страны капиталистическим путем? Сохранится ли в них «первозданная чистота» патриархальных отношений? Что из прошлого возьмут новые государства с собой в будущее?

Нигерийский роман еще не поставил эти проблемы во всей силе и во всем объеме, но подход к ним ощущается в каждой новой книге.

Киприан Эквенси (род. в 1921 г.) первым написал роман о современной Нигерии. Окончив Ибаданский университет и Политехнический техникум в Ачимоте (Гана), он стал одним из видных деятелей нигерийской культуры, руководил нигерийским радио, а сейчас возглавляет Службу информации Федерации Нигерии. Роман Эквенси «Люди города» (1954) — первая попытка создать образ Города, где судьбы людей исковерканы властью денег, где богатеют воры и спекулянты, а беднота ютится в трущобах. В отличие от молодых романистов бывших французских колоний (камерунцев — Монго Бети, Фердинанда Ойоно, сенегальца Сембена Усмана и др.) в книгах нигерийцев почти отсутствует прямое, резкое разоблачение колонизаторов (даже в тех романах, где действие происходит до получения независимости). Но даже и не упоминая об англичанах, нигерийские романисты своим образом Города говорят о ненависти к принесенным в Африку буржуазным отношениям.

После нескольких рассказов и повестей Эквенси издает роман «Джагуа Нана» (1961) и повесть «Когда горит трава» (1962). На первый взгляд кажется, что между ними нет ничего общего. Они не связаны ни местом действия, ни сюжетом, ни персонажами. На самом же деле они связаны между собой, так как говорят о двух сторонах одной проблемы. В «Джагуа Нана» Лагос — город-спрут, вытягивающий людей из деревень, превращающий их в воров, проституток, бандитов или политиков (все эти «профессии», как показывает Эквенси, стоят на одном моральном уровне). Характеры романа

далеки от схематизма. Это люди с их страданиями и страстями. Но захваченные торгашеским и циничным духом Города, они теряют себя, опускаются и гибнут. Грубый, насыщенный жаргонизмами язык, прозаичность стиля, откровенная чувственность подчеркивают характерный для Эквенси образ Города. И хотя здесь автор не говорит прямо об английском колониальном режиме, очевидно, что именно этот режим растлевает африканцев. Буржуазные отношения для Эквенси неприемлемы, ибо в них он видит разрушение человека, высоких моральных норм.

В свете этих романов о Лагосе проясняется и смысл повести «Когда горит трава». Это мир, противопоставленный городу. И прежде всего это мир поэзии. Человечность и поэзию Эквенси ищет в местах, наиболее удаленных от «цивилизации», от городов, у самых северных границ Нигерии, среди скотоводов фулани, мусульман, живущих патриархальной и суровой жизнью. Лишь по одной мелкой детали можно узнать, что действие происходит в наши дни. Повесть как бы вырвана из времени — настолько этот мир отлился в устойчивые, нерушимые формы быта и мышления. Неторопливый рассказ, кажется, следует замедленному ритму жизни, медленному движению скотоводов, перегоняющих стада к югу, когда жгут засохшую траву. Странствия старика Сансая дают возможность автору показать быт, но этот быт неразрывно сплетен со сказкой, с волшебным миром, где действуют чары «сокуго», заставляющие старика уйти вдаль за волшебной птицей; где прекрасная Фатиме живет в лесу с прирученным львом; где в городе, заставляющем вспомнить арабские сказки, подростка Рикку тщетно старается обольстить инфернальная жестокая красавица; где, как в сказках, «злодеи», подобные Шеху, терпят в конце концов заслуженное поражение.

Но поэзия для Эквенси — не только в сказочности, в легендах и поверьях. Она прежде всего — в людях, в их строгой, простой жизни, противопоставленной изнеженности и роскоши города. Мужчины здесь должны быть работящи и храбры (в воспитании мужества заключается смысл обряда «шарро», когда юноша перед женитьбой должен вынести удары хлыста, не показав, что ему больно). Самостоятельность, энергия, мужество определяют и характеры женщин — Фатиме, которая ценой страданий и лишений из рабыни становится свободной женщиной, или погонщицы скота Лигу. Поэзия для Эквенси и в мудрости стариков — особенно выразительна сцена, где в вымершей покинутой деревне старики обмениваются изречениями древней африканской мудрости.

Без всякого сомнения, этот мир идеализирован Эквенси. Можно легко представить себе, как грызутся в борьбе за власть вожди племен, сколько отталкивающих собственнических черт присуще этим богачам-скотоводам, которым подвластно множество пастухов, перегоняющих гигантские стада; какая косность мышления сковывает старейшин, боящихся малейших перемен; несомненно и то, что поэтичность традиционных обрядов, магии, колдовства оборотной своей стороной имеет темноту и отсталость.

Чинуа Ачебе в романе «Жизнь распадается» показал древние устои в их противоречиях — показал, как этот уклад, рождающий сильные, гордые, властные характеры, вместе с тем полон суеверий, жестокости и неподвижности.

Эквенси в повести «Когда горит трава» ставит перед собой иную задачу. Не всё, как бы говорит он, в древних африканских традициях — суеверия и примитивизм. В африканском прошлом были черты высокой человечности, которые можно противопоставить вырождению человека в мире европеизированных городов и продажных политиков.

В этом утверждении есть своя правда. Но нельзя не видеть, что Эквенси односторонен в своем восприятии и цивилизации, Лагоса, и древнего уклада. В современном мире есть и цивилизация без кавычек, есть политики, строящие будущее, есть динамизм, вне которого нет настоящего развития. Как полагают многие африканцы, главное состоит в том, чтобы взять все жизненное из африканской традиции, отбросив косное и неживое. Можно думать, что Эквенси и другие нигерийские романисты в своем развитии пойдут дальше, показывая, каким образом лучшие черты африканской традиции смогут войти в новом виде в характеры героев современной Африки. Было бы слишком жаль, если бы такой одаренный писатель, как Киприан Эквенси, оказался в числе тех, кто скачет в будущее, «повернувшись лицом к хвосту коня».

Е. Г.

Глава I

Когда в северной Нигерии начинают жечь траву, для пастухов наступает пора отгонять стада на юг, к берегам великой реки. А охотники с ружьями, луками и стрелами прячутся у границ ползущего пламени, принюхиваются к дыму и напрягают зрение, чтобы вовремя заметить мимолетное мелькание диких животных, покидающих укромные места.

И для ветра харматтана наступает пора загонять пыль в глаза и в зубы и покрывать кожу морщинами: на пути из Ливии к Лагосу харматтан развешивает за собой покров пыли, окутывающий стены и деревья, как муслин — шейха.

■

Старик сидел, перебирая четки. Деревья казались скелетами, выгоревшими на солнце,— изможденные, с отстающей корой, на которой темнели следы десятилетий жажды и голода. Старик отдыхал со своим сыном в иссушенный полдень северной Нигерии, и на траве рядом с ним лежали лук и колчан, полный отравленных стрел. Вдруг воздух пробудился ото сна. Клубы раскаленной пыли оторвались от земли и, мерцая, устремились к ярко-синему небу, на которое больно смотреть. Старик различил запах дыма и понял, что уже начинают жечь траву. Старик и его сын подняли глаза и увидели волнистые линии холмов, ручейков и скал. Повсюду царило безлюдье. Но они были кочевники, и безлюдье было их привычным напитком. Поэтому они не сказали друг другу ни слова и не вышли из-под ветвей доровы; сын опирался на палку и был похож на птицу, которая в засушливый день стоит на одной ноге.

Девушка бежала к ним, и в ее глазах они увидели страх. За ней по пятам с бранью гнался злой чернолицый мужчина, размахивавший кобоко. Девушка бросилась к ногам старика и стала молить о спасении, преследователь остановился.

— Она моя рабыня! — заревел он.— Отдайте ее! Она беглая! — Он поднял плеть.

— Твоя рабыня? — старик встал.

Его сын увидел в глазах девушки немую мольбу.

— Твоя рабыня? — повторил старик.— Ты не достоин отереть прах с ее ног, а осмеливаешься называть ее своей рабыней. Слушай, негодяй! Вот что я тебе предложу.— Он повернулся к мальчику и сказал: — Рикку, ты можешь разыскать своего брата Одио?

— Он со стадом у реки,— ответил Рикку.

— Позови его, ради Аллаха! — Он вытащил из колчана стрелу и взял в руки лук.— Да, позови своего брата Одио.

— Одио! — закричал Рикку.— Одио!..

Он сбежал вниз по склону. Его отец смотрел в лицо здоровенному широкоплечему преследователю.

— Она твоя рабыня?

— Вернее сказать, рабыня моего хозяина.

— А у твоего хозяина нет имени?

— Шеху.

— Этот убийца? — спросил Мей Сансай.

Он не раз слышал о человеке по имени Шеху. Рассказывали, что этот головорез был солдатом в Камерунскую кампанию 1914—1918 го-

дов. По общему мнению, Шеху любил враждовать со всем светом. Он жил, чтобы вносить смуту. Подобно раненому слону, он никогда не забывал и никогда не прощал, говорили рассказчики. Рассердить его — значит навлечь на себя неприятности.

Сзади захрустели ветки, и Сансай оглянулся. Рикку и Одио, яростно споря на бегу, мчались к отцу. Одио был старше Рикку на пять лет. В девятнадцать лет он был высок и поджар, как леопард, узкобедр и широкоплеч. В семье Сансая он считался человеком неиссякаемой энергии.

— Одио, я хочу спросить тебя кое о чем,— сказал Сансай.

Одио почтительно преклонил колени и быстро выпрямился. Он весь обратился в слух.

— Я слушаю, отец,— сказал он.

— Ты видишь эту девушку?

Одио взглянул на фигуру, распростертую перед отцом. Лохмотья, ткань на спине иссечена. В глазах девушки Одио увидел нечеловеческое напряжение. У нее было необыкновенное лицо. У большинства девушек фулани светлая кожа, прямые носы и тонкие губы, как у белых, но у Фатиме, несомненно, был белый отец или белая мать. Нос с горбинкой, широкие ноздри, густые черные волосы, посеревшие от пыли. Ярко-красные губы. Вряд ли ей может быть больше восемнадцати.

— Да, я вижу ее,— сказал Одио.

— Как ты думаешь, какая ей цена?

— Цена, отец?

— Да, Одио. Вон тот человек заявляет, что это его рабыня. Я не могу допустить, чтобы такая нечисть касалась такой прекрасной девушки. Я хочу предложить ему выкуп.

Одио наклонился к отцу.

— Ты хочешь ввести ее в наш дом?

— Если Аллаху будет угодно,— сказал Сансай.

Рикку, смотревший на Одио, чувствовал, что девушка с еще большей мольбой глядит на него, как будто это он, а не Одио должен решить ее судьбу.

— Пять коров,— сказал Одио и повернулся к Рикку.

Сансай опустил лук.

— Это много,— сказал он.— В нашем племени мужчина может взять себе в жены девушку за две или три коровы. Но будет так, как ты сказал, он получит пять коров. Пригони их.— Он погладил бороду.— Девушка наша. Забирай коров. Слава Аллаху! — И он ударил себя в грудь.

— Предупреждаю тебя! — закричал слуга Шеху.— Пока Фатиме с вами, мира вам не знать! Шеху будет преследовать вас и перебьет всех по одному. Он никогда не прощает!

Мей Сансай рассмеялся. Он повернулся к девушке и сказал:

— Встань!

Она казалась уже не такой напуганной. Она встала, но тут же опустилась на колени и принялась молить Аллаха, чтобы Сансай жил вечно. Старик улыбнулся и погладил ее по голове.

Они стояли рядом и смотрели, как слуга Шеху гонит коров на холм, пока кусты боярышника не скрыли его из виду.

— Да поможет нам Аллах,— сказал Одио.

— Амин! — в один голос ответили Сансай и Рикку.

Мей Сансай погладил бороду.

— Если он действительно слуга Шеху, то им повезло.

— Почему, отец?

— Им хватит мяса на целый год.— Он улыбнулся.— С ней же,— он указал на девушку,— им хватило бы хлопот на целых десять! — Он по-

хлопал ее по плечу.— Надеюсь, ты не принесешь нам кровопролития. Ты слышала, что говорят о Шеху? Он успокоится, только когда оторвет тебя от нас. Посмотрим.— Он говорил тихо, словно сам с собой. И повысив голос, добавил: — Пошли! Пора идти домой. Мать Рикку приготовила нам еду. А ты вымоешься, умастишь кожу маслом и наденешь ее платье.

Он всегда так говорит — «мать Рикку». Она его единственная жена, хотя по мусульманскому закону он мог бы взять себе в дом еще трех. Он любит свою жену, но средоточие его жизни — любовь к младшему сыну, Рикку.

Сансай шел первым по пыльной тропе, Рикку и Одио отстали.

— Одио, загони скот!

— Рикку, пойдем со мной! — позвал Одио.

Одио всегда ревновал, видя, что отец предпочитает ему младшего брата. Он позвал его громко, так, чтобы слышал отец. А про себя сам подумал, что когда-нибудь отец и брат еще узнают его, он даст им почувствовать их несправедливость.

— Пойдем! Ты что, хочешь вечно прятаться в тени отца? Пусть Фатиме сначала войдет в наш дом, а потом уж и смотри на нее. Пошли!

Отец улыбнулся.

— Вон ты какой... Рикку, не обращай внимания. Иди с ним.

Рикку вздохнул и побежал с холма к Одио, который, громко стуча пятками и размахивая кнутами, бежал к долине, где пасся скот.

На пустынных лугах у горизонта горела трава.

Глава II

Девушка оказалась не слишком болтливой. Она училась легко и быстро. Через месяц она уже могла доить коров, сбивать масло, заквашивать молоко и делать сыр почти так же хорошо, как мать Рикку. Сначала она ходила торговать кислым молоком только с матерью Рикку, но теперь сама находила дорогу до города и обратно.

Ее красота сразу покорила Одио. Вероятно, она догадывалась об этом. Во всяком случае, стоило ему уединиться в поле и подумать о ней, как тотчас же трава меркла от ее тени и, подняв глаза, он видел ее перед собой.

— Я иду продавать молоко,— дразнила она его, кокетливо потряхивая колечками медных сережек.

— Вот как? Но разве дорога в город проходит здесь? И где моя мать? Разве ты идешь не с ней?

— Она еще дома. Я просто сначала хотела повидать тебя.— При этом она улыбалась и поводила шеей — так красиво! — чтобы огромная тыквенная бутыль на голове обрела равновесие. Она постоянно жевала цветок табака, и от этого губы ее, зубы и десны были всегда красные. Одио заметил, что она очень похорошела с тех пор, как вошла в их дом. Она поправилась, и кожа ее стала гладкой и блестящей.

— До свиданья, Одио! Я вернусь вечером!

На склоне дня, возвратившись домой, Фатиме часто брала кувшин и отправлялась к реке омыться и принести воды. Иногда ее сопровождала Лейбе, иногда Шайту, она никогда не ходила одна. Но как-то вечером, когда в травы приходит прохлада и в тишине слышно, как собственные плоские ступни шлепают по пыльной тропе, Одио подкрался к ней у реки и сказал, чтобы она готовилась убежать с ним, ибо он любит ее и хочет взять в жены. Фатиме отказалась наотрез. Она, вероятно, помнила, что еще недавно была рабыней и не могла даже мечтать о том, чтобы

выйти замуж за свободного и гордого фулани, как Одио Сансай. Одио также помнил об этом, но даже не стал слушать ее возражений.

В тот вечер семья собралась у костра. Они рассказывали старинные притчи, толкли просо для завтрашней каши и пели песни. Старик Сансай сидел возле хижины. Он читал Коран и краешком уха прислушивался к общей беседе. Одио не сводил глаз с лица Фатиме в напрасном ожидании ответного взгляда.

И все же, когда он бывал один, она приходила к нему, а с базара всегда приносила ему подарки. Однажды утром он сидел под ветвями доровы, и она пришла к нему. Она сказала, что собирается на базар, и кокетливо посмотрела на него. Одио снова сказал, что надо бежать в город, где никто не придает значения обычаям и условностям. Он будет работать, она — вести домашнее хозяйство. Фатиме согласилась поразмыслить над его словами. Он сидел и смотрел, как красиво она шагает, спускаясь с холма. У реки она остановилась и помахала ему рукой.

■

Старик Сансай первым обнаружил исчезновение Фатиме. Он позвал Шайту.

— Я не видела ее,— сказала Шайту.

Он спросил Рикку и Лейбе, но никто не мог сказать ему, где были Одио и Фатиме. Они заглянули за хижину и увидели, что лошади на обычном месте нет.

Сансай пошел по следам подков. Они вели к реке и на той стороне скрывались в зарослях.

— Они не вернутся,— сказал он наконец.— Одио убежал с Фатиме.

Ему было страшно выговорить эти слова, словно он боялся, что этот побег явится началом разлада в семье.

Вскоре он увидел, что Рикку тоскует. Когда Фатиме жила в их доме, он не раз отмечал, как счастлив Рикку. Теперь же юноша все чаще заговаривал о прекрасном лице и плавной походке Фатиме, о том, как она, сидя у огня, пряла и пела или рассказывала сказки племени канури. Мей Сансай знал, что эта детская влюбленность скоро пройдет.

— Если бы Фатиме была здесь...— слышал он с утра до вечера.

Мать Рикку сердилась.

— Фатиме, Фатиме, Фатиме... каждый день Фатиме! От тебя ни слова ни о чем другом не услышишь!

— Ну, ну, Шайту,— вступался Мей Сансай,— мальчик просто влюблен в Фатиме. Оставь его. Влюбленность не порок.

— Я... я не влюблен в нее,— возражал Рикку.

— Ну, конечно,— ухмыльнулась мать,— ты ни в кого не влюблен и просто так решил не дотрагиваться до еды. Ты доишь коров кое-как, а по ночам бродишь по саванне, вместо того чтобы спать! Будь проклят день, когда твой отец купил эту рабыню!

Однажды вечером Сансай решил поговорить с мальчиком.

— Сын мой, ты страдаешь,— сказал он, в голосе его звучало беспокойство.— Ты превратил Фатиме в кумира... Сядь сюда, давай поговорим.

Рикку сел рядом с ним, на лице и бороде отца плясали отблески пламени от очага.

— Таков мир, сын мой,— начал Сансай.— Хотя ты еще так юн, позволь мне поговорить с тобой, как со взрослым мужчиной. Когда теряешь девушку, нужно найти другую.

— Она любит меня,— сказал Рикку.— Она мне сама говорила.

— Нехорошо, Рикку. Как же это она любит тебя, раз она убежала с твоим братом?

— Он заставил ее,— воскликнул Рикку,— ее сердце принадлежит мне!

Старик задумчиво смотрел на огонь.

— Не убивайся, Рикку, все уляжется.

— Я болен. Я... я не смогу завтра выгнать скот.

— И Одио нет! Весь скот погибнет! Аллах, упаси нас от этого!

— Я не смогу, отец! Клянусь Аллахом!

— О Аллах, мои сыновья хотят погубить меня на старости лет.

Рикку рывком встал на ноги. Он так похудел за неделю, что Мей Сансай стал серьезно опасаться за его здоровье. Казалось, ничто не шло ему на пользу. И скоту приходилось худо. Нанять пастуха было не по средствам. И кроме того, чужой ведь не будет так стараться. Словом, нужно принимать меры, и немедленно.

Он дал Рикку отвар из трав и кореньев и стал смотреть, как тот, морщась, глотает его. Дотронувшись своими длинными чуткими пальцами до шеи мальчика, он почувствовал жар и трепет.

— Рикку,— ласково проговорил он,— что мне для тебя сделать?

— Верни мне Фатиме,— ответил Рикку.— Я хочу, чтобы она опять была с нами.

Отец улыбнулся.

— В уме ли ты? Разве тебя не было здесь, когда она убежала с Одио?

В глазах Рикку была обида. Его горячие губы задрожали.

— Ты вождь Докан Торо. Твое слово закон. Отец, ты можешь найти их.

— Это правда,— сказал старик,— Аллах видит, это правда.

— О, если бы мы могли вернуть ее,— сказал Рикку.

Мей Сансай с улыбкой посмотрел на него.

— И начнутся неприятности. Много неприятностей, ибо Одио будет всегда враждовать с тобой. Брат восстанет против брата. О проклятие! И это в нашей семье! Распалась семья, пропала честь фулани!

— Попытайся, отец! Я хочу, чтобы она вернулась, но...

Взгляды их встретились.

— Я подумаю, сын мой,— решительно сказал он.— Если только Фатиме еще дышит в этом мире, я разыщу ее и с помощью Аллаха верну тебе.

— Спасибо тебе, отец. Да продлятся дни твои!

И всем на диво с этого часа здоровье Рикку начало поправляться.

Глава III

Мей Сансай сидел в тени доровы перед хижиной и читал. Он был большим знатоком Корана, он свободно читал и писал по-арабски — такие познания свойственны большинству вождей кочевого племени фулани. Он делал амулеты и талисманы, он врачевал больных, он был мудрецом, глубоко чтимым в деревне Докан Торо. Из дальних и ближних селений люди приходили к нему для исцеления ран тела и души.

Он так долго сидел, склонившись над книгой, что шея у него заболела. Он был старый человек, но никогда не щадил себя и даже не вспоминал, что усталость в его возрасте приходит быстро. Он поднял голову, чтобы дать отдохнуть мышцам шеи. Это было простое движение, человек, не думая, совершает за день сотни подобных. Однако оно решило судьбу Мей Сансая.

Он поднял голову, и взгляд его остановился на голубе. Это был самый обыкновенный сенегальский голубь с серой грудью и красными лапками. Он сидел на ветке среди высушенных солнцем листьев. Мей

Сансай каждый день видел сотни сенегальских голубей, потому что они водятся в его родных местах, там, где среди зарослей боярышника высятся редкие деревья. О, он встречал их ежедневно с того самого часа, когда впервые увидел свет, и никогда не пытался считать их. Они всегда были вокруг — топтались, клевали зерно, ворковали в купах деревьев над бескрайним простором саванны.

— Куру-куру-ду!.. Куру-куру-ду!..

Он пошел на цыпочках по поляне, заваленной навозом, в котором слева и справа копошились птицы. Голубь увидел его. И перестал ворковать. Он подозрительно посмотрел вниз, сверкнув золотистым глазом. Потом, взмахнув крыльями, стал перепрыгивать с ветки на ветку, все выше и выше. Сансай явственно различил талисман — маленький белый квадратик пергамента, он был на веревочке и подскакивал при каждом прыжке голубя.

Напрягая слабеющие глаза, в которые било яркое солнце, он следил за движениями птицы. И вдруг она выпорхнула из ветвей и устремилась прочь, описывая большие дуги над мерцающими лугами. Сансай с трудом различил далекое дерево, где она села. Колючий кустарник хватал одежду, и все время приходилось останавливаться, чтобы поправить сандалии.

Если бы Мей Сансай в нужную минуту понял, что он имеет дело с сокуго, заклинанием скотоводов фулани, волшебством, которое превращает трудолюбивого отца семейства в бродягу и отдаляет мужа от жены, вождя от народа и рассудок от человека, он никогда не стал бы бежать за голубем. Но он не понял этого и сейчас ощущал лишь странную веселость, так что тело его казалось почти невесомым. Он чувствовал, что у него вот-вот вырастут крылья, и тогда он сразу догонит голубя.

Голубь сидел на невысокой гардении с искривленными ветвями. Сансай не сводил с дерева глаз и, подбегая к нему, вновь услышал негромкое воркование. Он продирался сквозь чащу боярышника; лесные крысы выпрыгивали из-под ног, испуганная антилопа выскочила прямо на открытое солнце. Он проклял черный клубок, который мгновенно превратился в ленту и пропал в траве. Кобра!

— Куру-куру-ду!..— слышалось мелодичное, манящее воркованье.

Он увидел, как, взмахнув крылами, голубь стал перескакивать с ветки на ветку. Добравшись до верхней ветки, голубь взмыл в синеву. Сансай выругался. Приставив ладонь козырьком, он любовался проворством прекрасной птицы. Голубь описывал в небе большие правильные дуги, внезапно нырял, словно намереваясь сесть, распускал хвост веером, замедляя полет, и вдруг застыл в воздухе и упал на высокую финиковую пальму. Сансай знал кратчайший путь к этой пальме.

— Вернись! Вернись! — говорил ему внутренний голос.

Но он, не задумываясь, бежал за заколдованным голубем, заводившим его все дальше и дальше, в луга, и кустарники, и рощи акации. Он бежал и бежал, пока солнце не стало клониться долу и не скрылось за горизонтом,— тогда настала ночь и Сансай почувствовал голод и жажду.

В саванне, в самом сердце скал и потоков, тьма означает встречу с носителями быстрой смерти — буйволицей и леопардом. Но Сансай был не в состоянии подумать об этом.

■

Жены Мей Сансая, Шайту, весь день не было дома — она продавала кислое молоко в соседнем городе. Когда она, нагнувшись, входила в маленькую хижину, где обычно сидел Мей Сансай, медные серьги ее за-

звенели. Ей и в голову не пришло, что мужа нет дома, что он может в этот час оказаться где-то далеко.

Ее дочь Лейбе спала на циновке. Мать потрясла ее за плечо. Лейбе проснулась и сказала, что видела днем трех незнакомых мужчин. Она сказала, что трое незнакомцев приходили с клеткой, полной птиц, и выпустили из нее голубя с талисманом на лапке. Она отвела мать за хижину и показала ей место, где Мей Сансай сидел и читал. Там лежала отброшенная в сторону книга, грифельная доска и опрокинутая чернильница — все, что осталось от Мей Сансая.

Шайту огляделась, ища разгадки случившемуся.

— Их было трое,— сказала Лейбе.— Один из них был вождь.

— Откуда ты знаешь?

— У него на тюрбане был полумесяц.

— Наверно, это были дурные люди. Может, соперник твоего отца Ардо и его люди. Ардо не может успокоиться, с тех пор как в Докан Торо избрали вождем твоего отца. Сначала он хотел избавиться от него, распуская ложные слухи. Теперь он наслал на него сокуго.

Шайту, как и все скотоводы фулани, руководствовалась в жизни поверьями, которые невозможно понять разумом. Все события она объясняла влиянием неодушевленных предметов и стечением странных обстоятельств. Талисман может принести счастье... Можно убить врага, громко выкликнув его имя и послав в небо острую иглу. Можно отправить врага в скитания, где он найдет смерть, наслав на него сокуго — колдовство, заставляющее бесцельно бродить с места на место. Именно это, решила она, и сделали с ее мужем. Ее вера в приметы и предсказания была незыблема, а судя по словам Лейбе, здесь дело не обошлось без черной магии, которой занимаются скотоводы фулани. Лейбе рассказала, как люди Ардо выпустили из клетки голубя с талисманом, привязанным к лапке, как голубь взлетел и сел на дерево и как Сансай пошел за ним. Она была совсем еще маленькая, и, услышав эти подробности, Шайту поняла, что дочь рассказывает о том, что действительно видела.

— Они околдовали его,— заключила Шайту.— Это сокуго.

Это могло быть только сокуго — болезнь, заставляющая скитаться. Теперь она знала, что муж будет бежать за каждой птицей до тех пор, пока кто-нибудь не разрушит чары Ардо. Так сокуго лишает человека размеренной жизни и посылает в бесцельные странствования.

Как отомстить Ардо? Когда Рикку вернется со скотом, надо будет все обдумать.

■

Шайту ждала и не могла дождаться. Ей казалось, что Рикку никогда не вернется. Наконец в лощине показалось медлительное стадо и с ним Рикку. Она не ответила на его улыбку, но помогла ему спутать скот на ночь и развести большой дымный костер, чтобы отогнать гиен и леопардов. Когда они кончали работу, Рикку случайно спросил:

— А где отец?

— Я его не видела,— небрежно ответила Шайту.— Не думаю, чтобы он ушел далеко.

— Но он вообще редко уходит!

— Не знаю, Рикку. Когда я вернулась, его тут не было.— Мать подала ему миску с кашей.— Ешь, сын мой, и ни о чем не думай. Ты, должно быть, устал. Еще бы — весь день пас скот на солнцепеке.

Рикку нащупал чурбан и сел на него.

— Я, кажется, знаю, где отец,— сказал он.— Он пошел к знахарю посоветоваться, как вылечить меня от любви.— Он улыбнулся.

— Может быть, сын мой.

Лейбе вышла из хижины и спросила:

— Почему ты не расскажешь ему о трех незнакомцах, которых я видела?

— Ты видела трех незнакомцев? — Рикку отставил в сторону миску.

— Да. У них были клетки... с птицами!

— Лейбе! — сердито сказала Шайту.— Иди в дом и толки просо.— Она посмотрела на Рикку.— Не обращай внимания на сестру. Это все пустая болтовня.

— Но кто были эти люди?

— Незнакомцы. Вероятно, птицеловы.

— И отец ушел с ними?

— Рикку, ты задаешь слишком много вопросов! Кончай есть и отдыхай, пока я занята хозяйством. Ты же слышал, что твой отец ушел и скоро вернется?

Шайту принялась толочь просо, и Рикку закончил ужин в молчании. Затем он вошел в хижину и снял с себя кожаный фартук. Мать не осмелилась сказать Рикку, что, вероятно, отец попал во власть сокуго. Раз Рикку уверен, что отец ушел, чтобы вернуть в дом его любимую девушку,— пусть так оно и будет.

■

Рикку проснулся за полночь. Что-то разбудило его, что-то необычное было в воздухе. Безошибочное чутье кочевника, приходящее с годами жизни, которой всегда угрожают люди, звери и стихии, заставило его приподняться. Ему показалось, что скот испуганно топчется на месте. Он прислушался. Собаки не лаяли. Почему? Может быть, они заколдованы? Он чувствовал, что беспокойство в стаде растет. А теперь он различил и движение — кто-то пытался угнать их зебу.

— Рикку! — донесся из темноты голос Шайту.

— Мать! Воры... Вставай! Воры!

Раскованный топот потряс молчание ночи. Рикку вынырнул из двери во мрак. Он увидел, как несколько человек — черные тени — отделились от мрака. Человек в тюрбане шепотом отдавал приказания. Двое других точными движениями перерезали путы у скота. Блестели ножи. Притаившись за грудой бревен, Рикку следил за ними. Обезумевший от ударов и криков, скот несся мимо, сокрушая хижины. Рикку отскочил в сторону — что-то острое скользнуло возле самого его бока. Тотчас ему скрутили руки за спиной и бросились прочь. Он слышал, как в хижине кричала его мать и дети, видел, как по земле неуверенно побежали огоньки, почувствовал запах горящей соломенной крыши — и вдруг к небесам взвился язык пламени, на который было страшно смотреть. Искра упала на хижину его отца, хижина матери, протянув руку, поймала другую летящую искру. Искры сверкали на ветру, и скоро пламя трещало повсюду.

— Лейбе! Лейбе! — кричала Шайту.— Рикку, Лейбе сгорит!

— Мне связали руки! — закричал Рикку.

Он видел черные тени людей, завершавших свою зловещую работу. Они вбегали в гущу скота и выбегали, разрезали путы и хлестали коров. И вот к небесам взвился последний ослепительный язык пламени, и при свете его Рикку увидел врезавшуюся ему в память картину догоравшего селения. Пока он жив, он не сможет забыть удушливый дым, ползущий в кустарники, занесенные копыта обезумевшего скота, алое сердце огня на месте его хижины. Он понял, что враг оказался умнее его, и пал духом. Но особенно запечатлелось в его памяти черное лицо человека в тюрбане с золотым полумесяцем — он командовал, цедя слова сквозь

зубы, а на лице его то тускло лоснились, то ярко вспыхивали огни пожарища.

Это был Ардо. Рикку слыхал о нем, его отец не раз говорил об Ардо как о своем главном сопернике, который хотел непременно стать вождем Докан Торо. И Рикку вспомнил, что Лейбе видела днем, как этот человек выпускал из клетки голубя с талисманом на лапке.

Не хочет ли он истребить все семейство Сансая? Коли так, Лейбе права; они наслали на отца заклятье, которое отправляет человека в скитанья, и он не ушел искать Фатиме, как предполагал Рикку, а просто бесцельно бродит по саванне. Его надо догнать и спасти.

Рикку изо всех сил напрягал руки, стараясь освободиться от веревок. Но люди Ардо знали свое дело.

Глава IV

Мей Сансай скинул сандалии и опустил ноги в прохладную воду. Ему стало легче.

— Алла-ам-дидил-лахи! — удовлетворенно пробормотал он.

Это не имело никакого смысла — так человек рыгает после обильной трапезы. Сансай склонился над водой, подобрав одежду, чтобы не замочить ее. Он ополоснул руки до локтей, омыл лицо, выбрав укромный уголок над рекой, обратился лицом к востоку и стал молиться, как истый мусульманин. Прошло несколько часов, а он все еще был там, перебирал четки и горячо нашептывал молитвы.

Косясь краешком глаза на восток, Сансай следил за людьми, появившимися у реки. Его внимание привлекли две красивые девушки фулани с лоснящимися телами и затейливыми прическами. В ушах у них были медные серьги, а когда они поставили наземь тыквенные сосуды с молоком, на их длинных руках мелодично зазвенели десятки браслетов.

В реку вошел ослик, на спине его качались связки сахарного тростника. Подошли другие ослики, груженные ямсом. Сансай призадумался, и вдруг в голову ему пришла мысль, что если он последует за этими людьми, то придет к базару. Он уже совсем не думал о голубе, просто ему хотелось идти дальше и дальше.

Он окончил молитву и подошел к человеку, который с громкими булькающими звуками полоскал горло.

— Санну! — сказал человек.— Здоров ли ты?

— Здоров.

— Хвала Аллаху!

— Мне бы хотелось кое-что узнать,— сказал Сансай.

— Тау! — сказал человек, что означало «хорошо». Он выпрямился и еще раз поблагодарил Аллаха.

— Ты идешь на базар? — спросил Сансай.

— Да.

— Можно я пойду с тобой? Там должен быть мой сын Джалла, а я не знаю дороги.

Мужчина окликнул ослика, который отошел было по берегу туда, где росла свежая трава, и ослик побрел назад. Мужчина натянул на голову белую круглую шапочку и подстегнул ослика. Сансай с сожалением отметил, что осликам не суждено получать благодарность.

— Пошли,— сказал мужчина.

Высокие стройные девушки уже закончили свой сложный туалет и теперь натирали зубы цветком табака. Губы у них были ярко-красные, зубы тоже. Сансай снова посмотрел на них, когда стал взбираться на высокий берег. Они возбужденно болтали и хихикали, как и подобает девушкам.

Сансай посмотрел вдаль на простиравшуюся перед ним саванну и увидел толпы людей, двигавшихся на базар. Они шли по сухим коричневым дорогам с севера, юга, востока и запада, они спешили к соломенным хижинам, которые и были базарными ларьками.

Неожиданный обрывок разговора донесся до слуха Сансая. Он почувствовал себя вовлеченным в то, о чем говорили девушки. Рассеянно вставляя «да» и «нет» в беспрерывную болтовню своего провожатого, он прислушивался к их словам.

— Джалла! Ах, Джалла! Вай! — со смехом выкрикивала одна из девушек и убегала, а другая сердилась и пыталась поймать ее.

Старик больше не мог этого выдержать. И когда он услышал, как одна из них сказала: «Почему ты так говоришь о Джалле? Наверно, ты любишь его?» — он подошел к ним и спросил:

— Красавицы мои, я слышу, вы говорите о Джалле?

Девушки переглянулись и подозрительно посмотрели на старика, тыквенные сосуды на их головах грациозно закачались.

— Что? — спросила одна девушка.

— Мы просто забавлялись,— сказала другая.

— И прекрасно,— заверил их Сансай.— Я не собираюсь делать ему ничего дурного.

Они стояли в нерешительности. Вдруг девушка потемнее сказала:

— Да, мы говорим о Джалле.

— Значит, вы знаете его?

— Знаем?! Да мы у него покупаем свежее молоко и масло! Знаем ли мы его?! Слава Аллаху!

— Откуда же старику знать все это? Я ведь спрашиваю только потому, что я чужой в этих краях.

— Погоди... Джалла, может, даже сегодня будет на базаре. Клянусь Аллахом, он там должен быть. Он ведь очень любит всякие украшения. Сегодня он должен купить серьги для...— Они переглянулись и захихикали.

У Сансая сердце ушло в пятки. Значит, Джалла женился или собирается жениться, а он ничего не знает. Сансай увидел, что мужчина с осликом ушел вперед и поджидает его, положив на плечи сучковатую палку.

— Пошли же,— нетерпеливо сказал мужчина.

— Идем!

— Ты узнавал о Джалле? — сказал мужчина.— Что же ты не спросил меня? Только чужой в этих краях может не знать Джаллу.

— Я просто...

— Он же любимец Бодеджо. Как, ты не знаешь Бодеджо? Кай! Ну что ты за человек? Да все на свете знают Бодеджо! Это белый человек и добрый. Представляешь, он делает прививки скоту. Ты меня слушаешь? Он говорит, что эти прививки спасут скот от чумы.— И мужчина захохотал во все горло, показывая прокуренные зубы.

Этот Бодеджо, доктор Макминтер, был одновременно ветеринаром, санитарным инспектором и блюстителем британского правопорядка. Но Мей Сансай не мог задавать слишком много вопросов, так как боялся проговориться, что он отец Джаллы.

Они вышли из кустарников, перед ними лежало пустынное шоссе, убегающее вправо и влево и скрывающееся среди холмов. Облако пыли вдали указывало на приближение автомобиля. Поведение людей на дороге насторожило Сансая. Мужчина с осликом стал беспокойно озираться в поисках какого-нибудь укромного места.

— Это Бодеджо,— пояснил он.— Быстрее! Может, ты хочешь, чтобы он поймал тебя и сделал укол?..

— Что с нами будет? — закричали девушки, прижавшись друг к другу, как напуганные зебу.

Хозяин схватил ослика за хвост.

— Клянусь Аллахом, если Бодеджо увидит нас, укола не миновать.

— Но ты же не болен сонной болезнью,— возразил Сансай.— Я слыхал, он делает уколы только тем, у кого сонная болезнь.

Девушки обыскивали взглядом кустарник, ища, куда бы спрятаться. Но это было невозможно. Даже страус в пустыне, наверно, нашел бы лучшее укрытие. В самый разгар паники автомобиль нырнул в долину. Карабкаясь на холм, он запел. Потом сверкнул на солнце и, зарычав, унесся прочь.

Облако красной пыли повисло над дорогой, и ветер понес его на испуганных людей.

— Видел? — шепотом спросил мужчина с осликом.

— Он такой красивый! — вздохнули девушки.

Когда они подошли к базару, Сансай заметил чиновника, одетого, как сборщик налога: на нем был тропический шлем цвета хаки, короткие штаны и ботинки. Он стоял в толпе пастухов, опиравшихся на палки, и что-то говорил, размахивая руками.

— Это лесничий,— пояснил хозяин ослика.— Он отвечает за деревья. Когда Бодеджо хочет, чтобы мы что-то сделали, он говорит Чике, а Чике говорит нам.

Сансай почувствовал благоговейный трепет перед человеком с записной книжкой. Но Сансай стоял слишком далеко и расслышал лишь несколько слов, которые ровно ничего ему не сказали. Пастухи уже начали расходиться. Некоторые возвращались, желая задать какой-то вопрос.

— Я все-таки пастух,— сказал кто-то.— Мое дело — скот, а не деревья.

Эта попытка протестовать встретила одобрительные возгласы у скотоводов. От изумления глаза Сансая расширились. Громко говоривший молодой человек был его первый сын — Джалла. Сансай бросился в толпу и стремительно заработал локтями, пробираясь к Джалле. Ему больше всего на свете хотелось стать лицом к лицу с сыном. Наконец он был перед Джаллой, который стал таким высоким, что старик, сколько ни вытягивал шею, не мог быть вровень с ним.

— Джалла, сын мой!

Джалла пристально смотрел на старика, и ему казалось, что он видит сон.

— Отец!

— Лах, лах, лах! — бормотал старик в объятьях сына.

Отец и сын теперь стали центром внимания. Вокруг них собралась толпа, всегда бесстыдно жаждущая поглазеть на проявление чувств. Девушки заламывали руки в сладкой печали и умилялись отцовским радостям.

— Не удивительно, что он так выспрашивал о нем,— сказала одна из них.

— Это тот старик, которого мы встретили у реки? Я сразу поняла, что здесь что-то кроется.

Джалла обернулся к ним и с гордостью сказал:

— Это мой отец.

— Айя! Бедный старик! Он целый день на ногах!

Джалла и отец глядели друг на друга и обменивались тысячами невысказанных мыслей. Наконец Джалла сказал:

— Пора возвращаться на стоянку. Это много миль отсюда, но моя лошадь довезет нас обоих. А скот домой пригонят мои парни.

Сопровождаемый Джаллой, Сансай обошел базар. Он был полон

народу. Люди самого разного достатка со всей саванны толпились здесь, ибо базарный день бывает раз в неделю. Разноцветные английские гребешки лежали на прилавках бок о бок с кореньями и травами, обезьяньи зубы соседствовали с мясом, над которым носились рои мух. Ослики. коровы, циновки, шипящее на огне мясо; женщины, поставив на землю пустые тыквенные бутыли, жуют сахарный тростник. Повсюду прыгают ослики со спутанными передними ногами и подбирают губами кожуру сахарного тростника.

— Лах! — повторял Сансай.

Он гордился Джаллой, который не походил на мужчин фулани. И хотя в нем не было ничего от их стройности и женственности, Джалла носил серьги. На нем была чистая белая рубаха и новые сандалии, потому что это был базарный день или, может, потому, что он поглядывал на девушек. Он жевал цветок табака, и рот его был красен.

— Лах! — сказал старик.

— Как поживает Рикку, отец?

— Рикку? — пробормотал Мей Сансай.— Этот маленький мошенник тоскует. Он бредит Фатиме, девушкой, которую мы выкупили из рабства.

Когда они добрались до стоянки Джаллы, было уже очень поздно. Сансай не мог рассмотреть в темноте ночи, что лежало за желтым кольцом пламени, но он слышал вой гиены в скалах и смутно различал очертания белых и коричневых зебу.

Он быстро разыскал циновку и распростер на ней свое усталое тело.

— Большое у тебя стадо?

Джалла улыбнулся.

— Две сотни голов.

— Ты большой человек, Джалла.

— На все воля Аллаха. Здесь у меня две сотни. Но, знаешь, людям не охота платить налоги за все, что у них есть.

— Что ты хочешь сказать?

— Восемьсот голов у меня в других местах.— Он хитро подмигнул.

— Вай... Вай!

В эту ночь Сансай спал как убитый. Один день и одна ночь отделяли его от Докан Торо, но у него не было никакого желания возвращаться домой, он стремился только вперед, на юг.

Вскоре после восхода солнца Сансай сказал, что различает шум автомобиля. Отец и сын прислушались. Длинное красное облако пыли вдали отмечало путь машины. Недалеко от стойбища Джаллы машина остановилась, и из нее вышел белый человек. Его сопровождал африканец в тропическом шлеме цвета хаки, в коротких штанах и ботинках. Они пробирались сквозь низкорослые кусты, о чем-то говорили и смотрели в записные книжки.

— Они идут сюда,— сказал Сансай.— Это сборщик налога!

— Это Бодеджо. А с ним вчерашний лесничий.

— Что им нужно? Налог?

— Нет! — улыбнулся Джалла.— Подождем —увидим.

Бодеджо шел большими шагами. Лесничий побежал по земляной насыпи. Он нашел проход в зарослях боярышника, и уже через минуту оба они стояли посреди поляны. Мей Сансай слышал, что доктор хороший человек, и теперь, видя его перед собой, мог сам убедиться в этом. Доктор Макминтер был ростом чуть ли не в 6 футов 7 дюймов и улыбался, как мексиканец. Несмотря на загар, дыхание Англии, казалось, овевало его, и Сансай понял, что встретился с иной цивилизацией.

Бодеджо посмотрел на стадо Джаллы.

— Есть жалобы? — спросил он.

Чике перевел.

— Нет,— ответил Джалла.

— Есть случаи чумы?

— Мой господин, с тех пор как ты сделал уколы, никаких признаков болезни.— Он посмотрел на отца.— Кай... эта болезнь! Она чуть было не пожрала все мое стадо.

Бодеджо пошел осматривать лагерь Джаллы, и Чике задавал вопросы и что-то отмечал в записной книжке. Он был загадкой для отца и сына. Такой же африканец, как они, он, в отличие от них, в свое время учился в школе и теперь мог говорить и писать по-английски. Он ездил на мотоцикле и пользовался непонятными инструментами.

Бодеджо вернулся удовлетворенный. Он приветливо улыбнулся Джалле и велел сообщать о любых подозрительных заболеваниях, вместе с Чике они пошли назад к автомобилю.

Восторженные чувства не покидали Мей Сансая.

— Джалла, ты самый замечательный из моих сыновей.

— Почему?

— Ты еще спрашиваешь почему! Подумай-ка, сам Бодеджо заботится о тебе и твоем стаде.

— Он добрый человек,— сказал Джалла.— У него множество дел. Он лечит людей от сонной болезни, улаживает споры, дает дома бездомным. Только...

— Тау! Что ты имеешь против него? Ах да, налог.— Лицо Сансая стало серьезным.— С этим надо примириться. Ты молод, и в тебе бунтует кровь. Но ты не сможешь всю жизнь убегать от налогов.

— Это так, отец.

Бодеджо и лесничий были уже возле машины. Сансай видел, как они сели в нее. Машина медленно тронулась, и опять облако красной пыли поднялось над дорогой.

— Уехали!

— Да. Впрочем, они еще вернутся.

— Пойдем поищем чего-нибудь поесть. Я голоден.

Когда они собирали хворост для костра, Сансай сказал:

— Джалла, не пора ли тебе взять девушку, которая бы вела твое хозяйство?

Казалось, Джалла не расслышал его вопроса, и Сансай повторил его снова.

— Мне, отец? — сказал Джалла.— У меня была одна. Ее звали Аминой.

— Но где же она?

— Убежала. После того как Одио отсюда ушел.

Сансай выронил охапку хвороста.

— Одио?! Опять мой сын Одио? Где же он сейчас?

— Не знаю точно, отец. Одни говорят, что у него теперь свое стадо и что он скитается где-то в глуши. Другие говорят, что он поселился там, где живут больные сонной болезнью. Я забыл, как это называется. Постой. Кажется, Новая Чанка.

— Новая Чанка! Я слыхал это название. Была Старая Чанка, которую сжег Бодеджо, и теперь построили Новую Чанку.

— Вот именно. Ну, пошли есть, отец.

Джалла натолок проса, добавил в горшок воды и поставил его на огонь. Он сидел на корточках перед костром и смотрел в него полными слез глазами.

— А у тебя есть мука? — с детским любопытством спросил Сансай.

— Есть все, кроме свежего молока.

— Но мы ведь его пили,— напомнил Сансай.

— М-да,— сказал Джалла,— не мужская это работа.

Наконец отец и сын совместными усилиями приготовили еду. Они

хлебали кашицу деревянными ложками и оживленно беседовали. Джалла сказал, что он утром выгонит скот к реке. Сансай, разморившись от еды, лениво развалился перед хижиной и стал смотреть в саванну.

Джалла взглянул на него и сказал:

— Могу я со спокойным сердцем оставить тебя?

— Пока ты не вернешься, я никуда не уйду,— ответил старик.

— Но ты позабыл о сокуго, оно же поражает без предупреждения!

Мей Сансай засмеялся.

— Поверь мне, ничего не случится. Спокойно гони стадо к реке. Когда вернешься, я буду здесь.

— А ты не побежишь за птицей? Отец, я боюсь, что у тебя и в самом деле бродячая болезнь сокуго. Нам надо бы давно сходить к знахарю.

— Джалла, о чем ты говоришь? Как ты можешь так разговаривать со своим родным отцом, который дал тебе свет?

— Прости меня, отец. Это страх заставляет меня так говорить. Великий страх. Этот страх вселило в меня твое поведение.

— Я же говорю тебе, что разыскиваю девушку, в которую влюблен твой брат Рикку. Ее зовут Фатиме. И я...

— Это правда? — улыбнулся Джалла.

— Клянусь Аллахом! По дороге я услышал разговор о тебе и потому пошел за девушками и тем мужчиной с осликом.

— Тау! Пусть будет так, как ты говоришь. Я ухожу, ты остаешься один. Солнце уже высоко. Скоро трава совсем пересохнет.

— Иди с миром.— Старик поглаживал бороду и бормотал в нее:— Какие мускулы! Совсем не похож на стройного гибкого сына фулани.

Мычали зебу. Стучали друг о друга широко расставленные крутые рога. Плясали горбы. Всегда самая трудная часть дела — расшевелить зебу, привести их в движение. Когда они поймут, что от них требуется, все становится просто. Тогда мешают только телята. Джалла щелкнул кнутом. «Кай!» Он цокал языком, поддразнивал одну корову, окликал другую по имени. Хороший пастух должен знать всех зебу в своем стаде по имени, масти и привычкам.

Сансай радовался, что его сын такой искусный пастух. Очень скоро Джалле удалось направить стадо по старым следам, и теперь он стоял в стороне, опершись на палку, насвистывал, напевал и посматривал на скот, лениво спускавшийся к реке. Джалла глотнул из фляжки и пошел за стадом.

— Отец, жди меня! — крикнул он на ходу.— Я вернусь на закате.

Мей Сансай привстал и помахал ему рукой.

— Да благословит тебя Аллах, сын мой!

Джалла загнал зебу в реку, а сам остановился поодаль и принялся смотреть, как они шлепают по воде.

Глава V

Коровы вошли в воду, ему не надо было погонять их,— он поднялся на маленький холмик поодаль. Оттуда он видел все стадо, разбредшееся по плоским лугам вдоль обоих берегов. Коровы знали свой край не хуже его, и ему оставалось лишь сесть в сторонке и поглядывать. Когда солнце начнет клониться к горизонту, он поведет стадо домой и по пути заглянет к Дого. Дого всегда рад ему.

Джалла сидел, широко расставив колени и оперевшись на палку. Взгляд бродил по саванне. Странной жизнью живут эти края! В базарный день все дороги забиты, а в будни, когда солнце так же нещадно бьет по траве, боярышнику и гарденияm, на этих раскаленных тропах не

встретишь ни души. Трава уже теряет вкус. Надо всерьез думать о новом становище. Он отправится на юг, к берегам великой реки.

Вдруг ему показалось, что вдали что-то движется, и, пристально вглядевшись, он увидел две человеческие фигуры, разорвавшие черту горизонта. Обе были закутаны в одежды и двигались медленно, с трудом.

Джалла наблюдал за ними без особого интереса. В саванне обитает немало народа, и беспокоиться причин нет. Однако вскоре он понял, что видит женщину и подростка. Они о чем-то говорили и размахивали руками. Через несколько мгновений они повернули и исчезли в кустах.

К вечеру Джалла собрал стадо и погнал домой. Ему приятно было видеть две свои хижины, сулившие счастливую, всепонимающую улыбку отца. Он загнал скот и вошел в хижину. Мей Сансая в ней не было. Он бросился к соседней хижине. Заглянул в дверь и отпрянул: на циновке крепко спала женщина с маленьким ребенком. Рядом с ней спала девочка.

Он вошел в хижину и потряс женщину за плечо.

— Кай! Что случилось?

Она вздрогнула.

— Кто это?

И тут Джалла увидел ее лицо.

— Мать! — воскликнул он, ударив себя в грудь.— Аллах, снизойди к нам!

— Джалла, родной!

— Отчего ты здесь, мать? Кто указал тебе дорогу?

Лейбе заворочалась, и он поднял ее на руки.

— Дорогая сестра! Ты уже совсем взрослая! — он потрепал ее по щеке.

— Да,— сказала Шайту.— Она уже три года как помолвлена. Слава Аллаху, в этих краях ты очень известный человек, Джалла. Я всюду спрашивала о тебе, и мне указали твою стоянку.

— О мать! Как возрадовалось мое сердце при виде тебя...

— А отец твой был здесь? Он убежал из дому и...

— Так вот отчего ты здесь!

— Да, да. Мы были в пути целых три дня... У нас не было ни крошки еды.

— Не беспокойся! Еды у меня сколько угодно, и ты скоро увидишь отца.— Он направился к выходу, но у дверей оглянулся и сказал:— Наверно, это вас я видел днем.

— Ты был со стадом?

— Да. Я увидел вас и удивился, куда это идут женщина и девочка. Сейчас я принесу вам еды, а Мей Сансай скоро вернется. Я думаю...

— Так он был здесь? — с волнением перебила его Шайту.

— Клянусь Аллахом! Тот, кого ты ищешь, где-то поблизости.

— Но мы его не встретили.

У Джаллы душа ушла в пятки. Он гнал от себя страшную мысль. Этого не может быть! В горле у него пересохло.

— Вы... Его... не встретили?..

— Мы и следов его не видели. Клянусь Аллахом!

— Аллах не допустит этого. Нет, я уверен, он скоро...

Они отправились искать его, и Джалла все время с ужасом думал, не случилось ли с ним самое страшное. Он не переставая твердил матери, что отец, вероятно, пошел за какой-нибудь травой или корнем, но чем дольше они искали его, тем яснее становилось, что отец и не собирался возвращаться.

— Он ушел,— вздохнул Джалла. И затем тихо проговорил, словно обращаясь к самому себе: — Он заболел. Это сокуго.

— Так ты об этом знаешь?

— Было у меня такое подозрение, но он сказал, что ищет Фатиме. Не знаю, чему и верить.

Шайту ничего не ответила. Мрак уже окутывал саванну, когда они возвращались к хижинам. Лейбе, засунув палец в рот, смотрела на своего взрослого брата.

— Они сожгли наш дом,— сказала она.— Они побили нас. Наверно, они угнали с собой Рикку. Аллах нашлет на них чуму! — Лейбе заплакала.

— Но я ничего не знал! Когда это случилось?

— Ночью после того, как ушел Мей Сансай. Но что бы ты мог сделать, Джалла, если бы даже знал? Ты живешь так далеко от нас. Три дня пути. Да у тебя и своих забот полные руки.

— Это верно. И все же так это оставить нельзя. Мы должны разыскать Рикку, мы должны удержать отца, чтобы он не бегал за тенью птицы.

Поздним вечером они сидели у костра, и Джалла с радостью отведал ужин, приготовленный руками матери. Он любовался ею: она была очень красива для своего возраста. Она так много делала для всех, но судьба все же была к ней не слишком милостива. Он чувствовал, что обязан хоть как-то облегчить ее жизнь.

— Спасибо, мне очень понравилось,— сказал он, захватывая пальцами последнюю щепотку риса.— Ах, если бы ты попробовала патури, которое мы утром приготовили с отцом!

— Вкусное? — спросила Лейбе.

— Еще бы, клянусь Аллахом! — рассмеялся он.

Лейбе улыбнулась.

— Но вы нам ничего не оставили.

— Разве я знал, что вы придете? Но давайте поговорим о Рикку. Вот если бы он пришел сюда с вами!

— Мы не видели его, Джалла, сын мой. Когда вспыхнул дом, мне пришлось спасать малыша и Лейбе. Я искала Рикку, но не могла найти.

— Может быть, его увели люди Ардо,— сказала Лейбе.

— Ничего не случится с моим сыном! Аллах поможет ему спастись. С ним ничего не случится! Я знаю Рикку. Если даже они угнали его, он сумеет бежать. Негодяи!

Поужинав, они еще долго сидели у костра и говорили. Было уже очень, очень поздно, когда усталая тень пожелала им мира. Шайту и Джалла подняли глаза — перед ними стоял Рикку. Он опирался на палку, казалось, он вот-вот упадет. Прихрамывая, он подошел к ним ближе, молча, без улыбки. Лицо его распухло и было покрыто рубцами. Мать, брат и сестра бросились к нему.

— Рикку, сын мой! Аллах спас тебя для меня. Давай сюда суму и палку. Садись, тут есть рис и масло. И горячая вода.

Рикку последовал за матерью и уселся на козью шкуру. Когда ему дали рис, он с жадностью набросился на него.

— Кто показал тебе дорогу?

— Здешние люди.

— Я очень счастлива, Рикку. Сейчас вскипит вода. Когда ты умоешься, я перевяжу тебе раны.

— Спасибо, мать.

Он поел, и силы как будто вернулись к нему. Он стал рассказывать им, как люди Ардо, забрав все, что хотели, избили его и он потерял сознание. Так он лежал около одной из сгоревших хижин, пока его не заметил человек, который пришел к Мей Сансаю.

— Но я решил преследовать их. По дороге я стал расспрашивать о вас, и мне показали эту стоянку. Джалла, все в саванне знают тебя, я

очень этим горжусь.— Он попросил воды и омыл руки.— Видите, каков Ардо? Он в вождях долго не продержится. Он верит в насилие. Люди уже ворчат. Если бы наш отец не покинул нас!

— Мы должны найти его! — сказала Шайту.

Прежде чем лечь спать, Рикку отозвал Джаллу в сторонку:

— Джалла, я рад, что ты так хорошо живешь.

— Хвала Аллаху,— сказал Джалла.— Хорошую жизнь посылает небо.

— Брат. Вы что-то скрываете от меня. Об отце.

— Да,— ответил Джалла.

Рикку посмотрел ему в глаза.

— Ты понял, о чем я хочу тебя спросить. Что, отец... болен?

Джалла вздохнул.

— Трудно сказать, брат мой. Не знаю. Иногда он ведет себя так, как будто он во власти сокуго. Но помни, он ведь не мальчишка, к тому же он так любит тебя!

Больше он не сказал ни слова; Рикку снова посмотрел ему в глаза и направился к хижине.

Глава VI

Пот на плечах Мей Сансая был подобен мыльной пене. Все тело горело, ноги гудели. Он начинал всерьез уставать. Над саванной, создавая миражи, трепетали вертикальные лучи солнца. Вид далекой деревни придал Сансаю новые силы.

Подойдя ближе, он различил стену, которая опоясывала деревню, и за ней гигантский скрюченный баобаб, поднимавший в щедрую синеву неба свои узловатые безлиственные ветви. В листве темных деревьев, шумно хлопая крыльями, сражались белые цапли и грифы.

Дома и деревья обещали жизнь, и вид их опять придал Сансаю силы. Он ускорил шаг. Его сандалии шлепали по дороге, поднимали пыль, и она оседала на ногах; он уже мечтал о прохладе и тени, где можно умыться и совершить полуденную молитву.

То, что он увидел, оказалось стеной, доходившей всего до пояса. Тем не менее это была стена и за ней глинобитные хижины, все без крыш. Когда он подошел ближе, его поразило то, что даже эта стена кое-где разрушена. Перед его глазами была картина запустения.

Он вошел в деревню по широкой дороге меж двух больших баобабов. Следы автомобильных шин на ней были совсем свежи, ему даже показалось, что к запаху пыли примешивается запах бензина. Как только он оказался за стеной, кто-то окликнул его:

— Маллам!

Сансай оглянулся. Сначала он не увидел никого. Присмотревшись попристальней, он различил человека, настолько грязного, что тот сливался с пылью. В иссохшей руке у него была дубина, глаза злобно блестели.

— Позволь приветствовать тебя,— сказал Сансай, не понимая, чем он мог рассердить обитателя деревни.

Взметнувшись в воздух, как змея, человек оказался в двух шагах от Сансая.

— Куда ты идешь, сын мой?

— Я? — переспросил Мей Сансай. Его не звали «сын мой» уже лет двадцать.— Я иду в эту деревню.

— В эту деревню! Хи-хи-хи!.. В деревню!

От его смеха мурашки бегали по спине.

Рассердившись, Сансай круто повернулся и зашагал в глубь деревни. Его не покидало чувство, будто что-то жуткое подстерегает его.

В ушах еще звенело леденящее хихиканье старика. Ночью бы он принял все это за страшный сон, но днем это было неоспоримо реально.

С края стоял полусгоревший дом без крыши. В других домах поблескивала паутина. Среди бела дня из них выбегали крысы, становились на задние лапы и потирали передними, как люди. Он пошел дальше. Повсюду царило запустение. Рыночная площадь усеяна сухими съежившимися листьями, прилавки обрушились. В глиняных черепках кое-где сохранилась вода, и в ней на приволье плодятся москиты. Ложки, стулья, ржавые консервные банки, шелуха от сахарного тростника, следы ослиных копыт.

Он даже обнаружил угли от очага, где мясники обжаривали мясо на палочках, которое так любит молодежь. Но куда же ушли эти мясники, крестьяне, кузнецы? Может быть, они умерли и похоронены, может, их затопило наводнение, может, все они погибли в огне?

Надежды его рухнули, и он стоял в смятении. Вдруг сзади послышался шорох. Сансай шарахнулся в сторону — и вовремя. Мимо промелькнуло искаженное лицо старика и занесенная дубина. В ноздри ударил запах грязного тела.

— Кай! — закричал Сансай.— Что ты делаешь? Человек не причинил тебе никакого зла, а ты нападаешь на него сзади, как трусливая старуха!

— Никакого зла? Ты ходишь по моей земле!

Человек с дубиной поднялся и снова бросился на Мей Сансая. На этот раз он больно ударил кочевника по шее и рассек ее. Мей Сансай увидел кровь на своей одежде и обрадовался. Испытание шарро научило его не пугаться крови. Разве не вышел он однажды победителем из чудовищных состязаний, где человек доказывает свое мужество, молча перенося побои?

Он стоял, расставив ноги, и засучивал штанину. Когда старик бросился на него в третий раз, Мей Сансай высоко подпрыгнул. Он хотел ударить старика ногой в голову, но промахнулся и, потеряв равновесие, покатился в кусты.

Тяжело дыша, он встал на ноги.

— Отец! Предупреждаю тебя. Ты и так близок к могиле, позволь мне не быть твоей смертью. Прошу тебя, берегись!

— Убирайся туда, откуда пришел! — тяжело дыша, выкрикнул старик.— Сейчас же уходи! Я не хочу, чтобы в моем царстве были чужие.— Он подбоченился и захохотал.— Ты думаешь, это не мое царство? Ха-ха! Все ушли отсюда. Они боятся сонной болезни. А я не боюсь! Мухи пьют мою сухую кровь и сами же дохнут!

Мей Сансай опустил штанину. Он взглянул через плечо и сказал:

— Клянусь Аллахом, я просто не знаю, что с тобой делать. Иногда мне кажется, что ты безумен. Зачем ты нападаешь на меня? Я прохожий, и мой путь лежит через твою деревню. Я не хочу отнимать у тебя твое царство.

— Нет, ты хотел! Но забудем об этом. Ради Аллаха, дай мне орешек. Я хочу есть.

Мей Сансай приподнял рубаху и из глубочайшего кармана извлек сухой сморщенный орех кола. Он отдал его своему противнику. Старик разжевал орех, состроил гримасу и облизнулся.

— Славный орешек!

Мей Сансай возился со своей раной.

— Где здесь вода?

— Вода? Вон там у ручья.

— Проводи меня.

По дороге к ручью Мей Сансай подумал о том, насколько легче подружиться с иными людьми, столкнувшись с ними в бою. Вокруг ста-

новилось все больше и больше признаков запустения. Старик заметил, с каким любопытством он смотрит по сторонам, и спросил:

— Ты разыскиваешь кого-нибудь?

— Да.

— Увы! Ты пришел слишком поздно... слишком поздно!

— Почему? Разве здесь была война?

— Нет, не война. А, пожалуй, что и война. Когда горит лес, саранча говорит «до свиданья» на бегу.

— Я не совсем понимаю...

— Тау! — старик засмеялся.— Я говорю, здесь была война. Когда рыба вылезает из воды и говорит, что у крокодила один глаз, кого видела рыба?

— Никого, кроме Аллаха,— улыбнулся Сансай, ему очень понравилась пословица. Пожалуй, старик-то забавный.

— Тут была война! Ты в своем доме, ты родился в нем, до этого твой отец родился в нем. И вот является чиновник и говорит, что этот дом плох для тебя. Дескать, в нем сидит болезнь. Он сжигает твой дом или ломает его и строит тебе другой дом, далеко, в другом краю. Тау!

Мей Сансай остановился. Левая рука у него зудела, и он осторожно поднял ее. Как он и думал, на ней сидело насекомое. В кожу впилась большая муха, крылышки ее были сложены на спине, как ножницы. Ее брюшко раздувалось и краснело от выпитой крови. Мей Сансай, дрожа, занес правую ладонь.

— Убей ее! — закричал старик.— Это муха цеце.

Старик тоже поднял ладонь и бросился к Сансаю. Но, прежде чем кто-либо из них успел ударить, муха перевернулась и упала в пыль — она так отяжелела, что не смогла улететь. Старик прыгнул на нее — казалось, он топчет слона. Он отер пот с морщинистого лба, лишь когда кровь смешалась с землей.

— Она была причиной войны! — сказал он.

— Муха?

— Это муха цеце. Она приносит сонную болезнь.

Он взял Мей Сансая за руку и повел его дальше. Ручей почти совсем пересох, так как большинство деревьев вдоль его берегов было срублено. Трава из последних сил старалась сохранить зеленый цвет.

— В этих местах,— сказал старик, усевшись на камень,— когда-то жили люди, как ты и я. Крестьяне с женами и торговцы. Они были счастливы, но их преследовала болезнь.

У Мей Сансая булькало в горле. Он прополоскал рот и выплюнул воду, а затем омыл свои сухие запыленные ноги.

— А ты, отец? Скажи мне, что ты делаешь здесь?

— Вот это вопрос! Только послушайте! Ха-ха! Он видит человека в собственном доме и еще задает ему такой вопрос... Кай!

— Но чиновники говорят, что тут никто не должен оставаться.

Старик рассмеялся.

— Что общего у рыбы с клещом? Ведь я не молод — чего же мне бояться смерти? Если болезнь захватит меня, я умру. И пусть!

— Пойдем,— сказал Мей Сансай,— пора помолиться.

Старик спустился к ручью. После омовения оба повернулись лицом к востоку, и старик доказал, что он так же набожен, как и коварен. У него был глубокий сильный голос, который он, очевидно, берег для подобных случаев, и Сансай был искренне тронут.

— Аминь,— сказал Сансай, отирая песчинки со лба и доставая четки.

Старик спросил:

— А что ты теперь собираешься делать?

— Я должен идти на юг.

— Правда? Это хорошо, клянусь Аллахом, это хорошо. Но сегодня уйти ты не можешь. Ночь уже наступает. Скоро выйдут гиены и другие дурные звери саванны.

— Ты прав.

— Не хочешь ли переночевать у меня?

Мей Сансай вспомнил, как днем старик ни с того ни с сего напал на него, и заколебался. Приглашение может оказаться новой ловушкой. Ночь может превратить бесноватого старикашку во врага. Вот и глаза у него — карие, ясные и слишком блестящие для человека его возраста; эти глаза ничего не скажут. Хитрая улыбка его загадочна. Мей Сансай смотрел на ничего не выражающее лицо и терзался сомнением.

— Так пойдем? — спросил старик.

— Веди,— набравшись решимости, выговорил Сансай.

Он взглянул на небо и увидел, что белые волокна облаков собираются, сереют, чернеют. Если дождь не пойдет сейчас же, он может начаться немного позже.

Жилище старика позабавило Мей Сансая. Это была одна из брошенных хижин, без крыши и почему-то сырая. Старик делал тщетные попытки возвести над ней крышу, однако тень давал лишь росший рядом баобаб, перед которым лежало бревно. Мей Сансай посидел там, пока старик торопливо готовил еду из теста и кислого молока.

— Где ты берешь муку? — спросил Сансай.

— Там. В Новой Чанке. Так они назвали деревню, которую построили взамен Старой Чанки, где мы сейчас и находимся.

— А это далеко отсюда?

— Нет. Лентяй, выйдя по росе на рассвете, дойдет туда прежде, чем солнце окажется над головой.

— Тау!

— Иногда я хожу туда,— сказал старик.— Только там для меня чересчур чисто. Чересчур чисто! У них даже колодец выложен цементом и рыночная площадь тоже. Кай!

— Ты мне завтра покажешь туда дорогу?

— Это несложно. Но скажи мне, ради Аллаха, неужели ты завтра покинешь меня?

— Клянусь Аллахом! Завтра я должен идти и продолжать свои поиски.

— Ты ищешь мужчину?

— Нет. Прекрасную девушку. Такую прекрасную девушку, которая была бы достойна моего сына.

— Вот как? — тихо сказал старик. Он разводил костер. Ломая прутья, он добавил: — Девушки принадлежат к той породе, которой нельзя доверять. Клянусь Аллахом!

— Чему же еще нельзя доверять?

— Султану, реке, ножу и ночи. Султану — потому, что его слово изменчиво, как погода; реке — потому, что утром ты легко переходишь ее вброд, а вечером она вздувается и может поглотить тебя. Ножу — потому, что он не знает, кто носит его. Ночи, ха! Кто знает, что таится во тьме? Вероятно, все дурное.

— Как бы то ни было, отец, когда настанет день, мое путешествие продолжится. Я должен позаботиться о мальчике.

Вскоре еда была готова: сладкий картофель, жареные земляные орехи. Как подобает фулани, Сансай не ел того, что может есть скот: пастухи не объедают коров и быков. Старик сетовал, что кладовая его пуста. Сначала они поели теста в кислом молоке, затем насладились сладким картофелем. Когда стемнело, оба почувствовали себя такими

усталыми, что без лишних слов отправились спать. Мей Сансай лежал на циновке и наблюдал, как суетится старик. Воистину, бесноватый. Не задумываясь, нападает на тебя и тут же делается другом. Вот только останется ли он другом до утра?

Глава VII

Мей Сансай пробыл в деревне целую неделю. Он действительно подружился со стариком, их дружбу питали странные открытия, которые они постоянно совершали среди развалин. Как мальчишки, они целыми днями бродили по Старой Чанке, а вечерами сидели у костра и беседовали.

Однажды утром Мей Сансай спустился к ручью, промыл ледяной водой глаза, омыл ноги и вернулся к хижине старика. Старик ощипывал только что подстреленную куропатку.

— Отец, пора мне поблагодарить тебя за гостеприимство. Да благословит тебя Аллах и да осыпет тебя щедротами в твоей деревне. Я же должен уходить.

— Нет, Мей Сансай! Я слишком полюбил тебя.

— Такова жизнь — не успеешь встретиться, и уже надо расставаться.

— Это верно. Только расставаться всегда невесело.

— Я хочу пуститься в путь, потому что в сердце моем тревога. Видит Аллах, я был счастлив здесь, но как могу я отказаться от своих поисков? Ты знаешь, как это бывает, когда отец любит сына так, как я люблю Рикку?

— Знаю ли я! О Аллах! У меня был любимый сын. Но он был своеволен и в один прекрасный день ушел на войну белых людей. Он сказал, что вернется, но я его с тех пор не видел.

— Храбрый мальчик!

— Храбрый! Ха, безумный! Когда белые пришли в эту деревню, она процветала и была полна людей. Вот какова была Старая Чанка! Солдаты играли музыку и показывали нам свои винтовки. Им нужны были добровольцы на войну белых. Они обещали всякие блага. Бесплатная еда, красивая форма. Бесплатный проезд в далекие земли за морем. Клянусь тебе, дорогой мой друг, что, будь я юношей, ничто не удержало бы и меня. Это как безумие! Но увы, тело мое уже утратило гибкость, и они все равно не взяли бы меня. А мой сын Шеху ушел с ними и до сих пор не вернулся.

Слезы стояли в глазах старика.

— Аллах снизойдет к тебе,— сказал Сансай, ударив себя в грудь.— Столько людей погибло и столько вернулось. Нельзя быть ни в чем уверенным.

— Да смилостивится над ним Аллах!

— Аминь!

Они помолчали минуту. Сансай поднял глаза и взглянул прямо в лицо старику.

— Я ухожу!

Они пожали друг другу руки.

Мей Сансай не медля пустился в путь и добрался до Новой Чанки вскоре после полудня. Эта деревня была совсем не похожа на оставшуюся позади Старую Чанку. Вокруг нее не было стены. Дома стояли правильными рядами, и в каждом дворе росли молоденькие манговые и апельсиновые деревья. Ни одного баобаба. Волнение охватило Сансая, и он заспешил к деревне. Мальчишки и девчонки, плескавшиеся в воде у колодцев, не обратили на него никакого внимания.

Подойдя к крайнему дому, он увидел мужчину, который подстегивал лошадь, ходившую по кругу. Лошадь приводила в движение грубый ворот, а мужчина понукал ее. Сансай не мог разобрать, над чем трудятся человек и лошадь, но подумал, что мужчина, быть может, наведет его на искомый след.

— Мир тебе! — крикнул он.

Мужчина обернулся. Лошадь, продолжавшая шагать по кругу, чуть не сбила его с ног. Он натянул поводья и остановил ее.

— Добрый день тебе!

Сансай увидел, что брови мужчины внезапно поднялись. Что-то живое блеснуло на потном лице. Сам Сансай ощутил прилив необыкновенных чувств. В горле у него вдруг пересохло, словно он не пил много недель. Он сделал два-три шага и резко остановился.

— Одио, сын мой! — Он всплеснул руками.— Возможно ли это?

— Отец!

— Обними меня! Обними меня!

Юноша бросился к нему и так стиснул отца в объятиях, что старик застонал от боли.

— Видит Аллах,— сказал Мей Сансай,— если бы мне надо было разыскать всех моих сыновей, а не Фатиме...

Руки Одио безвольно упали. Старик испытующе взглянул ему в лицо:

— Что случилось, сын мой?

— Ничего.

— Я вижу, ты что-то скрываешь от меня.

Одио молчал. Отец ощутил острую боль, острее, чем удар ножа.

— Так ты не рад, что я пришел?

— Что ты, отец, не в том дело. Здорова ли мать?

— Твоя мать? Гм... Да-да.

— Почему ты так отвечаешь? — спросил Одио.— Если она больна, скажи мне прямо. Ты ведь поэтому пришел?

— Она здорова,— сказал Сансай.— Клянусь тебе.

— Я делаю сахар,— сказал Одио, подводя отца к мельнице.— Здесь, в Новой Чанке, каждый может научиться делать сахар. Нужно только немного денег, чтобы купить все необходимое. Этим нас хотят приучить к новой деревне. Вот эта мельница стоит двадцать пять фунтов. Она дробит сахарный тростник, и из него вытекает сок.

— Как ты это делаешь? — спросил восхищенный Сансай.

Одио гордо улыбнулся.

— Отойди немного, я покажу тебе.

Он подстегнул лошадь, и Мей Сансай увидел, что она соединена с воротом хитроумной упряжью. В мельницу с одной стороны подавался сахарный тростник, а лошадь ходила по кругу, приводя мельницу в движение, и оттуда с другой стороны в жестяной чан стекала светлая пенящаяся жидкость.

— Лах! — в восторге воскликнул Сансай.

— Скоро я разведу огонь,— с гордостью объяснял Одио,— и буду варить сок, пока он не затвердеет. О Аллах! Кажется, пора кончать.

Он остановил лошадь, распряг ее и пустил пастись. Затем развел костер и, поставив сок на огонь, заговорил о домашних.

— Рикку? — повторил Сансай.— Я оставил его с матерью и Лейбе в Докан Торо. Лейбе стала совсем взрослой! Но Джалла! Он преуспел больше всех вас. У него одного тысяча голов скота. Я был у него.

— Тысяча голов!

— Да, Одио. Он не такой, как ты. Джалла терпелив и дождался своего счастья.

— Кстати, он не говорил тебе об Амине?

— Кто такая Амина?

— Так ты не знаешь! — Одио облегченно вздохнул. У него отлегло от души. — Амина — это девушка, в которую влюбился Джалла. Но... я отбил ее у него, и мы бежали сюда.

— Как ты мог это сделать! У родного брата!

— Но, отец, я поступил по закону. Всем известно, что девушка не жена тебе, пока ты не ввел ее в дом. А я похитил Амину до того, как она стала невестой. Так что по закону она моя!

— А Фатиме, рабыня, с которой ты убежал от нас? Где она? Что с ней стало?

Одио взглянул на отца. Лицо его исказилось, он резко повернулся к костру и начал раздувать огонь кожаными мехами. Потом он выпрямился и, не сводя глаз с пламени, сказал:

— Скоро закипит.

— И что же дальше?

Мей Сансай придвинулся поближе и окунул палец в чан. Он облизал палец, затем облизал свои тонкие губы и несколько мгновений смотрел на Одио. Перед ним стоял мускулистый юноша с ногами, стройными и сильными, как у антилопы.

— Совсем как сахарный тростник.

Одио засмеялся.

— Это и есть сахарный тростник! Что же еще? Ты же видел тростник полчаса назад. А это сок, выжатый из тростника.

— Но как из этого сделать сахар, который бы таял в кипятке?

— Это просто. Когда огонь разгорится как следует, сок начнет густеть. Он будет густеть и густеть и в конце концов станет как тесто, тогда я разолью его по формам. Когда он застынет, сахар готов.

Мей Сансай понимающе кивнул.

— Наконец-то ты выучился полезному ремеслу, теперь твое бесподство пройдет. Давно ли ты занимаешься этим?

— С тех пор как ушел из дому. Сначала, конечно, я был слишком счастлив с Фатиме, чтоб думать о работе. Лишь после драки...

— Так ты действительно хотел что-то скрыть от меня! Ты подрался с Фатиме, и она...

— Не с ней, нет! Аллах упаси от этого! — глаза его сверкнули.— Ее прежний владелец с двумя негодяями приходил за ней. Они одолели меня и увели Фатиме. Смотри! — он задрал штанину.— Видишь? До сих пор не зажила, ногу согнуть не могу. Это все Шеху. Негодяй!

— Ты сказал — Шеху?

— Да, Шеху. Отчего ты так теребишь бороду? Ты помнишь его? Конечно помнишь! Помнишь день, когда Фатиме прибежала к нам? За ней гнался его слуга. О да, тогда это был не Шеху, а только слуга. Когда мы купили Фатиме за пять коров, Шеху там не было. Да что говорить! Потом мне рассказали об этой деревне, Новой Чанке. Белые люди и врачи выгоняли жителей из Старой Чанки в Новую Чанку. А все из-за мухи, которая приносит сонную болезнь. И я пришел сюда со всеми. Потом я прослышал об этой мельнице, и мне помогли купить ее. Я выплачиваю деньги из выручки каждый месяц. Когда-нибудь я полностью расквитаюсь с долгом и мельница будет совсем моя. Тогда я смогу жить, как настоящий горожанин.

Сансай неодобрительно покачал головой.

— И ты из-за этого покинул стада? Ты, которого я с детства воспитывал среди стад...

Одио засмеялся.

— После всех тех неприятностей, что я причинил Рикку и Джалле, у меня нет другого выхода.

Он разлил загустевший сироп в формы и поставил их в печь.

— Завтра будет готов. Я достану лошадь, и мы поедем в Докан Торо. Ну и здорово же я устал!

Дом Одио стоял на краю поселка. Подобно другим жилищам, это была глинобитная хижина, красиво покрытая соломой и выбеленная известью.

Одио поднял циновку над входом.

— У нас тут ришта не водится,— заметил он, когда Сансай, нагнувшись, входил в дом. Внутри было темно, пока Одио не открыл окна.— И мухи, что приносят болезнь, тут пока еще никого не кусали. Это потому, что врачи вырубили все густые деревья вокруг Новой Чанки. В этом селении даже есть место, куда человек с сонной болезнью может пойти полечиться.

— Здесь слишком чисто,— проворчал Сансай. Он смотрел в окно на правильные ряды домов, стоявших в некотором удалении друг от друга. В каждом дворе было одинаковое число манговых и апельсиновых деревьев. Он понял теперь, что имел в виду старик, когда сказал, что не может вынести этой медицинской чистоты.— Даже навозом не пахнет. Совсем как в больнице. Чтобы понравиться настоящему фулани, селение должно пахнуть навозом.

Одио засмеялся. Мей Сансай опустился на леопардовую шкуру, лежавшую на полу. Глаза его блуждали. Ему казалось, что он попал в какой-то иной мир. Одио ходил вокруг, как чужой. Трудно было представить себе, что этот стройный мускулистый юноша, живущий в таком современном поселке, его родной сын.

— Моя жена Амина еще не вернулась. Она пошла в соседний город продавать сахар и молоко.

Мей Сансай заметил у стены груду арабских книг в кожаных переплетах. Он улыбнулся. Наконец-то Одио обращает помыслы к вере и праведной жизни.

Он протянул руку и, взяв одну книгу, стал с интересом просматривать ее. Жилка задрожала на виске. Буквы зашатались и запрыгали перед глазами. Он приложил ладонь ко лбу и почувствовал, что голова очень горячая. Да и все тело в огне. Он вспомнил, что его недавно укусила муха, и испугался. Неужели это начинается сонная болезнь?

Не прошло и часа, а он уже лежал на спине, укутанный самыми теплыми одеялами. Его бил озноб, он впадал в забытье и даже почти не чувствовал запаха масла бассии, которым растирал его Одио.

— Одио, Одио, я умираю...

— Да смилостивится над тобой Аллах. Ты не можешь умереть в моем доме.

— Аминь! Аминь!

Мей Сансай услышал ласковые слова, которые произносил над ним тихий нежный голос.

— Это моя жена Амина,— пояснил Одио.— Ты чересчур устал за время скитаний. Лежи и ни о чем не беспокойся. Ты уже не молод.

— Я знаю. Это старость. Мое время кончилось.

Одио подал ему отвар, и он с жадностью выпил его. Когда он проснулся, Одио уже не было. Сансай видел страшный сон. Ночь была свежа и так тиха, что он явственно различил стрекот цикад. Амина сказала ему. что Одио ушел из Новой Чанки и отправился в погоню за Шеху. Человек, похитивший у него Фатиме, вдруг появился в деревне.

— Когда он вернется?

— Я не знаю, отец моего мужа.

— Как все это глупо! А если они заманят его в засаду? О Аллах! Молю тебя, Аллах! Дай ему трезвость мысли. Пусть он возвратится домой.— Его губы шевелились, произнося молитву, но вскоре голова его поникла, и комната наполнилась храпом.

Глава VIII

Гнев Одио разрастался, и он гнал коня все быстрее и быстрее. Он колотил его пятками по бокам, проклинал его и жестоко хлестал тростью. Он припал к гриве, и глаза его метали молнии, впиваясь в тени и прогалины между кустами.

В кустарнике не было никого, и по пути Одио видел лишь двух-трех крестьян на окраинных росчистях. Не выпуская мотыги из рук, они поднимали глаза и искоса наблюдали за всадником. Порой ему казалось, что он видит в чаще человека, но это только так казалось. Трава колыхалась под ветром, мелкие узловатые деревца темнели в полях.

Следуя за изгибами тропы, конь метался из стороны в сторону. Шеху и его люди намного опередили его. При такой скорости наверняка он никогда их не догонит. Газель перебежала дорогу. В другое время это могло бы сулить удачную охоту, но не сейчас.

Он был уже довольно далеко от окрестностей Новой Чанки, и вокруг была дикая саванна. С обеих сторон теснились безлиственные деревья, скрывая местность от глаз. Следы на тропе умножались, их было миллионы: четкие оттиски четырех когтей перед мягким отпечатком подушечки, звездочки птичьих лап на округлых следах гиены.

Он придержал коня. На огромной скале впереди следов не найдешь. Но угроза надвигалась. Почти физически он ощутил ее присутствие. Он спрыгнул с коня и вскарабкался на скалу. Весь край лежал перед ним. Тропа здесь кончалась намертво. Но где-то за этой скалой должна начинаться другая тропа. Может быть, ее долго искать, может быть, слишком долго.

Он все же решил искать. Обернулся. Как молнии, стрелы прожужжали над ухом. Он бросился наземь. Конь его устремился прочь с жалобным ржанием. Он видел в его боку оперенья по меньшей мере трех стрел. Конь его скоро погибнет от яда в железных наконечниках.

Он взглянул вниз и увидел у подножия скалы трех человек, которые карабкались к нему наверх. Самый большой из них был Шеху — тот, кого он догонял. Шеху, хозяин девушки Фатиме, внесшей раздор в семью Сансая.

Одио выхватил нож из-под ремня, стягивавшего предплечье. Теперь ему показалось, что что-то подходит к концу, очень быстро подходит к концу. Люди карабкались на скалу, и мечи их звенели о камни. Итак, оружием будут мечи. Он вытащил меч. Он стоял один на голой вершине скалы и ждал, в одной руке нож, в другой — меч. А где-то вдали, не видимая глазу, была Новая Чанка и в ней Амина. Он похитил Амину, а теперь готов был отдать жизнь за Фатиме. Он знал, что против троих ему не устоять. Но он дорого отдаст свою жизнь!

Он слышал смех Шеху: «Ха-ха-ха!» Хриплый довольный смех, говорящий о многих кружках ячменного пива.

Он почувствовал, как по спине пробежал холодок беспомощности. Ведь он далеко от дома, один, окруженный врагами.

— Мы не станем его убивать — пока что! — сказал один из них.

Шеху не вынимал меча, слегка задыхаясь, он остановился вдали от Одио. Не торопясь, достал лук и тщательно выбрал остроконечную стрелу. Одио отчетливо видел его руки — большие, очень черные, сильные. Лоснящиеся усы и козлиная бородка придавали неумолимую жестокость его и без того зловещему лицу.

— Грязный вор! — завопил Шеху.— Ты подохнешь медленной смертью вора!

Одио был полон ярости, как загнанный зверь. Он видел, что кольцо вокруг него смыкается, чувствовал свою полную беспомощность.

— Ты до сих пор не внял моему предупреждению,— продолжал Шеху.— Таких идиотов, как ты, надо четвертовать и бросать стервятникам. Нет, гиенам! Тебе мало, что я посылал рабов избить тебя!

— Пустая болтовня! — нетерпеливо прервал его Одио.— Слушай! Я Одио, сын Сансая из скотоводов фулани. Мой отец насылает на врагов слепоту. Йе-у! — И издав этот крик, он отскочил назад. Из кармана он выхватил талисман — черную кошачью шкурку — и высоко поднял его. Это был бадугу, известный по всей саванне Творец Слепоты. Одио бросил его на скалу между собой и врагами.— Кто пройдет мимо, упадет в колодец. Вай! Как ты смеешь сравнивать свои мускулы с магией скотовода фулани, сына Сансая, знаменитого чародея? Иди сюда и прими смерть!

Трое нападавших озадаченно переглянулись. Слова Одио не были пустой похвальбой. Вся северная Нигерия знает силу волшебства фулани. Они на стоянках не строят ограды, но магия их сильна, и лев не задирает у них ни коровы. Волшебством и прорицаниями познали они тайны жизни и смерти.

— Хватайте его, идиоты! — кричал Шеху, невзирая на угрозу.

Одио презрительно рассмеялся.

— Идите в колодец, темнота запечатает ваши глаза и лишит вас чувств. Ай! Я Одио, сын Сансая. Мы фулани, сыновья Дан Фодио, хитроумные колдуны, мы деремся, как львы, мы умираем сто раз и продолжаем жить, мы испытываем свое мужество при помощи шарро...

— Собаки, вы еще слушаете этот бред? — ревел Шеху.

Один из его людей бросился было на Одио. он, казалось, набрался решимости и вдруг замер. Язык его вывалился наружу, глаза бессмысленно вращались. Одио полоснул его клинком по спине. Другой слуга повернулся и побежал.

На месте остался один Шеху.

— Ты трус и поэтому воюешь при помощи колдовства. Давай честно померяемся силами, и я проучу тебя!

Одио поднял с земли кошачью шкурку, Творца Слепоты, и сжал ее в левой руке. Схватка была краткой и шумной. Стучали мечи. Одио почувствовал укол в бедро, раскрывший старую рану. Он нанес ответный удар и поразил Шеху в предплечье.

— Пойдем! — кричали слуги.

— Сперва я убью его! — крикнул в ответ распалившийся Шеху.

Но Одио, не переставая, напевал заклинания и напряженно глядел в глаза Шеху. И Шеху стал слабеть. Одио погнал его вниз по склону; Шеху вдруг повернулся и побежал к ожидавшей его лошади. Послышался стук подков, и, покинув укрытие, лошади со всадниками вырвались на простор.

Оставшись один, Одио направился к своему коню. Он был мертв. Одио отрезал хвост, снял седло и, пробормотав молитву, двинулся в обратный путь.

Когда Одио добрался до Новой Чанки, он увидел, что Амина сидит перед домом и ждет его. Она бросилась к нему и взяла седло.

— Добро пожаловать, Одио! Ты здоров? Ты сражался? Мы так беспокоились о тебе. Твой отец хотел уже пойти по твоим следам.

— Я совершенно здоров. Как отец? Ему лучше?

Он поднял циновку над входом и вошел в дом. Отец сидел, прислонясь к стене, и на губах его играла слабая улыбка.

— Добро пожаловать, сын!

— Аллах помогает нам. О дьяволы! С помощью Аллаха я как-нибудь встречусь с Шеху один на один. Их было трое. Но я показал им! Йе-у! Отец не зря подарил мне бадугу! — Он увидел гордую улыбку на

лице отца.— Да, да, он еще узнает, что такое встреча со скотоводом фулани.

Но Одио видел, что отец и жена больше радуются его благополучному возвращению, нежели рассказу о схватке с Шеху. Он быстро умылся и поужинал, а когда Амина удалилась, отец и сын стали беседовать.

— Терпеливый узнает, что таится в траве,— говорил Одио.— Я думаю остаться в Новой Чанке и варить сахар. Года через два-три я чего-нибудь добьюсь. Да!

Он говорил по-настоящему увлеченно и заметил в глазах отца удивление и радость.

— Когда бы тебе ни понадобилась моя помощь, посылай за мной,— сказал Одио отцу.— Я твой сын, и я к твоим услугам.

— Вся помощь от неба,— сказал Сансай.— Я запомню твои слова.

Назавтра был базарный день. Когда Одио и Амина утром уходили на базар, Сансай спал на циновке. А когда они вечером вернулись с базара, старика в доме не было, и никто не знал, куда он ушел.

Глава IX

Ночь спустилась над становищем Джаллы, и вместе с ней пришло уныние, ибо Джалла решил сняться с места и идти на юг, к Малендо. Шайту и Лейбе отяжелевшими от усталости руками сбивали у хижины кислое молоко, напряженно прислушиваясь к разговору Джаллы и Рикку.

— Мы разделим стадо на две части,— говорил Джалла. Это был старый способ обмануть сборщиков налога, которые могут подстерегать в пути.— Ты, Рикку, пойдешь с частью скота в лагерь Лигу. Я дам тебе в помощники хорошего человека.

Джалла взглянул на мать и сказал:

— Шайту, ты с Лейбе и малышом пойдешь со мной. Мы пойдем к Малендо, где золотые прииски. Это двадцать дней пути. Там мы будем до тех пор, пока не пересохнет трава. Если все пойдет хорошо, Рикку там нас и разыщет.

— С помощью Аллаха все будет хорошо,— сказала Шайту.— Но, Джалла, найдем ли мы Мей Сансая?

— Клянусь Аллахом, мать. Ты рассуждаешь, как дитя. Если Аллаху угодно, мы встретим его. Если нет, нам придется ждать, пока он сам не вернется к нам. Он же не потерян для нас!

— Так ты не веришь, что он болен сокуго?

— Я не знаю, чему верить. Но только когда мы разыщем его, давай тотчас же отведем его к тому, кто может разрушить чары и вернуть его в семью.

— Как ужасно, что все эти беды начались из-за меня! — проговорил Рикку.

Разговор прекратился. Джалла встал и ушел во тьму посмотреть на скот. Рикку последовал за ним, они остановились и долго говорили о стаде, которое он поведет в лагерь Лигу. Лагерь Лигу был в Контаго близ границы, в пяти днях пути от Малендо, куда направлялся сам Джалла.

— Этот перегон покажет, что ты взрослый мужчина, брат мой.

— Да поможет мне Аллах.

— Бельмуна очень хороший человек и к тому же такой занятный! — сказал Джалла.— Это охотник с отважным сердцем, он смел, как дьявол. В пути ты оценишь его.

— Когда мы выходим?

— С рассветом.

Рикку вернулся к хижинам. Он сел у костра и стал слушать голоса ночи. Постепенно настала полная тишина, и он задремал у мерцавших угольков.

■

Они находились в пути целых три дня, и Рикку стер себе ноги в кровь. Бельмуна же был свеж, как в первый день путешествия, и даже сейчас притаился за камнем и целился во что-то, не видимое Рикку. Лук его был натянут до отказа, и напряженные мышцы блестели.

Рикку тихонько на цыпочках подкрался к нему и присел в тот самый момент, когда стрела со свистом унеслась вдаль. И все же его нетренированный глаз ничего не различал.

— Кай! — воскликнул охотник.

Одним прыжком он выскочил из укрытия и исчез за холмом. Рикку вскочил и стал смотреть ему вслед. Чаща скрыла Бельмуну из глаз, когда же он появился вновь, на его широких плечах лежала небольшая антилопа; от улыбки морщины на его лице стали еще глубже.

— Это нам на ужин,— сказал он.

Рикку погладил антилопу.

— Ты и в самом деле великий охотник. Но послушай, Бельмуна, ты же сам принес весть о сборщиках налога. Как можно тратить время на еду, когда нам надо бежать?

— Мой маленький хозяин, ты сам знаешь, что сегодня пускаться в путь уже поздно.

Он положил антилопу на камень и, быстро отерев свой охотничий нож, отрезал лучшие куски мяса, остальное осталось на камне.

— Хорошо! Теперь за работу!

Хотя они были в пути уже три дня, загон для скота они строили впервые и закончили работу лишь в сумерки. Начался мелкий дождик. Он сменился упорным ливнем с раскатами грома и порывами ветра, которые грозили снести с лица земли шаткую походную хижину. Рикку и Бельмуна, надев соломенные плащи, пошли к загону проверить, надежно ли устроены на ночь зебу.

Ливень упорно бился о землю. Рикку и Бельмуна притаились у стен загона и стали во тьме наблюдать за скотом.

— Клянусь Аллахом, это будет счастливейший день, когда я передам стадо хозяину. Кай! Так рисковать жизнью. Ночью не спишь, днем со всех сторон опасности!

Чтобы скоротать время, Рикку стал рассказывать Бельмуне о Фатиме и о том, как Одио убежал с ней. Он рассказал и о том, как отец отправился на поиски девушки.

— Отец думает, что мне нужна Фатиме. Но она не нужна мне, честное слово.

Бельмуна рассмеялся.

— Отец! Аллах, сохрани его жизнь! — продолжал Рикку.— Я буду счастлив, если мне доведется снова увидеть его лицо.

— Ты думаешь, мы когда-нибудь пересечем его путь? Я тебе говорю, твой отец пропал. Он погнался за птицей. А это конец! — Наступило молчание, потом Бельмуна спросил: — Скажи, Рикку, почему ты решил идти со мной?

— Оттого, что мне нравится твой характер. К тому же ты сильный, смелый, предприимчивый. Ты знаешь нрав гиены и леопарда. Ты сам как дикий зверь.

Бельмуна запрокинул голову и расхохотался, держась за бока. Он хохотал до икоты.

— Я дикий зверь, ха-ха-ха! Послушайте его! Я дикий зверь! О Аллах! Как он меня рассмешил! Хвала Аллаху!

Они долго еще говорили в ночи, и Рикку первым закрыл глаза и уснул.

■

Внезапный раскат грома разбудил его. Глаза ослепила огромная кривая молния, взметнувшаяся над саванной, и на миг Рикку увидел за загородкой горбы зебу и их прямые отвесные рога.

— Помоги нам, Аллах! — пробормотал он.

До рассвета было еще далеко, от дождя становилось не по себе, и он позвал старого охотника:

— Бельмуна! Бельмуна! Ты где?

Никто не ответил. Снова вспыхнула молния, и он увидел две притаившиеся фигуры. Это были люди. Проблеск света упал на их темные лица и обрисовал их. Сердце у Рикку замерло. Двое крались под дождем, что-то шептали и делали друг другу знаки руками, и Рикку понял, что это воры.

Молния сверкнула опять, и Рикку явственнее разглядел их. Они перерезали путы скоту.

— Разбойники! — закричал Рикку.— Воры! Бельмуна! Бельмуна, где ты?

Он услышал топот убегавших ног. Тошнота подступила к горлу Рикку от внезапно пришедшей в голову мысли. А что, если они подстерегли и убили Бельмуну? Разбойники могли прийти сюда задолго до того, как он проснулся. Его мучила совесть: как мог он заснуть? Неужели он забыл, что сделали воры со стадом отца?

— Рикку! — донесся голос из темноты.— Иди сюда. Скорее!

Это был Бельмуна.

Рикку схватил лук и стрелы.

— Бельмуна!

И Бельмуна ответил:

— Да! Я здесь!

Рикку обнаружил Бельмуну в кусте боярышника — он упал и затаился в колючках. Рикку постарался как можно осторожнее освободить его.

— Я... я думаю, что убил одного из них, впрочем, я не вполне уверен...— рассказывал охотник.— Я преследовал его и послал ему вдогонку стрелу. Утром увидим. Спасибо. Теперь я свободен. Пойдем. Пойдем посмотрим.— Он двинулся первым.— Вот здесь я перерезал им путь. Ты тогда спал. Здесь, у ручья. Когда рассветет, мы соберем весь скот.

— Кай, Бельмуна. Ты настоящий мужчина!

— Мужчин создает Аллах,— ответил охотник.— Когда тебе будет столько лет, сколько мне, ты будешь еще храбрее меня. Ты будешь отстаивать свои права и защищать свое имущество. Пойдем.

Рикку ликовал. Он шел следом за Бельмуной. В такой тьме оставалось только ждать. Дождь не прекращался.

■

Они отдыхали два дня. На третий день в серый рассветный час Бельмуна стал выгонять стадо. Он кричал по-петушиному и хлестал коров и быков палкой. Слышались могучие удары сшибающихся тел, рогов. Скот разбредался в тысячах разных направлений.

Рикку бегал вокруг стада, пытаясь собрать его, бранился и старался пустить в ход все приемы, которым его обучал отец. Это было хлопотливое занятие. Рикку иногда хотелось сесть на землю и заплакать.

— Тау! — подбадривал его Бельмуна.— Так, так, мальчик! Скоро

мы будем в пути. А вот и солнце, оно уже на небе. Аллах разбудил нас всех. Скоро мы будем в пути.

Он не дал Рикку пасть духом, и стадо двинулось вперед хорошим размеренным шагом, лишь изредка из рядов выходил бык или корова ущипнуть пучок сочной травы или молодых листьев.

Рикку шел сзади, он то и дело останавливался и опирался на свою палку. В глазах у него рябило. Он не выспался, зевал, тело ломило. Но старый охотник был хладнокровен, как всегда, его морщинистое лицо сияло, желтые глаза искрились весельем.

Он первым увидел вдали людей, стоявших у них на пути.

— Это сборщики налога. Они выследили нас.

Рикку приставил к глазам ладонь. Там было трое, они походили на чиновников.

— Что делать, Бельмуна?

Бельмуна прищурился.

— Мы сыграем с ними шутку. Вай! Они выследили нас, но мы сыграем с ними шутку.

Все мускулы его напряглись.

— Знаешь, Рикку, стадо у меня побежит. Ха! А как можно сосчитать бегущий скот? А? Они нас выследили, но мы им покажем!

Рикку с тревогой смотрел на приближавшихся людей. Двое из них показались ему смутно знакомыми.

— Бельмуна! — он прикрыл себе рот ладонью.— Бельмуна, ты узнаешь этих двоих?

— Я их не знаю, клянусь Аллахом.

— Это же ночные воры! Они хотели ограбить нас, а когда это не удалось, отправились к сборщикам налога.

— Гнусные крысы! Теперь молчи, они подходят. Улыбайся. Будь с ними любезен.— Он положил руку на плечо Рикку.— Я погоню скот. Слушай. Ты знаешь лощину возле тех скал, где мы проходили вчера? Встретимся там.

Рикку взглянул чиновнику в лицо.

— Добро пожаловать! — Он улыбнулся.— Санну.

Чиновник кивнул. У него был усталый вид. Рикку и доносчики обменялись ненавидящими взглядами.

— Твое имя? — спросил сборщик налогов.

Один из ночных воров услужливо выступил вперед:

— Он спрашивает, как твое имя!

— Мое имя? — переспросил Рикку.

— Твое имя!

— Рик-ку Сан-сай!

Чиновник записал. Не поднимая головы, он спросил:

— Это твой скот?

— Этот скот? Мой.— Он подмигнул Бельмуне, чтобы тот не отходил.

— А ты не слишком молод для такого большого стада?

— Оно мое.— Рикку взглянул на воров.— Я не украл его. У нас в племени, когда человек женится, отец дарит ему скот...

— Ты женат?

Рикку улыбнулся. Он должен выиграть как можно больше времени. Краешком глаза он видел, что Бельмуна уже перепоясывается.

— Моя жена в деревне.

Воры переглянулись, а чиновник снял красную феску и почесал голову. Рикку заметил, что он шевелит губами. Считает скот.

— Сколько голов? — спросил он.

— Тебе придется считать самому. Я точно не знаю. Прошлой ночью приходили воры. Не знаю, сколько они украли.

Он говорил это, глядя прямо на доносчиков, которые немедленно занялись подсчетом.

— Стадо начинается с двадцати голов, они плодятся и размножаются или болеют чумой и все околевают. Как тут точно узнать, сколько их?

— Это верно,— сказал чиновник. Он закрыл записную книжку и заорал на доносчиков: — А ну считайте!

Рикку сделал знак Бельмуне. И оба тотчас гортанно заговорили. Точно волна прошла по стаду. Зебу забеспокоились.

— Пора, Рикку.

Чиновник сделал шаг вперед.

— Удержи их! Они разбредаются...

— Спокойнее, господин мой,— сказал с улыбкой Рикку.— Зебу легко напугать. Они не любят чужих.

— Берегитесь! — закричал один из воров. И длиннорогий бык сбил его с ног.

Рикку пять раз ударил пальцами по своей палке, никто, кроме Бельмуны, не обратил на это внимания. Это был условный знак. Стадо пришло в движение. Коровы и быки заметались.

Чиновник отскочил в сторону: скот с топотом понесся по саванне.

Рикку бранился, а на лице его играла ехидная усмешка. Он смотрел на мчащееся стадо, на испуганное лицо чиновника, драгоценные подсчеты которого унеслись, как ветер.

— До следующего раза! — Рикку помахал палкой и ринулся вниз по холму в направлении, противоположном тому, в котором исчезло стадо.

Отбежав достаточно далеко, Рикку устремился назад по своим следам, он быстро шел пересохшим руслом и по временам останавливался, чтобы убедиться, что за ним не гонятся. Но преследователей не было видно. Если они решили идти за стадом, то зря теряют время. Он уже выучил своих зебу разбегаться в разных направлениях и потом собираться в одном месте.

Он добрался до нужной лощины ровно в полдень. Солнце стояло прямо над головой, и было очень жарко. В воздухе жужжали мухи цеце. Он прилег за деревом и стал считать коров и быков, возвращавшихся поодиночке.

Бельмуна не появлялся. Рикку не знал, что старый доброжелательный охотник погиб. В нескольких ярдах от того места, где чиновник допрашивал Рикку, лежало двое убитых. Один из них был грабитель. Другой — Бельмуна. Быки забодали их насмерть.

Глава X

Мей Сансай нехотя покидал Новую Чанку, но он прекрасно понимал, что, задержись он подольше, Одио вообще не отпустит его. Воздух был свеж, душист и прохладен. Мей Сансай шагал и шагал, но никого не встретил, и никто не видел, куда он ушел под дождем.

Гиена, крадучись, перешла ему дорогу, и он знал, что она слишком поздно возвращается с ночных безобразий в свое логовище между скал. Природа еще спала. Дождь перестал, и на сером востоке появились алые волокна.

В саванне стали попадаться люди, главным образом торговцы и крестьяне с осликами, навьюченными сахарным тростником. В деревьях начали перекликаться птицы. Он увидел черноносую кукушку с бурыми крыльями — она сидела на дальнем дереве и куковала. Он вспомнил о Джалле и подумал, что больше всего на свете хотел бы встретить стар-

шего сына. Он вспомнил о Рикку и подумал, что тот, должно быть, далеко ушел по дороге к пограничному краю.

Был полдень, когда Мей Сансай вышел к ручью. Он видел в траве следы недавних буйств воды, разлившейся после дождей. Но сейчас ручей был по щиколотку. Два-три ослика лежали на песке, в то время как их владельцы поливали себе из чайников ноги, готовясь к полуденной молитве.

Мей Сансай присоединился к ним. Он видел их впервые, но в облике Сансая было что-то такое, отчего они попросили его начать молитву. Когда моленье окончилось, к нему подошел мужчина, одетый в лохмотья.

— Далеко ли ты направляешься?

— Я разыскиваю своего сына Джаллу.

— Джаллу с тысячеголовым стадом?

— Так ты знаешь его?

— Только чужеземец может не знать Джаллу. Он всегда кочует. Он приходит и уходит, как времена года.— Человек в лохмотьях задумался.— Клянусь Аллахом, я не хочу обманывать тебя.— Он медленно перебирал четки.— Мне говорили, что сейчас он идет на юг, к берегам великой реки. Ты же знаешь, когда у нас начинают выжигать траву, для пастухов наступает пора отгонять стада на юг. Они ищут зеленую траву...

— Я слыхал об этой реке,— сказал Сансай.

Он отер песчинки со лба и пустился в путь, стараясь не упускать из виду похожие на сети следы стад, прошедших на юг. Он знал все большие дороги и когда-то ходил по одной из них на юг, к великой реке.

Сменялись дни, а он шел и шел. Лишь через неделю добрался он до становища какого-то пастуха. Это был пожилой человек, окруженный множеством собак. У него было двое детей — мальчик и девочка. Как-жется, он был также счастливым обладателем множества телят. В его загоне всегда горело два костра, но несмотря на это мухи кусали скот даже ночью.

Мей Сансай прожил у него три дня, и они беседовали о великой реке.

— Ты рассказываешь о великой южной реке,— говорил Сансай.— А ты сам когда-нибудь выгонял скот на ее берега?

— Ай! А откуда же я сейчас иду?

— Ты мне этого не говорил.

— Я был там двадцать дней. Я разбил лагерь под баобабом — это последнее большое дерево перед деревней. Белые в этой части течения ищут золото.

Мальчишка выбежал из хижины и помчался в загон. Он похлопывал коров по бокам, а иных успевал даже потрепать по морде.

— Мой сын встал сегодня рано,— заметил хозяин.

Мальчишка подбежал к ним.

— Мать говорит, что пора есть.— Он улыбнулся.

— Мне? — в один голос спросили гость и хозяин.

— Вам обоим.

— Я еще не кончил работу,— сказал скотовод.— Иди первым, Сансай. Я приду через минуту.

Сансай подошел к хижине и увидел ритмично подрагивавшие плечи жены хозяина: она сбивала масло. Мей Сансай тут же вспомнил свою жену Шайту и дочь Лейбе. Где-то они сейчас? И так сильно было в нем чувство вины, что он смотрел в упор на иссиня-черные волосы женщины и ничего не видел.

— Что с тобой? — встревожилась женщина.

— Думаю.

— О жене?

— Клянусь Аллахом, о моем деле.

Женщина улыбнулась и, скосив глаз, понимающе взглянула на него. Она была совсем молодая, настоящая кочевница фулани. Сильная и тонкая. Линии ее тела словно струились — так вода струится по отшлифованному каменному дну.

— Ты думаешь о своей жене и своих детях. Ты не можешь жить без них и хочешь вернуться домой. Но все дело в том, что ты слишком любишь одного сына, Рикку. И поэтому ты решил продолжать свой путь. Мей Сансай,— вдруг спросила она,— отчего ты так себя мучишь? Я женщина. Я знаю, что такое любовь юноши и девушки, Рикку и Фатиме. Подумай, ведь она, наверно, уже забыла его! Клянусь, она его даже не узнает, когда увидит. Мы живем в саванне. Женщина всегда хочет кому-то помогать. Не ждать. Фатиме не ждет.

Мей Сансай слушал ее, склонив голову. В уголках его губ таилась улыбка.

— А я верю, что Фатиме ждет. Более того, я знаю это.

— Но допустим, она стала женой могущественного человека.

— Сначала мне надо разыскать ее. Тогда я приведу Рикку и скажу ему: «Видишь, что я говорил тебе?»

— Клянусь Аллахом, твои поступки странны. Боюсь, что тобой руководит не только любовь сына к Фатиме. Кто знает, может, на тебя наслали порчу? Тебя могли заколдовать, пока ты спал. Мей Сансай, на свете есть и дурные люди.

Мальчишка принес целую тыкву рисовой каши с топленым маслом. Мей Сансай взял ее в руки. Каша была еще теплая. Он сел на пол рядом с женщиной.

— Так ты думаешь, мной руководит не только любовь сына к Фатиме? Ты тоже веришь в это?

Она внезапно перестала сбивать масло и подняла на него расширенные от удивления глаза.

— Ты хочешь сказать, что ничего не слышала? — продолжал он.— Говорят, что на меня наслали бродячую болезнь сокуго. Может быть, поэтому я и не могу найти покоя и изо дня в день скитаюсь по саванне.

Она ничего не ответила. Глаза ее были опущены. Наверно, ей было жаль старика. Он медленно ел рис. Теперь, после этого признания, он уже не сможет оставаться здесь. Конечно, все было бы по-прежнему, если бы она ничего не сказала мужу. Но он знал, что они будут смотреть на него как на старого безумца, а он не нуждался в их жалости.

Все его помыслы устремились теперь к золотым приискам, где, как ему сказали, и было становище Джаллы. Он знал, что находится на верном пути и что по крайней мере через семь дней выйдет к великой реке. Он собирался идти от деревни к деревне; если удастся, проводить ночь с людьми, чтобы попытаться разузнать о Джалле, а потом точно следовать всем указаниям.

Он съел немного риса и, когда поднял глаза, чтобы поблагодарить хозяйку, увидел, что она все еще смотрит в землю и руки ее опущены. Пришел ее муж, и лицо его расплылось в довольной улыбке, когда он увидел огромные тыквы с кислым молоком, которые жена поставила у входа в хижину. Завтра она пойдет в город продавать их.

— Я не останусь ночевать у вас,— объявил Сансай. Он увидел, что женщина стала собирать масло в комок.

— Вы поссорились? — обеспокоенно спросил хозяин.

— Нет,— ответил Сансай.— У меня бродячая болезнь. Я чувствую, что на меня опять находит. Со мной бывает так. И тогда я должен идти, или...

— Сохрани тебя Аллах!

— ...или же я умру!

Он почувствовал легкое головокружение и испугался. Не слишком ли он опять напряг свои силы? Но вскоре все прошло, и он снова взглянул в лицо хозяину.

— До свиданья.— Он протянул руку.

Хозяин крепко стиснул ее.

— Да поможет нам Аллах увидеться еще раз.

— Аллах на небе, и вся власть у него.

Мей Сансай перекинул суму через плечо и пошел на задворки, где дети скакали на самодельной деревянной лошадке. Он ласково погладил их по голове. Затем решительно распрямил плечи и зашагал на юг по следам прошедших стад, напевая тихую песню.

У поворота он остановился и посмотрел назад. Пастух и его жена стояли у похожей на улей хижины. Дети прижимались к родителям. Он поднял обе руки и помахал им и в ответ услышал их голоса и увидел их машущие руки.

Глава XI

Мей Сансай увидел деревню на берегу великой реки, но это не взволновало его. Он шел по саванне, которая становилась день от дня непроходимей, спал на ветвях деревьев, питался лесными плодами, произносил проповеди в деревушках, встречавшихся на пути, и только мысль о Джалле могла теперь обрадовать его.

Он шагал по грунтовой дороге. Вдоль нее на равном расстоянии друг от друга были расчищены полянки, окаймленные рядами камней. Здесь можно было остановиться, совершить омовение и помолиться. Дойдя до такой полянки, он умылся, ополоснул в воде руки и ноги и, произнеся краткую молитву, снова пустился в путь. Следующие полмили дорога состояла из неожиданных поворотов, и, обогнув красное дерево, он вдруг увидел соломенные хижины. Их было около сотни, они тесно лепились друг к другу, и он подумал: «Случись здесь пожар, только Аллах сможет помочь им».

На краю деревни был большой глинобитный дом с железной крышей, перед ним стоял автомобиль. Мей Сансай вошел в деревню и, не встретив ни души, дошел до колокола на площади. Он никак не мог понять, куда исчезли все жители, но вдруг до его слуха донесся радостный рев толпы.

Он пошел туда, откуда доносились крики, и сразу обнаружил в траве вытоптанную полосу, как от прошедшего стада. Вдали он увидел толпу. Очень быстро он сообразил, что состязание в полном разгаре. Это было шарро, испытание юной мужественности. Кровь затрепетала в жилах, когда он вспомнил, как сам проходил это испытание. Юноша фулани, не прошедший через это, никогда не найдет девушки, которая согласилась бы стать его женой.

В центре круга стояли два юноши, один из них размахивал плетью и громко бахвалился. Сначала Сансай не слышал его голоса: сладкие звуки музыки заглушали его. Сансай видел музыкантов с тыквенными рожками и скрипками, грохот калебасов создавал напряженный ритм. Сансай был так взволнован, что ему казалось, будто он выпил опьяняющей смеси и сам должен принять участие в состязании. Годы уплыли вдаль, и в глазах его заблестела молодость.

Ай!.. Куда мы пойдем
Искать себе горе?
К востоку пойдем мы,
Или на запад
К Талата Мафара,
Или к границе,

Где живет Лигу,
Владелица стада
В тысячу зебу?
Ай! Лигу прекрасна,
Лигу богата,
Я слуга Лигу,
Я насылаю
Слепоту на врагов.
Йе-у!.. Ий-у!

Юноша трепетал от нетерпения. Его гибкое натертое маслом тело напряглось. Полной противоположностью ему был его противник — холодный, как лед. Он неподвижно стоял, широко расставив ноги и сомкнув руки над головой. И даже не шевельнулся, когда юноша со страшной плетью кобоко стал бегать вокруг него, выискивая чувствительные места. Ожидавший ударов был обнажен до пояса, бедра его надежно защищало что-то вроде кожаной юбки.

Внезапно юноша с плетью взмахнул рукой, словно собирался ударить. Зрители затаили дыхание. Но он лишь примерился и продолжал свою пляску.

Музыка притихла, когда плеть стала всерьез угрожать своей жертве. А тот стоял не шевелясь, держа над головой сплетенные руки, и лишь иногда поворачивался к противнику и презрительно плевал наземь.

У Сансая захватило дух. Он вдруг увидел лицо неподвижного юноши. В кругу был его сын Джалла! У Сансая заныло под ложечкой. Он боялся окликнуть сына, чтобы не отвлечь его. Он боялся взглянуть на взвившуюся плеть. Для него этот первый удар был страшнее, чем для Джаллы. Но как Джалла оказался здесь? Кто его невеста? Да и разве станет Джалла жениться, не известив родителей? Когда он снова взглянул в круг, он увидел, что глаза нападавшего налились кровью. Лицо его отяжелело от ярости. Должно быть, его выводили из себя презрительные плевки Джаллы.

Подавшись вперед, как готовая к нападению кобра, он гулко — «твак!» — опустил плеть. Ответный вздох толпы и вспухший на теле Джаллы серо-синий рубец показали Сансаю, что удар был нанесен умелой рукой и попал в цель.

Мей Сансай судорожно вцепился в палку — он боялся перевести дыхание. Вынесет ли это Джалла? Напряженная тишина длилась с минуту.

И вот Сансай с радостью услышал слова:

— Думару, ты бьешь, как больная женщина. Стыдно, тьфу!

Это был торжествующий голос Джаллы, напоенный ядом презрения. Одновременно с его словами раздалась музыка. Из-за спин музыкантов показались девушки. Это были красиво одетые стройные девушки. Они держали головы очень прямо и ступали так легко, что казалось, не мяли травы. Груди их были упруги, руки лоснились от притираний. Поистине, Джалла мог бы выбрать любую и не ошибся бы.

Они выплывали одна за другой, пели хвалу Джалле и в такт музыке впихивали ему в рот орешки кола. Самая высокая девушка прижалась к Джалле и что-то прошептала ему на ухо. Толпа зашевелилась. Без сомнения, это та самая девушка, чьей руки добивается Джалла. Она держала чашу с маслом, помазала им рубец на спине Джаллы, и он заблестел в убывающем свете дня.

Джалла даже не шевельнулся. Его противник выбрал другую сыромятную плеть и стал пробовать ее на руке. Из мелодии исчезла стройность, и вскоре музыканты умолкли совсем. В приготовлениях юноши с плетью появилось что-то зловещее. В толпе зашептались, что он натирает плеть ядом, таким, который увеличит боль от удара, попадет в кровь и мгновенно поразит все тело.

И тут плеть взвилась, но, прежде чем она опустилась, Джалла издал пронзительный вопль и вырвался из кольца зрителей. Люди отскочили влево и вправо и стали смотреть, как он исчезает в зарослях. Он бежал во всю мочь, бежал без оглядки и кричал. Никто не преследовал его — он бежал один, как человек, пораженный внезапным безумием.

Сансай закрыл лицо руками. Ему было стыдно. Толпа распалась на небольшие группы. Плакали девушки: они любили Джаллу и желали ему удачи. Знающие люди переговаривались тихо, но не настолько тихо, чтобы Сансай не мог расслышать.

— Наверняка он что-то увидел.

— Думару наслал на него слепоту.

— Тау! Кто знает? Мы же не были с ними в кругу! Это знают только они вдвоем да Аллах.

— О Аллах, это для меня великая загадка. Я не пропускаю ни одного шарро уже двадцать лет, но никогда не видел ничего подобного.

— Клянусь Аллахом, это колдовство, он наслал на него слепоту.

— Тау! — пожал плечами высокий мужчина.— Все кончено. Ай! Что теперь говорить? Если человек явился на шарро, у него должно быть свое колдовство. Сердце мое болеет за Джаллу, он держался храбро, пока его не победило волшебство.

— Надо было ему прийти со своим волшебством,— сказал другой мужчина.

Исход состязания разочаровал всех. Оживленно обсуждая случившееся, люди расходились по домам. Уже садилось солнце. Скоро должна была наступить ночь. Сансай спросил дорогу к становищу Джаллы. Тропинка еле виднелась в сгущавшихся сумерках.

Глава XII

Мей Сансай подошел к Джалле, который сидел перед хижиной, низко опустив голову.

— Сын мой!

Джалла растерянно поднял глаза.

— Ах, это ты, отец, ты разыскал меня!

— Мне рассказали, что ты у великой реки, в тех местах, где белые ищут золото.

— Да, мое становище здесь.— И он обвел рукой хижины.— Шайту, Лейбе и я перебрались сюда после того, как ты ушел из дому. Рикку пошел с частью стада к Лигу, на границу. Хорошо, когда скот на хорошей траве.

— Верно. А где Шайту?

— Мать и сестра пошли в деревню.

— Клянусь Аллахом, я счастлив.— Он потер ладони.— Наконец-то я снова в своей семье!

Джалла улыбнулся.

— Теперь тебе полегчает.

Мей Сансай пододвинул циновку и сел.

— По пути сюда я встретил множество людей. Что, здесь был праздник?

— Они возвращались с шарро,— сказал Джалла.

— С шарро? — с деланным удивлением спросил Сансай.— О Аллах! Здесь было шарро! Вот я не знал!

Джалла выпрямился.

— Благодарение Аллаху, что ты не видел моего позора. Отец, когда мой противник в третий раз занес плеть, передо мною точно опустилась

завеса. Я ничего не видел! Я так испугался, что бросился бежать. И вот теперь я трус и моя девушка не пойдет за меня замуж! Ты слышишь, отец, я трус!

Мей Сансай похлопал его по плечу.

— К шарро надо готовиться. В другой раз я дам тебе амулеты против бадугу, который насылает слепоту. Вай! Разве мы сами не насылаем слепоту на врагов? Не бойся ничего! В другой раз никто не сможет напугать тебя. В роду Сансая никогда не было трусов.

— Я так и думал, только...

— Среди нас нет трусов! И Рикку не трус, и Одио, и ты, Джалла! Разве все мои сыновья не добились успеха?

Джалла, улыбаясь, встал. Он казался теперь более уверенным в себе.

— Мою невесту зовут Фиддигго. Ты бы только видел, какая она высокая! Она прекрасна, как арабская принцесса, клянусь Аллахом! У нее нежный голос и учтивые манеры.

Мей Сансай улыбнулся.

— Если она такая, как ты говоришь, она заслуживает твоей руки. Не волнуйся. Дай мне чего-нибудь поесть, и мы с тобой начнем готовиться к следующему шарро.

Джалла повернулся, и Сансай увидел рубец на его спине. Он вздохнул.

— Во-первых, Джалла, ты должен зарыть свои кобоко в могиле какого-нибудь победителя шарро. Тогда его доблесть передастся твоим плетям.

Он смотрел на Джаллу, который замешивал тесто и прислушивался к его словам.

— Я покажу тебе новые травы и притирания. Это я сделаю позже, когда мы с тобой пойдем пасти скот.

Джалла принес еду. Сансай молча ел, а Джалла разводил большой костер. Когда Сансай кончил есть, Джалла забрал у него тыквенную миску.

— Отец, сегодня вечером на приисках будет большой праздник. К одному белому из их страны приехала невеста, и в ее честь будет представление.

— Что ты говоришь?

— Правда,— сказал Джалла.— И она очень красивая. Я думаю оставить сегодня стадо на слуг и пойти в деревню...

— И повидать Фиддигго?

— Может быть,— улыбнулся Джалла.

К ночи возвратились Шайту и Лейбе. Сансай обнял жену и приласкал дочь. Их радости не было конца.

■

Посреди площади, неподалеку от колокола, обычно возвещавшего о начале рабочего дня, был разложен гигантский костер. Толпа людей вокруг него образовывала полную луну, как на шарро. Молере сидел со своей европейской невестой в креслах, похожих на троны. Желтоватые блики от костра играли на розовой коже европейской девушки. Ее глаза, устремленные в сердце костра, были темными озерами.

Перед костром плясали те же девушки фулани, что и на шарро, только их стало больше. Все мужчины не сводили глаз с Фиддигго, но у костра было много других стройных искусных танцовщиц. Слова их песни поражали воображение мужчин, сверкающие зубы и равномерно покачивающиеся бедра кружили им головы.

Когда песня кончилась и девушки ушли из круга, юноши последо-

вали за ними. Несколько юношей уже собралось вокруг Фиддигго, но она заговорила с Джаллой:

— Ах, это ты, мой дорогой!

— Фиддигго,— он взял ее за обе руки, голос его звучал неуверенно.— Фиддигго, я люблю тебя. У меня достаточно скота, чтобы осчастливить твоего отца.

— Но мне твой скот не нужен,— рассмеялась она.

— Фиддигго, заклинаю тебя Аллахом,— Джалла был не на шутку смущен ее словами.— Я не могу жить без тебя. Кай! Из-за тебя я вынес такие удары...

— И сбежал от кобоко. Клянусь Аллахом, ты не можешь смотреть в глаза ни одной девушке.

— Каждый поступок имеет причину.

— У твоего поступка нет причины, Джалла. Ты просто трус.

Юноши и девушки, взявшись за руки, парами выходили к костру из теней. Это была ночь любви, и Джалла шептал своей избраннице страстные слова.

Они отошли в тень и стали говорить, издали до них доносилась музыка празднества, на которую они не обращали внимания. Они всю ночь сидели на поваленном стволе дерева и говорили о будущем.

Глава XIII

На рассвете Сансай понял, что не в силах подняться. Разламывалась голова, и тело отяжелело от боли. Дышалось с трудом. Шайту дала ему выпить отвару и осталась возле больного, а Джалла с парнями выгнал стадо на пастбище. И во сне, и наяву Мей Сансай беспрестанно говорил о Рикку.

— Я умру, не повидав сына!

— Этого не случится,— заверила его Шайту.— Просто он сейчас еще в пути к пограничному краю, где живет Лигу.

— А я так и не встретил его,— жалобно говорил Сансай.

— Отец, если все это из-за Фатиме, то не стоит о ней и думать,— сказала Лейбе.

Сансай приподнялся на локте.

— Меня тянет идти и идти.

Жена взяла его за плечи и уложила.

— Подожди, скоро Джалла погонит стадо по берегу на юг. Тогда тебе полегчает.

Сансай повернулся лицом к стене.

■

За двадцать дней боль вышла с по́том, и они снова двинулись в путь. Кочевать со стадом и семьей — занятие, которое может испугать любого новичка. Но Джалла был спокоен и решил не переутомляться. Когда разбирали хижины и их бамбуковые каркасы навьючивали на быков, Джалла отозвал отца в сторонку.

— Мы о чем-то позабыли,— сказал он.

— Разве?

— Да, клянусь Аллахом. Может ли мужчина всю жизнь прожить в одиночестве?

— Ах, вот ты о чем!

— Я бы очень хотел, чтобы ты поскорее сходил к отцу Фиддигго. И не торгуйся слишком. Если он потребует двадцать коров, я согласен дать за нее двадцать.

— Трех вполне хватит! — замахал руками Сансай.— Ты готов отдать двадцать, потому что ты вне себя от любви. Когда к тебе вернется разум, ты скажешь: «Что я наделал!»

— Так сходи, отец. И решай, как знаешь.

— Иду,— ответил старик.

Он взял зеркальце и стал выщипывать себе бороду. Он долго трудился над своим лицом, массировал и разглаживал морщины, и вот совсем стал похож на юношу. Когда он выходил из хижины, в его походке появилась былая упругость...

— Кай! Разве ты жених? Ты такой красивый!

— Пусть Фиддигго видит, что у тебя красивый отец!

Он стал спускаться с холма, а Джалла шагал рядом с ним и в последний раз напоминал отцу о своих планах. Он говорил, загибая пальцы:

— Во-первых, мне придется сходить на базар.

— Зачем?

— Как же! Надо продать быка и купить платье.

— Правильно.— Сансай кивнул.— А кроме того, ты должен порасспрашивать людей кое о чем, ты понял меня? — Он подмигнул Джалле.— Но будь осторожен. Не забывай о врагах.

— Во-вторых, надо купить бамбука на хижину для моей жены.

— Ладно.— Мей Сансай нетерпеливо отстранил сына.— Я должен идти, не то ночь застигнет меня в дороге.

Джалла похлопал его по спине.

— Ха-ха! Как может ночь застигнуть тебя в дороге, когда сейчас только утро?

■

Джалла возвратился в становище. Ему было радостно видеть, что все уже готово. Тыквенные сосуды, кастрюли, циновки — все было тщательно запаковано в узлы и навьючено на грузных быков. Стадо выстроилось на дороге, спереди и сзади него стояли погонщики.

Было еще слишком рано, и Джалла предложил подкрепиться перед выходом. Ближе к вечеру он отдал приказ, и, подобно разгневанной реке, горбатые зебу устремились на юг. Джалла стоял на холме и наблюдал величественное зрелище, которое за годы кочевой жизни видел тысячу раз.

За медленной тяжелой поступью стада Джалла различал крики и хохот погонщиков. Шесть отобранных быков были привязаны к дереву. Не тратя времени, Джалла погнал одного из них на прииски к мяснику, купил на базаре самое дорогое платье и вернулся на старое становище, лишь немного опередив отца.

Мей Сансай был мрачен, он не говорил ни слова, и Джалла с трудом заставил его объяснить, в чем дело.

— Отец этой девушки грабитель! — объявил Сансай.

Джалла с изумлением посмотрел на него.

— Он требует шесть лучших коров из твоего стада.

Джалла улыбнулся.

— Когда ты назвал его грабителем, я решил, что он запросил двадцать.

Он подозвал мальчишку-погонщика и сказал:

— Послушай, ты знаешь дом отца Фиддигго там, у реки?

Мальчишка смотрел в небо ничего не выражающими глазами.

— Господин, я...

— И не говори, что не знаешь, не то получишь ногой в живот! Итак, отведи туда шесть коров. И передай отцу Фиддигго мои лучшие пожелания. Да благословит его Аллах!

— Слушаюсь.

Джалла повернулся к Сансаю:

— Не забыл ли я чего?

Старик уныло покачал головой.

— Грабитель! И ты еще спрашиваешь, не забыл ли чего, когда отдал ему шесть лучших коров!

— Конечно забыл! — рассмеялся Джалла.— Я же забыл о платье! Скажи отцу Фиддигго, что я бы сам принес это платье, но мы уже вышли в путь. Мы идем на юг к берегам реки Чангувы близ Малендо. Запомнил? Пусть Фиддигго догонит нас там.— Он передал мальчишке сверток с платьем.— Отдай ей это.

Мей Сансай поднял руки к небу.

— Я в свое время видел безумные свадьбы, но ничего подобного не бывало никогда! Ни музыки, ни плясок, ни даже тихой брачной ночи!

— Мы кочевники, отец. Самое главное для нас скот, и, раз мы хотим перегнать его на лучшие пастбища, все остальное должно отступить.

— И все же,— настаивал Сансай, покачивая головой,— лучше бы сначала устроить Фиддигго достойную встречу. Ведь она такая красивая!

Они еще не вышли за пределы деревни, когда их нагнал мальчишка-погонщик. Он был недоумок, этот мальчишка. Говорил одно, а через минуту — другое. Мей Сансай и Джалла не знали, что и думать, выполнил мальчишка приказ или нет. Как бы то ни было, оставалось лишь ждать.

На рассвете следующего дня они пустились в путь и догнали ушедшее стадо только в полдень, когда погонщики устроили привал и стали готовить еду.

Джалла с удовольствием обозревал свое огромное стадо. Насколько хватал глаз, все луга были покрыты его коровами. Они переступали с места на место, сталкивались рогами, щипали траву и грузно передвигались вокруг одетых в кожу парней, которые стояли, опершись на длинные палки, и поглядывали на поднимающийся к небу дым костра.

— Санну! — приветствовал их Джалла.

— Санну! — ответили пастухи.

— Все в порядке?

— По милости Аллаха все в порядке.

— Хвала ему.

Отец и сын уселись на землю. Они лениво говорили о пастбищах, куда следует перенести становище. Погонщики рассказали им, что встретили пастухов, которые знали хорошее место и советовали идти туда. Шайту стояла перед парнями и наблюдала за Лейбе, которая забралась на вьючного быка.

— Какую хижину я построю Фиддигго! — вдруг выпалил Джалла.

— Мы говорим о том, как лучше уберечь твое стадо, а ты вдруг начинаешь о чем-то другом!

— В путь! — сказал возбужденный Джалла.— Нечего тратить время!

Они устраивали короткие привалы, они задавали стаду трудный скорый шаг, задерживаясь лишь затем, чтобы помочь корове отелиться, но только на третий день Джалла с пастухами увидели долгожданную сочную зелень лугов.

Не теряя времени, они развьючили быков и пустили их пастись. Джалла тут же принялся сооружать хижину для Фиддигго, а Сансай смотрел на него и думал, каким самостоятельным стал его сын.

Назавтра рано утром к нему прискакал незнакомый человек и попросил еды и молока.

— Я от отца Фиддигго,— пояснил он.

Джалла привязал его лошадь к дереву, а Мей Сансай пригласил его в хижину. Обычай требовал, чтобы в момент прибытия невесты жениха не было дома. Джалла стал готовить постель для Фиддигго. Он слышал мычание коров и думал, что скоро не парни, а Фиддигго своими нежными руками будет доить их. Он слышал раскаты смеха из хижины, где беседовали его отец и человек, принесший вести от Фиддигго, и понял, что разговор их удался.

И внезапно Джалла запел. Эта мелодия не давала ему покоя с предрассветной минуты пробуждения. Она все время звучала в нем — порою чуть слышно; она парила на крыльях ветра, но не покидала его ни на миг. А теперь она захватила его, широкая и радостная, и он запел от счастья.

Когда настал час прибытия Фиддигго, Джалла незаметно ушел из становища и отправился бродить по саванне.

Возвратившись, он спросил мать, где Мей Сансай, но она ответила, что не видела его.

— Разве он не зашел за вами?

— Но он пошел за тобой,— сказала Лейбе.

Они никак не могли понять, зачем ему понадобилось идти за Джаллой. Они стали ждать, но он не возвращался.

— Это бродячая болезнь,— пробормотал Джалла и, решительно распахнув дверь хижины, увидел, что в ней, склонив голову, сидит Фиддигго.

Глава XIV

Сансай брел по саванне на юг. Он расспрашивал всех встречных. Он заговаривал с пастухами, охотниками и торговцами, с мужчинами, женщинами и детьми. Он расспрашивал их о Лигу, и вскоре смог направить стопы в нужном направлении.

Как выяснилось, становище Лигу находилось в пограничном краю близ города Контаго. Последний человек, которого он спросил о Лигу, указал ему путь крючковатой палкой и прибавил, что если Сансай поспешит, то еще застанет ее в тех местах. Не надо забывать, что в это время года скотоводы постоянно кочуют в поисках новых пастбищ.

Он плутал еще несколько дней, пока наконец не понял, что находится близ становища Лигу. Он увидел две хижины и коров, привязанных к красному дереву, и решил пойти справиться.

— Мне именно так описывали становище Лигу,— бормотал он.— Пойду и узнаю. Кто задает вопросы, редко сбивается с пути.

Однако не успел он сделать и десяти шагов, как на него, оскалив клыки, набросились две охотничьи собаки. Они были большие и жилистые, и их злоба испугала Сансая.

Он замер, точно вдруг окаменел.

В двери одной хижины показалась женская голова.

— Что случилось?

— Возьми своих собак,— сказал Сансай и, когда женщина отозвала их, продолжал: — Я разыскиваю женщину по имени Лигу.

Женщина подозрительно прищурилась.

— Лигу с тысячеголовым стадом? — она испытующе смотрела на Сансая.

— Вот именно. Лигу — царицу скотоводов, о которой поют песни на шарро.

— Подойди ближе!

Она произнесла это резко, и собаки, поджав хвосты, исчезли из виду.

Сансай робко приблизился к ней. Она была немолода. У нее были большие сильные руки, но как она любила украшения! Ее уши, волосы и запястья сверкали драгоценностями, на ней было яркое дорогое платье.

— Кто бы ты мог быть? — спросила она.

— Во мне много людей,— ответил старик.— Некоторые знают меня как великого волшебника Мей Сансая из Докан Торо, который говорит, как птица. Некоторые считают, что как вождь Докан Торо я был справедлив. Некоторые утверждают, что я в свое время владел самым лучшим стадом. Вот как.

— Войди и садись!

— Если Аллаху угодно,— ответил Сансай.

Войдя в хижину и усевшись, он спросил женщину, далеко ли до становища Лигу, но она велела ему сидеть и не двигаться с места, потому что, не пообедав, до Лигу не доберешься.

Она не отпускала его до вечера, когда вернулось стадо и у входа в хижину показался стройный юноша.

— Рикку! — закричал Мей Сансай и всплеснул руками.

Рикку смотрел в хижину, но не мог ничего разобрать в темноте.

— Это же твой отец — Мей Сансай! Кай! Вот что Аллах может сделать!

Сансай отстранил циновку и выбежал из хижины, широко распахнув объятья.

— Отец! Когда ты пришел?

— Вай! Рикку, я слышал от Джаллы, что ты отправился к становищу Лигу?!

— От Джаллы?

— Да.

— Не понимаю. Когда я добрался до Джаллы, мне сказали, что ты уже ушел.

— Нет, Рикку, я был на новом становище Джаллы, в Малендо на берегу реки Чангувы, где белые ищут золото. Ты же знаешь, что Джалла со стадом идет на юг.

— Конечно. Воздадим хвалу Аллаху.

Лигу с улыбкой смотрела то на отца, то на сына.

— Рикку, расскажи ему о Бельмуне и сборщике налога.

Рикку рассказал, как ночью приходили воры и как наутро они привели чиновников, чтобы обложить стадо налогом. Он рассказал, как они с Бельмуной обратили скот в бегство и как Бельмуну насмерть забодали быки.

— Вай! Аллах, упокой его душу. В день смерти ни один врач не поможет.

— Да,— проговорил Рикку. На глазах его были слезы.

— Я вижу, ты полюбил его.

Рикку заплакал, Мей Сансай обнял его. За последние месяцы мальчик сильно повзрослел. Он постиг смысл и силу страха. В такие дни человек становится взрослым.

Лигу подошла к Сансаю и церемонно попросила у него прощения.

— Когда я увидела тебя, я сразу догадалась, что ты его отец. Он так много рассказывал о тебе! Он такой хороший мальчик. Я для него готова сделать что угодно.

Лигу быстро приготовила ужин и поставила миски перед Рикку и Сансаем.

— Лигу, откуда ты знаешь, что я люблю патури? — спросил Сансай.— Рикку, ты не говорил Лигу про меня еще что-нибудь?

Оба рассмеялись, в их смехе была неловкость. Сансай склонился над едой, ложка дрожала в его руке. Он налил парного молока в жир-

ную кашу. Поднеся полную ложку к губам, он закатил от восторга глаза.

— Когда же это я в последний раз сидел вот так у огня и ел ужин, приготовленный женщиной?

— Тебе это было и не нужно,— сказала Лигу.

— Разве?

— Клянусь Аллахом.

Сансай вздохнул. Он медленно ел патури и не отрываясь глядел на огонь, мысли его были далеко.

— Рикку,— наконец сказал он,— выходит, тебя поймал Бодеджо, сборщик налога.

— Отец, Бодеджо не поймал меня. Нас предали. Ай! Так оно и было. Бодеджо человек добрый и честный. Ему не свойственно любопытство козы, которое приводит к встрече с гиеной.

— Лах!

— Я говорил тебе, что это сделали люди Ардо.

Услышав имя Ардо, Сансай нахмурился.

— Ардо! Вечно Ардо!

Он покончил с ужином, и они еще долго беседовали, а Лигу хлопотала по хозяйству.

Мей Сансай смотрел на горбатых зебу. Он слышал стук сталкивающихся рогов и видел беспрестанно жующие губы. Свет костра плясал на боках — бурых, белых, черных. Рядом со скотом Сансай чувствовал себя счастливым.

Глава XV

Несколько часов Мей Сансай сидел и читал Коран. Рикку давно уже спал на своей лукури, грубой постели скотовода фулани. Он слышал, как неподалеку хлопотала Лигу. Когда все умолкло, Мей Сансай поднял глаза и увидел, что Лигу стоит перед ним и смотрит. Она, должно быть, долго стояла, прежде чем он обнаружил ее присутствие. Он смутился и принялся собирать лежавшие на земле рукописи.

— Я хотела с тобой поговорить, но если ты слишком занят...

— Ах, Лигу! Человек не может быть слишком занят.

— Поговорим о Рикку!

— О Рикку? — Мей Сансай прищурился.

— Да,— сказала Лигу,— не знаю, как это сказать... но, клянусь Аллахом, если что-то тревожит его ум, надо ли нам скрывать это?

— Так что ты заметила? Не забывай, он только мальчик.

— Ты едва ли поверишь, если я расскажу тебе, что видела. Но я женщина. Моим глазам помогает чутье.

— Так что же?

— Иногда он разговаривает во сне, порою он выскакивает из постели, словно его преследуют ведьмы. Я не раз опасалась, что он лунатик, он бродит во сне по саванне и что-то ищет. А для юноши ведь чудно бродить по саванне ночью, правда?

— Что же дальше? — Мей Сансай улыбнулся.

— Иногда он ничего не ест по два вечера подряд. Иногда он сидит, и с места его не сдвинешь. Скот пасти не желает. Говорить со мной не желает. Спросишь, ты болен? Не отвечает! Мей Сансай, я боюсь за него.

— Лигу,— сказал Сансай,— хвала Аллаху, ты не одинока в этих наблюдениях. Ты ведь умная женщина. Видишь ли... Я люблю этого мальчика больше всех моих детей. Джалла добился уже многого: Одио смелый человек, но слишком любит женщин; Рикку моложе всех.

Их было пятеро. Двое умерли, но можем ли мы роптать на Аллаха. Он дает, он и берет.

— Так что же? — сказала Лигу.

— В нашем доме был мир до того дня, когда мы купили девушку-рабыню канури по имени Фатиме. Ты слушаешь? Ты настоящая фулани из саванны. Скажи мне, ты слышала, что мои сыновья ссорились из-за Фатиме? Фатиме любила Рикку, но он был слишком юн. Ты слушаешь меня? Одио захотел Фатиме. Он сильный, и он заставил ее бежать с ним. Когда же она покинула наш дом, Рикку стал чахнуть, и тогда я отправился на поиски Фатиме.— Он помолчал и прибавил: — Потом я узнал, что Фатиме убежала от Одио. Она вернулась к своему прежнему хозяину Шеху, а потом убежала и от него. Говорят, что она со своим стадом бродит по глухим местам.

— От такой женщины надо быть подальше! — воскликнула Лигу.

— Ты так думаешь? — вздохнул Мей Сансай.— Но видит Аллах, сначала надо все испробовать.

— Я слыхала о женщине в белом, которая с белыми коровами скитается по саванне. Мне рассказывали ее историю. Некоторые думают, что она призрак. Но в этой истории много выдумки. Скажем, как может женщина по ночам перегонять стадо?

— Тау! — сказал Мей Сансай.— Терпеливый узнает, что таится в траве. Пока что я был терпелив.

■

У Рикку появилось новое увлечение — ловля птиц. В один прекрасный день, осматривая силки, он обнаружил странную птицу. По всей округе распространилась тревожная весть. Через час человек двести толпилось вокруг силка и смотрело на важную красивую птицу с золотыми глазами.

Наконец в толпе выискался храбрец, который извлек птицу из силка и объявил, что видывал подобных и раньше. Он дал рассмотреть ее всем и сказал:

— Видите, у нее на ножке талисман.

Однако все пришли к выводу, что это не талисман, а простая бумажка в кольце.

— Вай! — восклицал Рикку.

— Отнеси ее к Сарки,— советовали люди.— Отнеси ее к султану. Кто, кроме Аллаха, знает, что все это значит?

В этот момент низенький человечек протиснулся сквозь толпу.

— Белый гриф! — воскликнул он.— Я видел шестьдесят новогодних празднеств, и моя могила близка. Но никогда я еще не видел белого грифа. О Аллах, открой нам, что это значит?

Люди боялись этого человека, ибо его дурные предсказания были хорошо известны, и они не хотели слушать его прорицаний.

— Это к несчастью! — успел выкрикнуть он прежде, чем сильные руки оттащили его в сторону.

Рикку снял с птицы кольцо и вечером понес его в соседний город. Было решено, что он не останется там на ночь и вернется домой, как бы долго ни задержался. Если он не встретит такого белого, который сможет прочесть, что написано на бумажке, то он отдаст кольцо с запиской в руки Сарки.

■

Настала ночь, а Рикку не возвращался. Лигу и Сансай сидели у хижины. Как только на дороге появлялся человек, они вставали и вглядывались.

Пришли незваные гости — Бодеджо и сборщики налога. Их сопровождал низкорослый прорицатель.

— Это к несчастью, хе-хе! — пропищал он и исчез, прежде чем его успели поколотить.

Это было действительно несчастье. Сборщики налога пересчитали скот, и Лигу готова была разрыдаться, вспоминая, как много сил она потратила, чтобы избежать этих людей.

А Рикку все не было.

Глава XVI

Рикку стоял на углу улицы. Девочка лет десяти подошла к нему.

— Тебя хочет видеть госпожа,— сказала она, указывая на минарет, возвышавшийся над высоким глинобитным зданием.

— Меня?

— Да. Следуй за мной.

Он колебался. Ему всегда говорили, что в больших городах надо опасаться незнакомых людей.

Она провела его по узенькому проходу между двумя рядами домов и легко взбежала по лестнице. Поднявшись следом за ней, Рикку понял, что угол, на котором он стоял, был у всех на виду и что женщина, пославшая за ним, вероятно, рассматривала его порядочное время.

— Входи! — сказала девочка.

Рикку колебался.

— Ты не хочешь войти? — спросил мелодичный голос.

— Мир тебе,— сказал Рикку и вошел.

На груде подушек сидела женщина. Сзади нее находилась такая высокая постель, что к ней были приставлены две скамеечки.

Женщина была красива недоброй красотой, и с первого взгляда легко было признать в ней канури, соплеменницу прекрасной девушки рабыни Фатиме. Может быть, она что-то знает о Фатиме?

— Ты кого-нибудь ищешь? — спросила женщина.

— Я принес кольцо и записку. Мы поймали птицу и...— Мысли Рикку путались. Завораживающий взгляд женщины смущал его.

— Ты очень юн,— проговорила она.— Ты даже красивее, чем показался издали. Ты мне нравишься, и я хочу, чтобы ты жил у меня.

— Я? Откуда ты знаешь меня?

Она улыбнулась.

— Я увидела тебя на углу улицы и полюбила, разве этого мало?

Рикку уставился на нее в недоумении.

— Но я пришел в город по делу. Меня ждет отец. Я должен вернуться в становище этой же ночью.— Теперь Рикку увидел, что женщина одета на арабский манер: на ее тонких запястьях блестели браслеты, а на голове было что-то вроде короны. Женщина встала.

— Я не причиню тебе зла...

— Аллах всевышний знает это. Но ты не должна задерживать меня. Я сын скотовода. Мы живем в саванне. Для нас жизнь в городе — не жизнь.

— Так ты не любишь удобства? — Она окинула взглядом свою роскошно обставленную комнату.

— Я привык к неудобствам. Мы живем простой жизнью. Земля — наша постель, природа — наш верный друг. Но, кроме всего прочего, на бесхвостую корову Аллах насылает муху.

Женщина улыбнулась.

Служанка внесла в комнату поднос и предложила Рикку чашку с какой-то темной жидкостью. Ему казалось, что все это он видит во сне, он протянул руку, взял тонкую фарфоровую чашечку и с удивлением

посмотрел на темную жидкость. Он неуверенно держал чашечку в руках, потом вдруг решился и спросил:

— Мы с отцом разыскиваем девушку по имени Фатиме. Она канури, рабыня. Ты не знаешь ее?

— Ты говоришь, она канури?

— Да, она сбежала от нас. Мы разыскиваем ее, потому что...

В глазах женщины сверкнула искорка.

— Послушай, Рикку, клянусь Аллахом, ты мне нравишься. Я хочу, чтобы ты остался здесь, а не скитался в поисках этой девушки канури.

— Я не понимаю,— сказал Рикку.

— Ты слишком молод, чтобы понять это,— улыбнулась она.— Выслушай меня благосклонно. Меня зовут Кантума. В этом городе со мной считаются. Сам султан не решится вмешиваться в мои дела. Останься у меня. Я передам кольцо с запиской кому хочешь.— Она повела плечами.— Останься у меня, и я пошлю верховых на поиски Фатиме. Может быть, они найдут ее, может быть, и нет.

Она вышла из комнаты, а Рикку сидел и смотрел в чашечку. Потом он быстро подошел к окну и вылил темную жидкость на улицу.

— Кто это? Кто облил меня? — закричал кто-то внизу, и Рикку поскорее отошел от окна.

Кантума вернулась и объявила, что верховые разосланы. Она отправила двадцать всадников в леса искать Фатиме. Они объездят все становища, всюду расспросят о Фатиме и через три дня вернутся.

— Давай-ка поиграем в карты,— предложила Кантума.

Она обучила его правилам игры. У нее еще была старая игра лудо, и, сев играть, Рикку позабыл о деле и даже пожалел про себя, что пришел к этой женщине впервые.

В разгар игры Кантума извинилась и вышла. Рикку услышал, что она говорит с какими-то рассерженными мужчинами, но, вернувшись, она сказала, что все это пустяки. Когда Рикку устал, его омыли благоуханной водой и нарядили в шелковые одежды.

Так прошло два дня.

■

Рикку тревожился. Наконец он сказал Кантуме:

— Почему ты не даешь мне уйти?

Кантума лежала в ванне.

— Потому что ты мне нравишься,— ответила она.— Ты ласкаешь глаз, к тому же ты хорошо воспитан. Князья много бы дали, чтобы быть на твоем месте.

Это была правда. Рикку видел, как она обошлась с порывистым юным князем, который прошлым вечером приходил к ней в гости. Он, стоя на коленях, умолял принять его, но она заперлась и объявила, что у нее дурное настроение. Он ушел вне себя от ярости, и она проводила его смехом.

— Но я же не князь,— возразил Рикку.— Я ничего не понимаю в городских делах!

Он боялся себя. Кантума была хитрая женщина, чародейка, обладательница странной красоты. Иногда она казалась ему змеей, холодной и прекрасной, смертоносной в минуту гнева.

— Рикку, ты не хочешь пойти со мной на скачки?

— А когда это будет?

— Через два дня.— Освеженная ванной, благоухающая, она положила ему на руку ладонь.— Мы будем сидеть под навесом и есть финики на меду,— говорила она.— Я разряжу тебя, как принца.— Вдруг она спросила: — Что с тобой, Рикку? Тебе не нравится жить у меня?

— Нравится, клянусь Аллахом! Но погоди! — Внезапно его осенило: — Я вот о чем думаю. Ты позволишь мне принять участие в скачках? Я очень хороший наездник. Заклинаю тебя Аллахом, позволь мне!

— Прекрасно. Я дам тебе своего лучшего скакуна. Это арабский иноходец, выносливый и ретивый. Мой брат ходил с ним на войну.

За день до скачек пришел посыльный с письмом от Бодеджо. Бодеджо сообщал, что прочел записку, которая была привязана к лапке белого грифа. Там было сказано, что этого грифа выпустили в Южной Америке полгода назад. Нашедшего записку просили прислать точные сведения о времени и месте поимки и сообщить свою фамилию и адрес.

— Но какой в этом смысл? — удивилась Кантума.

— Ай! Белые странные люди. Кто знает?

— И это все?

— Это все.

■

Дорога, на которой проходили скачки, начиналась у холма, где хоронили мертвых, и оканчивалась у тропинки, пересекавшей дорогу у подножия другого холма. Расстояние было около полумили. Правила скачек не отличались сложностью: все желающие, независимо от возраста, роста и веса, выстраивались в шеренгу и при слове «пошел!» пускались вскачь.

Рикку, следивший за состязанием из-под навеса, понял, что здесь ему нетрудно будет получить приз. Огромная толпа собралась посмотреть на скачки, и Рикку подумал, что, может быть, в ней находится и его отец.

Когда пришла его очередь, Кантума помогла ему снять дорогой шелковый халат. Он остался в легком джемпере и плотных бриджах.

— Как только твой заезд окончится, заворачивай вон к тому дереву. Я буду ждать тебя там, и мы сразу отправимся домой.— В ее улыбке сквозила тревога.

Он не мог смотреть ей в лицо. Он едва сдерживал волнение. Он рванулся к коню. Возле конюшни кто-то тронул его за руку. Он оглянулся и увидел Чике. Лесничий был небрит, глаза его блуждали.

— Рикку, ты куда?

— На скачки!

— Ты не видел Шеху?

— Шеху? — переспросил удивленный Рикку.— Нет, где он?

Странное поведение Чике, его отрывистые слова и блуждающий взор не могли не привлечь внимания Рикку.

— Надеюсь, ничего не случилось?

— Ничего не случилось,— ответил Чике.— Только он убил мою жену.

Рикку ахнул.

— Опять Шеху?!

Не ответив, Чике смешался с толпой. Рикку никак не мог прийти в себя. Он разыскал коня и сел в седло. Он был полон решимости победить в этом заезде и ускакать домой на коне Кантумы.

И он выиграл этот заезд и ускакал, хотя знал, что Кантума пошлет за ним погоню.

■

Он оставил коня на окраине города и поспешил укрыться в малозаметном кабачке. Войдя в него, он увидел Чике за кружкой пенящегося пива. Глаза его были красны, а руки судорожно сжимали кружку, и по

ним стекала пена. Казалось, он не узнает Рикку. Он сидел среди хриплого смеха, пения скрипок гвоги и гула голосов наедине со своими мыслями.

Стараясь не привлекать к себе внимания, Рикку прошел мимо Чике и других посетителей пивного зала. Он искал подходящее место, чтобы спрятаться, но вдруг в глаза ему бросилась фигура высокого человека в дальнем углу соседней комнаты.

Человек поспешно надвинул на глаза тюрбан, но Рикку все же успел разглядеть жесткие черты его лица. Это был Шеху.

Рикку бросился назад и окликнул лесничего:

— Чике! Я видел Шеху!

Чике отбросил кружку и одним прыжком оказался рядом с Рикку.

— Где он? Покажи!

Вместе они бросились в соседнюю комнату.

Они обшарили ее глазами. Они попробовали плечом наружную дверь — оказалось, что она заперта с другой стороны. За ней начиналась дорожка, упиравшаяся в лестницу и подножие минарета.

Чике рванулся по лестнице наверх, и Рикку крикнул ему:

— Будь осторожен!

Под ногами Рикку задрожали ступени. Он был напуган и не хотел ввязываться в новое приключение.

Лестница привела к закрытой двери, и Чике закричал:

— Шеху, открой дверь! Открой дверь, коли ты не трус!

Рикку сбежал вниз и принес здоровенную дубину. Он трижды ударил в дверь, и она подалась. Эта дверь не вела в помещение, а просто закрывала следующий пролет лестницы.

Громко топоча, Чике устремился наверх, Рикку не отставал от него.

Из-за поворота на ступени упала тень. Рикку поднял глаза и увидел огромного мужчину.

— Вы куда?

— Мы ищем Шеху!

— Его здесь нет. Ни шагу дальше. Здесь не место для мужчин.

— Как?

— Здесь живут женщины, носящие чадру.

— Мы просим прощения.

Рикку и в самом деле заметил, что из окон за ними наблюдают две-три женские фигуры, скрытые чадрой. Среди них был переодетый Шеху. Рикку был уверен в этом.

— Его здесь нет,— грубо заявил огромный мужчина.— И вот что я вам скажу. Эти женщины — жены султанского сына. Бегите-ка отсюда, пока он не вернулся со скачек. Ах!.. Смотрите!

Внизу во дворе молодой красиво одетый человек отдавал поводья своего коня слуге. Он быстро взбежал по лестнице и, увидев Рикку и Чике, резко остановился.

— Кто вы такие? Что вам здесь надо?

— Я их не знаю, хозяин,— вмешался огромный мужчина.— Я подозреваю...

— Они хотят украсть моих жен!

— Я так и подумал, только...

— Зови людей! Забрать их! Какого черта! Завтра они у меня заговорят!..

Появилось несколько человек с оружием. Они схватили Рикку и Чике и уволокли их в темную комнату у подножия лестницы. Они сидели и оплакивали свою судьбу, и вдруг черное мужское лицо глянуло в комнату свозь решетку. Рикку узнал его и за чадрой. Это был Шеху, он хохотал и поглаживал бороду.

Глава XVII

— Вы говорите, что видели его на скачках?

— Да,— ответили пастухи.

— Когда это было? — спросил Сансай.

— Ай! Меньше недели назад.

— Ну и что дальше?

— Мы видели его,— повторил один пастух.

— Он участвовал в одном заезде, но не вернулся, как остальные.

Мей Сансай посмотрел на Лигу. Было раннее утро, и они сидели у хижины Сансая.

— Так что случилось в первый день, когда я послал вас к этой женщине?

— Кай! Она так бранила нас! Она сказала, что пожалуется султану, что мы пристаем к ней. Тогда мы ушли.

Сансай повернулся к Лигу:

— Что мы будем делать? Пора гнать стадо на юг, но мы не можем уйти без Рикку.

За последние три дня все было подготовлено к переходу. Лигу сказала Сансаю, что теперь уже нет смысла прятаться в этих краях близ границы. Она пришла сюда, чтобы уклониться от уплаты налога, но ее нашли и взыскали с нее крупную сумму.

Лигу склонила голову и прислушалась.

— Мей Сансай, ты различаешь крики?

— Едва-едва,— Сансай прислушался.— Едва-едва.

— Это охотники,— пояснили пастухи,— они поджигают траву.

— Кай! — сказал встревоженный Мей Сансай.— Пора в путь.

В отдалении виднелись языки пламени. Обгоревшая травинка опустилась на нос Сансаю, и он смахнул ее, как муху. Воздух заполнили птицы, они кричали и метались в страхе. Ястреб нырнул в дым.

— Они поджигают траву,— повторила Лигу.— Пора отгонять стада на юг, к берегам великой реки.

— А как же Рикку? — спросил старик.

— Если он не вернется, послезавтра выступаем без него,— объявила Лигу.

■

Мей Сансай гнался за птицей. Кустарники становились все непроходимее. Вскоре взошло солнце, и роса стала струйками стекать с травы. Когда он подходил к тенистым ручьям, музыка их звучала громче, волшебней.

Вечером пятого дня он добрался до большого ручья, омыл лицо и руки, прополоскал рот. Тускневшее небо угнетало его.

Он услышал треск и затаил дыхание. Трава впереди него подозрительно зашевелилась. Он видел, как из травы выросла большая тень: лев. Из его пасти свисала обезьяна. Лев зарычал и прыгнул в кусты.

Мей Сансай содрогнулся. Он не мог решить, следует ли ему продолжать путь до темноты. Впереди виднелось что-то вроде селения. Он подобрал полы халата и, испуганно озираясь и вздрагивая от малейшего шороха, направился к деревне и добрался до нее перед наступлением темноты.

Крайняя хижина принадлежала кузнецу. Работа давно была кончена, и, побродив несколько минут у навеса над кузней, Сансай подошел к двери и пожелал мира дому сему.

Седобородый человек, держа фонарь над головой, вышел ему навстречу.

— Кто ты?

— Я кочевник, скотовод. Я иду на юг. Нельзя ли у вас переночевать?

Мускулистая грудь кузнеца наполнилась воздухом, он подозрительно прищурился.

— У нас недавно побывали воры,— пробормотал он.— Ты не вор?

Сансай улыбнулся.

— Я бы не стал просить тебя о ночлеге, если бы не встретил льва.

Глаза кузнеца широко раскрылись.

— Ты видел этого льва?

— Да.

— А еще кого-нибудь с ним ты не видел?

Фонарь в руке его задрожал. Он быстро втащил Мей Сансая в хижину и захлопнул дверь.

Мей Сансай сел на пол и разгрыз орешек кола, предложенный кузнецом.

— Моя жена приготовит тебе ужин,— сказал кузнец.

И тут же он принялся с жаром рассказывать легенду о льве.

— Есть женщина, которая бродит по саванне,— говорил он.— Некоторые видели ее, она всегда одета в белое. Она появляется обычно по ночам, и, говорят, у нее есть стадо.

Мей Сансай тотчас решил, что речь идет о Фатиме.

— Давно ли она в этих краях? — спросил он.

— Дай-ка мне сообразить. Разговоры о ней начались, кажется, недели две назад.

Сансай придвинулся к кузнецу и с пылом фанатика пожал его грубую руку.

— Как раз тогда я был в пути. Расскажи мне о льве.

— О нем никто ничего не знает. Охотники, ходившие за ним, говорят, что его следы всегда сопровождают следы стада. Аллах ведает, что это значит. И никто ни разу не встретил в саванне растерзанного человека.

— Так он не пожирает людей?

Кузнец снова пожал плечами и поправил халат.

— Слыхал ли ты когда-нибудь о льве, который не пожирает людей? — пошутил он.

■

Этой ночью Мей Сансай не мог уснуть. На рассвете он поднялся первым и вышел подышать свежим воздухом.

К нему подошел кузнец и протянул руку:

— Как ты спал?

— Хвала Аллаху, прекрасно!

— Как твоя усталость?

— Пока есть жизнь, усталости нету.

Они обнялись, как братья, и еще минут десять обменивались любезностями, после чего кузнец предложил ему орешек кола. Беседа сосредоточилась на льве и женщине с белым стадом, о которой рассказывают легенды.

— Я тебе что-то расскажу,— сказал Мей Сансай.— Знаешь ли ты, что из-за этой женщины я оставил дом и пустился в скитания?

— О Аллах!

— Клянусь тебе!

И он поведал кузнецу историю девушки рабыни Фатиме, как она прибежала к ним, моля о помощи, как его сын Рикку не может жить без нее и как он сам уже было решился прекратить поиски.

Однако рассказ кузнеца придал ему свежие силы.

— Я собрался идти дальше на юг,— заключил Сансай,— но теперь мне лучше выждать здесь. В твоем рассказе есть как раз то, что мне нужно.

Днем он позвал цирюльника побрить голову, потому что кузнец сказал, что он стал похож на язычника. Цирюльник намылил ему голову и побрил ее так, что и следа от волос не осталось, и она заблестела, как страусиное яйцо. Обрив голову, он схватил Сансая за подбородок и так сдавил ему горло, что старик стал задыхаться. Это было необходимо, чтобы чисто побрить бороду. Сансай не мог сопротивляться. Он только ловил воздух ртом. Темные круги плясали перед его глазами.

— А вчера,— болтал цирюльник,— мимо нас проскакало несколько всадников.

— Вот как?

— Да.— Цирюльник привычным движением стер со щеки Сансая мыльную пену и принялся править бритву на ремне, поглядывая на кузнеца, который раздувал мехи.— Они скакали на север. Разве ты их не встретил?

— Нет,— сказал Сансай. И потом спросил: — А в какой город они направились?

— На севере есть город Контаго. Там живет женщина по имени Кантума. Она жена человека, которого зовут Шеху. Он дает ей приказания.

У Мей Сансая перехватило дыхание. Слова не шли к его сухим губам.

— Я слушаю тебя.

— Это все! — Цирюльник правил бритву.— Эти люди, их было двадцать, ехали на встречу с Шеху в дом этой женщины. Так рассказывают.

— О! — Сансай боялся, что дар речи покинул его.— Выходит дело, Шеху устроил в ее доме притон?

Цирюльник правил бритву.

— По слухам, Кантума держит у себя мальчика, и Шеху говорит, что он не отпустит его, пока не поймает его отца. Говорят, этот мальчик фулани. Я рассказываю это тебе, потому что ты сам фулани. К тому же я думал, ты встретил всадников на дороге.

— Скажи, один из них был на белом коне?

— Кай, да!

Мей Сансай встал и решительно запахнул халат.

— Кузнец, умоляю тебя, ты не можешь дать мне своего коня?

— Если угодно Аллаху.

— Я должен ехать в Контаго.

— Но отчего так скоро?

— Пойманный мальчик — мой родной сын Рикку, и, слушай меня, надо спешить, ибо в городе пожар.

Глава XVIII

Сансай погонял коня, как безумный. Полы халата развевались по ветру, глаза вылезали из орбит. Он припал к этому дикому коню и гнал его вперед, только вперед, и бил его пятками по бокам.

Он мчался мимо рисовых полей, лесов, зарослей боярышника, он распугал газелей, его чуть было не забодал буйвол, а он гнал коня вперед, только вперед.

В сумерки он остановился у потока и дал коню напиться. За день он проскакал путь, на который пешеходу понадобятся все пять. Он омыл

руки и ноги и позволил коню войти в прохладные воды. И вдруг он заметил, что конь нервничает. Он огляделся и втянул ноздрями сырой сладкий воздух. Выше по течению кто-то плакал, ему показалось, что это плачет ребенок.

В наступившей тишине он вывел коня из воды и посмотрел на его настороженные уши. Сансай уже собирался вскочить на коня и продолжить путь, когда плач послышался снова.

Он прошел вверх по течению. На песке лежало двое детей, так похожих друг на друга, что Сансай тотчас же понял, что они близнецы. Он склонился над ними, бормоча:

— Где же ваша мать, о Аллах?

Он оторвал полу халата и прикрыл их голые тела. Стоило ему дотронуться до них, как лес огласился могучим рыком. Он услышал хруст ломаемых веток. Конь дико заржал и метнулся в сторону: его преследовал лев. Вмиг оба животных исчезли в зарослях.

Он слышал шум борьбы и, когда его конь снова дико заржал, понял, что произошло. Теперь, когда конь убит, лев бросится на человека. Он огляделся — нельзя ли скрыться? Скрыться было некуда. На другом берегу появилась женщина. Несколько минут она с любопытством смотрела на него, потом перешла поток вброд и одним прыжком оказалась возле детей. Мей Сансай открыл рот от изумления. Он никак не мог поверить своим глазам, поверить тому, что эта женщина — мать близнецов. Она перенесла детей в тень и, усевшись там, стала кормить их грудью. Сансай дрожал от страха.

— Она ничего не боится, дикая! Она живет среди зверей. Она сама зверь!

Она улыбнулась ему. Улыбка ее была живая и юная. Она огляделась и вдруг на непонятном языке позвала кого-то. Сансай услыхал громкий хруст ломаемых веток. Лев вернулся. Он сел рядом с женщиной, он облизывался и бил хвостом. В гортани дикой женщины дрожали нежные звуки.

— Твой конь мертв, что ты будешь делать? — спросила она Сансая.

Мей Сансай не осмеливался шевельнуть пальцем. Все его внимание было сосредоточено на льве, который смотрел на него голодными глазами.

— Придется тебе отдохнуть у нас, ничего не поделаешь,— сказала женщина.

И она поднялась. Мей Сансай опять увидел, как она высока. Снова она пробормотала что-то на непонятном языке, и лев скрылся в чаще. Тогда она повернулась к Сансаю.

— Дорога здесь,— сказала она на чистейшем фулани.

Не было никаких признаков, что дорога через чащу проходит именно здесь, но он скоро увидел, что молодая женщина знает эти места лучше любого пастуха. Она быстро находила путь в сгущавшихся сумерках, но они пришли к ее дому лишь после наступления темноты. На ее стоянке была одна жилая хижина и одна кладовая. Сансай подумал, что эти шаткие сооружения не переживут сильного ветра. Поляны перед домом не было. Из-за хижины доносилось мычание скота.

— Мое стадо,— пояснила дикая женщина.

— Все коровы белые,— заметил Сансай.

— Да.

— Так ты и есть та странная женщина с белым стадом, о которой ходят легенды! Аллах, сжалься надо мной!

— Аллах, пощади и меня! — сказала дикая женщина.— Я не коринрава. Коринрава — дух. А я смертная. Меня зовут Фатиме.

— Фатиме! — воскликнул Сансай и бросился к ней с распростертыми объятьями.— Пропавшая Фатиме! Подумать только, я вижу

тебя и не узнаю! — Он видел, что она не верит его словам.— Разве ты не узнаешь своего старого свекра? Я просто обрил голову. Разве ты не помнишь Мей Сансая, отца Одио, Джаллы и Рикку? Лах!

— Отец! — воскликнула Фатиме.

У дверей хижины появился лев.

— Не бойся,— сказала Фатиме.

Мей Сансай не мог вымолвить ни слова, пока она не прогнала льва с глаз.

— Фатиме, я всюду искал тебя. Я слышал столько рассказов о тебе и твоем стаде... Однажды ночью, южнее, я видел девушку, похожую на тебя. Я не поверил своим глазам.

— Лах! — сказала Фатиме.— Теперь Аллах соединит нас.

■

Они просидели всю ночь. Сансай заставил ее подробно рассказать о своих приключениях. Она рассказала, как Шеху силой увел ее от Одио и как она, в свою очередь, убежала от Шеху и жила в лесной глуши. Она повстречала там старого бездетного скотовода и некоторое время работала у него. Он обучил ее магии кореньев и трав и при расставании подарил ей двух коров и быка, причем все трое были белой масти. Она кочевала взад-вперед по саванне, делая переходы лишь в ночное время.

Что же касается льва, то Фатиме рассказала, что поймала его сосунком, убив львицу отравленной стрелой. Он не нападает на людей. Ей же он много раз спасал жизнь.

Сансай слушал ее с восхищением.

— Какие сказки мне рассказывали про тебя! Я даже слышал, что ты дух!

Фатиме рассмеялась.

Сансай смотрел на ее сверкающие глаза, они излучали счастье и бодрость, и старик был счастлив. Теперь он вернет ее в дом, и Рикку никогда не сможет упрекнуть его.

■

Когда рассвело, Мей Сансай увидел жалкое хозяйство Фатиме. Вплотную к хижине подступала высокая трава, сырая от росы, при прикосновении она обжигала кожу. Сама хижина была тесная и шаткая и совершенно пустая. Фатиме спала на охапке сена.

— И ты так жила все это время?

— Что ты хочешь сказать?

— Прости меня, ради Аллаха.

Она улыбнулась.

— Ты научил меня жизни скотоводов. Я была рабыней и не имела права любить свободно рожденного Рикку. Но теперь я очищена, ибо родила сама.

— Да, ты родила, и по закону ты более не рабыня.

Мей Сансай вдруг вспомнил о деле.

— Я должен уйти,— сказал он.— Твой лев убил моего коня и сейчас, наверно, пожирает его.

— Вай! — воскликнула Фатиме.

— Боюсь, что я уже опоздал,— пожаловался он,— я наверняка опоздал.

— Куда ты так спешишь?

— В Контаго!

— Так я покажу тебе кратчайший путь!

— Слушай,— сказал Сансай,— я должен сказать тебе правду. Речь идет о Рикку. До меня дошло, что Рикку держит в плену влиятельная женщина канури. Ее зовут Кантума, и она живет в Контаго. Вот почему я спешу туда.

Фатиме сверкнула глазами.

— Ты уверен, что она похитила его?

— Да.

— Я хочу отправиться в Контаго сама и поговорить с этой женщиной из моего родного племени.

Они говорили, стоя в бамбуковой роще. Сансай посмотрел на Фатиме.

— Она не может быть прекраснее тебя,— сказал Сансай.

Голубь опустился на бамбуковую ветку над их головами. Оба они смотрели на птицу. Голубь качался на тонкой веточке и поводил хвостом, стараясь сохранить равновесие. Что-то вспугнуло его, и он вспорхнул.

Мей Сансая залихорадило.

— Прости меня,— сказал он и бросился за голубем, вольным голубем, летевшим на юг.

■

Фатиме тоже наблюдала за птицей. Она заметила, как переменился Сансай при виде птицы. Когда он побежал, она ринулась за ним и поймала его за руку.

— Что случилось?

— Пусти! — закричал Сансай, пытаясь вырваться, но тонкая рука Фатиме оказалась сильной.

— Твои глаза налились кровью. Отец, у тебя бродячая болезнь.

— Ложь! Все ложь!

— Конечно, ты болен! И ты совсем не разыскивал меня, а просто был во власти колдовства...

— Пусти меня!

Он вырывался и царапался. Фатиме не поддавалась. Она привела его назад в хижину. Она издала странный звук, и лев стал на страже у двери.

— Если ты встанешь, он бросится на тебя,— она показала Сансаю на обнаженные клыки и когти льва.— Старый скотовод фулани раскрыл мне магию многих трав. Если бы не он, меня не было бы в живых. Я так сильно болела.

Она стала смешивать на дощечке какие-то порошки и затем развела их в холодном молоке. Молоко приобрело зеленоватый цвет. И все время она заговаривала свое снадобье. Затем она подняла кружку и произнесла:

— Выпей это, выпей, и кто бы ни был тот, кто сотворил это зелье, оно поможет тебе! Отныне сокуго выйдет из тебя. Твое тело навсегда избавится от заклятья.

Она стала бормотать странные слова и вскоре впала в транс. Мей Сансай морщился: снадобье было горькое.

Глава XIX

Лигу уже не думала о Сансае, все помыслы ее сосредоточились на том, чтобы освободить Рикку. На стоянке Лигу пастухи готовили скот к переходу.

— Я еду в Контаго,— объявила она и подхлестнула коня.

Возле глинобитного здания с минаретами она увидела четырех оседланных коней. Их держали под уздцы двое мальчишек, одетых в кано и белые шапочки. Лигу подошла к мужчине, который стоял на коленях и молился.

— Где дом Кантумы?

Человек, прервавший молитву, казался оскорбленным, всем своим видом он упрекал Лигу за то, что она произнесла нечистое имя перед человеком, обращающимся к Аллаху.

Он указал ей дом и стал перебирать четки. Когда Лигу переступила порог, мимо нее прошел человек с кипой бархатных платьев и множеством пузырьков с духами.

— Кантума дома? — спросила Лигу.

— Она варит пиво.

Лигу миновала десяток мужчин в белом, которые сидели у дверей и играли в карты. Ее сердце от страха стучало о ребра. В дверях она помедлила и, прежде чем поднять циновку, пожелала мира этому дому.

— Кто там?

— Это я.

— Войди же.

Кантума сидела на маленькой скамеечке и помешивала кипящее пиво. Увидев, что у нее в кухне совершенно незнакомая женщина, она широко раскрыла глаза.

— С миром ли ты пришла?

— Я пришла забрать моего сына.

— Твоего сына?

— Он здесь уже больше недели. Мы должны идти на юг. Мы хотим, чтобы ты отпустила его.

У Кантумы задрожали ресницы. Лигу видела, как она красива, и понимала, отчего мужчины теряют из-за нее рассудок.

— Его здесь нет.— Голос Кантумы был мелодичен.— Клянусь, его здесь нет. Клянусь Аллахом, если бы ты знала, где он...

— Ты меня не проведешь. Ты похищаешь мальчиков!

Кантума вскочила на ноги, разъяренная, как тигрица.

— Кто похищает мальчиков?

— Ты забрала мальчика и хотела, чтобы он забыл отца и мать. Знай же: мы, фулани, не любим вас, горожан. Мы дорожим своей простой жизнью, которая делает мужчину вольным и дает женщине силу и независимость. Ты можешь это понять?

Кантума пожирала Лигу глазами.

— Убирайся вон!

— Это ты всерьез?

— Убирайся вон!

— Не приближайся ко мне,— предупредила Лигу.

Но Кантума была глупа. С черпаком в руке она бросилась на Лигу. Лигу, на которую в свое время не раз бросались разъяренные быки, ловко отступила в сторону, и, когда Кантума всплеснула руками, пытаясь сохранить равновесие, Лигу обрушила на ее затылок такой удар, каким обычно приводила в чувство непокорных быков.

С проклятьями Кантума грохнулась на пол. Она ударилась лицом о стул, и на месте ушиба проступила черная полоса. Служанка внесла в комнату поднос с фарфоровыми чашечками, но в испуге выронила его и с криком бросилась прочь.

— Погоди, я расскажу об этом султану,— угрожала Кантума.

— Можешь рассказать кому хочешь,— сказала Лигу.— Ты можешь обратиться к правителю своего города, а я могу обратиться к правителю всех скотоводов. Да знаешь ли ты, с кем ты разговариваешь? — Ответа

не последовало, и она продолжила: — Слыхала ли ты, чтобы Лигу бросала когда-нибудь начатое дело?

Кантума широко раскрыла глаза.

— Лигу, царица пастухов, о которой поют в песнях? Умоляю, прости меня. Что же нам делать? Я не причиню Рикку никакого зла. Он такой милый мальчик.

— Он мне нужен, и это все. Дожди прекращаются. Трава пересыхает. Нам надо отгонять стада на юг к берегам великой реки, где молодая зеленая трава.

— Я открою тебе истинную правду,— сказала Кантума.— Мы пошли с ним на скачки. Рикку сел на коня, и больше я его не видела.

— А где ты его искала?

Стук в дверь заставил обеих женщин оглянуться.

— Салям!

— Кто там?

Но человек уже протиснулся в комнату. Это был огромный, очень черный мужчина с густыми темными бакенбардами.

— Шеху!

— Моя красавица! — ответил огромный мужчина.— Ты что-нибудь покупаешь у нее? — и он указал на Лигу.

Лигу не понравились его манеры.

— Шеху,— сказала Кантума,— я счастлива, что ты пришел.

— Тау! Дорогая моя. Ты станешь еще счастливее, когда я отдам тебе эту драгоценность.

Он надел ей на запястье большой блестящий браслет и поднес ее руку с украшением к глазам Лигу.

— Что, красивый?

Лигу не отвечала. Кантума казалась обеспокоенной.

— Где ты это достал?

— Ай! Ты хочешь сказать, что это краденое?

— Нет, нет. Только я совсем недавно видела что-то похожее. Кажется, его привёз сюда сын султана.

Шеху помрачнел. Ему показалось, что в комнате вдруг стало жарче. На лице его проступил пот.

— Эта женщина разыскивает своего сына,— сказала Кантума,— и она думает, что это я похитила его.

Она изложила Шеху историю Рикку и сказала, что Лигу обвиняет ее в похищении мальчика. Глаза Шеху сузились.

— Я должен идти по делу,— сказал он и без лишних слов сбежал по лестнице.

Кантума и Лигу следили за ним в окно. Он поскакал к дому султанского сына.

— Он очень плохой человек,— сказала Кантума.— Смотри, куда он отправился.

— Ты думаешь, он знает что-то о Рикку?

— Может быть,— сказала Кантума.— Поскачем за ним следом.

Она принесла две чадры и дала одну из них Лигу.

— Надень,— сказала Кантума. Она была возбуждена, и движения ее стали проворнее.

■

Спустившись по лестнице, они сели на коней. Они скакали по узким улочкам, они скакали мимо мужчин, направлявшихся с ослицами на базар, мимо женщин, красивших ткани у колодцев. Солнце весело осве-

щало гуавы и финиковые пальмы. Они остановились в центре большой площади, увидев, что Шеху вводит своего коня во двор дома султанского сына.

— Что делать? — спросила Лигу.

— Иди за мной до ворот,— сказала Кантума.— Я войду в дом. Я знакома с сыном султана. Он часто заходит в мой питейный дом.

Но не успели они тронуть коней, как дюжина всадников перерезала им дорогу. Грохоча подковами, они выскочили откуда-то сзади, оставив за собою облако пыли.

— Мы погибли,— сказала Кантума.

Всадники остановились на расстоянии нескольких шагов от Лигу и Кантумы.

— Да продлятся дни твои, Кантума! — крикнул главный.— Мы только что вернулись с поисков. У тебя дома нам сказали, что ты выехала с какой-то незнакомой женщиной.

— Вы видели Фатиме? — спросила Кантума.— Вы разыскали ее в саванне?

— Мы видели женщину в белом, белое стадо и льва. Но мы потеряли след.

— Мы преследуем врага.

Всадники шарахнулись в сторону. Лигу и Кантума подскакали к дому султанского сына.

Двое слуг встретили их у ворот и приняли коней.

— Принц дома?

— У него прием.

— Скажи ему, что его хочет видеть Кантума.

Вестовые скрылись, а Кантума и Лигу, оглядевшись, увидели прекрасных коней, высовывавших морды из дверей конюшни. Вскоре один слуга вернулся и повел Кантуму к принцу. Полная нетерпения Лигу стала ждать.

Глава XX

Поздно ночью Мей Сансай вошел в лагерь Лигу. При его приближении забрехали собаки. Из хижины выбежала девушка и закричала:

— Это Сансай! Сансай вернулся!

Он увидел, что это жена Джаллы Фиддигго.

— Клянусь Аллахом, Фиддигго, ты хорошеешь. Где твой муж Джалла?

— В хижине. Он заболел.

— Да смилостивится над ним Аллах.

— На него вдруг напала лихорадка. Но он выпил лекарство и уже поправляется. Путь от Малендо был долгий. А сейчас мы опять сложили пожитки. Мы просто ждем.

Говоря, она забрала у него суму и палку, она старалась приласкать его, вкладывала свою руку в его руку и смеялась. Однако он видел, что она нервничает.

— Войди в дом и поприветствуй Джаллу. Моя свекровь Шайту с Лигу и Лейбе отправились в Контаго.

Он вошел в хижину. Джалла лежал на циновке. Лицо его осунулось. На лбу появились морщины, а глаза при слабом свете казались золотыми.

— Как здоровье, Джалла?

— Да поможет нам Аллах! У меня страшная болезнь, но все же есть надежда. Худшее уже позади.

— Хвала Аллаху! — он повернулся к Фиддигго: — Пусть твой взгляд не отрывается от лица твоего мужа. Пусть он ни в чем не нуждается. А как Лигу, где она?

— Я же тебе сказала, что Лигу, Шайту и Лейбе отправились в Контаго. Первой уехала Лигу. Моя свекровь начала беспокоиться и тоже пошла туда.— В голосе Фиддигго слышалась тревога. Она сказала: — Нам пора идти на юг, а мы не можем идти, пока Рикку не с нами.

— Они еще не нашли Рикку?

— Нет. В городе был пожар. Все соломенные хижины сгорели.

— Чья рука это сделала?

— Мы пока не знаем.

— Я предвидел это! Я предвидел это! — закричал Мей Сансай.

— Куда ты? — воскликнула Фиддигго.— Ты что, хочешь вступить в бой? Слишком поздно! Подожди до утра.

— Бой? Какой бой? — захохотал Сансай.— Я должен вступить в бой!

— Они пытались вернуть Рикку, но безуспешно, тогда Лигу наняла нескольких всадников, и они поскакали в Контаго отнимать его силой.

Сансай молча разделся. Волнение в нем нарастало. Он надел кожаную рубашку, вытащил меч и вложил его назад в ножны. Меч удобно висел на поясе, и Сансай улыбнулся. Он привязал к предплечью два небольших кинжала и посмотрел на Фиддигго.

— Лошадь есть?

— За хижиной.

Было темно. Он проворно вскочил в седло. Фиддигго крикнула ему вслед:

— Ищи их возле мечети.

■

На улицах Контаго было темнее, чем в саванне. Сансай ехал осторожно и старался во мраке увидеть всадников Лигу. Внезапно несколько конных окружили его и стали расспрашивать. Он понял, что эти люди находятся в засаде. Наконец кто-то из всадников сказал:

— Добро пожаловать! Мы люди Лигу.

— Хвала Аллаху! Как обстоят дела?

— Мы выжидаем,— сказал главный.— Все кончится этой ночью.

— Да. Мы выжидаем. Нас предупредили, что Шеху собирается вывезти Рикку и Чике из Нигерии через пустыню. Мы только что узнали об этом!

— Лах! — воскликнул Сансай.— Как хорошо, что я здесь!

Рука коснулась его плеча.

— Добро пожаловать! — Это была Лигу.

— Лигу, прости, что я тогда покинул стоянку, не сказав ни слова.

— Аллах всех простит.— Она понизила голос: — Твоя жена Шайту и твоя дочь Лейбе в безопасности. Не бойся. Я укрыла их в доме подруги. Им бы следовало остаться у меня на стоянке!

— Да охранит их Аллах! — сказал Сансай.— Когда бой кончится, если я буду жив, я буду счастлив снова увидеть Лейбе!

— Рассказывай! Первое, что ты сделаешь, это побежишь за птичкой,— ухмыльнулась Лигу.

— Нет, Лигу! Это прошло. Я встретил Фатиме, и она излечила меня от сокуго. Больше я не буду скитаться и вернусь к моим хижинам в Докан Торо. Это мой дом. Я слишком стар, чтобы перегонять стада по саванне, пусть это делают молодые.

— Ты встретил Фатиме?
— Клянусь Аллахом!
— Тем более надо спасать Рикку.

■

Люди Лигу мрачно сидели на конях. Была глубокая ночь, и кое-кто из них начал дремать. Тогда они решили спать по очереди, чтобы кто-то постоянно наблюдал за домом султанского сына.

— Но что мы будем делать, если в доме есть другой выход? — спросил Мей Сансай.

— Другого выхода нет,— заверила Лигу.

Только теперь Сансай заметил пастухов, прижавшихся к подножию стены. Безмолвные, как призраки, они сидели с пастушьими палками в руках. Случайный прохожий никогда не заметил бы их и не заподозрил бы, что дом султанского сына обложен со всех сторон.

Вероятно, вскоре после полуночи чья-то рука коснулась Сансая. Он открыл глаза и увидел странные силуэты, таинственно двигавшиеся перед домом сына султана. Он напряг глаза и увидел, что это верблюды.

Из дому вышло несколько мужчин в тюрбанах. Ни у одного из них не было фонаря. Мужчины в тюрбанах подняли двух человек и положили их на верблюдов.

— Рикку и Чике,— прошептала Лигу.

У Сансая захватило дух. Припав к коню, он видел, как люди в темных тюрбанах и длиннополых халатах влезали на верблюдов и садились позади пленников.

Свист пронзил ночь. Это был условный знак. Все вокруг дома султанского сына пришло в движение. Вдруг ожило подножие стены. Сансай и всадники вступили в бой. Вооруженные люди из темного дома с криками встретили их.

Бой был кратким и яростным. Кони топтали упавших. Кричали верблюды. Арабы, выхватив ножи, беспощадно пустили их в ход.

— Бей их! — кричал Сансай.

— Отец! Отец! — в шуме боя донесся до него голос сына.

Сердце Сансая переполнилось радостью.

— Здесь ли вы, друзья мои? Покажите им, чего вы стоите! — закричал Сансай.

Пастухи удвоили усилия. Сансай споткнулся о тело. Убитый был Шеху.

Кто-то из людей Лигу подбежал к Сансаю и сказал, что только что видел, как Рикку с какой-то женщиной скрылся за стеной.

Сансай поспешил туда. Он увидел, что сын прощается с раненой молодой женщиной. Рикку громко плакал. Мей Сансай решил не мешать.

— Я умираю, Рикку, но как бы там ни было, я любила тебя!

— Не говори о смерти, Кантума...

— Прости меня, Рикку! Твоя Кантума умирает. Но у тебя есть Фатиме. Я вижу ее...

— Кантума!

— У тебя есть...

Сансай видел, как она безвольно повисла на руках Рикку. Сансай пошел к ним, но она уже умерла. Ничего не сказав, он повел сына прочь. Рикку содрогался от рыданий.

Они добрались до стоянки лишь утром и увидели, что все, Лигу, Шайту и Лейбе, Фиддигго и Джалла, с нетерпением ждут их, чтобы тут же выйти в долгий путь к югу.

Глава XXI

И действительно, наступила пора отгонять стада на юг, к берегам великой реки. По всей саванне охотники поджигали траву, разбрасывая по лугам тлеющий навоз. По ночам небо вдалеке озарялось огромными языками пламени, и в соломенных хижинах деревень слышно было потрескивание горящей травы, и повсюду полз ядовитый дым, удушавший животных и гнавший их прочь из нор.

По ночам блики пожарища плясали в загонах на горбах и рогах зебу. Лаяли собаки, а охотники с луками наизготовку поджидали добычу. Они жгли траву для того, чтобы с первыми дождями сочные побеги молодой травы поднялись по всей саванне, снова обрадовав стада. Таков был обычай, и, хотя лесничие не раз объясняли им, что это приносит вред деревьям, когда приходила пора, все шло по-старому: невидимая рука неизменно бросала тлеющий навоз в траву и скрывалась прежде, чем дым превращался в пламя.

Как только Джалле полегчало, они выступили на юг, к берегам Нигера, в те края между Буссой и Лакоджей, где Нигер зовется Кварра.

После трехдневного перехода они покинули Лигу, которая вела свое стадо на юг. Джалла и Фиддигго двинулись на юго-восток. А Сансай и Рикку отправились искать Фатиме. Они нашли деревню Даджин Баума и спросили у крестьянина дорогу к стоянке Фатиме. Он показал им следы скота, которые вели к Фатиме.

Фатиме ждала их. Она была оборванна и растрепанна, и глаза ее дико блуждали. С ее уст слетела печальная повесть: близнецы умерли, и она похоронила их. Она плакала всю ночь напролет, и Мей Сансай пытался сказать ей слово утешения, но тщетно. Казалось, между ней и Рикку возникла преграда: старик никак не мог этого понять. Он полагал, что, когда он разыщет Фатиме и приведет к ней Рикку, мальчик бросится к ней в объятья и покроет ее поцелуями. Теперь же ему казалось, что Рикку смотрит на нее, как на чужого человека.

Утром старый пастух спустился к ручью омыть лицо и произнести молитвы перед тем, как выйти в обратный путь к Лигу, Шайту и Лейбе.

За спиной послышался шорох, и, оглянувшись, он увидел сына.

— Отец,— сказал Рикку,— я хочу открыть тебе то, от чего у меня тяжело на сердце со вчерашнего дня.

— Говори, сын мой. Расскажи сейчас, чтобы не носить бремя потом.

Он видел слезы в глазах Рикку. Он отвернулся и стал поливать себе ноги водой.

— Я хочу сказать о Фатиме. Я... я больше ее не люблю!

— Лах! После таких терзаний!

— Отец, я не могу объяснить этого.

— Ты влюбился в ту женщину из Контаго, и ее смерть опечалила тебя.

— Нет, отец!

— Когда она была жива, ты видел ее изысканные манеры и принцев, ухаживавших за ней.

— Да нет же, отец.

Старик вздохнул.

— Вот так и получается, что наши люди все больше сторонятся трудной кочевой жизни и стремятся к удобной жизни в городе. — Он покачал головой.— Даже ты, сын мой!

— Отец, на самом деле все не так, как ты говоришь. Я понял, что мне еще рано жениться. Я люблю Фатиме как брат. Я ведь только мальчишка. Я стану взрослым через два сезона дождей.

Старик сидел, склонив голову. Он слышал мольбы сына, но не отвечал и лишь тер глаза.

— Я... я хочу пойти в Новую Чанку и повидать Одио,— говорил Рикку.— Потом я бы вернулся к Лигу и поработал у нее до тех пор, пока не сделаюсь взрослым. Это будет через два сезона дождей. И тогда, если Лигу останется довольна мной, она подарит мне несколько коров, и я начну жить самостоятельно.

Мей Сансай видел сына насквозь: маленький мальчик безумно, по-телячьи влюбился в женщину старше себя, в женщину из Контаго, которая более опытна в делах мира, чем он, старик.

— Ты хорошо говоришь, сын мой. Только сначала ты вернешься с нами в Докан Торо. Твоя мать должна сначала побыть с тобой.

— Да благословит тебя Аллах, отец!

Мей Сансай увидел в глазах сына восторг и почувствовал, что в груди у него что-то стеснилось. Он отвернулся, чтобы Рикку не видел его затуманившихся глаз.

— Иди на стоянку и жди меня.

— Слушаю, отец.

Рикку с песней ринулся к стоянке. Птицы на деревьях тоже пели.

Возвратившись к хижине, Сансай увидел удрученного Рикку. Нигде не было ни льва, ни Фатиме. Они принялись ждать ее, но когда солнце над их головами сделалось невыносимо жарким, они направились к югу и через два дня напряженной ходьбы догнали своих, приближавшихся к Докан Торо.

Мей Сансай никак не мог понять, отчего так таинственно исчезла Фатиме. Быть может, она подслушала их разговор у ручья или, может, сама почувствовала, что Рикку стал по-другому относиться к ней, и решила, что не может остаться в их семье? Но как бы там ни было, они больше никогда не слышали ни о Фатиме, ни о ее льве.

■

Сансай с семьей собирался побыть в Докан Торо недели две, чтобы как следует подготовиться к большому переходу на юг, к лугам у великой реки. Наконец-то старик был у себя дома. А домом его было несколько хижин на краю Докан Торо. Для скотовода фулани, который проводит всю жизнь в пути, дом — это то место, к которому приводят дороги скитаний. Для Сансая это была деревня Докан Торо.

Многое радовало старого скотовода. Он разыскал Фатиме для Рикку, хотя мальчик и перерос свою детскую влюбленность в нее. И гораздо более важно то, что он наконец собрал воедино осколки семьи. Он был уверен, что дела Одио в Новой Чанке пойдут хорошо. Это будет благотворно для Одио, он станет взрослым человеком, под влиянием ежедневного труда пройдут все его дикие порывы.

Но величайшей гордостью отца был, конечно, Джалла. Джалла показал, чем может стать сын пастуха. Стадо в тысячу голов и невеста Фиддигго! Что же касается позора на шарро, то в один прекрасный день Джалла покроет себя славой. Старик не забывал своих обещаний. Как только он станет жить более оседлой жизнью, он изготовит и пошлет Джалле дюжину заговоренных плетей, с которыми сын выйдет на следующее шарро. Правда, он и не мог бы желать для сына более прекрасной невесты, чем Фиддигго, но прежде всего следует восстановить честь рода Сансая.

По вечерам, когда все они, и Шайту, и Лейбе, и Рикку, собирались у костра и рассказывали о пережитом в разлуке, старик чувствовал, что былое счастье почти возвратилось к нему. Однако он утратил свое место

среди жителей Докан Торо, и, чтобы возвратить его, надо было отнять у Ардо звание вождя.

Сансай с семьей нарочно остановился не слишком близко к деревне. Однажды ночью Сансай и Рикку пробрались к хижине Ардо. Собаки не брехали, так как их пасти были запечатаны заколдованным мясом. Сансай и Рикку разбудили Ардо и предложили ему на выбор немедленную смерть или немедленное бегство. Как был, полуодетый, Ардо бросился прочь из деревни. Он не успел отбежать далеко, когда его хижины одна за другой взвились к небу столбами огня.

Наутро Сансай и его сторонники вошли в деревню. Деревня радовалась и ликовала. Девушки под доровами играли на скрипках гвоги и гремели калебасами, в то время как юноши состязались в ловкости и силе. Пели флейты, грохотали барабаны, на веселых ногах звенели браслеты. Для многих этот день означал конец самоуправству Ардо. Они давно знали Сансая как любящего отца и мудрого правителя. Нашлось много рук, пожелавших расчистить место и построить его семье хорошие красивые хижины.

Некоторое время Сансай чувствовал, что, как и в старые времена, крепко держит в руках нити своей жизни. Люди приходили к нему за предсказаниями. Они приносили ему раны тела и души. Он был в родной стихии.

Он знал, что скоро Рикку один уйдет в пастухи к Лигу. Рикку будет работать у Лигу до тех пор, пока она не подарит ему нескольких зебу, чтобы завести свое собственное стадо. Это хорошо. Мальчику нужно, чтобы кто-то старший заботливо присматривал за ним. Пусть сходит в Новую Чанку к Одио и полюбуется его сахарной мельницей. Но он принадлежит к племени скотоводов и должен вернуться к Лигу.

Вечером накануне ухода Рикку Сансай призвал его и сказал, что ему плохо. Ночью он весь горел и впал в забытье. Шайту, Лейбе и Рикку видели, что скитания отняли у старика все силы. Странствия по саванне оказались губительными.

Рикку и Шайту пытались исцелить его лучшими травами. Все было тщетно.

— В день смерти ни один врач не поможет,— улыбаясь, говорил Сансай.

Это уже был третий день болезни. Шайту и Рикку смело боролись со смертью.

— Рикку! — его голос, казалось, шел издалека. Улыбка появилась на его губах, и он испустил последний вздох.

Рикку стремглав ринулся на зов, но было уже поздно. Он зарыдал и в горе бросился наземь. Шайту подняла его, она тоже была вся в слезах.

Сансая очень любили, и его похоронили при великом стечении народа на месте прежней его стоянки близ Докан Торо. А затем Шайту и Рикку спешно покинули эти края, ибо недаром говорится, что место, где умер человек, приносит несчастье.

В. ЩЕРБИНА

РЕАЛИЗМ И ИДЕЙНОСТЬ

(Взгляды К. Маркса, Ф. Энгельса и некоторые литературные споры наших дней)

I

Понятие «реализм», на которое в последнее время особенно рьяно нападают защитники модернизма,— одно из главных в марксистской эстетике. Основы этой эстетики заложены в трудах К. Маркса и Ф. Энгельса. Подчеркнуть это существенно, так как до сих пор мы встречаемся с попытками представить дело так, будто бы К. Маркс и Ф. Энгельс не оставили сколько-нибудь законченную эстетическую концепцию, ограничились лишь случайными замечаниями об отдельных художественных явлениях. С измышлений об «отрывочности» и «устарелости» эстетических взглядов К. Маркса и Ф. Энгельса обычно начинается наступление на эстетику социалистического реализма.

За последнее десятилетие в мире произошли серьезные социальные сдвиги, затронувшие все стороны жизни, в том числе и художественное сознание людей. Революционное искусство обогатилось новым содержанием, еще более укрепились позиции социалистического реализма. В то же время оживились и различные антиреалистические течения в искусстве. В борьбе с этими течениями литература социалистического реализма опирается на марксистскую эстетику. Важно подчеркнуть, что на июньском пленуме ЦК КПСС, посвященном идеологической работе партии, наряду с другими главнейшими проблемами была поставлена задача отстаивать и разрабатывать, обращаясь к искусству наших дней, эстетические принципы марксизма.

Изучение взглядов К. Маркса и Ф. Энгельса на искусство ведется в СССР постоянно, широким фронтом. Только за последнее время вышли книги К. Ровды «Карл Маркс и художественная литература», С. Гуревича «Новая «Рейнская газета» К. Маркса и Ф. Энгельса», сборник статей «Маркс и Энгельс и первые пролетарские революционеры», где речь идет об отношении Маркса и Энгельса к современной им революционной поэзии, и многие другие. Эстетические идеи основоположников марксизма для советских теоретиков искусства служат методологическим критерием в подходе к художественным явлениям как прошлого, так и настоящего. В частности, взгляды основоположников научного социализма на взаимоотношения искусства и действительности — одну из главных проблем материалистической эстетики — подвергнуты детальному рассмотрению в недавно вышедшем в свет содержательном исследовании Г. Фридлендера «К. Маркс и Ф. Энгельс и вопросы литературы» и в некоторых других книгах и статьях.

Развивая свою эстетику как боевую и революционную, К. Маркс и Ф. Энгельс установили взаимосвязь искусства со всеми сторонами общественного бытия. Уже в ран-

ний период, работая над «Немецкой идеологией», они утверждали: «Не существует истории политики, права, науки и т. д. искусства, религии и т. д.»*, то есть не существует истории всех этих форм духовного бытия людей вне истории общества, вне движения действительности.

Дух суждений К. Маркса и Ф. Энгельса противоположен всякого рода пессимистическим теориям о неизбежности угасания художественного творчества. Прогресс литературы в марксистском понимании является одним из выражений общего прогресса человечества. Воззрения классиков научного социализма на судьбы художественного творчества опровергают скептические прогнозы представителей идеалистической эстетики, усматривающих в обострении общественных противоречий лишь губительное для искусства начало. Оптимистические взгляды К. Маркса и Ф. Энгельса на искусство будущего, которое они всецело связывали с социализмом, с новыми условиями общественного бытия и сознания, опираются на тщательное изучение ими опыта развития мирового искусства.

Не случайно противники марксизма прежде всего стремятся опровергнуть представление об исторической, социальной природе искусства, его органической слитности со всем широким движением материальной и духовной жизни эпохи. Причины особого внимания к этой проблеме понятны: отрицание исторической природы искусства, его связи с определенными идеологическими течениями расчищает почву для антиобщественных, декадентских теорий. При всех различиях, писателям-реалистам присущ сознательный или стихийный историзм художественного мышления, стремление к воспроизведению динамики времени, социальных противоречий действительности. Разные виды формализма и его крайнее выражение — абстракционизм, напротив, исходят из отрицания прогресса общества, объявляют саму идею историзма иллюзорной.

Показательно с этой точки зрения выступление французского критика Мориса Надо в журнале «Леттр нувель»**. Общество, с точки зрения этого критика, характеризуется в равной мере как экономической системой, социальными отношениями, политическими формами, так и этическими представлениями, нравами, идеалами, художественными явлениями. Стремление уравнять все сферы общественного бытия, естественно, влечет за собой вывод о самостоятельном и более того — герметическом существовании искусства, вне закономерностей и проблем исторического развития общества.

По мнению Надо, социальные и классовые категории действительны только по отношению к рядовым представителям массы; представители некоторых классов, а именно — простые труженики, замыкаются в обществе, навсегда остаются его «пленниками». Что же касается индивидов другой, духовно более высокой категории (к ним причисляются «революционеры» и деятели культуры), то они существуют по своим собственным индивидуальным законам. А это, по мысли Надо, и определяет природу искусства, его абсолютный характер. «Это не значит,— говорит Надо,— что вторые в меньшей степени зависят от социальной среды, чем первые, и что Платон, например, не был продуктом рабовладельческого общества, но это означает просто-напросто, что в силу определенного аспекта их деятельности или даже в силу всей их деятельности, революционер, деятель культуры, художник и сам Платон ускользают от общества, в котором они живут, и достигают всеобщего в мысли, искусстве, в научной дисциплине, возвышающегося над веками и континентами. Формула, согласно которой «господствующая идеология есть не что иное, как идеология господствующего класса», совершенно бесполезна для изучения узкой среды в короткий промежуток времени».

Полемизируя с марксистской идеей исторической, классовой природы искусства, Надо видит источник действенности искусства в возвышении над бытием, над своей эпохой с ее конкретными проблемами и заботами, в отвлечении в сферу внеисторической всеобщности, всечеловечности или, как теперь принято говорить, «универсальности».

Отсюда следует стандартный, общий для всех подобных концепций вывод, что в наше время марксистская теория потеряла свою силу. «Восхитительные формулы Маркса,— заявляет Надо,— отнюдь не могут ныне служить всеоткрывающим ключом, ибо мы чувствуем, что живем в переходном обществе со сложными формами».

---

* К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., изд. 1-е, т. IV. стр 592.

** Maurice Nadeau. L'intellectuel dans son milien. "Les lettres nouvelles" № 32, 1963.

Идея надысторичности искусства определяет позицию Надо, когда речь идет и об участии художника в общественной жизни. Согласно взглядам Надо, большой общественный резонанс, который вызывают гуманистические выступления крупных писателей, как раз усиливается отвлеченностью их искусства от политики. «Чем более художник поглощен своим искусством,— пишет Надо,— то есть внешне отсутствует, оставаясь как бы не причастным к тому, что происходит в мире, тем более он присутствует в этом мире, в случае крайней необходимости, вмешиваясь лично в происходящее».

Надо не только искажает и упрощает положения марксистской эстетики, он грешит против самой реальности: чем более обостряются общественные противоречия, тем более широкий размах на наших глазах приобретает противоположный процесс — процесс отказа крупнейших художников от отвлеченности, процесс обращения в искусстве к основным проблемам современности.

II

Выдвинуть на первый план проблему реализма как самого плодотворного, самого перспективного по своим творческим возможностям художественного метода побудила К. Маркса и Ф. Энгельса вся история развития искусства. Именно реализм наиболее соответствовал тем высоким задачам художественного «освоения» жизни, которые, по мысли основоположников научного социализма, стоят перед искусством. К. Маркс и Ф. Энгельс органически связывали художественное творчество со всем многогранным процессом познания и преобразования мира, с потребностью не только объяснять, но и изменять его.

Углубляя и развивая основные положения марксистской эстетики, В. И. Ленин подчеркивал, что подлинное искусство непременно отображает движение жизни, ее важнейшие проблемы, конфликты, расстановку общественных сил: «...если перед нами действительно великий художник,— писал он в статье «Лев Толстой, как зеркало русской революции»,— то некоторые хотя бы из существенных сторон революции он должен был отразить в своих произведениях» *.

Основной принцип реалистического искусства — образное воссоздание действительности — никак не предполагает какого-либо ущемления индивидуальности художника, напротив, дает ей большой простор, жизненную почву. Для образного освоения действительности необходимы громадный запас наблюдений, постоянное проникновение в закономерности искусства и овладение его средствами, накопление творческого опыта, напряженная работа мысли, развитие чувств — все это, естественно, относится к личности художника.

Потому нельзя согласиться с точкой зрения Джулиано Скаббиа, высказанной в письме, присланном им в итальянский журнал «Ринашита» *. Джулиано Скаббиа считает, что эстетика социалистического реализма предполагает простое пассивное отражение действительности. «Мне кажется,— заявляет он,— концепция социалистического реализма, теоретически изложенная в некоторых советских документах, содержит в себе позитивистские элементы, несовместимые с диалектическим мировоззрением. Концепция социалистического реализма основана на убеждении, что содержание, вложенное в произведение искусства, само по себе характеризует наличие или, напротив, отсутствие impegno ** у художника. Такие моменты, как осознание и конструирование действительности, забываются, когда утверждают, что объект полностью поглощает в себя, детерминирует идею; при подобном теоретизировании очевидна детерминистическая концепция отношений субъекта и объекта, когда объект понимается как нечто, неподвижно застывшее перед лицом субъекта, не воздействующее на него и само под его воздействием не трансформирующееся».

К сожалению, остается неясным, какие «советские документы» имеет в виду Д. Скаббиа. Он обнаруживает незнание или непонимание концепции советского искусства. Социалистической эстетике чужд тот разрыв между познанием и активностью в художественном творчестве, который усматривает в нем Д. Скаббиа, не видя, что активность — в позиции художника, в отборе материала, в самой направленности процесса познания. Мы привели эти суждения Скаббиа для того, чтобы наглядно проиллюстрировать, насколько распространены

---

* В. И. Ленин. Соч., IV изд., т. 15. стр 179.

* «Rinascita» № 6, 1963.

** Здесь. определенная общественная позиция (*итал.*).

разного рода надуманные версии о художественной природе социалистического реализма, как мало знакомы некоторые зарубежные литераторы с подлинными принципами советского искусства.

Художник-реалист стремится к отображению жизни во всей многогранности, а не только «чистой» идеи. Художнику-реалисту свойственно в своем творчестве идти от живых впечатлений действительности к идейно-художественным обобщениям. Бесспорно, этот общий эстетический принцип, как особый тип образного мышления, не исчерпывает всех признаков реализма. Но тем не менее он является основополагающим, наиболее последовательно и глубоко развитым в реализме.

Сторонникам субъективизма в наши дни очень полезно напомнить мысль Маркса о зависимости искусства не только от личности художника, но и от предмета изображения. Предмет изображения имеет свои отличительные черты, свою сущность, которые не может игнорировать художник, в какой бы стилистической манере он ни писал. К. Маркс по этому поводу утверждал: «Но если мы оставим даже в стороне все *субъективное,* а именно то обстоятельство, что один и тот же предмет различно преломляется в различных индивидах и превращает свои различные стороны в столько же различных духовных характеров, то разве *характер самого предмета* не должен оказывать никакого, даже... ничтожного влияния на исследование?»*

По словам противников реализма, обращение искусства к подлинному облику и логике объективной действительности не дает доступа к «высшим внутренним откровениям», составляющим сущность бытия современного человека. Истинность реального мира и человеческой деятельности расценивается как ложная, иллюзорная идея, охватывающая лишь обманчивую, несущественную внешнюю сторону жизни.

Рождение модернизма его теоретики стараются выдать за новый высший этап в развитии искусства, поскольку, с их точки зрения, реализм исторически себя исчерпал, отжил свой век. Западногерманский литературовед, один из видных теоретиков модернизма Вильгельм Эмрих истоком современного модернизма считает «художественную революцию, которая разыгралась в начале нашего столетия и вызвала на свет как формы абстрактной живописи и современной атональной музыки, так и загадочно иероглифическую поэзию и герметический образный мир таких писателей, как Тракль, Кафка и Рильке (в своей поздней лирике)». Смысл этого эстетического «переворота», по словам В. Эмриха, состоит в том, что некоторые художники покинули мир обычных представлений и отношений, отвернулись от предметности мира, от того, что видят наши глаза, что слышат наши уши, и начали искать новые слова, «где всякий смысл растворяется, словно облако» *. Поучительно, что эти художники не могут, несмотря на свой отказ от предметности, не писать о вещах, составляющих окружение человека. Но у них мир вещей теряет оболочку своего эмпирического пространственно-временного существования, становится «загадочным иероглифом» внутреннего переживания.

Шаткость общих позиций теоретиков антиреализма видна хотя бы из того, что они вынуждены прибегать к системе мистификаций и выдумок. Одна из таких выдумок — легенда о творческой неподвижности, статичности социалистического реализма, о якобы свойственной ему бескрылой описательности, пристрастии к внешнему правдоподобию, ограничивающемуся тщательным выписыванием деталей.

Искусство революции предполагает воссоздание широкого потока жизни, проницательное углубление в сложный процесс движения действительности, умение видеть в каждом явлении его прошлое, настоящее и будущее, уловить рождение новых общественных сил. Сравнивая революционное искусство с отзывчивостью многострунной эоловой арфы, К. Маркс замечал: «Обыкновенные арфы звучат в любой руке: эоловы арфы лишь тогда, когда по их струнам ударяет буря» **.

Утверждая, что революционная литература пойдет по пути реализма, Маркс и Энгельс полагали, что реализм должен вобрать в себя все прогрессивное, что есть в других литературных направлениях. Эта широта взглядов основоположников научного социализма отчетливо проявляется, в част-

---

* К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., изд. 2 е, т. I, стр 7.

* "Akzente" № 2, 1956.

** К. Маркс и Ф. Энгельс. Из ранних произведений. Госполитиздат, 1956, стр. 196.

ности, в их оценке романтического искусства. Известен, например, отзыв Энгельса о «Песне силезских ткачей», в которой вырисовывался «гордый, грозный, революционный пролетарий». Принцип социалистического реализма — воспроизведение действительности в ее развитии — дает простор для поисков художника, никак не ограничивая его в средствах изображения. Противники социалистического реализма стремятся представить революционную литературу как поток однообразных серых книг. Реальность опровергает их. Социалистический реализм вбирает в себя, например, творчество столь разных поэтов, как Маяковский и Твардовский, Назым Хикмет и Пабло Неруда, Межелайтис и Поль Элюар. Социалистический реализм — и это особенно заметно именно в поэзии — предполагает богатство и разнообразие форм искусства. Опыт ведущих мастеров социалистического реализма показывает, что этот метод включает в себя как произведения, которые развивают формы классического реализма, так и те, авторы которых обращаются к условной манере.

И едва ли верно, как это делают некоторые наши исследователи литературы, исходя из предвзятого мнения о неправомерности той или иной творческой манеры, ограничивать творческий диапазон литературы, во имя широких обобщений отвергая искусство в «формах самой жизни», или, наоборот, ради предметного полнокровия, отбрасывая все виды условного художественного синтеза.

Произведения социалистической литературы объединяются прежде всего общими исходными творческими принципами, одухотворены едиными гуманистическими идеями и целями. Их объединяет, несмотря на различие индивидуальностей и изобразительных средств, стремление к художественному проникновению в глубь основных процессов эпохи, к образному утверждению нового человека, новых отношений, рожденных социализмом.

Непреложным является тот факт, что социалистический реализм представляет собой авангард мирового искусства. Сфера его воздействия постоянно ширится. Так, он завоевывает верных сторонников в странах, сбросивших с себя колониальный гнет. К социалистическому реализму тяготеет литература, связанная с идеями национально-освободительного движения в странах Азии, Африки, Латинской Америки. Она имеет большие перспективы, так как служит возрастающей потребности в художественной правде, в познании жизни, в радости приобщения к прекрасному.

III

Марксистское утверждение жизненной основы литературы не имеет ничего общего с ложной концепцией автоматического «диктата» действительности в искусстве, по сути дела отрицающей роль мировоззрения художника.

Слияние передовой идейности с правдивым, образным воспроизведением жизни, согласно марксистской концепции,— главный закон и критерий искусства социалистического реализма.

Подчеркнутая антиинтеллектуальность, враждебность мысли, идеям, сознанию объединяют наиболее последовательные антиреалистические течения наших дней. Американский искусствовед Гарри Колмен утверждает, например, что главная цель современного художника — освободить искусство от давления интеллектуальных и общественных факторов, ограничив его областью подсознательного, интуитивного.

Теоретики современного декаданса отнюдь не говорят нового слова в эстетике: их взгляды на искусство представляют собой эклектическую смесь интуитивизма А. Бергсона с гартмановской идеей бессознательного.

Для современной декадентской литературы характерно утверждение, что между «сознанием» и «действительностью», между разумом и жизнью существует постоянный, неразрешимый конфликт. Несомненно, в этом проявляется растерянность некоторых кругов западной интеллигенции перед сложностью современных общественных проблем.

Декадентская литература с ее скептическим отношением к силе разума представляет собою часть более широкого антиинтеллектуального потока, включающего в себя философские, этические, исторические учения, захватывающего все сферы духовной жизни буржуазного мира. «Антиидеология» и ее эстетические ответвления связаны с устремлением к отказу от всякой духовной, нравственной, психологической и художественной определенности, с утверждением субъективного произвола и антигуманизма.

Разрушительные устремления теоретиков «антиидеологии» простираются чрезвычайно

далеко. Из положения о предельной прозаизации, автоматизации и безличности человека «атомной эпохи» делается вывод о неизбежности «пересмотра» самой эстетики, смысла искусства. Категории «прекрасное», «возвышенное» объявляются устаревшими, недейственными, подлежащими уничтожению в искусстве современности. Разные виды «антиидеологии» органически входят в общее разрушительное умонастроение, проникающее все области духовной жизни, вызывающее в искусстве концепции «антиромана», «антифильма», «антидрамы». Эти модные термины раскрывают предел самоотрицания, заложенного в природе отвлеченного от жизни искусства, обнажая сущность модернизма — устремленность к саморазрушению искусства. Столь крайнее отрицание всех сложившихся на протяжении веков форм искусства определено потерей общественно-философского кругозора, вольными или невольными, наивными или эгоистическими попытками уклониться от решения сложных проблем и конфликтов эпохи. Всякие воззрения, недооценивающие роль передовых политических, философских и эстетических идей в развитии современной литературы, противоречат исторической истине. Развитие искусства на всем протяжении его исторического пути было плодотворным только в тесной связи с передовыми идеями эпохи.

IV

Теоретическое наследие К. Маркса и Ф. Энгельса дает основы для более интенсивного исследования понятия «идея», еще недостаточно освещенного в нашей эстетической литературе. Маркс и Энгельс всегда настаивали на том, что идеи, овладевая сознанием масс, становятся могучей преобразующей силой. Именно идея воплощает в себе отношение человека к действительности. Вместе с тем марксизм утверждает, что все идеи извлечены из опыта, они — выражение действительности. Все современные идеалистические системы, напротив, определяют идеи исключительно как порождение формирующей деятельности мышления. Выяснение разных граней понятия «идея» очень важно для осмысления его проявления в искусстве. Трактовка роли идей в жизни, данная Марксом и Энгельсом, раскрывает во взаимосвязи как материалистическое происхождение и природу идей, так и их значение как форм мышления. Ленин включает в определение идеи, кроме знания, такие неотделимые в процессе человеческого познания и практики моменты, как «хотение», «стремление», то есть активность, действенность, страсть. Реально исторически идеи возникают, существуют, развиваются, претворяются в жизнь лишь в слиянии всех этих органически связанных друг с другом явлений.

Марксистская эстетика отвергает приниженные воззрения на искусство как простую иллюстрацию идей, как беллетризованное подтверждение заданных тезисов. Освещая взаимоотношения в искусстве материала жизни и идеи, К. Маркс и Ф. Энгельс опирались на гигантский опыт мировой художественной культуры. Гёте в размышлениях о «Фаусте» очень точно и тонко отметил особенность творческого процесса: «...хорошая это была бы штука, если бы я попытался такую богатую, пеструю и в высшей степени разнообразную жизнь, которую я вложил в моего «Фауста», нанизывать на тощий шнурочек одной единой для всего произведения идеи!»

Действенная, формирующая идея в художественном творчестве имеет мало общего с «тощим шнурочком» предопределяющей отвлеченности; подлинно творческая идея — это сочетание мысли, целеустремленной страсти художника, проникающей и направляющей, в соответствии с логикой характеров героев, всю образную систему произведения. И, напротив, тусклость и серость в литературе господствуют там, где вместо подлинного художественного воплощения появляется рассудочное иллюстрирование абстрактных положений.

С точки зрения основоположников марксизма, искусство, развиваясь в общем потоке человеческого бытия как одна из форм самосознания общества, входит в идеологическую систему эпохи. Однако они подчеркивали многосторонность связей искусства с жизнью, его обращенность ко всем граням бытия. Они категорически отвергали попытки ограничить искусство областью одних только, хотя бы и самых правильных, умозрений.

Из работ К. Маркса и Ф. Энгельса встает живой облик эпохи, во всем богатстве и многогранности ее экономического, политического, духовного, эстетического содержания, в борьбе реальных человеческих инте-

ресов и страстей Как говорил Ленин, Маркс показывает «всю капиталистическую общественную формацию как живую — с ее бытовыми сторонами, с фактическим социальным проявлением присущего производственным отношениям антагонизма классов, с буржуазной политической надстройкой, охраняющей господство класса капиталистов, с буржуазными идеями свободы, равенства и т. п., с буржуазными семейными отношениями» *.

К сожалению, некоторые современные историки и литературоведы неправомерно сужают поле своего исследования. В борьбе с идеалистами они подчеркивают в первую очередь значение экономического фактора, материального базиса, а в полемике с вульгарными материалистами обращают внимание главным образом на роль надстройки в жизни общества. Сложность и разносторонность исторического процесса они механически расщепляют на отдельные явления.

Такого рода односторонний подход особенно неприемлем, когда речь идет об искусстве, предмет которого — общество в целом и прежде всего человек во всей совокупности его социальных, интеллектуальных, психических и бытовых черт.

Безусловно, художник отбирает и воспроизводит материал жизни с определенных идейных позиций. Носителями различных общественных взглядов выступают его литературные герои. Все это так. И все же искусство не сводится к осознанной или неосознанной совокупности определенных политических теорий и представлений. Искусство «осваивает» мир в соответствии со своими внутренними законами, по-иному, нежели политические науки.

Передовая идейность неотделима от образной ткани произведения, от художественного воссоздания действительности, она совпадает с объективным ходом жизни, выражает ее закономерности. Она пронизывает все компоненты произведения, определяет отбор и освещение явлений жизни, растворяясь, по словам В. Г. Белинского, как свет в хрустале, но она далеко не исчерпывает того, что дает нам искусство.

В. И. Ленин писал о богатстве конкретного, которое остается за пределами идеи. Идея не исчерпывает конкретной, чувственной стороны жизни, не включает в себя плоть, краски и запахи земли. За пределами идеи остается конкретно-чувственное наполнение образа.

Самое непосредственное отношение к природе искусства имеет мысль Маркса об единстве в деятельности человека мышления и чувственного восприятия, внутреннего и предметного мира. «Все предметы,— подробно обосновывает свою мысль К Маркс,— становятся для него *опредмечиванием* самого себя, утверждением и осуществлением его индивидуальности, *его* предметами, а это значит, что предмет становится *им самим*. То, *как* они становятся для него *его* предметами, зависит от *природы предмета* и от природы соответствующей *ей сущностной силы;* ибо именно *определенность* этого отношения создает особый, *действительный* способ утверждения. *Глазом* предмет воспринимается иначе, чем *ухом*, и предмет глаза — иной, чем предмет *уха*. Своеобразие каждой сущностной силы — это как раз ее *своеобразная сущность,* следовательно, и своеобразный способ ее опредмечивания, ее *предметно-действительного,* живого *бытия.* Поэтому не только в мышлении, но и *всеми* чувствами человек утверждает себя в предметном мире»*.

Идеологические представления писателя обязательно должны найти органическое слияние с реальным процессом жизни, претвориться в естественные, убедительные судьбы людей. Искусственное же приспособление, подтягивание материала действительности ради иллюстрации заданной идеи не достигает цели, так как идея и логика жизни оказываются в противоречии друг с другом, не сливаются в живом единстве художественного образа. Упрощенная «идеологизация» искусства, подмена действительности, ее плоти общими положениями рождает схематические образы, не затрагивающие сознание и чувства читателей.

Тот, кто полагает, будто бы, став на путь такой «идеологизации», он наиболее отчетливо и полно выражает историческую сущность явлений и проявляет партийность своей позиции, глубоко ошибается: он просто подменяет подлинное художественное исследование жизни иллюстрацией готовых тезисов, схематизирует, обедняет своих героев.

Мировоззренческая «доминанта» не исчерпывает огромного нравственно-психологического, эмоционального содержания личности, все богатство человеческих чувств и отношений, которые передает искусство.

---

* В. И. Ленин Соч., изд. IV, т. 1, стр. 124.

* «К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве», т. 1, М., 1957, стр. 141.

Без этого все люди будут выглядеть на один лад, по существу, будет потеряно реальное жизненное многообразие типов и индивидуальностей.

Именно образность, жизненная наполненность искусства, неопровержимая истинность и богатство его содержания дают возможность ему в свою очередь пролагать новые пути человеческой мысли.

Характеризуя природу искусства, Маркс связывает художественную деятельность людей с их стремлением творить по законам красоты.

«Животное формирует материю только сообразно мерке и потребности того вида, к которому оно принадлежит, тогда как человек умеет прилагать к предмету соответствующую мерку: в силу этого человек формирует материю также и по законам красоты»*.

О специфичности художественной деятельности, формирования человеком материи «по законам красоты», ее отличия от науки интересно писал И. Бехер. Поэт высказывает мысль о синтезе понятий правды, добра и красоты в искусстве. И. Бехер размышляет по этому поводу: «Маркс подчеркивает, что человек формирует также и по законам красоты, это значит — в самом человеке заложена потребность в красоте, и эта потребность должна быть удовлетворена. Потребность в красоте не тождественна потребности в правде, как не тождественны правда с красотой и как оба понятия не тождественны с понятием добра. Нужно разделять понятия, то есть хранить чистоту каждого из них, а не смешивать и растворять одно в другом, иначе воцарится хаос понятий. Итак, человек формирует также и по законам красоты, и особое призвание искусства — открывать эти законы красоты и следовать им. Несомненно, существуют крупные произведения искусства, созданные не по законам красоты, но представляющие собой другую ценность, например, познавательно-критическую или общественно-критическую. В искусстве вообще понятия красоты, правды и добра вступают друг с другом в многочисленные связи и отнюдь не существуют в «химически чистом» виде»**.

Особенно актуальна сейчас мысль Бехера о неотделимости в искусстве нравственного, познавательного и эстетического начал, выраженная в формуле слияния в искусстве правды, добра и красоты.

Богатство чувств, стремление к прекрасному и возвышенному — одна из важнейших сфер утверждения человека в действительности, один из источников его духовной силы. Поход, развернувшийся в наши дни в декадентской эстетике против правдивого отражения действительности, направлен в первую очередь к тому, чтобы утвердить в искусстве «сдвинутое», искаженное изображение человека, его внутреннего мира, разрушить все понятия о разумном и бессмысленном, добром и злом, отвратительном и прекрасном. Разрушение образной природы творчества связано со стремлением изгнать из искусства всякие общественные и нравственные идеалы, эмоции, возвышенные цели. В большом ходу у теоретиков модернизма требование отказаться от якобы отжившей, не свойственной современному человеку романтики, «замораживать» свои чувства, не допускать в свои произведения эмоций.

Стремление «подморозить» искусство находит свое теоретическое обоснование во взгляде на человеческие чувства как на нечто, сковывающее личность. Экзистенциалистская философия и эстетика считают, например, всякие проявления страсти сковывающими свободу личности. Некогда Гегель, называя страсть субъективной стороной энергии, утверждал, что, ничто великое не совершалось без страсти и не может свершиться без нее. Экзистенциализм, напротив, усматривает в страсти одну из жизненных иллюзий, нарушающих естественный ход существования. Страсть, как всепоглощающее влечение, подчиняющее себе все мысли, чувства и желания человека, по теориям Кьеркегора и Хейдеггера, нарушает нормальное существование человека, делает его несвободным.

Теоретики антиобщественных течений в искусстве, неправомерно стараются представить эстетическую и эмоциональную стороны искусства совершенно чуждыми друг другу. В конечном же счете проблема эмоционального начала в искусстве всегда упирается в позицию художника, особенности его отношения к действительности, своеобразие мировосприятия.

Художественное произведение обязательно должно доставлять радость, удовлетворять

---

* К. Маркс и Ф Энгельс. Из ранних произведений, Госполитиздат. 1956, стр. 566.
** И. Бехер. В защиту поэзии. М., Изд во иностранной литературы, 1959, стр. 300.

потребность людей в прекрасном, тем самым способствуя познанию жизни человеком. Искусство по своей природе чувственно, конкретно и поэтому в большей степени, нежели наука, воздействует на эмоциональный мир человека.

В последние годы проблема взаимоотношений искусства и науки вызвала острую полемику. Зачастую утверждается: цель науки — дать знания. Цель искусства — воспитать душевный, эмоциональный мир человека, удовлетворить его эстетические потребности. Противопоставление в искусстве идеи — чувству, познания — эмоциональному воздействию, которое давно пропагандируется идеалистической эстетикой, насильственно расчленяет, разъединяет органически слитные компоненты искусства, тем самым разрушает его образную природу. Путь большого искусства социализма — глубина мысли, обаяние красоты, сила правды, богатство чувств.

V

Самые обостренные споры, в которых сталкиваются непримиримые идейно-эстетические воззрения, идут вокруг проблемы тенденциозности литературы.

Понятие тенденциозности художественного творчества сопровождает многовековое развитие искусства и приобретает в каждый новый период его истории новые формы и новые истолкования. В суждениях К. Маркса и Ф. Энгельса о социалистической тенденциозности литературы намечены основные положения, входящие в наше понимание принципа партийности литературы.

К проблеме тенденциозности в литературе К. Маркс и Ф. Энгельс обращались неоднократно. Показательно в этом отношении, например, известное письмо Ф. Энгельса к М. Каутской. Творческую плодотворность социалистической тенденциозности Энгельс обосновывает на широком фоне истории мировой литературы, рядом примеров подтверждая возможность свободного, непринужденного слияния ее с художественной образностью. «Я ни в коем случае,— пишет Энгельс,— не противник тенденциозной поэзии как таковой. Отец трагедии Эсхил и отец комедии Аристофан были оба ярко выраженными тенденциозными поэтами, точно так же и Данте и Сервантес, а главное достоинство «Коварства и любви» Шиллера состоит в том, что это — первая немецкая политически-тенденциозная драма. Современные русские и норвежские писатели, которые пишут превосходные романы, все сплошь тенденциозны» *.

В сложной картине мировой литературы нашей эпохи тенденциозность разных художественных явлений выражает самые противоположные общественные и художественные стремления. Есть революционная гуманистическая тенденциозность Горького, Маяковского, Брехта, Роллана, Арагона и есть тенденциозность поборников реакции, равнодушия к человеку. Есть тенденциозность защитников правды, гуманности, мира и есть бездушная тенденциозность декадентства, противников правды и человека.

Маркс и Энгельс, отвергая все разговоры о «незаинтересованности» художника, последовательно отстаивали социалистическую тенденциозность революционной литературы. Разработанный в условиях дальнейшего развития классовой борьбы ленинский принцип партийности литературы явился закономерным продолжением открытий основоположников научного социализма.

Выдвигая и определяя принцип партийности литературы, Ленин развивал мысли К. Маркса и Ф. Энгельса об общественных функциях искусства. Ленинский принцип партийности литературы — высшая форма народности, наиболее полное выражение боевой направленности творчества передовых писателей, сознательно отдающих свое дарование делу социализма. Под партийностью Ленин понимал обязанность каждого деятеля «при всякой оценке события прямо и открыто становиться на точку зрения определенной общественной группы»**.

Ленин указывал, что «строгая партийность есть спутник и результат высоко развитой классовой борьбы». Ленинские мысли о литературе эпохи революции, изложенные в статье «Партийная организация и партийная литература», имеют огромное историческое значение в определении места художника в общественной жизни, в развитии социалистического искусства. Ленин выдвинул задачу создания подлинно свободной литературы, основанной на идеях научного социализма, которая будет служить миллионам трудящихся, составляющим «цвет страны, ее силу, ее будущность».

Значение и смысл принципа партийности в советской литературе и искусстве точно определил Н. С. Хрущев:

---

* «К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве», т. 1, М., 1957 г., стр. 9.

** В. И. Ленин. Соч., изд. IV, т. 1, стр. 380—381.

«Некоторые буржуазные журналисты иной раз говорят, что партийность в литературе и искусстве — это какое-то принуждение. Для советского писателя, деятеля искусства, любящего свой народ, партийность его произведений, желание принести большую пользу народу — это естественная потребность. Об этом хорошо говорят сами наши писатели, деятели искусства. Партийность ни для кого не является обузой, если она вытекает из существа его убеждений» *.

Последовательное отстаивание принципа партийности в эстетике социалистического реализма вызывает постоянные нападки со стороны защитников антиобщественной позиции искусства.

Можно сказать, что круг доводов против принципа партийности литературы в марксистском его понимании оказался ныне в полной мере исчерпанным, отложился в несколько дежурных стандартных тезисов, которые лишь во множестве вариантов, как колода засаленных карт, тасуются в разных статьях.

Морис Надо, например, утверждает, что любые формы партийности оказываются «смертельными для искусства». Разумеется, пафос полемического выступления Надо направлен против марксистской партийности, которая, как он заявляет, «была всегда лишь не очень тонкой и совершенно не эффективной формой пропаганды». Типична в этом отношении и статья австрийского искусствоведа Исаака Дейчера, напечатанная в итальянском журнале «Нуови аргоменти»**.

Дейчер признает, что философия, общественные науки и искусство сознательно или бессознательно принимают участие в великих классовых боях каждой эпохи. Однако их участие, по его мнению, носит обычно более или менее спонтанный характер и становится действенным лишь в том случае, если соответствует внутренней логике самой науки или искусства. По утверждению Дейчера, общественная направленность искусства никак не связана с принципом партийности. Его толкование ленинского принципа партийности не имеет ничего общего с подлинным содержанием этого понятия, которое он изображает как «приказ» или «официальное поручение».

И Дейчер и Надо стараются внушить читателю искаженные представления о партийности литературы, которая в их трактовке выглядит как форма пропаганды, некая совокупность умозрительных требований, навязываемых извне, инородных сущности искусства. Отсюда делаются различные спекулятивные выводы об отрицательном якобы воздействии принципа партийности на творческую биографию ряда художников, которые будто бы подчинили свое искусство несвойственным ему утилитарным целям, препятствующим свободному и полному выявлению индивидуальности писателя. На самом деле ленинский принцип партийности искусства есть свободная благородная позиция художника, наиболее полно и последовательно выражающая стремление служить народу, великой исторической миссии созидания нового мира. Партийность — не есть нечто чуждое натуре художника, а прежде всего — внутреннее веление его разума и воли, его интеллекта и сердца.

Реакционные идеологи обычно пытаются представить партийное руководство в сфере искусства чем-то противоестественным, не имевшим прецедента в истории, произвольной регламентацией художественного творчества. Отношения основоположников научного социализма с Фрейлигратом и Веертом — пример чуткого партийного воздействия на развитие эстетических взглядов художника. Маркс и Энгельс исходили из стремления помочь этим писателям добиться в их творчестве гармонического сочетания субъективности художника с идеей служения революции. Обращает на себя внимание глубочайшая бережность отношения Маркса и Энгельса к таланту художника, к своеобразию его впечатлительной натуры. Очень интересно в этом отношении письмо Маркса Вейдемейеру от 16 января 1852 года. «Поэт,— пишет Маркс,— каков бы он ни был как человек — нуждается в одобрении и преклонении. Я думаю, что это свойство самой природы. Все это я говорю, чтобы обратить твое внимание на то, что при твоей переписке с Фрейлигратом ты не должен упускать из виду разницы между поэтом и «критиком»*.

Такой же чуткостью и принципиальностью отмечены высказывания В. И. Ленина о современных ему литераторах, его отно-

---

* Н. С. Хрущев Высокое призвание литературы и искусства, М., 1963, стр. 238.
** "Nuovi Argomenti" №№ 57—58, 1962.

* «К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве», т. 2, М., 1957, стр. 307.

шения с М. Горьким, А. Серафимовичем, Д. Бедным.

Внимательно следя за работой писателей-современников, Ленин старался способствовать развитию лучших сторон их творчества, стремясь сплотить их вокруг революции. В личных беседах, в переписке с писателями, в своих статьях Ленин нередко подвергал серьезной критике отдельные произведения литературы, проявляя большой такт и беспокойство за талант художника, помогал глубже понять задачи искусства социализма. Он настаивал на том, что партия ответственна за каждое дарование перед рабочей демократией. «Талант— редкость,— писал Ленин.— Надо его систематически и осторожно поддерживать *. По-ленински заботливое отношение к дарованию художника стало традицией партийной критики.

Поучительно, что сторонники «надпартийности творчества» сразу же забывают о своих требованиях свободы критики, когда советская общественность обращается к анализу декадентских явлений в искусстве. Реакционная критика, под флагом свободы мнений беспощадно «разносившая» реализм, отказывает нам в праве на критику модернистско-декадентских явлений.

Между тем принципиальная критика абстракционизма вызвала одобрение многих представителей зарубежной интеллигенции, далеко не разделяющих социалистических взглядов. Широкие круги за рубежом справедливо воспринимают абстрактное искусство как выражение духовного распада, извращение эстетических вкусов. Австрийская газета «Вельтвохе» (1963, 4 января) пишет: «Приговор Хрущева «ослиной живописи» нашел, естественно, искреннее одобрение также многих людей с Запада. У нас тоже многие воспринимают «абстрактную» живопись и скульптуру, атональную музыку и все модернистские тенденции в литературе, архитектуре и т. д. как явления анормальные, декадентские, как свидетельство вырождения искусства».

К настоящему времени очень широкие круги интеллигенции всех стран мира выражают свое разочарование в идее отчуждения художественного творчества от общественных проблем, рассматривая эту идею как очень опасную концепцию, лишающую искусство жизненных ориентиров.

Не случайно вопрос о тенденциозности, вопрос об общественной позиции писателя постоянно возникает на страницах печати. во время самых разных встреч писателей. «Было столько же толкований этого понятия,— говорилось в «Таймс литерари саплмент» о дебатах на Эдинбургской конференции * осенью 1962 года,— сколько выступало ораторов. Но, пожалуй, именно по этому вопросу было брошено особенно много пустых претенциозных фраз прежде всего теми участниками дискуссии, кто пытался, как А. Роб-Грийе, отрицать тенденциозность творчества».

Даже далекие от марксизма писатели вынуждены признать, что лишь определенность общественной и идейной позиции дает прочную основу для ориентировки в сложных процессах и проблемах современности, для надежды и оптимизма.

VI

Перспективность, проникновение в ход истории — органическое свойство передовой общественной мысли, подлинного революционного искусства. Исторический подход к действительности, писал Ленин, означает восприятие жизни «не в смысле одного только объяснения прошлого, но и в смысле безбоязненного предвидения будущего и смелой практической деятельности, направленной к его осуществлению...» **.

Высказывания на эту тему классиков марксизма находят иногда одностороннее истолкование. Оборотную сторону декларативного восприятия перспективы представляет ее растворение в объективном воспроизведении жизни. В нашей критике уже говорилось об ошибочности выступлений Д. Лукача на эту тему. Д. Лукач упрекал советских писателей в том, что они, утверждая победу нового, искусственно подгоняли срок этой победы, не учитывая «неустранимых противоречий между новым и старым и трудностей, с которыми встречается «новое понимание жизни». От этого, утверждает он, страдает убедительность и художественная ценность их произведений. Такое изображение жизненных событий, по словам Д. Лукача, сделалось в советской литературе «доминирующим правилом», хотя в действительности развитие нового происходит более медленными темпами.

---

* «Ленин о литературе и искусстве», М., 1960, стр. 513.

* См об этой конференции журнал «Иностранная литература» № 2, 1963 г., стр. 220.

** В. И. Ленин. Соч., изд. IV, т. 21, стр. 56.

Советское искусство, опирающееся на подлинно научное мировоззрение, обращается к реальным закономерностям общественного развития — именно здесь источник исторического оптимизма, жизнеутверждающего начала в произведениях советских художников, против которого выступают защитники модернизма.

К осознанию того, какое огромное значение в искусстве имеет перспективное видение мира, пришли в результате больших исторических свершений нашей эпохи многие крупные писатели. «О будущем,— писал И. Бехер,— может говорить только тот, у кого оно есть, и только у того есть будущее, кто в состоянии видеть то, что обычно называют перспективой, а она, в свою очередь, является результатом мировоззрения. Отсутствие перспективы в известном смысле тоже является перспективой — негативной. Но обыкновенно о перспективе говорят лишь как о позитивной. Тот, кто придерживается мировоззрения, которому принадлежит будущее, тот может говорить о будущем, тот имеет перспективу, тот может с надеждой глядеть в будущее, даже если временами его взгляд затуманивается и заволакивается думами. Но что такое писатель без перспективы, произведение без концепции? Расползаются даже детали, ибо и детали требуют определенного порядка, систематизации. Что же остается? Бессвязное нагромождение, хаос ассоциаций, погружение в Ничто».*

Историческому прогрессу, революционному развитию личности и общества в настоящее время открыто противостоит антиисторическая теория неизменности человеческой природы, иллюзорности представлений о поступательном движении человечества. Подобные теории не новы, и уже много десятилетий распространяются реакционными и декадентствующими философами, писателями и теоретиками искусства.

Показательны попытки ряда реакционных зарубежных социологов и философов отрицать напряженную интенсивность, переломный или, как они говорят, «критический характер» движения времени в эпоху утверждения социализма. Для обоснования этой точки зрения конструируется концепция одинаковости, неразличимости в этом смысле прошлого, настоящего и будущего. По утверждению западногерманского философа Э. Шпрангера, современники всегда при-

* И. Бехер В защиту поэзии. Изд-во иностранной литературы, М., 1959, стр. 368.

страстно воспринимают свою эпоху как самую драматическую, кризисную и критическую, независимо от ее подлинно реального содержания. Именно этим настоящее отличается от прошлого и будущего, всегда уже сравнительно спокойных, лишенных своей напряженности. «Люди,— пишет Шпрангер,— всегда переживают тот отрезок времени, который имеет для них значение «настоящего», как кризис... Каждый называет свое настоящее критическим временем».

Таким способом, по существу, уравниваются революционные эпохи, отличающиеся стремительностью и насыщенностью движения времени, полные борьбы, великих исторических преобразований, с периодами застоя.

Концепция иллюзорности времени, отрицание его целостности и движения ведет к подмене умозрительными фикциями подлинного времени, наполненного огромным историческим содержанием, к отвлеченности и абстракции в искусстве. И, напротив, ощущение полноты времени, его стремительного движения — одно из характернейших свойств реализма, прогрессивной литературы современности.

Советская литература отображает революционную перспективу движения к коммунизму, воплощая в индивидуальных судьбах героев общее направление исторического развития общества. Советская литература с ее историческим оптимизмом, с ее устремленностью в будущее стала наглядным доказательством жизненности эстетической теории Маркса и Энгельса.

Не случайно, в последние годы некоторые критики на Западе стараются доказать, что «Тихий Дон» М. Шолохова чужд основным принципам советской литературы, представить его творчество «последней твердыней», «завершающей главой» критического реализма. «Судьба М. Шолохова,— пишет, например, западногерманский критик Г. Шпрейт,— отражает общую ситуацию в советской прозе, берущей свое начало от Достоевского, Толстого и Горького, но утратившей эту связь в результате социальных преобразований в Советском Союзе. «Тихий Дон» Шолохова — это не начало советского искусства, а последний плод старой традиции»*.

* "Neue deutsche Hefte" № 7, 1960,стр. 149.

Как коммунист, продолжает Шпрейт, Шолохов говорит о всепобеждающей силе социалистического строя. Но тут же он заявляет, что как художник Шолохов рисует «темные стороны» нашей жизни, трагически преломляющиеся в отдельных человеческих судьбах. На этом выдуманном им искусственном раздвоении личности художника критик строит вывод, что будто бы требования социалистического реализма — реалистическое повествование и партийность — взаимоисключают друг друга.

Точка зрения эта связана с ложным, искаженным представлением об особенностях как трагического, так и оптимистического начал в советской литературе.

У сторонников идеи всеобщей фатальной предопределенности личная трагедия человека, его поражение в борьбе с гнетущими обстоятельствами вырастает во всеобщий, вечный, неизбежный закон всего бытия.

Оптимизм советской литературы заключается не в умолчании о трудностях и даже трагических конфликтах, в которые оказывается вовлечен ее герой в ходе истории. Ее оптимизм опирается на твердую убежденность, что реальные силы истории способствуют становлению того общества, за построение которого она борется вместе с народом.

«Писатель, деятель искусства, который стоит на позициях партийности, правдиво отображает в своих произведениях и положительные и отрицательные явления в жизни общества и делает это с жизнеутверждающих позиций. В нашей жизни, конечно, есть недостатки, но новое, революционное, утверждается и растет в борьбе со старым, отбрасывая пережитки прошлого»*.

Советская литература, воплотившая в себе предвидения классиков марксизма, стоящая на ленинских позициях партийности творчества,— новый этап в развитии мирового искусства; она несет миру идеи мужества, оптимизма, веры в жизнь и светлое будущее.

---

* Н. С. Хрущев. Речь на пленуме ЦК КПСС 21 июня 1963 г.

РИЧАРД ОЛДИНГТОН

ОТКРЫВАТЬ КРАСОТУ МИРА

Публикация, вступительная статья и перевод Д. ЖАНТИЕВОЙ

Статьи и письма Ричарда Олдингтона дают представление советским читателям о новом для них облике писателя, известного в нашей стране главным образом по романам и рассказам,— об Олдингтоне-критике.

Эстетические взгляды Олдингтона тесно связаны с его творчеством, внесшим вклад в развитие критического реализма Англии XX века. Ничто, казалось, не предвещало такого пути в начале его литературной деятельности, перед первой мировой войной, когда он примыкал к имажизму — одному из ранних модернистских течений в американской и английской поэзии. Главой течения был Эзра Паунд — американский поэт, который наряду с Т. С. Элиотом, также близким к имажистам, считался вождем западного модернизма. Живое и теплое чувство всегда отличало Олдингтона от типичных имажистов, а пережитые им испытания войны (впервые нашедшие отражение в сборнике стихотворений «Образы войны», 1919) вырыли пропасть между ним и этими поэтами.

Критические статьи Олдингтона 20-х, а также и 30-х годов были продиктованы обстановкой, сложившейся в литературной жизни Англии в годы после первой мировой войны под влиянием духовного кризиса, который переживало большинство английской буржуазной интеллигенции. Представители модернистской литературы, выдвинувшейся на авансцену, объясняли социальные беды низменностью человеческой натуры, провозглашали право писателя на безответственность, на уход от действительности. Ричард Олдингтон выступил против этих тенденций, получивших наиболее яркое выражение в романе Джеймса Джойса «Улисс». «Человек не таков, каким его рисует Джойс»,— вот основной смысл статьи Олдингтона об «Улиссе», опубликованной в 1921 году, за год до выхода этого романа отдельным изданием. Автор статьи верно угадал характер дарования Джойса, заложенные в нем и погубленные им самим возможности. Эту статью Олдингтона отличает черта, свойственная далеко не многим западным писателям его времени,— забота о судьбах родной литературы, о творчестве молодого поколения писателей, бездумно копирующих произведения «экспериментальной литературы». Т. С. Элиот в статье «Улисс», порядок и миф» полемизировал с Олдингтоном. Предвосхитив современную модернистскую теорию мифа, Элиот объявил, что реалистический роман, отражающий социально-обусловленную действительность, изжил себя и только путем обращения к мифу, как это делает Джойс, можно внести «порядок» в хаос современной жизни. Возражая Олдингтону, Элиот выдвинул высокомерное и стандартное для модернистов положение: гений отвечает перед равиыми, а не перед толпой невежд.

Полемику с вождями европейского и американского модернизма Олдингтон продолжил в романе «Смерть героя» (выведя в образах художника Апджона и мистера Тобба Эзру Паунда и Т. С. Элиота) и в двух рассказах вышедшего позднее сборника «Кроткие ответы» — «Ничей ребенок» и «Путь к небесам».

Очень актуально звучит в наши дни и статья «Поэт и его время». Говоря о том, что́ в его представлении является подлин-

ной связью с временем, Олдингтон ставит вопрос об отношении поэта к читательской аудитории, решительно протестуя против утверждения модернистов, будто надо писать для «одного гипотетического интеллектуального читателя».

Проблемы ответственности художника, проблемы отношения искусства к действительности, роли писателя в буржуазном обществе Олдингтон ставит и в своем творчестве, и в критических статьях 30-х годов, вошедших в сборник «Artifex»*. Статья «Свобода печати» могла бы быть написана сегодня — столь многое в ней перекликается с положением дел в нынешней «свободной печати свободного мира». В этюде «Artifex» отражены горькие раздумья Олдингтона о ложном положении, в которое поставлено искусство в буржуазном обществе. Подлинно гуманистическая идея лежит в основе выраженного в этой статье протеста против тех, кто подразумевает под цивилизацией лишь технический прогресс. Правда, видя, как достижения науки и техники обращаются во вред человечеству, Олдингтон, подобно многим своим современникам на Западе, склонен был порой рассматривать эти достижения — даже и те, что носят мирный характер,— как самодовлеющее зло. За теми учеными, которые объединяются с бизнесменами и милитаристами, он не видит подвижников науки, служащих человечеству. Но можно понять всепоглощающую тревогу писателя, сознававшего, что мир находится накануне новой войны.

Годы жизни, проведенные на чужбине (после того как разлад с буржуазной Англией заставил Олдингтона в 1938 году покинуть страну навсегда), не были для писателя плодотворными. Вспоминается фраза из его письма: «Я провел, вернее понапрасну истратил, семь лет в США». В 1946 году он переехал во Францию.

После второй мировой войны Олдингтон в основном посвятил себя созданию книг литературоведческого и биографического характера. Среди его работ выделяется с любовью написанный портрет Диккенса — писателя, в котором Олдингтон, по его словам, ценил общий с Толстым и Бальзаком дар «волновать огромные читательские аудитории». Интересно также составленное Олдингтоном и снабженное его предисловием «Избранное» Оскара Уайльда, включающее 12 неопубликованных писем Уайльда.

С годами отношение Олдингтона к модернистской литературе становится все более непримиримым. Знаменательна в этом смысле его лекция «Эзра Паунд и Т. С. Элиот», прочитанная в 1939 году.

Как видно из писем Ричарда Олдингтона, в последние годы жизни его эстетические взгляды, выраженные в ранних статьях, остались неизменными. О своих биографических книгах Олдингтон сказал: «Я руководствовался в них тем же принципом, что и при создании романов: уважением к фактам, к правде жизни». Ярким свидетельством этому явилась книга Олдингтона «Лоуренс Аравийский» (1955), которая развенчала созданный британскими кругами миф, возвеличивающий британского разведчика, полковника Лоуренса, как поборника национальных интересов арабов. Судьба «Лоуренса Аравийского» может служить иллюстрацией к ранней статье Олдингтона «Свобода печати». Автор на горьком опыте познал все методы давления на писателя, высказавшего неприятную правду: травлю в печати, бойкот издательств, шантаж, попытки заставить отказаться от своих убеждений, замалчивание документов, подтверждающих его правоту.

Год тому назад Ричард Олдингтон посетил нашу страну. Он был глубоко взволнован отношением к нему наших читателей. Во время чествования в Союзе писателей в день его семидесятилетия (который он назвал счастливейшим днем своей жизни) Олдингтон сказал, что в Советском Союзе он впервые за всю свою творческую жизнь увидел столько тепла и внимания.

Тем, кому пришлось видеться с Ричардом Олдингтоном во время его недолгого пребывания у нас, доставило радость общение с ним, обаяние его личности, его доброжелательность, большая простота, несравненный спокойный юмор.

После смерти писателя его дочь, Кэтрин Олдингтон, в письме к автору этих строк просила передать друзьям в Советском Союзе, что Ричард Олдингтон был счастлив последние дни своей жизни, после того как он побывал в СССР. «Думаю, что таким счастливым он не был уже много лет,— писала она.— Я рада, что перед смертью у него было светло на душе».

Для советских читателей смерть Ричарда Олдингтона была большой утратой. Он навсегда останется в их памяти как писатель-гуманист и человек большого сердца.

---

* Художник, творец, мастер *(лат.)*.

Из статей Ричарда Олдингтона

«Улисс» мистера Джеймса Джойса

Представим себе творчество Джойса в промежутке между «Портретом художника в юности» и «Улиссом». Он перерос незрелый натурализм «Дублинцев» и, конечно, сделал огромный шаг вперед как писатель. Правда, «Портрет» был мрачен, но там были прекрасные места. Противоречие между «идеализмом» Дедалуса и грубостью, глупостью, уродством внешнего мира очень волновало. В книге шла речь о грязи и убожестве, там делался упор на тошнотворные детали, что нарушало внутреннее ее равновесие, однако благодаря изображению душевной борьбы героя роман поднимался до высоты трагедии. Здесь было много вызывающих отвращение мест, но они не возбуждали чувства безнадежности. Было ясно, что перед нами исключительно восприимчивый, талантливый человек, избавляющийся от «гибельной дряни», отбрасывающий прочь все кошмары и впечатления смутной юности, чтобы достигнуть более здорового, ясного представления о человеческой жизни. Многие, должно быть, возлагали большие надежды на мистера Джойса. Я ни минуты не хотел, чтобы он усвоил хотя бы частицу официального оптимизма с его столь губительным воздействием; я не хотел, чтобы он стал слащавым или надел маску благожелательства и спокойствия ренановского типа,— это явно не в его характере. Но я надеялся, что он создаст подлинную трагедию... Я надеялся, что его персонажи выйдут на свежий воздух из подавляющей атмосферы разложения и гнилостных испарений, где они пребывали, осужденные судьбой.

Совершенно очевидно, что я надеялся напрасно. «Улисс» — наиболее ожесточенное, мрачное, свирепо-сатирическое произведение из всего до сих пор написанного мистером Джойсом. Это чудовищная клевета на человечество; я, правда, недостаточно умудрен, чтобы ее опровергнуть, но я уверен, что это клевета. В «Улиссе» есть смех, но это жесткий, издевательский смех, не имеющий ничего общего с хохотом Рабле. Я знаю, что мистер Паунд, защитник «Улисса», поносит Тертуллиана, но не является ли мистер Джойс чем-то вроде современного Тертуллиана или еще того хуже? Что до меня, то я не нахожу в «Mella Patraum» Тертуллиана ничего, что говорило бы о такой ненависти к человечеству, таком отвращении к человеческому телу и, в особенности, к отношениям между полами, какие я вижу в «Улиссе»... Я хочу сказать, что на иные стороны жизни, которые большинство писателей неоправданно игнорируют, мистер Джойс делает слишком большой упор; он пытается убедить нас, что жизнь менее привлекательна, чем мы думаем, даже находясь в самом подавленном состоянии духа. Я помню, как читал один из «эпизодов» романа более двух лет назад в окопе на линии фронта,— думаю, ситуация для этого там была самая подходящая. зловоние, резкие, раздражающие нервы звуки, грязь и недуги; жизнь свелась к мрачной игре в прятки со смертельным исходом. Все удобства и прелести бытия были сосредоточены в большой, вырытой в земле яме; систематическое недосыпание, издерганные нервы, однообразная пища, отсутствие возможности вымыться — все это сделало нас вполне подходящими объектами сатиры и издевательств мистера Джойса. Мы, которых крикливые голоса с двух континентов превозносили как героев, по странной иронии судьбы были лишь сборищем грязных, небритых, «жалких проходимцев» с воспаленными глазами, которые месили грязь, пробирались по доскам через траншеи, ползали среди воронок от снарядов, старались укрыться от огня орудий, всецело поглощенные проблемой, как выжить до следующей смены. Но были ли мы достойны презрения? Разве мы, несчастная пехота, пушечное мясо,—

Выдержки из статей Ричарда Олдингтона и его писем к Д. Жантиевой на русском языке появляются впервые, за исключением письма от 23 апреля 1957 года, частично приведенного в статье Д. Жантиевой «Эстетические взгляды английских писателей конца XIX — начала XX века и русская классическая литература» (сборник «Из истории литературных связей XIX века», Академия наук СССР — Институт мировой литературы им. Горького М., 1962 г.).

символ человечества, бедствия которого кажутся бесцельными и неоправданными,— не могли ничего противопоставить нашим нелепым страданиям? Ответить «нет» могут только те, кто никогда не знал фронтового товарищества, никогда не видел, как человек жертвует жизнью для другого, никогда не ощущал молчаливого и глубокого участия простых людей во времена общего бедствия. Я знал простого солдата, который лежал под огнем, чтобы ободрить своим присутствием двух раненых, хотя он легко мог укрыться в безопасном месте, и ему, собственно, было приказано сделать это; я знал офицера, который отдал жизнь, чтобы спасти своего ординарца. И я говорю: все эти поступки, незаметные, неизвестные, показывают, что люди не унижены даже отвратительной дикостью войны и что они могут быть выше отвратительной вульгарности будничного существования. Я говорю: когда мистер Джойс использует свое необыкновенное дарование для того, чтобы внушить нам отвращение к человечеству, он совершает нечто ложное, он клевещет на человечество.

Таково мое мнение об «Улиссе» мистера Джойса. Это именно мнение, а не критика, но я не сомневаюсь в том, что за высказывание этого мнения меня наградят всевозможными эпитетами — начиная от «банального» и кончая «сентиментальным»,— однако лучше быть сентиментальным, чем, сфальшивив, обрести репутацию блестящего критика.

...Мистер Джойс пошел в своем детальном анализе внутреннего мира персонажа дальше, чем кто-либо из известных мне писателей. Его точное воспроизведение мыслей Блума, с их непоследовательностью, прерывистостью, возвращением к навязчивой идее — удивительный психологический документ. Телеграфный стиль здесь уместен и оправдан. Есть также художественное обоснование для того, чтобы отказаться от всякого стилистического единства прозы, которое всегда соблюдается французскими натуралистами. Порой мистер Джойс прибегает к журналистской манере; порой пишет своего рода поэтической прозой; порой в манере быстрого повествования; порой перед нами телеграфная запись мыслей Блума; иногда писатель намеренно непристоен и слишком часто хаотичен. И все же почти в каждом отдельном случае он добивается нужного ему «эффекта». Он очень смело обращается со словами, но творит совершенно удивительные вещи. В зависимости от своего желания он может быть то серьезным, то ироническим, то отвратительным, то плоским, то саркастическим, то спокойно реалистическим. Он сплавил драматическое действие с повествованием и варьирует тон повествования применительно к драматической ситуации. Он уже более не объективный, беспристрастный рассказчик; он хочет отождествить себя со своим персонажем и отождествить обоих с читателем. Именно это заставляет меня сказать, что он делает реализм мистическим. Он утратил ощущение границ сознания, процесс его творчества — это своего рода самоотречение, слияние его сознания с сознанием других. Я не философ и не могу объяснить этот процесс, но я уверен, что он происходит и что Жюльен Бенда * мог бы подвергнуть его великолепному и бесстрастному анализу. У мистера Джойса этот процесс приемлем, потому что он полностью владеет им; по той же причине поддается восприятию его необычная проза. Но представьте себе, что этот своеобразный мистицизм выродился в простую неряшливость стиля и мысли, представьте себе, что этот разнородный стиль привел к бессвязности, аффектации, хаосу слов, и тогда вы невольно задумаетесь над результатом влияния мистера Джойса. Я не склонен переоценивать роль дадаистов; я вспоминаю о том, что им не удалось разрушить стиль Анатоля Франса. Но целое поколение дадаистов в Англии и Америке — это было бы довольно плачевное зрелище. Если дадаисты хотят разрушить литературу, превратив ее в нелепость (как они объявили), то пусть попытаются сделать это; правда, я не думаю, что их следует поощрять. Однако мистер Джойс с его большим недисциплинированным талантом опаснее, чем целый корабль, груженный дадаистами. Молодые писатели испытают на себе воздействие его личности; они будут копировать все эксцентрическое в его творчестве, вместо того чтобы развивать собственное мышление. Если бы только мы могли поступить с мистером Джойсом, как рекомендует Платон: воздать ему почести, умастить его елеем, увенчать короной и отправить в другую страну.

---

* Жюльен Бенда (1867—1956) — французский публицист и писатель, автор философских эссе.

Без оригинальности нет искусства; нельзя быть оригинальным, не обладая индивидуальностью. Индивидуальность человека развивается, изменяется, формируется благодаря чтению книг в такой же мере, как и благодаря общению с друзьями. Его библиотека дает представление о нем почти так же, как его жена. Имитация в искусстве обычно оборачивается фальшью; она — проклятие современной культуры. Всем известно, что академическая литература, основанная на имитации классиков и признанных писателей, бледна и скучна; «передовая» литература, основанная на имитации эксцентрического стиля новых писателей, хаотична, бессодержательна и часто бессмысленна. Стиль, который отличают намеки, отклонения в сторону, обильные цитаты,— дурной стиль, потому что он педантичен и безжизнен; стиль аффектированный, напряженный, рассчитанный на сенсацию, непонятный — дурной стиль, потому что при этом не достигается задача, во имя которой мы употребляем слова,— задача, состоящая в том, чтобы нас поняли. Литература, стремящаяся поразить простодушных людей нелепостями, которые выглядят глубокомысленно,— не литература... А современная литература — экспериментальная, а не рассчитанная на коммерческий успех — тяготеет к вульгарности, бессвязности, отходит от ясности и трезвости. Я не отвлекся от мистера Джойса. Его влияние, которое — беру на себя смелость пророчествовать — будет значительным, не может быть безусловно благотворным. Он возбуждает отвращение с определенной целью, другие будут делать это бесцельно. Он непонятен, однако заставляет принять непонятное; но сколько людей напишут нечто путаное, думая,. что это великолепно! Как много абсурдного будет произведено на свет с помощью «Улисса» в качестве повивальной бабки!..

Опубликовано в сборнике «Литературные обзоры» (1924).

Поэт и его время

В поисках темы и даже формы поэт волен обращаться к наследию прошлого. Но поскольку нельзя и не надо стремиться уйти от «духа времени», поэт в своем творчестве будет выражать этот дух так, как он его осмыслил. Он не будет сегодня излагать в стихах то, что ему удалось понять в теории Эйнштейна, не будет создавать «поэм относительности», но самый факт, что он обладает новым знанием, отличит его от предшественников, и именно в этом, и только в этом, смысле, он будет «выражать свое время».

Для нашего века характерно брожение, хаотичность; это не столь подавляющее и устрашающее зрелище, как представляется некоторым, но скорее ободряющий симптом реакции против духовных врагов нашей нации — застоя и упадка, признак того, что мы пытаемся усвоить множество новых идей и привести их в состояние гармонии. Но из того, что век хаотичен (быть может, каждая эпоха кажется хаотичной современникам и нужна перспектива, чтобы стали совершенно ясны скрытые в эпохе закономерности), еще не следует, что искусство в целом или та его ветвь, которую мы называем поэзией, должны стать хаотичными. Те немногие поэтические произведения, которые появляются теперь в Англии, значительная часть французской поэзии и (если я не ошибаюсь) еще бóльшая часть поэзии Германии бесспорно хаотичны. С другой стороны, в большом количестве недавних поэтических произведений, в особенности английских, мы видим признаки застоя, повторение в ухудшенной форме чего-то, что уже было сказано раньше. Читатель испытывает разочарование и в том и в другом случае; он ощущает в поэзии, которую я назвал «хаотичной», энергию, вдумчивость, талант, но она не становится искусством, так как ей не хватает внутренней дисциплины; в то же время он чувствует, что поэзия, названная мною «застойной», претенциозна, искусственна, лишена мысли. Поэзия, которую ждет этот гипотетический читатель, убежденный в том, что она может быть создана и будет создана, еще не появилась.

...Размышляя от отношениях современного поэта и его аудитории, я чувствую, что склонен обвинять ее так же, как и поэта, за относительную недейственность нашей современной поэзии. Невозможно отрицать, что на художника оказывает влияние читательская аудитория. Даже очень высокомерного писателя, считающего, что он сам

себе критик, должен хоть немного волновать прием, оказываемый его произведениям. Я не могу согласиться с утверждением, что поэт должен писать «для одного гипотетического интеллектуального читателя», потому что этот цинизм причиняет мне боль и потому что такая поэзия рискует превратиться в нечто рафинированное, полное темных намеков, непонятное, интересное лишь для автора и его узкого кружка. Это классовая, а не национальная поэзия, и как же ограничен класс, который состоит из одного гипотетического индивидуума! Я в такой же мере не способен принять и романтическую концепцию о «непонятом поэте», который посвящает себя каким-то читателям отдаленного будущего и утешается размышлениями о посмертной славе.

...Я возвращаюсь к своему утверждению или, вернее, ощущению, что поэты современного поколения, хотя и одаренные духовно и интеллектуально, до сих пор смогли развить лишь частицу своих поэтических возможностей. Они как бы соглашаются с вульгарными взглядами популярных романистов, что поэзия есть нечто вроде приятной традиционной игры и пусть лучше ею занимаются любители и симпатичные дилетанты. Кажется, будто поэты добровольно обрекли свое искусство на голодную смерть, предоставляя ему питаться постоянной имитацией,— но не жизни, а самого себя... Но во всяком случае не стоит отчаиваться; современное поколение по крайней мере может передать факел; и немного больше пыла и смелости у поэтов, немного больше энтузиазма и проницательности со стороны читательской аудитории могут привести к тому, что настанет плодотворный период, на который мы скорее надеемся, чем рассчитываем.

Опубликовано в сборнике «Литературные обзоры» (1924)

Artifex

До сих пор на нас, обыкновенных людей, воздействуют теологи и ученые. Теолог сулит нам вечную жизнь на небесах — при условии, что мы примем его определение бога и будем повиноваться ему, ибо он большой любитель власти. Какой вкус к жизни, по-видимому, был у египтян, если они хотели жить вечно и затрачивали на это столько сил и средств. Но по тем или иным причинам жизнелюбие у них иссякло под давлением цивилизации. Вера в жизнь на небесах поблекла, и теологу остается бороться за свою власть, настаивая на благонравном поведении — он изобрел удобное пугало респектабельности. По-видимому, он никогда не был в состоянии даровать вечную жизнь, поэтому мы можем считать, что роль его сходит на нет.

Ученый — это врачеватель, чье лекарство дает результаты довольно часто. Представляет ли он собой возвышенного искателя Правды (какова бы она ни была), а власть и изобретения являются при этом побочными продуктами, или же он просто скромный изобретатель всяких удобных приспособлений, а Правда предстает у него как побочный продукт — все это вопросы, которые я не берусь решать. Но ученый — тоже торговец властью. Он сулит власть и благосостояние; власть — безусловно, что же касается благосостояния, то вопрос в том, что под этим понимать. Он творец таких несомненных благ, как взрывчатые вещества, смертельное оружие, машины, экономические теории, механический транспорт, радио, пылесос и реклама. Как бы ни были смертельны его изобретения, он никогда не отказывает в них милитаристу, и он является родным братом и прихвостнем бизнесмена. Накапливая различные степени и чины, он с удовольствием присоединяет множество их сокращенных обозначений к своей подписи и редко отказывается от титула — излюбленной награды добродетельного бакалейщика.

К несчастью, ни теолог, ни ученый не достигли власти в сфере, где она больше всего нужна,— власти над милитаристом и хищным эксплуататором. Я предполагаю, что, если это не будет достигнуто в ближайшее же время, с нами произойдут весьма неприятные вещи.

Где-то у ног этих современных колоссов мы различаем фигурку подавленного и нервного человека. Назовем его Artifex — это служитель жизненного импульса, творец мифов, музыки и образов. Оглядываясь на предыдущие эпохи, мы видим, что он

то увеличивается в размере, то уменьшается,— как дьявол у Мильтона или Алиса в стране чудес.

...На протяжении веков художник стремится открывать людям как чудо красоту мира, в котором они живут; он честно пытается вдохнуть в свое творчество больше жизни, показывая, как прекрасно все живое, он призывает людей выйти из рамок эгоизма, чтобы уловить таинственное различие вещей, «инакость» каждой из них и отдать этому дань уважения; он дарует им переживания действительные и воображаемые, забавные и трагические, нравственные и безнравственные, воспроизводит их — порой хорошо, порой слабо — в формах, красках, звуках и словах. Мир вещей и человеческих существ, который мы воспринимаем просто как окружение и замечаем лишь в связи с непосредственными нуждами бытия, он превращает в глубоко значительное и великолепное зрелище, для того чтобы мы наслаждались им и почитали его. И совершая это, он — если мы будем педантичны в определениях — «дарует нам ценности»... Он отбирает, но не абстрагирует (это делает ученый); он конкретен; он не создает условностей; он первооткрыватель и искатель приключений; и он не деформирует, но формирует. Его задача — найти сущность, показать существенные формы и пути жизни, в том числе, разумеется, его собственной,— вот к чему он обращается, чтобы обогатить опыт. Поэтому я настаиваю на том, что художник — создатель жизни. Его искусство — религия, существовавшая до религии. Он бессознательный гилозоист *. Его анимизм резко отличен от магии и суеверия. Он не говорит: «Склоните головы и поклоняйтесь» — к этому призывает теолог; он говорит: «Чтите и радуйтесь». Правда, король и священник, воин и даже купец заставляют его быть их глашатаем, но ему почти всегда удается сказать нечто свое. Его настоящее призвание не в том, чтобы быть чьим-либо рабом или глашатаем, но в том, чтобы воспевать жизнь.

...Теолог, ученый и бизнесмен объединенными усилиями подавили чувство уважения ко всему живому, что привело к безнадежному искажению лица земли; мы видим это сегодня и увидим еще худшее завтра. Если бы только ученый объединился с художником, вместо того чтобы пособничать бизнесмену и людям, стоящим у власти! Но теперь уже слишком поздно, мы вынуждены покориться уготованной нам судьбе, а она будет весьма неприятной. Однако не было ведь никакой причины, чтобы не использовать мудро власть науки. «Черная страна» — мрачные угольные районы — не была «неизбежностью», унылые пригороды и трущобы не были «неизбежностью».

...Разумеется, и в наши дни есть искусство, но это искусство гиперестезии **, искусство отчаявшихся неврастеников. Новейший эстетский взвизг, новейшее petit frisson *** — все равно что, лишь бы показаться оригинальным. Музыка атональности, живопись и скульптура сюрреализма, литература потока сознания, эстетика бетона и коктейлей — неврастения и саморазрушение. Интеллектуальный снобизм — вот чем привлекает это искусство кружки и группки Парижа и Лондона. Если бы оно было доступно здравому смыслу, они бы отвергли его... Искусство напрасно, подобно Данае, ожидает золотого дождя — его заключили в темницу, и о нем знают лишь эстетские группки; находясь за три квартала от того места, где они собираются, вы и не заподозрите, что это искусство существует. Эстетские группки усиленно конкурируют между собой, чтобы заслужить благосклонность весьма ограниченной аудитории, которая, естественно, утомлена теми, кто непрестанно взывает к ее вниманию, и поэтому ей требуется необыкновенное — такое, что может поразить или позабавить. Что касается любви к сенсации, то здесь снобы из эстетских группок — родные братья газетчиков. Перепроизводство продукции, предназначенной для снобистской публики, неизбежно ведет к вывертам, рассчитанным на то, чтобы привлечь внимание; оно порождает также интриги, подсиживание и обливание грязью противников... Но довольно об этом. По отношению к этим людям остается только одно — избегать их.

---

* Последователь учения, согласно которому жизнь и, следовательно, способность чувствовать присущи всем вещам.

** Обостренной чувствительности.

*** Содрогание *(франц.)*.

Бок о бок с таким искусством (и при этом нередко рекрутируя кадры из его рядов) существует армия искусства как бизнеса.

...Отрывая искусство от жизни и жизнь от искусства, современный мир ослабляет его жизненность.

Опубликовано в сборнике «Artifex» (1935)

Свобода печати

Это засиженная мухами, изъеденная молью тема, и все же здесь найдется о чем поговорить.

Теоретически печать — не только газеты — свободна «в стране, где другу и врагу сказать возможно правду».

Но попробуйте только сделать это в печати, мой дорогой Теннисон, и вы увидите, что получится. Только попробуйте! Английский закон о клевете в печати был по-видимому предназначен для того, чтобы запугать писателей, и истец всегда одерживает победу, если только он случайно сам не оказывается писателем. Большинство издателей и многие романисты рано или поздно подвергаются шантажу посредством закона о клевете в печати. Газеты платят колоссальные штрафы за публикацию правды о совсем незначительных людях, даже если налицо несомненные доказательства, что эта правда высказана ненароком.

Некоторые романисты делают слабые попытки обезопасить себя, возвестив на форзаце, что все характеры в книге «целиком вымышлены». Это всегда наводит меня на мысль — и порой не без основания,— что вымышленные характеры — злостные карикатуры на ближайших друзей автора. Любопытно было бы увидеть целиком вымышленный характер! Как бы он выглядел? Существуют ли таковые в литературе? Разве что Калибан и Ариэль да сыщики-любители, но, взяв их в герои, нельзя было бы создать сносный роман. Все характеры — результат сознательных или бессознательных наблюдений. Это — аксиома.

...Три года искусства подвергаются наибольшему вмешательству властей — кино, театр и роман. По отношению к первым двум осуществляется открытая цензура, по отношению же к романам — косвенная, при этом в гораздо большей степени, чем обычно предполагают. Судебное преследование применяется редко — разве что в крайнем случае, потому что таким образом автору создается реклама. Преследование превращается в свою противоположность, так как книгу немедленно перепечатывают за границей без разрешения автора и многие ее экземпляры контрабандой ввозятся в Англию самоотверженными юнцами. Разумеется, издатель, владелец типографии и автор несут материальные убытки, и это доставляет удовлетворение властям. Но книга циркулирует. Поэтому предпочитают тайные методы, соответствующие методам осведомителей, такие, как косвенный бойкот. Но поскольку даже и они часто оказываются неэффективными, идет агитация в пользу цензуры романов.

...В Англии принят такой образ действий: если можно предположить, что книга получит широкое распространение (а это может случиться с каждым романом) и если основная ее тенденция — критика официально признанных ценностей и в особенности если в ней есть попытка противопоставить им другие ценности, тогда в ней тщательно ищут места, на которые можно наклеить ярлык «непристойность». В силу чрезвычайной неопределенности формулировки соответствующей статьи и свойств наших судей почти каждый эпизод, в котором затронута сексуальная тема, может быть квалифицирован как непристойный. Другими словами, обвинение в непристойности часто используется как предлог.

...Непристойно радоваться зарождению жизни — пристойно убивать. Какие авгиевы конюшни представляет собой ординарный ум! Компетентному психологу стоило бы заняться тщательным исследованием скрытых процессов, которые содействовали моде на детективные романы. Правда, убийство — это тема, которая является также и достоянием большого искусства, но там в трактовке ее мы ощущаем чувство большой ответственности и благоговейный страх. Кроме того, внимание читателя отвлечено от жестокого акта убийства и почти столь же жестокого зрелища

преследования убийцы; интерес его сосредоточивается на состоянии сознания героя, на том, как стал возможным для него такой страшный поступок, а также на моральной проблеме вины... Криминальные повести, которые мы читаем и видим в инсценировках, совершенно другого рода. Там почти нет характеристик действующих лиц, нет чувства моральной ответственности, там не воплощены какие-либо великие принципы, не исследованы глубины души. Вся история разворачивается вокруг трупа и сама является трупом. Конечно, могут возразить, что поскольку жалкие марионетки, действующие в этих произведениях, никогда не были живыми, то их и невозможно убить. Но здесь упускается из виду тот факт, что читателя заставляют смаковать ощущение убийства как такового. Затем убийца сам становится жертвой, и теперь уже читателя заставляют смаковать отвратительные перипетии выслеживания преступника. Такое произведение действительно, если хотите, хладнокровно задуманная головоломка, но обязательное условие здесь — привкус жестокости, кровопролитие; иначе не была бы написана подобная книга. Все это отвратительно. И очень глупо.

...Я хотел бы жить в эпоху великих художников, даже если бы мне не дано было стать самым скромным из них. Я хотел бы жить в эпоху, проникнутую творческой страстностью, где главным стимулом для общества были бы высокие достижения творческого духа, а не торговля, война и изобретения... Душа моя кричит, протестуя против всего этого. Я не могу сказать, что в конечном итоге машины — искусство, и на том успокоиться. Музыка — это музыка, а не шум; живопись — это живопись, а не плакаты или абстракция; скульптура — это скульптура, а не сверление камня; архитектура — это архитектура, а не инженерное искусство; литература — это литература, а не писание объявлений; поэзия — это поэзия, а не словесная мозаика. Мне необходима музыка, живопись, скульптура, архитектура, литература, поэзия.

И в сравнении с печалью, которую я испытываю оттого, что лишен их, цензура книг представляется мне чем-то очень незначительным.

Опубликовано в сборнике «Artifex» (1935)

Из писем Ричарда Олдингтона

Монпелье, 23 апреля 1957.

...Я уверен, Вы вправе предполагать, что русский роман и новелла оказали значительное влияние на английских писателей в первой четверти нашего века... Великие русские романисты даже в переводах производили большое впечатление на западного читателя. Я не могу говорить о других писателях, но совершенно уверен в том, что Вы найдете много признаков русского влияния у писателей, которые порывали с буржуазными викторианскими традициями лжи и фальши и шовинистическими традициями Редиарда Киплинга.

Возможно, что Тургенев и Толстой наиболее доступны западным читателям, но влияние Толстого было гораздо более значительным. Я впервые услышал об этих писателях примерно в 1910 году, и уверен, что в период 1910—1914 гг. Толстой и как романист, и как «пророк» пользовался бóльшим влиянием, чем другие писатели. Пережив катастрофы двух мировых войн, я, несмотря на бродячую жизнь, до сих пор сохранил переводы «Войны и мира», «Анны Карениной», «Смерти Ивана Ильича», «Крейцеровой сонаты». Тургенева я люблю теперь меньше, чем в юности. У меня есть несколько книг Достоевского, у которого, мне кажется, такой же необычайный дар романиста, как у Толстого, хотя психология персонажей Достоевского часто ставит в тупик. Я думаю, что по крайней мере некоторые из этих мучительно трагических ситуаций могли бы быть разрешены при помощи здравого смысла! Вы, верно, найдете, что это очень английское суждение. У меня есть «Братья Карамазовы», «Бесы», «Преступление и наказание». Я также читал и до сих пор храню «Мертвые души» Гоголя, «Обломова» Гончарова (превосходно!) и «По Руси» Горького. В 1914 году один из моих друзей, русский, читал мне Сологуба и Ремизова, которые понравились мне меньше, чем их великие предшественники. Существовало одно время сильное увле-

чение Арцыбашевым, но все это (так же, как Сологуб и Ремизов) потонуло в реальности войны. Вы видите, как ограничены мои познания в области русской литературы. Я читал переводы Лермонтова и Пушкина, но можем ли мы соприкоснуться с поэтами через переводы? Была — около 1914 года — русская поэтесса, чье творчество, насколько я мог судить по переводам, имело нечто общее со стихами, которые пытались писать мои друзья и я. Помнится, ее произведения отличались оригинальностью и тонкостью чувств *. И конечно, рассказы и пьесы Чехова! Это, я знаю, ничтожная помощь Вам; как ни жаль, но это все, что я могу сказать. В общем, я думаю, что Толстой пользовался в Англии наибольшим влиянием. Такие пьесы, как «Вишневый сад» и «Дядя Ваня», были очень популярны в среде английской интеллигенции, но мне казалось, что они уступают произведениям великих предшественников Чехова.

Я больше не буду обременять Вас абсурдными отзывами прессы, которых у меня скопилось множество **. Странно чувствовать, что тебя так сильно ненавидят только за попытку изложить некоторые факты! Может быть, это чистейшее суеверие, но я иногда думаю, что моя необъяснимая болезнь — которая никак не проходит — отчасти результат этой ненависти англичан и американцев.

Сюри-ан-Во, 13 мая 1959.

...Я думаю, что Вы будете совершенно правы, если подчеркнете религиозные настроения, особенно распространенные среди мелкой буржуазии, и то естественное влечение, какое вызывал у нее Толстой. С тех пор все изменилось. В современной Англии, я думаю (это только мое предположение), пожалуй, больше читают Ленина...

Хотелось бы, чтобы я мог сообщить Вам более отрадные известия о себе. Настроение у меня довольно хорошее и спокойное, но я понимаю, что мое здоровье ушло навсегда, и я должен жить в тиши этой деревушки. Доброжелательное отношение крестьян доставляет мне истинное наслаждение. Я не могу надеяться на лучшие времена для себя, но верю, что они настанут для них.

Сюри-ан-Во, 11 сентября 1960.

...Я решаюсь послать Вам прилагаемые документы в надежде, что Вы их передадите какой-либо советской газете, которая, по Вашему мнению, может заинтересоваться ими. Первый из них — копия некоторых извлечений из книги британского полковника, который был близким другом Т. Э. Лоуренса, самозванного «властителя Мекки». Вы увидите, какие уничтожающие обвинения, заключены в ней. Эта книга подверглась полному «затемнению» стараниями «свободной, либеральной и просвещенной» англо-американской прессы, и я только случайно узнал о ней из рецензии в одной маленькой южноафриканской газете! «Свободная, либеральная и т. д.» замолчала книгу, и мне только через два месяца удалось приобрести ее. Когда я прочел это чрезвычайно важное свидетельство близкого друга псевдогероя капитализма, которое разрушает его дутую репутацию, я послал копии редакторам «Таймс» и «Нью-Йорк таймс», очень ясно намекая, что в интересах истины им следовало бы напечатать это свидетельство. Я прилагаю их ответные письма ***. Тем временем в лондонских театрах, при полных сборах, идет пьеса «Росс» Теренса Рэттигана, который сделал из Лоуренса героя. Как Вы увидите из прилагаемой вырезки, Энтони Наттинг (бывший заместитель государственного министра по иностранным делам) играет роль наемного агента по рекламе проектируемого фильма, который прославляет Лоуренса, этого создателя мифов о себе. Вы можете как угодно распорядиться моим письмом и прилагаемыми документами, которые, я думаю, полностью разоблачают лицемерие и коварство мира буржуазных филистеров.

---

* Можно предполагать, что Олдингтон здесь имеет в виду поэзию Анны Ахматовой. (Прим. автора публикации.)

** Речь идет о враждебных отзывах английской и американской прессы о книге Олдингтона «Лоуренс Аравийский».

*** Уклончивость этих писем свидетельствовала о нежелании редакторов названных газет печатать материалы, разоблачающие Лоуренса

Сюри-ан-Во, 8 ноября 1960.

...Я очень рад, что Ваша статья появится в «Литературной газете» в этом месяце. Задержка не имеет значения, если учесть, что благодаря этому я смог послать Вам дополнительные сведения. Я рад, что русские читатели получат возможность убедиться, что представляет собой этот лжегерой, чья репутация — фикция, плод пропаганды. Однако англичане и американцы настойчиво поддерживают эту фикцию, несмотря на все факты. Прилагаемое письмо (нью-йоркского издательства к моему литературному агенту) покажет Вам, как они изыскивают любой предлог, чтобы воспрепятствовать распространению моей книги. Между тем в то самое время, когда издатель пишет, что Т. Э. Лоуренса в США «не знают столь хорошо, как в Англии, и не питают к нему таких чувств», американская пресса непрерывно создает вокруг его имени шумиху (при содействии экс-парламентария Наттинга), повторяя старые измышления; все это в качестве «предварительной рекламы» нового фильма (основанного на книгах Лоуэлла Томаса и Лиддела Гарта — оба они лжецы) с участием Марлона Брандо в роли «героя» и других высокооплачиваемых актеров. На фильм затрачиваются очень большие деньги (кто их дает?), при этом даже объявлено, что кинокомпания построит в Иордании современный американский отель, чтобы поселить там весь состав съемочной группы, ибо они намереваются снимать фильм в Иордании. Может быть, это просто пропагандистская ложь, но, может быть, и правда — они ведь возлюбили фантастическую роскошь...

Сюри-ан-Во, 10 января 1961.

Только что получил перевод Вашей превосходной статьи о Т. Э. Лоуренсе. Огромное спасибо! Вы сделали это отлично, показали советским читателям лицемерие англо-американской пропаганды. Говорил ли я Вам, что, когда моя книга вышла в США, я получил анонимные письма из Нью-Йорка и Калифорнии, содержащие всяческие оскорбления? Авторы их писали, что ни одна моя книга никогда больше не будет издана в США. Разумеется, я выбросил их в корзину, как это обычно делают с анонимными письмами. Но факт остается фактом: в США существует полный бойкот по отношению к моим книгам. И почти та же картина в Англии. Они надеялись, что голод заставит меня подчиниться.

...Я выжил, но не забуду того, что мне пришлось претерпеть.

Сюри-ан-Во, 17 января 1961.

...Вот вырезка из вчерашнего номера «Дейли телеграф» (Лондон), из которой Вы увидите, что вся эта лживая пропаганда в пользу Т. Э. Лоуренса продолжается. Я надеялся перепечатать Вашу статью, чтобы послать кое-кому, но, к сожалению, слег с бронхитом и почти ничего не могу делать. Но почему я один должен быть защитником правды? Если бы у западных интеллигентов было чувство чести и вера в правду, они протестовали бы; но они молчат из страха или же спешат извлечь пользу из глупого мифа. Все это мерзко.

Сюри-ан-Во, 13 февраля 1961.

...Большое спасибо за то, что Вы написали мне о читательнице из Рыбинска. Очень приятно думать, что у тебя есть друзья вдалеке, в то время когда враги оказываются в непосредственной близости. Преследование в Англии теперь приняло форму бойкота — не упоминать имени Олдингтона и, во всяком случае, не переиздавать его книг... Таковы их нравы. Не применяя прямых акций, они пытаются взять измором каждого независимого писателя, чтобы ему оставалось только покориться или умереть. Недавно я получил письмо от старого товарища, который когда-то учился со мной в Лондонском университете. Он служил в министерстве иностранных дел, затем вышел в отставку — после того как получил титул. Ну так вот, в этом письме содержался

дипломатичный намек: если я приеду в Англию и признаю, что был неправ в своей оценке Т. Э. Лоуренса, то я снова окажусь на «гребне литературной волны». Я до сих пор не могу прийти в себя от негодования.

Кафе «Греко», возможно, самое старое в Риме, и некоторые его уголки выглядят точно так, как в те времена, когда его посещал Гёте. При Муссолини владельцы кафе вынуждены были частично переоборудовать его и сделать «современным», но у них хватило ума сохранить старые картины и обои. А теперь оно реставрировано. До сих пор сохранилась надпись над местом, которое всегда оставляли для Гоголя. На стене висит портрет Гоголя — набросок, сделанный в кафе,— но я не смог найти снимка с него. Все картины на стенах кафе написаны художниками, которые там бывали, и, мне кажется, среди них есть и русские.

Сюри-ан-Во, 27 марта 1961.

...Я тоже думаю, что кошка на открытке под портретом Гоголя живая. Дело в том, что тогда в кафе была кошка, которая очень привязалась к Гоголю; она всегда приходила и садилась около него. Ему сохраняли его постоянное место за маленьким столиком. Вы правы насчет трактира Диккенса, он существовал до 1941 года, когда нацистская бомба разрушила его до основания. Я иногда бывал там. Трактир находился в Сити, около Ломбард-стрит. На нем была вывеска: «Георг и коршун». Диккенс любил этот трактир — мистер Пикквик посещал его. Это был просто старинный английский трактир, пол был посыпан опилками, потому что посетители приносили грязь с улицы на сапогах. Там подавалась простая английская пища, а пиво разливали в высокие кружки. Конечно, владельцы кафе «Греко» очень горды тем, что оно ассоциируется с Гёте и Гоголем и другими великими людьми, но, к несчастью, американцы завладели им как посетители, поэтому художники ушли оттуда. Они теперь ходят в «Трастевере» на другом берегу Тибра; обитатели этого района — рабочие — гордятся тем, что именно они настоящие потомки древних римлян!

Боюсь, что Ваша знакомая в Рыбинске найдет немного моих книг на английском языке. Как Вы и мистер Урнов справедливо пишете, после выхода «Смерти героя» ко мне относились предубежденно, и многие книжные магазины отказывались брать больше чем по одному экземпляру моих книг (один они обязаны были брать на основании закона против «тайного сговора в целях ограничения торговли»!). Но с начала кампании в связи с «Лоуренсом Аравийским» мои книги почти не появляются в Англии и США. У меня есть сведения, что в двух случаях «кто-то» (я не знаю кто) оказывал давление на издателей, чтобы они не переиздавали моих книг. В одном случае имелись в виду «Веллингтон» и «Все люди враги», а совсем недавно — «Смерть героя» и «Дочь полковника», которые были предложены для серии английских переизданий под названием «Выдающиеся книги». Разумеется, я не могу доказать это юридически, но таковы сведения, которые я получил от друзей из Лондона.

Венеция, 2 мая 1961. *

...Я в Венеции, освежаю воспоминания почти пятидесятилетней давности... Вашу открытку мне переслали сюда. Дуб прекрасен. Можем ли мы отбросить искусство старых мастеров, как хотят этого здесь наглые молодые люди?

Посылаю Вам открытку с изображением рыбачьих лодок в Кьодже — она отсюда в двух часах езды на пароходе. Это, пожалуй, самый большой рыбачий порт в Италии, и, разумеется, большинство лодок теперь моторные. Но тут сохраняют красивые старые паруса, и, когда есть ветер, можно выключить мотор и плыть на парусах!

Здесь нет кафе «Греко». Знаменитое кафе «Флориан» на площади Святого Марка переполнено американцами, и я избегаю его, чтобы быть как можно больше с жителями Венеции.

---

* Ответ на открытку с репродукцией картины Левитана «Дуб».

*Сюри-ан-Во, 20 июля 1961 *.*

...В данный момент Венеция спасена от тех, кто намеревался сносить здания, чтобы заработать деньги на постройке псевдоамериканских небоскребов,— в этом городе, который больше, чем какой бы то ни было другой, должен быть огражден от них. Я думаю, он может просуществовать несколько столетий, если будут своевременно ремонтировать здания, но, по мнению экспертов, вся территория города оседает примерно на девять сантиметров в столетие. Так что в конце концов он будет затоплен, если только оседание не прекратится.

Конечно, это «абстракционистское искусство» — вздор, попытка скрыть опустошенность и бессилие «художников». Когда я говорю им, что оно мне не нравится, они поясняют покровительственно: «Это потому, что вы его не понимаете». На это я отвечаю: «Естественно, ибо там нечего понимать». Я знаю Герберта Рида с 1919 года, он лично мне очень нравится, но я не согласен с его взглядами на искусство и литературу — взглядами, которые он постоянно меняет в надежде угодить тем, кого считает «молодыми». Кстати, эти так называемые «новые течения в искусстве» организовываются парижскими торговцами картин; они склоняют критиков-искусствоведов к тому, чтобы восхвалять все, что представляется «новым», как бы оно ни было нелепо и фальшиво, а потом продают эти картины невежественным американским снобам. Примерно то же самое происходит в области литературы, где американские и английские издатели, образуя «замкнутый круг», оказывают воздействие почти на всю прессу и надувают авторов с наглостью, невиданной со времен XVIII века. Я просто выхожу из себя, когда вижу, как они обманывают меня, но ничего нельзя сделать, разве что перестать писать...

Сюри-ан-Во, 23 августа 1961.

...Есть области, в которых абстрактное искусство вполне приемлемо — например, обои, мозаичный пол и ковры, декоративные украшения на керамике и т. п. Нас не устраивала бы скатерть, «иллюстрированная» сценами из жизни. Вот, например, итальянцы недавно выпустили в продажу чайные полотенца со стилизованными рисунками овощей, винограда и других фруктов. В Венеции я купил моей дочери три полотенца, и она была от них в восторге. Но если говорить о картинах и скульптуре, то мы безусловно хотим от них большего, чем просто сочетания красок и форм. Мы с полным правом ожидаем увидеть в картине или скульптуре плоды жизненного опыта художника, его отношения к миру и человеку. Искусство — средство выражения и средство общения между людьми, главным образом средство общения. Художник не имеет права поднимать себя над обществом и презирать своих потенциальных зрителей. Искусство «для немногих избранных» — это ересь парижских художников-мазилок XIX века... Все книги заключены в словаре, но опубликовать несколько страниц словаря — не значит создать произведение художественной литературы. В пору, когда начинали дадаисты (это были праздные молодые люди, сыновья богатых отцов), один из них опубликовал в качестве поэмы алфавит: «A Б C... X У Z». Они были очень рассержены, когда я сказал, что мое мнение об этом: «1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9».

Когда дадаисты, сюрреалисты и прочие, писавшие совершенно непонятные вещи, хлопотали о подписке на свои произведения, то они были весьма конкретны!

В известном смысле, я думаю, абстракционистские художники и скульпторы — «faux naifs» **; они претендуют на полнейшее неведение; между тем на самом деле они как художники полуобразованны. Подлинные «наивные», такие, как Ван Гог и Анри Руссо, достойны восхищения; они изображают нам мир, увиденный глазами гениальных людей, на творчестве которых не лежит печать профессиональной выучки. В современном мире нет оправдания для неведения, и заявление, что художник творит только для того, чтобы «выразить себя», и не несет ответственности перед обществом, просто

---

* Ответ на письмо по поводу статьи английского критика, искусствоведа и поэта Герберта Рида в «Нью-Йорк таймс мэгэзин» «В защиту абстракционистского искусства» (в связи с пятидесятилетней годовщиной появления первой абстракционистской картины).

** Притворно наивные *(франц.)*.

наглость. Я посылаю вместе с этим письмом довольно неудачную репродукцию части выложенного мозаикой пола в Мурано; пожалуйста, передайте ее Вашему племяннику от меня. Он увидит на ней чисто абстрактный рисунок из цветных камней — здесь он вполне уместен — и в то же время стилизованный рисунок павлинов, вазы и листвы; все это в полной гармонии. Конечно, здесь есть символизм: павлины означают гордость и славу мира. Этот символизм восходит к павлинам Геры, которые некогда символизировали гордость и славу женственности. Разумеется, мы не должны копировать эти достижения античности, но принцип, который кроется за ними, все еще жизненен. И еще: искусство нужно не миллионерам, они дорожат им только как собственностью, но народу, который изголодался по красоте.

...Я стою на моем определении абстракционистских художников и скульпторов — «Академия импотентов».

*Сюри-ан-Во, 18 июля 1962 *.*

Совершенно невозможно выразить словами благодарность Вам и другим нашим друзьям за ваше доброе отношение, но я уверен, что Вы понимаете, как мы глубоко чувствуем все, что вы сделали для нас. Это были замечательные дни, и я запомню их навсегда.

Обратно мы летели очень хорошо, по приезде застали теплую и солнечную погоду, к семи часам вечера уже были в отеле «Вольтер». Кэтрин с трудом добыла спальное место на поезд в Арль, потому что это как раз время начала летних каникул, когда буквально миллионы людей покидают Париж, едут в деревню или за границу, а вместо них приезжают орды туристов, главным образом из других стран.

...Посылаю Вам бандеролью экземпляры (надписанные) сборника «Artifex» и моего перевода «Опасных связей» Шодерло де Лакло в мягкой обложке. У меня был только один экземпляр большого иллюстрированного издания с моим предисловием, которое, я надеюсь, поясняет значение этого романа как предвестника французской революции; это издание мне хотелось послать мистеру Суркову. Напишите, пожалуйста, нет ли каких-нибудь интересующих Вас книг, которые я мог бы послать Вам.

Последнее время я был поглощен заботами о друзьях, гостивших у меня во время их трехнедельного отпуска (которым пользуются теперь во Франции служащие), но они были так добры, что всячески помогали мне, и славная Ренэ приходила каждый день, чтобы помочь в работе по дому. Я пью чай утром, включая самовар, он работает отлично. Должен признать, что я чувствовал себя усталым после приезда, но деревенская тишина и сон способствовали моему отдыху, и сегодня я чувствую себя много лучше. Уже миновала половина того четырехмесячного режима, который предписали мне врачи, но я не думаю, чтобы его могли значительно ослабить, мне придется быть осторожным до конца моих дней.

Напишите мне о себе, когда найдете время.

---

* Это письмо написано после возвращения Олдингтона из СССР, за неделю до его смерти.

ЛЕОПОЛЬД ГРЮНВАЛЬД

НОВАЯ АВСТРИЙСКАЯ ПРОЗА

(Письмо из Вены)

25-я годовщина со дня аннексии Австрии фашистской Германией, послужившая поводом для патриотических выступлений широких масс населения, еще раз позволяет нам убедиться в существовании национальной австрийской литературы. Роковые для страны мартовские дни 1938 года разделили писателей на два лагеря. Тем, кто унизился до участия в геббельсовской имперской палате по делам литературы и считал, что Австрия навсегда вычеркнута из истории, противостояли непокорившиеся. Это были писатели разных направлений — от молодых поэтов Юры Зойфера и Рихарда Цаха, погибших от руки немецких фашистов, до католических писательниц Мартины Вид и Альмы Хольгерсен. Все эти писатели корнями своими глубоко связаны с австрийской традицией, они нашли достойных последователей в послевоенные годы и в наши дни.

Австрия, которую так часто и в области литературы считают тихим, благодушным островом, на самом деле не может уйти от основных идеологических конфликтов современности, не может быть в стороне от таких проблем, как война и мир, демократия и реакция. Недавно вышедший сборник статей Эрнста Фишера «От Грильпарцера до Кафки» содержит литературные портреты шести писателей: Франца Грильпарцера, Николауса Ленау, Иоганна Нестроя, Карла Крауса, Роберта Музиля и Франца Кафки. Анализируя произведения крупнейших представителей австрийской литературы, которых обычно несправедливо причисляют к немецким литераторам, автор показывает, что существовали определенные исторически обусловленные факторы, которые оказали решающее влияние на формирование специфически австрийской национальной культуры и литературы.

Несколько слов об австрийском книжном рынке: он заполонен новыми изданиями. Это книги из Западной Германии, а также австрийские — по большей части самая низкопробная литература, обращенная в прошлое и не лишенная монархических тенденций (ибо она прославляет «доброе старое время» и династию Габсбургов).

Однако в продаже можно встретить и произведения, представляющие лучшие традиции австрийской литературы. И в этой связи нельзя не сказать об одном очень важном и интересном издании — о карманной серии «Дас эстеррейхише ворт», выпускаемой в Граце издательством «Стиазни-ферлаг»; уже вышло более ста книг, начиная с классиков — Раймунда, Нестроя, Ленау — до современных авторов. Особое место в этой серии занимает роман Ганса Леберта «Волчья шкура» *. Проблема романа — наследие немецкого фашизма, которое до сих пор живо в австрийской деревне. Книга Леберта была высоко оценена за пределами Австрии и наконец получила признание и на родине писателя: Леберту была присуждена Государственная литературная премия 1962 года.

Молодой писатель Франц Кайн обратился в своем недавно вышедшем большом автобиографическом романе «Поднялся фён» к теме, которая до сих пор была в австрийской литературе под запретом,— времени,

---

* См. «Иностранную литературу» № 6, 1961 г.

предшествовавшему «аншлюссу» (1933—1938 гг.)

В те годы во всех австрийских семьях решался основной, определяющий судьбу людей вопрос: следовать ли лицемерным, лживым пророкам третьей империи или принять сторону людей, преследуемых Гитлером,— участников пролетарского восстания 1934 года, борцов Сопротивления, сражавшихся против «черных» и «коричневых» фашистов.

Роман Франца Кайна в высшей степени актуален, он обращен к сегодняшнему молодому поколению; писатель хочет помочь нашей молодежи осознать себя австрийцами, хочет предохранить молодежь от влияния боннской демагогии. «Поднялся фён» — это книга мужественная, суровая и честная. В описаниях австрийского пейзажа Кайн поднимается до вершин высокой поэзии — эти страницы напоминают лирику Адальберта Штифтера.

Такова книга Кайна — бывшего лесоруба, борца антифашистского Сопротивления, узника концлагеря, сегодняшнего публициста-коммуниста. И официальные круги вынуждены были отдать писателю должное: его рассказ «Возвращение в терновник» напечатан в литературном альманахе города Линца за 1962 год. Другие его рассказы вышли еще в 1955 году в берлинском издательстве «Ауфбау».

Тема выбора пути, поднятая в книге Кайна, возникает вновь в одноактной пьесе Гельмута Квальтингера и Карла Мерца «Господин Карл»; великолепный актер Квальтингер создал блестящий образ политического хамелеона, столь типичный в условиях современной Австрии. Этот смелый спектакль вызвал не только страстные споры и восторженные похвалы, но и бессильную ярость тех, кто вовсе не желает, чтобы было окончательно и решительно покончено с прошлым.

Критика превозносит модный сейчас в Австрии гротескный роман «Меровинги» Хеймито фон Додерера. Вот в двух словах его сюжет: потомок старого королевского дома Меровингов нахватал колоссальные богатства при помощи хитроумной «системы браков по расчету» и произвел на свет бесчисленное количество детей, но в конце жизни помешался. И тогда «любящие» родственники поймали его, кастрировали и лишили всякой власти; он стал «маленьким человеком», «человеком с улицы». Однако до этой катастрофы ему еще удалось, благодаря упомянутой выше «системе браков», стать собственным отцом, дедушкой, племянником и братом.

Хотя роман этот был встречен многими с добродушной иронией и легким презрением, нашлись у нас литературные критики, которые написали глубокомысленные исследования и произвели «психологические изыскания» по поводу скрытого значения образа этого последнего Меровинга. Подобного рода литературная критика собирается даже представить кандидатуру Додерера на Нобелевскую премию. Причины столь высокой оценки книги Додерера коренятся в атмосфере сегодняшней духовной жизни Австрии. Самое известное его произведение «Демоны» (1956), переведенное на многие иностранные языки,— политическая и идеологическая программа сегодняшних правящих кругов. На 1400 страницах автор в слегка ироническом, непринужденном тоне рисует широкую картину жизни Вены между двумя войнами. В книге много остроумных, веселых и причудливых сюжетных ходов. Но по существу это произведение — идеологическое оправдание беспринципности чиновничьего и буржуазного мира в наши дни. Фашизм показан здесь как власть «сверхъестественной силы», «демонов»; политика объявляется врагом всего человечного. Это глубоко реакционное произведение, игнорирующее все действительно важные проблемы современности и именно поэтому, вероятно, поднятое на щит теми, кто хочет таким образом смыть пятна своего «коричневого» прошлого.

Другую позицию занимает Вильфрид Дайм, выступивший с книгой «К стратегии мира. Нейтралистская позиция», которая вызвала у нас в стране большой интерес. В этой книге автор исходит прежде всего из необходимости сохранения нейтралитета и независимости Австрии, сохранения мира и требования обуздать сторонников новой немецкой агрессии. В связи с книгой Дайма в Австрии было состряпано что-то вроде «дела журнала «Шпигель». Боннские «охотники за ведьмами», использовав частную жалобу на «оскорбление чести» одного из своих австрийских агентов—газеты «Зальцбургернахрихтен»,— добились конфискации книги. Этот акт произвола, явно противоречащий конституции, побудил профессора Хеера сделать заявление о том, что австрийцы принуждены теперь жить в стране, где господствуют «злые духи вчерашнего и позавчерашнего дня».

Рамки небольшого обзора не позволяют мне приводить еще примеры, раскрывающие атмосферу духовной жизни сегодняшней Австрии. Хотелось бы, чтобы этот обзор помог советским читателям лучше понять борьбу за независимость нейтральной Австрии.

ОБОЗРЕНИЕ ЗАРУБЕЖНОЙ ПРЕССЫ

СУДЬБЫ СОВРЕМЕННОГО РОМАНА

Один из великих писателей прошлого сказал, что «роман — это зеркало, которое наводишь на большую дорогу». Наведено это зеркало и на дорогу современной истории. В нем, как обычно, хорошо видно, куда идет отражающаяся здесь культура — в сторону упадка и разложения или в сторону социального прогресса и освобождения всех творческих возможностей человека. Буржуазный мир, как известно, уже давно не любит смотреть на собственные изображения: ни о чем хорошем они не говорят. Не мудрено поэтому, что защитники и апологеты этого строя предпринимают многочисленные попытки объявить само зеркало кривым или даже вовсе разбить его; все чаще упоминают они о неизлечимом кризисе романа или рассматривают его гибель как совершившийся факт. Однако действительно глубокий кризис буржуазной идеологии вовсе не означает кризиса искусства вообще. Это было убедительно показано во время недавнего обсуждения проблем современного романа на страницах румынской печати.

С глубокой критикой теории «крушения» романа как жанра выступила **«Газета литерарэ»**. В статье **Иона Витнера**, посвященной «Истории современного романа» французского литературоведа Р. М. Альбереса, были вскрыты не только общие предпосылки этой теории, но и объяснены ее «самые современные» откровения.

«Альберес,— пишет Витнер,— относится к числу тех буржуазных литераторов, которые пришли к убеждению, что тревожные крики, разговоры о кризисе могут только дискредитировать культуру, защищать которую они стремятся любой ценой. Вот почему Альберес идиллически изображает процесс распада буржуазного романа, представляя его как новейшее культурное достижение, как фактор прогресса, единственный путь развития всемирного романа».

Естественно поэтому, что Альберес отвергает реалистический роман, поскольку реалистическая литература представляет собой лучшее опровержение его концепции.

«Автор «Истории современного романа» полагает, что реализм безнадежно устарел, что он не в состоянии отражать сложность существования современного человека. По его мнению, реализм означает банальное накопление описаний, частный рассказ о вещах, которые романист заранее знает, а не подлинное, страстное переживание описываемых событий. Таким образом, бальзаковский роман представляется ему в высшей степени банальным, и спасает его лишь то обстоятельство, что «описания архитектуры, мебели и одежды остаются ощутимыми деталями скрытой от нас жизни». Раскрытие социальных тайн Бальзаком, Диккенсом, Сю, Гюго (в «Отверженных») превращает их романы в нечто «мистическое и таинственное», и только в таком виде Альберес приемлет их, хотя все, что связано с реалистическим восприятием в романах, представляется ему «декадансом».

Нападки Альбереса на реализм, конечно, имеют вполне определенные социальные причины. Любые модернистские течения предпочтительнее для него, потому что они уклоняются от обсуждения больших проблем, волнующих современного человека.

«Альберес,— говорит Витнер,— приемлет натурализм за то, что он «не стремится проникнуть в глубины сознания», за то, что он «отбрасывает тонкость анализа и глубину субъективности». Все это, так же как интрига романа, его целевая направленность и, конечно, тенденциоз-

ность, в которой мы видим золотоносную жилу критического реализма, отвергается критиком, считающим их условностями, подорванными искусственностью. Впрочем, Альберес, как и вся братия критиков-идеалистов, избегает даже термина «критический реализм», столь знакомого нам, по той причине, что этот термин указывает на общественные и критические аспекты литературы в ее отношении к буржуазному миру, которые они в своих литературных опусах стараются скрыть».

«Устранив» таким образом мешавший ему реализм, Альберес с поразительной легкостью доказывает свою мысль о «спасительном и неизбежном» кризисе романа на примерах современной модернистской прозы. Но эти произведения, как показывает Витнер, не могут быть мерилом современной литературы. потому что чаще всего они стоят вообще за пределами искусства.

> «Так называемый «новый реализм», на восхваление которого Альберес не жалеет усилий, представляет собой действительно «литературу предметов», а не человека. Так, например, ныне скандальную популярность приобрели приемы, которым отдает предпочтение Ален Роб-Грийе (один из «великих мастеров» этой литературы) и посредством которых «романист» (титул совершенно неподходящий в данном случае) хочет взорвать мир разума, отличающий социального человека. ...Уничтожение героя, устранение интриги, сведение на нет драматического интереса, игнорирование понятия времени, иррационализация психологии — таковы элементы творческой манеры, единственная цель которой состоит в уничтожении ценностей реалистического романа. Впрочем, французский критик и сам совершенно справедливо называет эту герострatовскую формулу буржуазного романа «антироманом».

По сути дела и другая, более «умеренная» тенденция современной прозы на Западе, которую буржуазные критики выдают за наиболее прогрессивную и плодотворную,— превращение романа в развернутое эссе,— также в конечном счете ведет к разрушению искусства и наносит ущерб его художественному содержанию. Об этом хорошо сказал **А. Е. Баконски** в статье, содержащей критический разбор творчества Музиля в **«Контемпоранул»**.

«Диспропорция между рассудочным мышлением и собственно литературой,— пишет критик,— не является, разумеется, специфическим отличием прозы Музиля, это гораздо более широкое явление...

Обычно полагают, что влияние эссе на другие жанры относится к области новаторства и говорит о высокой интеллектуальности, о глубине мысли автора. Но неужели же такие писатели, как Стендаль или Толстой, не были великими мыслителями? Чем же объясняется тот факт, что «Красное и черное» или «Война и мир» не грешат, употребляя выражение Музиля, «чрезмерным обилием теории»? Тем, что их авторы знали законы искусства и никогда не путали литературу и философию... Когда писатель чувствует, что он бессилен сделать свои идейные построения художественно убедительными, он обращается к «теории» и приходит в конце концов к тому гибридному тону, который придает эссе чисто мистический характер. Этот процесс часто протекает неосознанно, а если писатель отдает себе в этом отчет, то он обычно начинает искать оправдания и пытается выдавать за новаторство то, что в глубине души сознает как слабость и бессилие. Перефразируя высказывание Шлегеля, который полагал, что поэзия достигает совершенства, приближаясь к науке, эти писатели хотят доказать, что чем больше литература будет походить на философию, тем выше будет ее значение как искусства. Однако книги, порожденные подобным кредо, чаще всего неудобоваримы».

Итак, ни простая регистрация «вещей», ни растворение формы романа в эссеистских рассуждениях не могут считаться новаторскими приобретениями современной литературы. Подлинную силу романа составляет его эпическая природа, которая сохранялась в искусстве классиков и которую развивают теперь на новой основе писатели социалистического реализма. Этой теме и посвятил **О. Крохмэлничану** свою рецензию на книгу Иона Яноши «Монументальный роман и XX век», недавно выпущенную в Румынии.

«Роман,— говорит автор,— является современным продолжателем древней эпопеи, но, разумеется, на более высокой ступени. А между тем буржуазный образ жизни по своей сущности несовместим с большой эпикой. Иными словами, в истории романа происходит странное явление: средства эпики значительно усовершенствовались в творчестве Рабле, Сервантеса, Диккенса, Бальзака. А в то же самое время капиталистическое общество с его индивидуализированным видением мира стремится все больше оторвать роман от его «эпической» природы, от великих социально-исторических синтезов, могущих охватить опыт целого общества в решающие периоды истории. И преодолеть эту тенденцию снижения эпического дыхания могут лишь гениальные художники, подобные Толстому, писатели, тесно связанные с жизнью народа, как, например, Садовяну в Румынии. Отсутствие монументального в современной буржуазной культуре — свидетельство бессилия в общечеловеческом плане. С другой стороны, возрождение монументального есть в наше время выражение освобождения человека от тех увечий, которые нанесло его духу общество, разделенное на антагонистические классы, возрождение на более высокой сту-

пени масштабов великих эпических полотен прошлого.

Следовательно, проблемы романа-эпопеи теснейшим образом связаны с проблематикой литературы социалистического реализма».

Рецензент приводит слова Яноши, в которых обобщается опыт социалистического искусства и успехи подлинно современного, прочно связанного с жизнью и чуждого модернистских «новаций» романа:

«Эпопея появляется тогда, когда непосредственным и главным содержанием романа становится историческая деятельность народных масс. Пафос истории, панорама бурного исторического развития, преимущественное изображение больших коллективов и их четко индивидуализированных представителей, отражение творческой деятельности масс и героев, посвятивших себя служению этим массам,— вот фундамент, на котором вырастает роман-эпопея как эстетическая форма отражения действительности».

Этого фундамента лишено современное буржуазное «антиискусство». Поэтому его сторонники и говорят о «кризисе романа». Роману, который связан с передовыми стремлениями эпохи, который является зеркалом новой жизни, никакой кризис никогда не угрожал. Этот роман продолжает быть любимым искусством миллионов.

НА НОВОМ ПУТИ

После выхода в свет пьесы «Пинг-понг» Артюр Адамов был признан, наряду с Беккетом и Ионеско, одним из главных лидеров «театра абсурда». Более того, именно на Адамова поборники «антитеатра» возлагали в то время самые большие надежды. Но в середине пятидесятых годов Адамов неожиданно для всех своих тогдашних единомышленников резко порывает с «антитеатром» и уже в «Паоло Паоли» (1957) приходит к социальной драме, к реализму.

Для «абсурдистов» этот поворот был неожиданным, как гром с ясного неба, и они до сих пор не могут оправиться от такого удара. Один из летописцев «театра абсурда» еще совсем недавно с горечью вопрошал:

«Как же могло случиться, что драматург, в конце сороковых годов отвергавший реалистический театр столь безоговорочно, что даже упоминание в пьесе названия города, который можно отыскать на карте, показалось бы ему «невероятной пошлятиной», как мог он в 1960 году взяться за совершенно традиционную историческую драму, место и время действия которой обозначены так точно — Парижская коммуна, год 1871?»

Время действия обозначено Адамовом уже в самом названии пьесы еще точней — «Весна 71-го». Недавно эта пьеса была поставлена на сцене Театра Жерара Филиппа в Сен-Дени, и после премьеры газета «Франс обсерватёр» обратилась к драматургу с просьбой разъяснить причины произошедшей с ним «метаморфозы». Почему он отрекся от принципов «метафизической» драмы, театра вне пространства и времени и пришел к драме исторически и социально детерминированной? Когда и как начался этот перелом в его творчестве? И если в ответе Адамова, так и озаглавленном «Моя метаморфоза», прозвучали нотки иронии, то она вполне понятна: она адресована интервьюерам, за вопросами которых чувствуется, что они и сейчас еще смотрят на «новый курс» в творчестве драматурга как на некое не понятное им недоразумение и до сих пор не расстались с мыслью о возвращении «блудного сына» под кров «антитеатра».

Случилось так, что в один прекрасный день, а, точнее, в те два года, пока я работал над «Пинг-понгом»,— пишет **Артюр Адамов**,— для меня настало время взять да и поразмыслить всерьез. Собрал я воедино старые свои пьесы — «Пародию», «Вторжение» и прежде всего, конечно, «Большие и малые маневры» — и пришел к выводу, что за исключением «Профессора Таранна», этого непритязательного изложения приснившегося мне однажды ночью сна, во всем, что я писал, по правде говоря, сказывалась готовность отступать без боя, даже малодушие.

Рецепт такого писания — а есть еще немало таких, кто продолжает им пользоваться безо всяких для себя затруднений и к вящему своему прославлению,— чрезвычайно удобен: сбывай кому-нибудь другому на руки противников, с которыми сталкиваешься, считая, что бороться вообще смешно, и во всех случаях прибегая к «высшему» философскому принципу: «все, что есть, пойдет прахом», не уточняя, само собой понятно, что это за «все», о котором идет речь, и с чего бы это «все» вдруг «пошло прахом». Это тот упорный и не поддающийся никаким убеждениям отказ от всякого решения чего бы то ни было в чью бы то ни было пользу, который Ролан Барт назвал в свое время «нинизмом». Ни то ни се — ничто! Потому что так ли, этак ли, а все равно умрешь... Но поговорим же, наконец, серьезно. Ведь тот факт, что человек смертен, боится смерти и этот страх подчас преследует его, не отменяет жизни, а стало быть, и необходимости бороться. Не отменяет он и истории: всегда известно, против чего и за что идет борьба. Мы же, или во всяком случае некоторые из нас, вот уже лет пятнадцать, как пришли к убеждению что театр в наши дни не только в праве, но и должен раскрывать тщетность усилий человеческих».

К чему же в конце концов приходят приверженцы этой «философии» современного театра и как ныне оценивают ее те, кто начинает прозревать?

«Ионеско,— отмечает Адамов,— после того как провозгласил некую «всеобщую» мораль основой своего понимания жизни, лишился юмора, без которого, как сам же он некогда утверждал, не может быть подлинного своеобразия языка, и теперь, хотя временами становится ясно, что фантазия его еще не совсем иссякла, уже не высказывает ничего, что шло бы дальше банальностей обветшалого индивидуализма... Что же касается меня, то я не вижу особой вины в том, что наивно полагал в 1947 году, будто моя крайне несовершенная пьеса «Пародия» является полным обобщением условий человеческого существования, мне просто жаль, что я действительно не понял раньше — театр способен ставить вопросы большого масштаба и гораздо более серьезные, чем вопросы «условий человеческого существования».

Это открытие взорвало тот тесный, условный мирок, в котором прозябали призрачные герои ранних пьес Артюра Адамова. Вся жизнь двух героев «Пинг-понга» прошла возле механического пинг-понга в кафе мадам Дюранти, и эта игрушка-автомат в конце концов поработила их, перестроила на свой лад все их мировосприятие, разбила мечты, отняла молодость, убила одаренность. Во «Вторжении» два ученика и последователя умершего писателя Жана заняты сизифовым трудом — разборкой зашифрованной рукописи своего учителя, листы которой безнадежно перепутаны, и жизнь проходит мимо Пьера и Траделя. Так же точно она проходила и мимо самой драматургии раннего Адамова, пока не наступил перелом, который был закреплен в пьесе «Паоло Паоли».

Чем же было обусловлено обращение драматурга к теме Парижской коммуны в «Весне 71-го»?

«Выбор темы,— объясняет Адамов,— был продиктован главным образом моими политическими воззрениями. Первое рабочее правительство, мужество, торжество разума и, сверх того, героизм, которые на три месяца превратили Париж в столицу мира,— разве все это не одна из самых великих для театра тем?»

Говоря о том, как волнуют воспоминания о событиях, о жизни, о людях того времени сегодня, Адамов вспоминает одного из участников этих событий, молодого журналиста Гюстава Марото, сосланного после падения Коммуны на 26 лет и умершего в ссылке. Адамов прямо говорит о том, что судьба Марото перекликается с недавними собы тиями наших дней:

«Сейчас, когда я пишу эти строки, мне стало известно, что в Мадриде упала с плеч голова республиканца Хулиана Гримау. И эта смерть после такого множества прочих смертей еще более усиливает мою решимость посвящать все свое искусство борьбе с тьерами и франко до тех пор, пока с ними не будет покончено навсегда. То, что рабочий муниципалитет Сен-Дени приложил громадные усилия для осуществления столь монументальной постановки,— вот мое вознаграждение за те месяцы труда и тревог, которые я провел, работая над пьесой, вот что вдохновляет меня продолжать работать, что воодушевит — я надеюсь — и других тоже продолжать или начать».

Таково credo Адамова, которое он противопоставляет сегодня философии и поэтике «театра абсурда».

НАЦИОНАЛЬНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ И ДАРЫ ДАНАЙЦЕВ

Всего шесть лет прошло с того дня, когда Кваме Нкрума, одетый в памятный тюремный костюм, провозгласил: «Гана, наша любимая Родина, свободна — свободна навсегда!» — и ликующие толпы его сограждан в зелено-красных одеждах подхватили эти прекрасные слова.

Теперь молодая республика осуществляет семилетнюю программу экономических преобразований, постепенно избавляясь, благодаря бескорыстной помощи социалистических стран, от наследия колониализма и создавая собственную национальную промышленность. Целая армия рабочих трудится, сооружая с помощью советских специалистов электростанции, заводы и фабрики для новой Ганы.

Но колонизаторы не так-то легко сдают свои позиции. Во что бы то ни стало сохранить зависимость Африки от капиталистического Запада — вот их цель. И они не только всеми средствами удерживают за собой концессии, но и вторгаются в область культуры и искусства, всячески насаждая и культивируя на африканской почве реакционную идеологию.

Это и имел в виду **Кофи Антубам** — известный ганианский художник, создатель фресок о Гане на новом здании Объединенных Наций в Женеве, когда в своей речи о развитии национальной культуры и искусства Ганы предостерегал молодых художников против опасного увлечения некоторыми западными теориями:

«Нельзя допустить, чтобы в Гану проникли беспочвенные воззрения определенной части европейских художников, которые считают, что после эпохи Возрождения современным художникам не удастся открыть в окружающем мире и природе ничего нового. Для художественной молодежи Ганы нет ничего более вредного, чем эта жалкая мысль».

Приверженность к этой теории влечет за собой отказ от правды жизни и от прекрас ного в искусстве:

«Всякий может изобразить отвратительное, извращенное... Но художники Ганы должны непременно стремиться ко все более высокой степени совершенства. А совершенство в творчестве художника — всегда результат честного, глубокого и объективного изучения правильных, гармоничных форм в природе и жизни».

При этом Антубам вовсе не считает, что всякое влияние деятелей культуры других стран, их идей, взглядов и методов надо отвергать как отрицательное явление. Но он призывает бороться с вредными идеями, так как «только в этой борьбе достигают народы максимального развития во всех областях человеческой деятельности».

Силу и уверенность в себе, подчеркивает Антубам, художник черпает в нерасторжимой связи с народной культурой, в живых национальных традициях, которые в Гане чрезвычайно богаты и разнообразны.

«Художник должен иметь корни в истинно национальных традициях страны... Наши предки оставили нам богатый запас творческих традиций, возникших в определенных общественных условиях, основанных на сложившихся системах взглядов и принципов... Наша жизнь или смерть как культурного народа зависит от того, способны ли мы найти в прошлом, сохранить и перенести в будущее всего человечества наше национальное своеобразие».

Однако бездумное увлечение традициями прошлого таит свою опасность, и Антубам горячо напоминает художественной молодежи, что она принадлежит современности и не должна изменять научному мышлению XX века, не должна принимать на веру внушаемую ей западными «доброжелателями» «опасную идею, что искусство Ганы, как и всякое африканское искусство, уходит корнями в мистику», на которой якобы зиждилась вся африканская культура прошлого.

«Для художника Ганы XX столетия,— говорит Антубам,— было бы большим несчастьем, если бы из страха перед научным подходом к явлениям он монополизировал бы область мистики, которая есть не что иное, как главный признак невежества и суеверия!

Давайте же всячески черпать из прошлого; но будем разборчивы и возьмем из него лишь самое лучшее».

Народ Ганы, завоевавший национальную независимость, и в области культуры стоит перед лицом огромных задач.

Руководствуясь этими задачами, правительство Ганы уже провело ряд прогрессивных мер: помимо введения преподавания музыки и искусства во всех школах, в ряде высших учебных заведений созданы специальные художественные отделения, выпускающие художников и преподавателей изобразительных искусств и художественных ремесел.

Кроме того, в Аккре и во многих городах создаются Центры культуры, причем в их создании активная роль принадлежит Ганианской национальной корпорации труда, которая организует специальные художественные секции с целью поощрения художников и ремесленников и продажи их произведений.

Кофи Антубам убежден, что эта система очень скоро приведет национальное искусство к рассвету, но лишь в том случае, если художники Ганы займут подобающее место в борьбе за освобождение от колониализма.

Антубам горячо призывает художественную интеллигенцию Ганы «внести вклад в мировое культурное наследие от имени своего народа». И в его словах звучит уверенность, что они это сделают, что в современном мире, живущем в постоянной тревоге из-за «холодной войны» и угрозы атомного истребления, «художники Ганы не позволят себе роскошь наслаждаться покоем или искать прибежища в любовании своей особой». Их искусство должно способствовать консолидации сил, стремящихся к установлению дружбы и мира во всем мире.

ДАЙСОН КАРТЕР

КАНАДСКАЯ КУЛЬТУРА БУДЕТ ЖИТЬ

Вероятно, советским людям трудно представить себе ожесточенную, многолетнюю войну, в которой обороняющаяся сторона лишь мало-помалу начинает осознавать тот факт, что она стала жертвой агрессии. Однако именно так обстоят дела на моей родине — в Канаде.

Вот уже полтора века Соединенные Штаты покушаются на независимость Канады. За последние пятнадцать лет агрессор развернул широкое наступление на многих фронтах. Жизнеспособности нашей страны как суверенного государства ныне грозит серьезная опасность. Но лишь во время парламентских выборов 1963 года волнующий всех канадцев вопрос о засилье Соединенных Штатов стал предметом открытого публичного обсуждения.

Что же получилось в итоге? Ни одна из партий не завоевала большинства. Смятение умов было столь велико, что два миллиона избирателей отказались от участия в выборах. Ясно, что подавляющее большинство канадского народа еще не отдает себе элементарного отчета в том, какую историческую борьбу ему предстоит повести.

Я знаю: тайны буржуазной демократии — это совсем не то, чем вы живете сейчас в СССР. Но могу заверить советских писателей и всех творческих работников вообще: вы сможете глубже понять ваши собственные проблемы — насущные проблемы культурного развития общества, строящего коммунизм, если познакомитесь с той борьбой, что идет сейчас в канадской культуре. Я говорю так потому, что массированный натиск с юга, имеющий целью окончательно превратить Канаду в колонию США, осуществляется без всяких пушек и бомб. Враг использует два других, в высшей степени эффективных вида оружия: доллары и идеи. А в современном мире комбинированное наступление финансов и идеологии способно производить прямо-таки опустошительное воздействие.

Посмотрим сначала, как обстоят дела с канадским телевидением.

В Северной Америке телевидение вызвало глубокие изменения в культуре народных масс. Несколько лет назад канадское правительство осознало, какими серьезными опасностями чревата американизация культуры посредством «импортного» телевидения, и создало дорогостоящую сеть государственных телевизионных студий. Вместе с этими студиями Си-би-си — Канадская радиовещательная корпорация — разработала и продолжает разрабатывать систему телевизионных программ. Си-би-си открыла много талантливых писателей, постановщиков и актеров и успешно освещала многие важные события в культурной жизни Канады и зарубежных стран.

Однако, если бы вам довелось смотреть телевизор в какой-либо канадской семье несколько вечеров подряд, вы прежде всего удивились бы тому, какой высокий процент времени уделяет Си-би-си трансляции американских программ. Прибавьте время, которое тратится на «боевые» американские ревю, часы, отведенные для голливудских кинофильмов, и вы невольно усомнитесь в истинности официальных заверений, будто программы американского происхождения занимают в канадском телевидении не более половины времени.

Такое положение вещей объясняется двумя причинами, стоящими в тесной связи с косвенным экономическим влиянием США на нашу культурную жизнь. Во-первых, Си-би-си очень трудно удерживать канадские таланты в Канаде. В искусстве происходит то же самое, что и в науке: молодых способных канадцев тотчас приглашают работать в США на гораздо более выгодных условиях. Главная же причина, почему Си-би-си не может удержать своих лучших работников, состоит в том, что богатые американские корпорации, получающие баснословные прибыли в результате своих опе-

раций в Канаде, расходуют миллионы долларов на телерекламу не для того, чтобы поддерживать Си-би-си, а для того, чтобы финансировать передачи, которые готовятся для колоссальной телевизионной сети США.

Замыкая этот порочный круг, зарубежные телевизионные компании предлагают Си-би-си свою обильную продукцию (которая уже полностью оплачена заказчиками телерекламы в США) по гораздо более дешевой цене, чем подобные передачи обходятся канадским студиям. В результате миллионы канадских телезрителей привыкли к дорогостоящим, искусно сделанным американским программам. Они смотрят телевизор лишь для развлечения и либо требуют, чтобы Си-би-си транслировала больше американских телепередач, либо, что случается еще чаще, попросту настраиваются на волну телестанций США.

На книжном базаре в Торонто встретились старейший поэт Канады Уильям Макдональд и, быть может, самый молодой читатель его книг.

С недавних пор положение ухудшилось. В Канаде возникла еще одна телевизионная сеть помимо Си-би-си. Это частные телевизионные станции, которых интересуют только прибыли. Канадские по названию, они передают столько американских программ (проданных им по дешевке, на льготных условиях), что их с полным правом можно считать ответвлением телевизионной сети США.

В чем же конкретно сказывается влияние американского телевидения на канадскую культуру?

Даже неполный ответ занял бы все место, отведенное для моей статьи. Поэтому, на мой взгляд, лучше всего показать общую тенденцию, которая очевидна, даже если ее продемонстрировать на одном-единственном факте.

Речь идет о преступности. Не о заурядном преступлении, совершаемом отдельной личностью,— такие преступления преобладали в Канаде прежде,— а об организованной преступности на американский лад, массовому вторжению которой Канада подверглась в течение последнего, сравнительно короткого промежутка времени. Я говорю о преступной деятельности в широком масштабе, когда те, кто грабят банки, совершают кражи со взломом, играют в азартные игры, промышляют шантажом, проституцией, продажей наркотиков и т. д., действуют по указке богатых и влиятельных покровителей, которым ни при каких условиях не грозит опасность ареста, потому что они могут выставить финансовый заслон против любого вмешательства полиции.

Допускаю, советские читатели могут подумать: не стал ли сам автор жертвой американской детективной литературы? Отнюдь нет. Я не заимствую это описание ни из каких американских источников. Привожу высказывание известного монреальского прокурора Клода Вагнера, который по долгу службы обязан следить за соблюдением законов в этом крупнейшем городе Канады. В одном из своих выступлений он заявил: «В настоящее время в Канаде существуют вооруженные группы профессиональных бандитов; в их распоряжении имеются такие арсеналы, которым позавидовали бы организаторы вторжения на Кубу».

Мистер Вагнер ошеломил своих слушателей-бизнесменов, поведавши о новой массовой отрасли «промышленности», специализирующейся на краже автомобилей, переделке их до неузнаваемости и перепродаже через респектабельных дельцов. Он рассказал о чудовищном росте торговли наркотиками в Канаде, это зелье поставляют даже школьникам. Он рассказал об огромных суммах, выплачиваемых по страховке при пожарах, которые устраивают организованные банды поджигателей.

Когда я дал своему сынишке прочитать сенсационное заявление Вагнера, он прокомментировал его таким образом:

— Ах, я все это уже знаю. Я видел это по телевизору.

Из вечера в вечер миллионы канадцев смотрят пьесы, героями которых являются малолетние убийцы и пожилые насильники, богатые взломщики и респектабельные грабители банков, преступники-алкоголики и преступники-наркоманы, преступники — полисмены, юристы, судьи, врачи, психиатры и даже... священники!

ДАЙСОН КАРТЕР
КАНАДСКАЯ КУЛЬТУРА БУДЕТ ЖИТЬ

Всего лишь несколько лет назад детектив, бытовавший в североамериканском телевидении, был ограничен рамками специальных «детективных передач». Ныне тема преступности пронизывает почти все телевизионные программы США. Можно увидеть даже модернистские балеты, построенные вокруг убийства или отвратительного полового преступления. Некоторые из наиболее популярных «интеллектуальных» драм — это пьесы из уголовной жизни, обильно нашпигованные сценами жутких преступлений. Телепередача, долженствующая согласно замыслу отразить все богатство фольклора американских негров, снимается в доме терпимости. Даже история перекраивается для воспроизведения по американскому телевидению, и прошлое предстает ныне перед детьми нашего континента лишь как летопись перестрелок, поножовщины, казней, динамитных взрывов, истязаний, ограблений и попыток изнасилования.

За одну неделю в типичном канадском городе, в часы ранних передач, которые смотрят дети, телезрители могут увидеть 161 заурядное убийство, 60 «мотивированных» убийств, 192 покушения на убийство, 2 самоубийства, 83 ограбления с применением насилия, 16 похищений детей, 7 попыток линчевания, 6 взрывов с помощью динамита, 2 поджога и 2 сцены пытки.

В самом подлинном смысле слова телевидение возвело преступление в ранг культуры народных масс в Соединенных Штатах, а теперь также и в Канаде.

Возможно, здесь стоит вкратце рассказать советскому читателю о финансовом закабалении Канады, предшествовавшем ее культурному подчинению Соединенным Штатам.

Во-первых, торговля. За последние десять лет США выкачали из Канады 7 миллиардов долларов под видом «торгового дефицита». Чудовищно большой разрыв между уровнем продажи товаров Канаде и уровнем закупок у Канады (ныне этот разрыв составляет около ста миллионов долларов в месяц) Соединенные Штаты использовали для того, чтобы установить контроль над канадской экономикой или даже внедриться в нее на правах прямых собственников.

Во-вторых, национальная промышленность. Из каждых ста долларов, которые мы, канадцы, платим за товары, производимые в нашей же стране, более сорока долларов идет непосредственно в карман американцев, владеющих нашими заводами и природными ресурсами. Однако производство товаров широкого потребления остается на невероятно низком уровне, потому что каждый канадец вынужден платить в среднем около 200 долларов (800 долларов на семью!) в год за товары, полностью производимые на американских предприятиях.

В-третьих, налоги. Проживающие в США владельцы канадских шахт, транспортных средств, промышленных и торговых предприятий и т. д. облагаются налогом по гораздо более низкому тарифу, чем канадские бизнесмены. Невероятно, но факт: если бы американские капиталовложения в Канаде облагались налогом хотя бы по тому же тарифу, по какому Вашингтон облагает своих собственных промышленников, правительство нашей страны выиграло бы на этом почти 150 миллионов долларов в год!

Искусство Канады известно во многих странах мира, в том числе в Советском Союзе. На публикуемом снимке — выступление Монреальского симфонического оркестра в Большом зале ленинградской филармонии. У дирижерского пульта Зубин Мета.

В-четвертых, финансирование. Правительству, провинциальным и местным органам власти в Канаде не удается покрывать свои расходы лишь за счет налоговых поступлений. Поэтому они берут займы, где только могут. Фактически весьма доходную роль ростовщиков взяли на себя американские финансисты. За один 1962 год сумма займов, полученных канадскими властями и предприятиями у США, возросла более чем на 600 процентов. Да и сами «избранники народа» в значительной степени контролируются теми или иными американскими финансовыми группами, которые фактически владеют канадскими правительственными органами, берущими у них взаймы.

И, наконец, «оборона». В результате политического подчинения Соединенным

Штатам Канада расходует, главным образом на американское вооружение, 160 миллионов долларов ежегодно в рамках военной системы НАТО.

Но какое это имеет отношение к культуре? — спросите вы.

Быть может, один факт проиллюстрирует это лучше, чем многие страницы подробного анализа. Речь идет об американском проникновении в литературу. Подавляющее большинство книг, которые выпускаются сейчас в Северной Америке, это дешевые издания в бумажных обложках. В таком удобном оформлении можно купить и отличные романы, и книги воспитательного значения. Но то, что продается в бесчисленных мелких магазинах в миллионах и сотнях миллионов экземпляров, не имеет ничего общего с литературой. Это детективное и сексуальное чтиво и новомодные поделки в комбинированном детективно-сексуальном жанре. Эти ужасающие, отвратительные книжонки печатаются в США и наводняют магазины Канады. Поток этот невозможно остановить, так как массовым распространением подобной «литературы», а также всех журналов в Канаде ведает небольшая, но необычайно могущественная группа американских корпораций, использующих респектабельное, законное оружие бойкота против всякого владельца книжного магазина, который вздумал бы отказаться продавать их товар.

Теперь становится типичной новая тенденция. Чикагское издательство «Новел букс», достойный преемник гангстерских традиций Аль Капоне, решило пренебречь остатками цензуры, существующей для порнографии. Сделано это было очень просто: издали в баснословных тиражах грязнейшие книги, которые когда-либо продавались публично, и в нарушение всех ограничений затопили ими североамериканский континент. Канадские власти были явно бессильны противостоять этому натиску, и теперь наши дети в любом магазине на углу могут купить порнографические литературные «шедевры».

Хотите верьте, хотите нет: американцы продают в Канаде в двадцать раз больше книжной продукции, чем Канада и все другие страны, вместе взятые,— в Соединенных Штатах. Ни одна страна в мире не завалена продуктами американской «культуры» так, как Канада. В 1956 году министр почт США объявил, что отныне американские издания, предназначенные для экспорта в Канаду, будут пересылаться почтой США за меньшую плату, чем это предусмотрено для пересылки корреспонденции внутри США. Словом, речь идет о прямой субсидии со стороны государства, и министр почт США откровенно сказал: «Это делается затем, чтобы способствовать расширению мирового рынка для печатных материалов, распространяющих за рубежом американские идеалы, культуру и факты».

Идеалы, культуру, факты... и американские промышленные товары.

Издатели журнала «Кэнэдиен принтер энд паблишер» писали об этой почтовой субсидии:

«Свобода информации? Свобода властвовать, свобода порабощать — вот какой свободы хочет Вашингтон. И если нашим американским друзьям не дает покоя коммунизм, то мы можем им сказать, что их внешняя политика в данном случае — как и во многих иных — создает у других народов впечатление бесцеремонности и желания навязать американский образ жизни там, где ему нет места».

Играет канадский пианист Ренальдо Турини.

А теперь перейдем от книжных лавок к театральному искусству.

Иностранец, листая канадские газеты, может подумать, что в нашей стране есть интересный и сильный театр. Я ни в коей мере не хочу умалять отличную работу наших молодых режиссеров и растущие запросы и вкусы нашей театральной публики. Многие советские люди, побывавшие в Канаде, восторгались игрой актеров единственного в своем роде Стратфордского театра в Онтарио, который за короткий летний сезон привлекает множество зрителей со всех концов континента. Наши Всеканадские драматические фестивали, на которых состязаются в своем искусстве актеры-любители со всей страны, проводятся уже тридцать лет и могут стать реальной основой национального театра. Особенно хороши небольшие театры во французской Канаде, в провинции Квебек,— «Ла комеди канадьен» и «Ла жён комеди», воплощающие в себе то, чего, к сожалению, недостает большинству наших театров: подлинно канадский дух.

ДАЙСОН КАРТЕР
КАНАДСКАЯ КУЛЬТУРА БУДЕТ ЖИТЬ

Москвичи приветствуют канадскую певицу Луиз Маршалл.

Однако профессиональный театр всегда влачил в Канаде жалкое существование. У нас нет ни одной постоянной театральной труппы, такой, как у Малого театра или Московского Художественного. В Торонто, крупнейшем городе с населением, говорящим на английском языке, существует ультрасовременный театр О'Киф-центр, построенный неким пивным королем и названный его именем. Владельцы этого театра, по-видимому, полагают, что на его сцене достигнуты высочайшие вершины драматического искусства. Было заключено соглашение с бродвейскими режиссерами в Нью-Йорке, чтобы они присылали в Торонто все новые пьесы и музыкальные постановки, перед тем как впервые показать их в Америке. Таким образом канадцам отводится роль пробной аудитории, и такая система, говорят, обходится куда дешевле провальных премьер на Бродвее.

Насколько мне известно, О'Киф-центр еще не поставил ни одной канадской пьесы, и тут мы подходим к самой сути кризиса канадского театра: драматическое искусство влачит в нашей стране жалкое существование потому, что оно не имеет корней в жизни народа; в плане отражения национальных особенностей наши драматические произведения слабы либо ужасающе фальшивы, как и многие современные американские пьесы.

Приведу пример.

Пьеса «Кильдир» широко известного канадского автора Джона Рейни была высоко оценена критикой, на Драматическом фестивале она получила первую премию, как лучшая пьеса года. Чтобы показать эту пьесу миллионам людей, которые не имеют возможности увидеть ее на сцене, Си-би-си приспособила ее для телевидения.

«Кильдир» — гнусная пьеса, содержание которой не имеет ничего общего ни с канадской жизнью, ни вообще с жизнью любого известного мне народа. Но не торопитесь верить мне на слово. Судите сами по ее «сюжету». Действие происходит в тюрьме. Героиня пьесы — убийца. Приговоренная к казни через повешение, она сидит в камере смертников в ожидании палача. Герою предназначено провести с нею в камере как раз столько времени, сколько необходимо, чтобы она забеременела и спаслась от виселицы.

Подобная ситуация совершенно немыслима в Канаде: женщин никогда не приговаривают к повешению, заключенные не могут общаться с представителями другого пола. Однако сюжет — не единственное оскорбление, которое пьеса наносит зрителю. Все ее содержание сводится к перечислению всевозможных пороков: тут и убийство, и распутство на животном уровне, и гомосексуализм, и умопомешательство. Как ни трудно мне, канадцу, говорить об этом, но ни я, ни те, кто смотрел пьесу вместе со мною, не видели ничего столь возмутительно грязного даже по американскому телевидению. Один критик высказал предположение, что американцы будут показывать эту пьесу по своему телевидению, однако на этот раз подражатели переплюнули учителей, и «Кильдир» остается всецело канадским достоянием.

Один луч света все же блещет среди этого царства тьмы: канадский балет. Даже сами канадцы удивляются, узнав, что балетная школа в Торонто — единственная на всем североамериканском континенте. Я не берусь судить о новых, осуществляемых в порядке эксперимента, балетных постановках, привлекающих массы зрителей в Канаде и США, но несомненно одно: наш Национальный балет и Королевский балет Виннипега делают завидные успехи. Лично я убежден, что новые постановки канадского балета получили признание после того, как он отказался от попыток подражать отвратительной абстрактной танцевальной драме, которая годами не вылезает из провалов в Соединенных Штатах.

Передачами балетных постановок канадское телевидение вносит блестящий вклад

в развитие независимой национальной культуры для народа. Не подлежит сомнению, что на каждого канадца, который был знаком с балетом десять лет назад, теперь, благодаря передачам Си-би-си, приходится тысяча новых зрителей.

Я знаю, что в последнее время в СССР широко обсуждались проблемы абстрактной живописи и скульптуры. Мне доставляет особое удовольствие сообщить, что в этой области канадское искусство все дальше отходит от господствующих в США направлений.

Начать с того, что те канадские абстракционисты, которые делают вид, будто творят из глубочайших духовных побуждений, откровенно высмеиваются все большим числом критиков. В живописи и скульптуре капиталистический строй более, чем в любой другой сфере искусства, вынуждает художника надевать маску человека, постоянно склонного к новым изысканиям и увлечениям. Абстрактная картина, которая идет сегодня по наивысшей цене, завтра вообще может не найти покупателя, поскольку «толкачи» от искусства, чтобы выжимать максимум прибыли из богатых клиентов, стремятся как можно скорее объявлять устаревшей всякую только что возникшую школу. Поэтому художникам-абстракционистам приходится обзаводиться удивительно гибкой творческой индивидуальностью. Без всякого чувства меры переходя от одной крайней школы к другой, соответственно рыночной конъюнктуре, они разоблачают себя и выглядят как простые торговцы мелочным товаром. В результате, во всяком случае в Канаде, их престиж заметно упал.

С другой стороны, даже представители коммерческого искусства сознают, что покупатели, наделенные элементарным чутьем и маломальски разбирающиеся в живописи и скульптуре, отвергают абстракционизм, отдавая предпочтение произведениям, наполненным реальным содержанием. Отрадно сознавать, что такой художник, как Алан Колье, который много путешествует по отдаленным уголкам нашей обширной страны и любит свою родину и народ, не только получает широкое признание, но и привлекает множество серьезных молодых людей своими лекциями в Художественном колледже в Онтарио.

Тут я вынужден сделать отступление, которое диктует мне сама капиталистическая действительность.

Когда-то Художественный колледж в Онтарио был небольшой школой живописцев и скульпторов. Ныне это крупное учебное заведение. Однако из 640 студентов, обучающихся в нем, лишь 80 занимаются оригинальным художественным творчеством. Что делают остальные? Остальные специализируются в многочисленных отраслях прикладного, или коммерческого, искусства, главным образом по линии грубостереотипной рекламной иллюстрации.

Разумеется, вину за такое положение дел нельзя валить на американцев. Тут налицо влияние самого капиталистического строя, ведущее к преступному расточительству талантов. Тысячи молодых дарований — художников с сильнейшей тягой к творчеству — безжалостно перемалываются жерновами доллара. У молодого художника в капиталистической Канаде мало надежды прокормиться творческим трудом. Зато рекламная «промышленность» дает тем, кто умеет искусно рисовать женщин в нейлоновом белье и мужчин за бутылкой пива, высокий заработок, всяческие льготы плюс видимость жизни в «артистическом мире». Помимо всего прочего в Канаде молодого художника всегда манит радужная перспектива разбогатеть на поприще коммерческого искусства в Соединенных Штатах.

Как писатель, я, естественно, пристально слежу за судьбой литературы в Канаде и с полной уверенностью могу сказать о ней одно: канадская поэзия и проза сейчас более сильны и в большей мере исполнены сознания нашей национальной самобытности, чем когда бы то ни было прежде за всю мою жизнь.

Однако пусть советский читатель не истолкует мои слова в более благоприятном смысле, чем это допускает действительное положение дел в канадской литературе.

Возьмем наших поэтов. Сейчас их у нас больше, чем когда-либо. В стране, которая

Этот снимок сделан в те минуты, когда по канадскому телевидению впервые передавалась пьеса, посвященная жизни индейцев. Ее автор — молодой поэт Джордж Райга.

издавна славилась пренебрежением к своим поэтам, теперь множество новых стихотворных сборников. Целый ряд наших крупнейших журналов отдает свои страницы начинающим поэтам и критикам, которые прежде не имели аудитории.

Но, честно говоря, за немногими исключениями я не стал бы рекомендовать их литературную продукцию тонким и культурным любителям поэзии. Большинство из пользующихся вниманием критики поэтов, типичный представитель которых — Ирвинг Лейтон, бесталанны и находят коммерческих издателей лишь потому, что их творения достаточно привлекательны своей вульгарностью для какого-то узкого круга читателей. В настоящее время в канадской поэзии повелась мода «экспериментировать» с непристойными, омерзительными, вопиющими глупостями под видом попыток разгадать «смысл» эпохи, в которую мы живем. В стихах, которые мне довелось читать, было не больше смысла, чем в тех грязных глупых разговорах, которыми иной раз упиваются мальчишки, еще не нюхавшие настоящей любви.

Наряду с этим есть немало молодых поэтов, особенно тех, кто печатается в университетских журналах, которые пытаются утвердить в поэзии свою, канадскую, самобытность. Если такое самоутверждение зачастую носит субъективный характер и глохнет, то это объясняется определенными реальными условиями: канадская независимость в тени американского колосса не очень-то живуча.

С нашей поэзией дело обстоит точно так же, как и с драматическим искусством. Печально, но факт: несмотря на изобилие поэтической продукции лишь очень немногие канадцы читают стихи. Это относится и к США, а потому в творчестве любого североамериканского поэта волей-неволей отражается его оторванность от народа как великой общественной силы, составляющей источник поэтического вдохновения.

Увы, с канадской прозой дела обстоят не лучше. Тут я опять предпочту не маршировать критическим дозором на протяжении многих страниц, а на одном характерном примере обрисовать ситуацию в целом.

В этом году в наших литературных кругах много говорят о прозаике Хью Гарнере. Последние десять лет он писал только рассказы и статьи, а сейчас издал большой роман «Тишина над берегом», положительно встреченный большинством критиков. Гарнер принадлежит к числу лучших канадских писателей и заслуживает серьезного внимания хотя бы потому, что он пишет уже более двадцати пяти лет, живет жизнью простых людей и безусловно честный человек, не желающий наживаться на литературе и писать порнографические бестселлеры, которые он, несомненно, мог бы фабриковать без труда.

Хью Гарнер не только писатель, но и критик, говорящий о канадской и американской литературе то, что думает. Он презирает всякий абстракционизм в литературе. Как многие наши критики, он убежден, что по большей части модернистские «новшества» всего лишь камуфляж, необходимый для того, чтобы скрыть отсутствие литературного дарования. Заодно с формой он также резко отрицательно оценивает содержание многих североамериканских романов и повестей.

Говоря его словами, литература сегодняшнего дня — это «жуткие романчики, которые ничему не учат, нисколько не занимательны и не трогают душу; дочитав последнюю страницу, остаешься с тем же, с чем приступал к первой».

Роковым образом это высказывание обернулось против самого Гарнера. Невозможно подобрать более точных слов для характеристики его собственного романа «Тишина над берегом». Я обсуждал эту книгу с другими и чувствую себя вправе судить о ней потому, что ранний период творчества Гарнера весьма схож с моим (четверть века назад мы оба сотрудничали в коммунистическом журнале), и еще потому, что действие романа развертывается в тех местах, где я жил годами, и его герои мне хорошо знакомы.

Это невыносимо жуткая книга. В ней повествуется о нескольких исключительных личностях, живущих в овеянном жутью месте, прослеживаются пути, какими они докатились до такой жизни. Я не знаю читателей, которым бы эта книга показалась бы занимательной, а некоторые просто не могли осилить ее. Но даже когда вы дочитываете роман до конца и расстаетесь с его героями, они еще меньше способны тронуть вашу душу, чем тогда, когда вы только начинали вживаться в их жалкое существование.

И все же о гарнеровском романе стоит говорить, если принять во внимание талант автора и то, как он тратит его. Трагизм этого романа — не в его героях и беспросветной их жизни, а в самом авторе, в тех пагубных ограничениях, которыми он сознательно сковывает свои творческие возможности. Образно говоря, Гарнер — искусный хирург, с величайшей сосредоточенностью оперирующий больному фурункул и не замечающий того грозного факта, что организму, лежащему под его ножом, грозит смерть от рака.

По многим важным показателям Канада является одной из самых высокоразвитых капиталистических стран и в иных отношениях уступает только Соединенным Штатам. Такова материальная сторона канадской жизни. И в то же время Канада уже много лет находится в полном экономическом, политическом и духовном подчинении у американского монополистического капитала. С недавних пор ударились в махровый национализм канадцы французского происхождения (и перешли ныне к террористическим актам, пустив в ход бомбы). Все это делает обстановку в Канаде особенно сложной.

К сожалению, ничего подобного я не нашел в «жутком романе» Гарнера, да и вообще во всей той канадской литературе, с которой я знаком. Подумать только: сегодня, когда даже редакторам нашей бур-

жуазной прессы приходится публиковать письма читателей, которые заявляют: «Канаде нужен Фидель Кастро!» — лозунгом нашего прославленного романа служит огрызок ветхой философии убогих духом: «Среди нас нет ни совершенно черных, ни белоснежно чистых душ; все мы только серые».

Но это духовное убожество — не повсеместное явление среди канадской интеллигенции.

Я намеренно умолчу о голосах, раздающихся из левого лагеря, и лучше скажу о том, чего следует ждать от будущего, покажу советским читателям, как глубоки национальные устремления канадского народа. Для этого я сошлюсь на газету «Файнэншл пост» — ведущий печатный орган канадских капиталистов.

В этой газете сотрудничает Дж. Б. Макджичи, весьма уважаемый многоопытный журналист. Макджичи — неутомимый поборник канадской независимости. В статье, направленной против канадских писателей типа Мордекая Ричлера, с пренебрежением относящихся к родной стране, Макджичи говорит о неповторимых исторических особенностях канадской нации:

«Нам, канадцам, удалось создать и отстоять свое самобытное национальное государство не столько в силу нашего положительного вклада в мировую историю, сколько в силу той ожесточенной борьбы, которую мы вели на протяжении полутора веков, отбиваясь от агрессивных поползновений со стороны несравненно более могущественных американцев».

Макджичи призывает канадских деятелей культуры к осознанию и утверждению этой канадской самобытности и выражает оптимистическую уверенность в том, что лишь «создатели песен, фресок, пьес, романов и всех прочих сокровищ души и сердца способны всколыхнуть интерес мировой общественности к Канаде».

Трагедия состоит в том, что Макджичи и все добропорядочные, процветающие канадские интеллигенты еще не в состоянии осознать, какую остроту приобретает с каждым новым днем поставленный ими самими вопрос. Они поспешают, но поспешают умопомрачительно медленно. А враг, безжалостный и богатый, наращивает темпы и атакует все более нагло

Канада, Грейвенхерст.

Крестьяне

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО За рубежом

КОРНЕЛИУ БАБА

ЧЕЛОВЕК — ИЗВЕЧНАЯ ТЕМА

(Заметки художника)

Никогда еще жизнь человечества не была столь интенсивной, как в нашу эпоху. Мы живем в новом мире и являемся свидетелями необыкновенных социальных преобразований. Наша эпоха — это эпоха героизма во имя человека, во имя прогресса. Она полна контрастов и новой романтики, придающих созданию нового масштабы эпического величия. Огромна поэтому и ответственность художника, живущего в эту эпоху. Чтобы изобразить многоликие аспекты современной жизни, художник обязан постоянно искать наиболее адекватную форму, средства. Воплотить свершения сегодняшнего дня можно далеко не любым инструментом или палитрой.

Нередко меня спрашивают о том, как я отношусь к реализму. На мой взгляд, лучший ответ художника — его собственные работы. В них, как в открытой книге, можно читать его мысли об искусстве, о людях, об их жизни; в них можно видеть, обладает ли он чутьем, которое, как я полагаю, нельзя скрыть, когда оно есть, или обнаружить, когда оно отсутствует.

В своем творчестве я всегда отдавал предпочтение простым людям. Я стремился открыть в них истинную и неповторимую красоту, являющуюся неисчерпаемым источником вдохновения для моего мышления и темперамента. Мне хочется создать своего рода «синтезы», которые содержали бы в себе частицу вечной сути жизни.

Я реалист по своему воспитанию и мышлению, я люблю писать человека — эту извечную тему наших предшественников, наших преемников. Я стремлюсь к передаче в человеке широких понятий, а не случайностей.

Оправдана ли распространенная среди наших художников жажда «света»? Плэнеризм был своевременен в период упадка романтизма, как противодействие

ВЕНЕЦИЯ

ИТАЛЬЯНСКИЙ ПЕЙЗАЖ

СТАЛЕВАРЫ

ФРАГМЕНТЫ КАРТИНЫ «СТАЛЕВАРЫ»

КРЕСТЬЯНЕ

затхлой среде академической мастерской.

Предположим, что жажда света объяснима после «темного» цветового периода румынской, да и иной живописи. Однако для живописи многих молодых румынских художников характерно то, что избыток светлых пятен как бы лишает света. В музыке, живописи, в литературе, как и в жизни, впрочем, все построено на контрастах, помогающих подчеркивать нужное. Свет не может жить изолированно. Во многих картинах нет контрастов, нет и конфликта. Такая живопись не лишена красивости, но она не волнует. Некоторые художники пытаются подобным образом воссоздать и драматические моменты, но, несмотря на старательное выполнение, эти произведения не заставляют зрителя остановиться, задуматься в молчании, не волнуют.

К сожалению, палитра многих художников оставляет впечатление оркестра без инструментов глубокого звучания.

Истинный колорист создает очень немногими цветовыми средствами большие произведения. Красное, желтое и синее — синтез солнечного спектра — содержат в себе итог всевозможных цветовых комбинаций, которые были и будут созданы художниками.

Лично для меня цветовая гамма палитры, обладающая мажорным звучанием, остается лишь средством, а не самоцелью. Колористические качества художника я считаю только средством выражения великих идей, которые должны выступать прежде всего из пластической совокупности произведения.

Молодость

Не верю, что существует единственный способ работы, о котором можно было бы высокопарно сказать: он лучше всех! Твой метод принадлежит только тебе, и он хорош для твоих возможностей и для результата, которого ты добиваешься.

Начало картины всегда красиво. Оно подобно началу весны, началу любви, любым началам, в которых надежды переплетаются с сомнениями, а мечты созидания несут тебя на крыль-

Натюрморт

Ужин

Рабочий

ях самых прекрасных иллюзий.

На второй день после рождения картины иногда возникает страх, как бы не затемнить то, что в первый день так радужно засияло, как сохранить этот блеск первого контакта с палитрой. Второй день в жизни картины — это пролог и начало истинно тяжкого труда, длящегося иногда месяцами или даже годами, наполненными радостью или большим отчаянием. Это и есть на деле настоящая жизнь и настоящий смысл творческого процесса, наслаждение которым ни с чем не сопоставить; по сравнению с ним конец работы над произведением лишен большой значимости. Усталость, так же как страдание и радость этих дней, и есть смысл жизни художника.

«Вы видели,— пишет в своих воспоминаниях наш великий Энеску,— истощенных женщин, несущих на руках упитанных детей, вскормленных добрым молоком. Они вот-вот упадут, и все же они счастливы. Я, до некоторой степени, похож на них...»

Точное иллюстрирование и документальность относятся к достоинствам фотографии.

Содержание картины — это страсть, это доминирующее чувство, воплощенное с по-

Портрет. *Эскиз.*

Гладильщица

Джордже Энеску

мощью огромного мира красок и форм.

Нет надобности говорить о важности мастерства в живописи. Иногда тебе кажется, что эта профессия стала необыкновенно легкой, общедоступной. Встречаешь на выставках «законченные» работы, авторами которых, вероятно, постигнуты все тайны, работы, выполненные, наверно, в течение часа или даже четверти часа. Но неужели исчезла радость мечтания перед холстом, на поверхности которого жизнь рождается в муках, в сомнениях, с упорством и вдохновением?

Можно приветствовать любой художественный язык, безграничное дерзновение, однако нельзя забывать: были и будут тысячи способов писать, но для живописи всегда будут существовать законы, которые красной нитью связывают школы и эпохи, образующие великую преемственность, называемую традицией.

Если тебе придется учить других живописи, не забудь, что важно не только знание расстояния от уха до носа или от колена до ступни. Учи и самое существенное — где начинается и где кончается пластическая интерпретация изображаемого.

«Примечательно,— заметил однажды мой учитель, выдающийся живописец Ни-

колае Тоница,— что есть некоторые горе-живописцы, способные опошлить сюжет сразу, как только касаются его. Они замечают в нем именно то, чем следовало пренебречь с самого начала».

Сколько приходится на самом деле терять времени, чтобы усвоить эту простую вещь: чем следовало бы пренебречь, а что оставить. И возможно ли вообще это усвоить?

■

Искусство́ предполагает беспрерывные поиски. Что из того, что в твоем творчестве звучат отзвуки великих предшественников? Я уверен, что «оригинальность» как таковая исчезла давно. В искусстве нужна бо́льшая искренность. Каждому, как мне кажется, есть что сказать, а если нет, лучше вспомнить слова Энеску: «Если нечего сказать, то лучше хранить молчание».

Живопись, пользующаяся на протяжении многих тысяч лет одними и теми же средствами — формой и цветом,— не может отказаться от этих двух неразрывных компонентов. Через них художник сообщает свои мысли и чувства о людях, о жизни, об окружающем. Великие произведения, составляющие гордость всемирной живописи, импонируют именно своей лаконичностью и простотой изобразительного языка, когда форма и цвет сливаются в одно гармоническое целое.

■

Мне очень трудно говорить или писать о моих произведениях. Все, что я хотел сказать, я вложил в свои картины, создавая их.

Мне трудно определить, о чем, собственно, я думал, когда писал «Отдых в поле».

Иллюстрация к пьесе Караджале «Потерянное письмо»

Материнство

Быть может, давнишняя и навязчивая мысль о материнстве, или долгие попытки создать композицию о румынском крестьянском восстании 1907 года, или желание изобразить обычный привал семьи — все это слилось в стремлении показать события, не обусловленные строго временем и пространством.

Картину «Крестьяне» я закончил в декабре 1958 года, но не помню, когда ее начал, так как в основе лежало множество эскизов и вариантов, выполнявшихся на протяжении долгих лет. Она, как и «Отдых в поле» и другие мои картины, относится к серии произведений на одну большую тему, которую я условно назвал «Люди».

■

Почему некоторые мои картины вызывают желание найти во что бы то ни стало точные координаты времени и пространства? Очевидно, причина кроется в моем стремлении избегать, насколько это возможно, подробностей описательного характера, превращающих произведение в документ, с помощью которого зритель может в первую очередь расшифровать внешнюю фабульность.

Картина, как я думаю, должна прежде всего будить мысли и меньше описывать. Так можно помочь зрителю воспринять образы, помочь ему помечтать, открыть в себе художника.

Общение, возникающее между художником и зрителем, является вершиной той задачи, которую должно выполнять произведение искусства. Оно, естественно, происходит далеко не всегда, и винить в этом можно иногда и бессилие автора и недостаточную зрелость зрителя.

■

Часто за эти годы, бывая на Западе, я был свидетелем «большой свободы» — этого миража, неудержимо влекущего некоторых. Ее суть весьма убога. Это «свобода» всеядности, даже паясничанья. Никто тебя не спрашивает, никого не интересует, чем ты занимаешься. А занимаешься ты этим не потому, что так хочется, а потому, что надеешься таким образом обратить на себя внимание, стать «замеченным», «счастливчиком», «звездой».

Если единственной мыслью, волнующей художника, являются поиски оригинальных рецептов для самовыражения, если стремления к

Портрет

оригинальности и сенсации во что бы то ни стало являются единственным идеалом, то таким людям в искусстве почти нечего делать.

Живопись и скульптура нашего века исчерпали почти все возможности, почти все «источники». Уже имитировано все, что можно было имитировать: первые царапины человека на стенах пещер, невинные рисунки детей, бред сумасшедших. Были состряпаны «картины» путем наклеивания волос, «картины» из жести или мыльного порошка или сделанные путем выстрелов в холст. Но больше всех преуспевал тот, кому пришла в голову «гениальная» идея не рисовать на картине *ничего*. Вот поистине непревзойденное решение!

И все же искусство живет и будет торжествовать, покуда бьются сердца людей и покуда они будут рождаться, любить и стремиться к высочайшим идеалам, мечтать о счастье. искусство сохранит свой смысл. Его не заменит эгоистическое желание пробудить усталый и прогнивший мир путем создания «произведений», лишенных всякого смысла.

Реализм не ставит преград для художника, который может творить и которому есть для кого творить.

Значение реализма—в его силе воссоздания достижений мира, в котором мы живем. Во имя этих достижений мы обязаны оставить истории величественный образ эпохи и ее преобразований, социалистический образ реалистического искусства.

Разве у нас до установления народной власти многие художники могли устоять перед требованиями, продиктованными нередко дурным вкусом «мецената»?

Теперь наше творчество—достояние народа. Его требования созвучны нашим мечтаниям, вере. В наших произведениях новый зритель хочет найти быстрый ритм, подъем новой жизни. Ему хочется ощущать наше страстное участие в строительстве этой жизни. Будем же все вместе со всем народом великой армией, идущей к великой цели.

Иллюстрация к пьесе Караджале «На карнавале».

ГОВОРЯТ ПИСАТЕЛЬНИЦЫ—
УЧАСТНИЦЫ ВСЕМИРНОГО КОНГРЕССА ЖЕНЩИН

ЛИЛИ ЯКОВИДУ
(Греция)

ОБЩЕСТВЕННАЯ МИССИЯ ЛИТЕРАТОРА

Сохранение мира во всем мире в соответствии с принципами демократии есть первейшая и жизненно важная задача для всех народов. Мне думается, что высочайший долг всех нас, людей умственного труда, а равно и любого другого,— способствовать достижению этой святой цели. А литератор своим творчеством может сделать очень много для решения этой задачи.

Я говорю, разумеется, о литераторе, который серьезно относится к своей работе, который не разыгрывает из себя разочарованного романтика, а добросовестно служит намеченной цели, цели строго общественной; о литераторе, который открыто борется за новое общество, потому что, осознав все величие правды, он становится ее глашатаем. Я говорю о литераторе, который подошел к пониманию нашей эпохи, понимает живой интерес молодых людей ко множеству проблем — личных и общественных,— остающихся в нашем мире без ответа и без решения. Я говорю о литераторе, способном узреть душевный хаос, в котором мечется замкнутая в себе молодежь западных стран, о литераторе, чье творчество пропиталось муками детей, которые жадно тянутся к «знанию» и «действию», но, не умея стать в центре окружающей жизни, отстаются и увядают. Я говорю о литераторе, который, поняв свою высочайшую общественную миссию, способен своим творчеством вдохновить человечество.

Возникает вопрос, играет ли современная греческая литература именно такую роль?

Я думаю, что в значительной своей части как поэты, так и прозаики — и особенно писательницы, проделавшие за последние годы удивительно большой путь,— подходят к проблемам жизни греческого народа с большой ответственностью. В своих произведениях они выражают чувства народа, его радости, печали и страдания. Они всеми корнями связаны с греческой почвой, по которой мы ходим, на которой живем и умираем, они создали картину той земли, которая породила их творчество.

Этими произведениями зачитываются, их любят и высоко ценят, и совершенно естественно, что они оказывают нравственное и духовное воздействие на греческий народ в его великой борьбе за мир во всем мире.

Моей родной Элладе не занимать талантов — многие ее поэты и прозаики имеют мировое имя и признание, и немало дала она и продолжает давать интересных работ.

Но для настоящего творчества прежде всего необходимо одно: мирное существование нашего народа — как и любого другого народа — в условиях демократического режима. Без этого нельзя ожидать настоящего духовного роста, ибо литературе и вообще искусству нужен простор, нужна смелая инициатива, нужна свобода.

В фашистской Италии и гитлеровской Германии с их атмосферой страха и ограничений литературное творчество и искусство в целом выхолащивались и совершенно деградировали. И наоборот, чем более демократична страна, тем ярче расцветает ее искусство. А древняя Греция, как мы знаем, дала миру бессмертные и непревзойденные в веках творения.

Что же я думаю о проблемах, которых коснулась в этой статье как делегатка Всемирного конгресса женщин, как поэтесса, гречанка и как мать?

Душа гречанки живет в первой моей книге и в моем последнем стихотворении. В них заключена история моей родины, какой ее соткала жизнь в Греции,— порою радостная, но чаще горестная, иногда оставляющая яркие воспоминания, а чаще порождающая тоску и страстную надежду на мирное будущее, на будущее, свободное во всех отношениях.

Как мать и как гречанка, я хочу выразить одно сокровенное желание и глубокую веру, желание и веру всех матерей земли: пусть наши дети живут в мире и дружбе со всеми народами.

Как поэтесса лелею одну мечту: чтобы дети будущего заботились не только о себе, а жертвовали собой, своими интересами, притом не по принуждению и не из страха, а только из одной любви к человеку-товарищу, чтобы не были они скупы на сердце, чтобы оно билось для людей. Тогда им будет наградой высокое понимание жизни, которое, быть может, изменит облик нашего многострадального, но столь прекрасного мира!

ЭЛЛА УИНТЕР
(Англия)

МЫ МОЖЕМ ПОМОЧЬ ЛЮДЯМ

Меня спросили, что я думаю как женщина и писательница о роли литературы в нашем тревожном, полном напряженности мире и что она может сделать для того, чтобы эта напряженность стала меньше. Что же, это важная тема.

Роль литературы в наше и в любое другое время общеизвестна. Она должна раскрывать внутренний мир людей, жизнь сердца — сердца человека и гражданина, взаимосвязь людей и окружающей их среды; она должна стремиться отразить реальный мир, и лишь тогда и в той мере, в какой это ей удается, она становится великой. Литература должна созидать, должна учить, как изменить действительность, она должна впитать опыт самого писателя и связать его с опытом всего человечества.

Я до сих пор помню один эпизод моей первой поездки в Советский Союз много лет назад. Я ехала в сопровождении молоденькой студентки-переводчицы вниз по Волге на пароходе. Однажды я вышла на палубу в мужской рубашке. Это чрезвычайно обеспокоило мою спутницу.

— Зачем вы носите такую рубашку? — воскликнула она.— Ведь это мужская рубашка!

Я рассмеялась:

— Что тут дурного? Ведь мы, женщины, носим брюки, почему бы нам не носить и рубашки?

— Ну, как вы не понимаете,— с дрожью в голосе воскликнула девушка.— Наши женщины носили такие рубашки, когда *боролись* за равноправие. А теперь мы *получили* его. Носить такую рубашку в наши дни... Ну, просто неверно с исторической точки зрения!

А разве быть прежде всего верным истории — не первоочередная задача писателя? Верным в ее толковании и в ощущении перспективы ее развития? Это нелегкая задача... Нелегко также уметь видеть и воссоздавать увиденное. Хотя именно таким должно быть направление творческих поисков писателя, который стремится правдиво отразить действительность, раскрыть окружающий его мир, рассказать подлинную правду жизни в ее социальном, политическом (разумеется, опосредствованном) и глубоко личном звучании.

Только те писатели, которые понимают это, способны сказать такую правду поэтично, одухотворить ее своим гворческим воображением и сочувствием к людям, только они способны вызвать отклик в сердце и в мыслях читателя и стать при жизни своего рода классиками. Толстой и Шекспир, Чарльз Диккенс и Стендаль, Джек Лондон и Теодор Драйзер принадлежат к таким писателям. Мы читаем Гёте и Бальзака, Ромена Роллана и Мартина-Андерсена Нексе, Фолкнера и Марка Твена для того, чтобы лучше понять окружающую нас жизнь, познать мир, в котором живем, мир людей, и глубоко личные, неповторимые движения человеческого сердца. Подобно тому как «Евгений Онегин» воссоздает для нас эпоху Пушкина, Джеймс Болдуин, блестящий романист-негр, из числа «сердитых», помогает нам глубже проникнуть в смысл нашей эпохи, делает ее еще более реальной.

Писатели и деятели искусства, в том числе музыканты, живописцы, скульпторы, отражают в образах нашу жизнь, чтобы помочь нам (быть может, подсознательно) в извечном стремлении понять и тем самым изменить ее. Они создают непреходящий образ действительности, к которому мы всегда можем обратиться, чтобы осмыслить свой опыт, проверить его критерием опыта других. Кто может забыть описание хаоса войны, каким он предстал у Толстого перед русским воином на Бородинском поле? Сколько раз в годы двух мировых войн, которые мне довелось пережить, когда я слышала о том, что солдаты открывали стрельбу по своим или что бомбы падали «не по ту сторону» линии фронта — по ошибке, из-за отсутствия связи или «просто заблудившись» в джунглях современной войны,— я вспоминала эти страницы «Войны и мира»!

Сегодня, несмотря на все достижения науки и весь наш огромный технический прогресс, мы живем в такую тревожную, беспокойную и бурную эпоху, какой еще не знала история. Мы довели до совершенства орудия прогресса, которые могли бы так хорошо служить людям, избавить их жизнь от забот и сделать ее богатой, дать счастье миллионам. Однако никогда еще человек в очень многих странах не был до такой степени охвачен страхом и беспокойством, так одинок, опустошен, так лишен веры в будущее

«Одинокая толпа» — книга американского писателя Дэвида Рисмана — запечатлела характерные черты человека в западном мире. Писатели показывают, как мы одиноки, как отчуждены друг от друга, как замкнуты в себе, лишены связей, мы — люди, которым свойственно стремиться к общности, к дружбе, к любви и к товариществу.

На память приходит Ленни из романа Джона Стейнбека «Люди и мыши», этот гигант, мечтавший разводить пушистых кроликов, чтобы скрасить свое непереносимое одиночество. (Как ясно я помню — и как полно подтверждает он мою мысль — разговор Ленни с несчастной девушкой, которой так хотелось быть похожей на кинозвезду с обложки роскошного журнала.) Люди, стремящиеся вырваться из железных тисков общества, в котором они живут,— герои многих произведений американской литературы, начиная с романа Гарриет Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома». Они появляются затем в книгах Ричарда Райта «Сын Америки» и «Черный мальчик», отображающих повседневную трагедию негров в Соединенных Штатах, в произведениях Ральфа Эллисона, Лэнг-

стона Хьюза, Каунти Каллена и многих других писателей-негров и, наконец, в потрясающем по силе сборнике эссе «Заметки сына Америки» Джеймса Болдуина и в его романе «В другой стране».

Бесправное положение негров в Америке — это такая жгучая, такая больная проблема, что многие белые писатели — Эрскин Колдуэлл, Уильям Фолкнер, Карсон Маккаллерс и Тенесси Уильямс (конечно, я называю далеко не все имена) — обратились к ней в своих романах и пьесах. Бесконечно тяжела, бессмысленна и трагична также жизнь изображенных в этих книгах белых бедняков Юга, одиноких, обездоленных и невежественных, еще не понявших, что негры наравне с ними имеют право на свободную и достойную жизнь. Этих белых Колдуэлл также показывает в своей «Табачной дороге». Только борьба самих негров за свои права может дать им эту достойную и свободную жизнь, говорит Колдуэлл.

Существует немало книг, которые, на мой взгляд, в наше трудное время помогают людям жить. Таковы произведения о бесправии и порабощении в еще угнетенных странах Африки — книга Алана Патона «Плачь, любимая страна» и волнующее повествование Альфреда Хатчинсона о бегстве из страны апартеида — Южной Африки. Таковы романы Грэхема Грина «Тихий американец» о Южном Вьетнаме и «Наш человек в Гаване» о дореволюционной Кубе, пьесы Лилиан Хеллман и Тенесси Уильямса, романы Лилиан Смит «Странный плод» и Джеймса Олдриджа «Последний изгнанник», который описывает полную противоречий жизнь Египта в переходный период.

Несколько раньше Синклер Льюис показал неспособность американского среднего буржуа в период процветания, богатства и растущей стандартизации мыслей и чувств жить осмысленно и плодотворно. Кстати, все возрастающий конформизм жизни, лишающий ее естественной многогранности и полноты, прежде всего в Соединенных Штатах, а также и в других странах Запада является постоянным спутником «экономического процветания» и так называемых западных «свобод». Имя «Бэббит» стало нарицательным на языках многих народов. Задаешься вопросом, в чем истоки и причины этого конформизма. Может быть, в том, что некоторые из великих держав боятся правды, боятся того, что, узнав правду, народы начнут действовать. А почему сами народы мирятся с посягательствами на их права и свободы? Не потому ли, что они живут под угрозой уничтожения, в атмосфере подготовки атомной войны, под угрозой сверхмощных испытательных взрывов на земле и под землей, учебных тревог, когда дети прячутся под партами «от радиоактивных осадков», а взрослые стараются держаться вместе, чтобы не ощущать по крайней мере ужаса одиночества.

Вот проблемы, которые мы должны воплощать в наших романах, пьесах и стихах, ибо, если мы сумеем показать бессмысленность и кошмар войны, людям будет легче понять, что им грозит.

Возможно, что в среде литераторов меньше женщин, чем мужчин, но я бы хотела, чтобы писательниц стало больше. Женщина может привнести в свою книгу сотни, казалось бы домашних, деталей, которых мужчина и не заметит,— от описания сложных манипуляций с застежкой «молния» по утрам до воссоздания глубочайшей человеческой трагедии. Дорис Лессинг, Айрис Мэрдок, Айви Комптон-Бернетт в Англии, Лилиан Хеллман, Дороти Паркер и Эдна Фарбер в Соединенных Штатах (и снова я называю далеко не всех) — разве их книги не подтверждают мою мысль? Они создают яркую, образную картину современной жизни в западном мире во многих ее аспектах. Но нам этого мало, нам нужно больше книг о *самом главном*. Как матери, жены, дочери — одним словом, как женщины, они делят с мужчинами все их трудности и страдания, а в известном смысле даже более остро ощущают повседневные трагедии и противоречия жизни нашего общества. В Англии с ее давними демократическими традициями в наше время вполне естественно появились пьесы и романы, изображающие конфликт между индивидуализмом и долгом человека по отношению к обществу. Роберт Боулт в своей пьесе «Человек для любой погоды» (главную роль в ней блистательно сыграл в Лондоне, а потом в Нью-Йорке Пол Скофилд) показал внутреннюю борьбу Томаса Мура, столкновение между зовом гражданской совести и приверженностью к королевской власти На материале биографии Лоуренса Аравийского написан гораздо более острый в социальном отношении роман Джеймса Олдриджа «Герои пустынных горизонтов». Бертольт Брехт оставил нам своего «Галилео Галилея», в котором он раскры-

зает все аспекты конфликта — правоту, неправоту, самооправдание и объективное суждение Галилея о своих собственных поступках. Этот прием, необычайно сильный драматургически, вызывает столкновение мнений в зрительном зале; к этому и стремился Брехт: он не хотел, чтобы зрители просто приятно провели час или два, смеясь и плача,— он хотел, чтобы, уходя из театра, они были исполнены решимости действовать. Брехт особенно ясно показал нам, какие противоречивые влияния — а мы порой и не замечаем их — определяют поступки людей: их мужество, их решения, их цели, порой самую их жизнь. Не случайно Брехт сегодня — один из самых популярных драматургов и на Востоке, и на Западе. Его драмы выжигают зло и тем самым лечат.

Английские драматурги нынешнего поколения изображают мир таким, каким видит его индивидуалистически мыслящий англичанин. Джон Осборн показывает молодежь в рамках жесткой классовой структуры современного английского общества, недавно явившего миру столь постыдный скандал, в гуще порожденных им противоречий и конфликтов. О том же пишут и Шейла Делани, и Бернард Копс, и Арнольд Уэскер и блестящий молодой романист — выходец из среды рабочего класса Алан Силлитоу.

Эти писатели изображают классовое общество современной Англии как бы в поперечном разрезе, показывают точку зрения ее рабочего класса. Все это — совершенно новое направление в литературе и драматургии после целого столетия «милых» развлекательных пьес для увеселения властей предержащих.

На поколение раньше Бернард Шоу, Герберт Уэллс, Арнольд Беннет, Джон Голсуорси выступили с разоблачением лицемерия мелкой и средней буржуазии. Трилогия Уэскера представляет собой наиболее прямое разоблачение современной буржуазии в политическом отношении, а «Вкус меда» Шейлы Делани рассказывает о самых молодых и легко ранимых ее жертвах. (Делани написала эту пьесу в девятнадцатилетнем возрасте.) Брендан Биэн принес в драматургию ироничный и ниспровергающий ирландский юмор. В последнее время сатира как боевое оружие стала использоваться не только в пьесах и в фильмах, но и по радио и на телевидении: в программе «Так было на прошлой неделе» едко высмеивались все «священные коровы» английского правящего класса. В обозрении «За чертой», написанном и сыгранном четырьмя талантливыми студентами, мишенью для острия сатиры стали многие столпы общества. Однако эти сатирические выступления недостаточно глубоки, они не вскрывают корней тех явлений, которые высмеивают.

Кингсли Эмис и Алан Силлитоу, Джон Брейн и Джон Уэйн избрали своей темой описание определенной социальной среды в рамках современного английского общества и судеб людей, замкнутых в пределах этой среды и борющихся, порой неосознанно, чтобы изменить ее. Гвин Томас пишет о рабочих Уэльса, Бэзил Дэвидсон в своем романе «Пороги» — о борьбе народов Африки. Столь хорошо известный в СССР писатель Джеймс Олдридж много лет писал романы, где показывал своего героя в момент, когда тот стоял перед выбором. В его книгах англичанин изображен в центре столкновения двух противостоящих миров — социалистического и капиталистического. (Пример — роман «Дипломат», где этот конфликт показан почти «в лоб».) Одна из ранних книг Олдриджа «Морской орел» повествует о борьбе народа Греции, той самой Греции, о горе и страданиях которой мне довелось услышать и сейчас, в 1963 году, с трибуны Всемирного конгресса женщин.

Я часто вспоминала все эти книги, книги о выборе, который должен сделать каждый, сидя в зале заседаний Конгресса вместе с другими женщинами со всех материков, одетыми в яркие наряды Гваделупы и Ганы, Чили и Монголии или в более обычные платья, принятые на Западе. И слушая взволнованные речи делегаток Вьетнама и Алжира, Испании и Японии, я думала о том, какие все мы разные, и в то же время, как много у нас общего. Нас объединяют, конечно, не только муки и страдания. Но какой болью отозвались в наших сердцах слова вдовы Ас-Саляля о пытках, которым подвергался ее муж и другие политические заключенные в Ираке.

Разве не звучат, как бичующий стих, ее слова: «Они не давали ему спать, пока он не умер»? И глаза каждой из нас, сидевших в зале, наполнились слезами.

Я подумала: об этом должен быть написан роман, и написать его должна женщина. Об этом нужно писать книги, думала я снова и снова в более счастливые минуты, когда дети на сцене Дворца съездов исполняли танец со скакалками или пели

высоким дискантом о солнце, о маме и о себе, о том, что «матери дали нам жизнь и должны теперь защитить ее».

Особенно остро я почувствовала, как нужны такие книги, когда увиделась с Любовью Космодемьянской, с которой встретилась впервые в 1944 году в Москве. Я увидела ее, высокую и седую, с прекрасным и благородным лицом, отмеченным печатью скорби, как и многие другие лица в этом зале, и спросила, как прожила она эти одинокие двадцать лет. Космодемьянская заговорила, и обе мы не могли удержаться от слез, когда она сказала: «И вот теперь я старая и одинокая...» У нее сотни друзей и на родине и во всех уголках земли, и вся жизнь этой женщины — роман, достойный пера великого писателя, ибо она не уставала ездить по дорогам всех стран, чтобы еще раз предупредить нас, что такое война. И все же: «И вот теперь я старая и одинокая...» Мы не стыдились наших слез.

Какую роль может сыграть искусство в наше тревожное время? Создать образы вот таких женщин в книгах, в пьесах и в кинофильмах, писать о них стихи, ибо они — сама поэзия, так же как сама поэзия — их яростное мужество: сердце их разбито, но они знают, что должны продолжать бороться.

Есть одна трудность, стоящая перед писателем: подлинное произведение искусства трудно создать, когда чувства накалены до предела. Разве мог Толстой создать «Войну и мир» в пылу Бородинского сражения? И все же мы должны стремиться к этому, ведь у нас так мало времени. В наш космический век все движется словно с космической скоростью. Я думала о писательских выступлениях, звучавших как призыв к действию, таких, как «Я обвиняю» Эмиля Золя, написанного в разгар дела Дрейфуса; о том, как писатели могут помочь людям, высказываясь в своих произведениях по важнейшим вопросам современности, призывая к действиям и участвуя в них. Фашисты и реакционеры хорошо знают, каким сильным может быть влияние деятелей культуры, поэтому они убивают Лорку и Фучика, бросают в тюрьму Сикейроса, вынуждают других художников бежать из родной страны. Как длинен список художников, брошенных за решетку или изгнанных за пределы родины! Я думала о том влиянии, которое оказал на весь мир маленький дневник Анны Франк, и о трагических до боли страничках из записной книжки семилетней ленинградской девочки, которая записывала даты смерти матери, сестры, брата и умерла сама, еще не успев глотнуть жизни.

Писатели могут сыграть важную роль в движении в защиту жертв несправедливости, как было, например, в дни борьбы за жизнь супругов Розенберг, приговоренных к смерти на электрическом стуле в США, или в защиту других заключенных и приговоренных к смерти в Испании, в Греции, в Анголе.

Деятели литературы и искусства всегда восставали против угнетения, варварства и жестокости, всегда поднимали голос в защиту прав человека. Недавно Артур Миллер, Джон Б. Пристли, Джон Осборн, Ч. П. Сноу, Гарольд Пинтер и многие другие заявили, что запрещают ставить свои произведения в театрах, где существует апартеид. Так должны и впредь поступать все честные писатели.

И еще одно важное обстоятельство: мы должны безоговорочно отвергнуть литературу отчаяния, разочарования, цинизма, литературу «ожидания Годо»*, те произведения, авторы которых не видят надежды для человечества, не видят смысла в борьбе, играют словами, чтобы затуманить правду.

Многие писатели подобного толка считают, что существующие отношения и порядки незыблемы, что человек не может изменить ни собственную жизнь, ни общество, в котором живет.

Можно изучать их произведения, можно найти в них отдельные интересные и верные моменты, освещающие какой-то уголок жизни, но нужно отдавать себе отчет в том, какое воздействие в целом имеют произведения, подобные пьесам Беккета, Ионеско или того модернистского «авангардистского» направления в США, которое называют «битничеством», или книги, авторы которых полностью отвергают идею и сюжет.

---

* Имеется в виду пьеса Самюэля Беккета «В ожидании Годо», являющая собой образец «театра абсурда».

Нередко такие писатели (один из ярких примеров — творчество Гарольда Пинтера) талантливо воссоздают какой-то «кусок жизни», но мы не можем принять отсутствие веры в будущее, каким пронизаны их пьесы.

Писатель из ФРГ Готтфрид Бенн выражает взгляды целой школы писателей-модернистов в разных странах, которые стоят на позиции «нам нет дела» — «ohne mich»,— не верят в возможность разрешения стоящих перед человечеством проблем и порой кончают тем, что переходят на откровенно фашистские позиции.

Бенн писал: «Человек мудрый не хочет знать, куда идет и как меняется мир; ему нет дела до собственных детей и до детей его детей».

Психопатология, играющая такую важную роль в литературе последнего пятидесятилетия на Западе, представляет, быть может, познавательный интерес. Однако субъективные мотивы или устремления не могут служить самоцелью. Писатель должен также показывать, каким образом объективная реальность определяет характер и поступки человека. Это делали Горький и Толстой, а в наши дни на Западе этим путем идут Брехт и Боулт, Артур Миллер и Лилиан Хеллман и Дональд Огден Стюарт. У писателя есть долг перед собой, перед искусством, перед человечеством. Как хотела я, чтобы в этом зале, освещенном тысячами огней («лампочки Ильича» называли их крестьяне на заре революции), оказались писатели, артисты, художники, чтобы они услышали рассказы простых женщин о том, как они живут и борются.

ИЗДАНО В СССР

ТЫСЯЧА ЗВЕЗД ЮЖНОГО ПОЛУШАРИЯ

«Тысяча звезд южного полушария» Так называлась маленькая корреспонденция, напечатанная на четвертой полосе «Правды» в феврале этого года Приведу ее почти целиком:

> Ленинград. 16. (Корр. «Правды»). В Пулковскую обсерваторию пришло письмо из Чилийской обсерватории Сьерра-Калан близ Сант-Яго. Член-корреспондент Академии наук СССР М. С. Зверев сообщает, что находящиеся на далеком континенте ленинградские астрономы в содружестве с чилийскими учеными приступили к наблюдениям.
>
> Программа совместных научных работ советских и чилийских исследователей широка и разнообразна. Она рассчитана на несколько лет. Ученым предстоит уточнить положение более тысячи ярких звезд в небе южного полушария.

Я прочла эту заметку как личное письмо от дорогих людей С Митрофаном Степановичем Зверевым и Владимиром Сидоровичем Бединым мы встретились в конце декабря прошлого года в Сант-Яго Они пришли в Институт чилийско-советской дружбы, чтобы увидиться с нами, гостями чилийских писателей. В добром кругу друзей, в одном радушном доме мы провели чудесный вечер, который затянулся до глубокой ночи. А потом я побывала на Сьерра-Калан, расположенной высоко над городом, и видела, как живут «астрономас руссос» Они уже вели наблюдения, но в полном объеме работы должны были развернуться тогда, когда прибудет новейшая советская аппаратура, плывущая в Чили морем. Те приборы, которыми располагает Сьерра-Калан, для пулковцев уже вчерашний день их науки В С. Бедин, пока суд да дело, приобрел даже какой-то могучий бинокль, в который мы и глядели на Южный Крест, на Три Марии и на остальную тысячу ярких звезд в небе южного полушария. Впрочем, бинокль имел значение довольно условное. И без него небесный свод над нами был великолепен и ослепителен А у наших ног лежало второе небо, полное живых созвездий,— ночной Сант-Яго. Для меня и моих спутников — чилийских поэтов — объектом пристальных наблюдений и глубоких исследований на всю нашу жизнь было именно это второе небо — земля и живущие на ней люди. А потом мы сидели в гостиной дома, где живут четверо советских астрономов, у рояля, который Митрофан Степанович за немалые деньги взял напрокат в какой-то конторе, потому что без музыки ему жить трудно, и он играл нам Скрябина Астрономы угощали чилийцев водкой, а меня -- чилийским напитком, в котором водка присутствует в сложном сочетании с кофе и разными другими компонентами; не знаю, что в нем более странно, вкус или название — «Кола де моно», что значит «обезьяний хвост». Нам было приятно, интересно и дружно вместе, ученым и писателям, чилийцам и русским. И не было ни на миг ощущения, что мы находимся так далеко от родины, как это в самом деле было.

Карта земного шара вовсе не есть нечто неподвижное. Исторические события, социальные потрясения и перемены производят в мире весьма ощутимые сдвиги и перемещения, решительно изменяя соотношение между разными географическими точками земли, сближая весьма отдаленные, отдаляя близкие, перемещая свет и тень, словно бы на некоей сценической площадке, где разыгрывается напряженнейшее драматическое действие, которое надо с чувством, и с тол-

ком, и с пониманием того, что существеннее всего, показать людям. Эти-то исторические события и социальные потрясения последних лет поразительно приблизили друг к другу нас и Латинскую Америку. Ее жизнь, ее борьба, ее активная устремленность к будущему, к социальным преобразованиям, ее живой голос решительно вошли и в полную силу зазвучали во всех областях нашей жизни: политической, общественной, культурной. Разумеется, это сделала Куба, самый факт ее существования, озаривший весь южноамериканский континент, разбудивший все его живые силы, кое-где задушенные, кое-где дремлющие, пробудивший одновременно и наш интерес к этому молодому, пламенному, живыми лавами клокочущему континенту. Этот всеобщий интерес по мере сил и возможностей старается удовлетворить наша печать, которая буквально ежедневно сообщает нам что-нибудь новое, неизменно волнующее о событиях, происходящих в Латинской Америке. То это голоса участников конгресса солидарности с Кубой из Бразилии, то рассказ о борьбе за освобождение парагвайских коммунистов, заключенных в застенки Стресснера, то сообщение о победе демократических сил на муниципальных выборах в Чили. Так создается изо дня в день картина настолько напряженной и активной жизни и борьбы, что все сильней и сильней делается желание как можно больше и подробнее узнать об этих людях и об этих странах, как можно глубже вникнуть в суть всего происходящего, в смысл тех процессов, которые уже не могут быть приостановлены, за которыми стоят большие, сильные и живые народы. И тогда интерес оборачивается неизбежно к литературе и искусству Латинской Америки, к тем драгоценным проявлениям человеческого духа и человеческих возможностей, которые дают самый выразительный, самый рельефный, характерный и живой слепок жизни породившей его земли, создавшего его народа. Разные жанры искусства делают эти слепки по-разному, но ни один из них, пожалуй, не бывает столь непосредственным, трогательным и обжигающе горячим, сколь поэзия. Какая же она, поэзия сегодняшней Латинской Америки, чем живет, чем дышит, из каких источников пьет? Какие новые звезды озаряют ее небо и какие, давно погасшие, светят до сих пор, помогая людям в их вечном движении?

В минувшем году на прилавках наших книжных магазинов появилось несколько небольших, компактных, привлекательно, по одному принципу оформленных книжек, снабженных однотипной надписью на разноцветных корешках: «Библиотека латиноамериканской поэзии». Их было три, таких книжки: рыжая — «Народная мексиканская поэзия», сине-малиновая — «Заря над Кубой» и желто-лазоревая — «Розы в броне» Рауля Гонсалеса Туньона. Они не залежались на прилавках, эти яркие, уже с обложек полные живой колоритной жизни небольшие книжки: любители поэзии сразу приметили и оценили их. Они разошлись мгновенно.

Народная мексиканская поэзия. Перевод с испанского. Под редакцией О. Савича. Составитель, автор предисловия и комментариев Г. Степанов. Москва, Гослитиздат, 1962. 191 стр.

«Народная мексиканская поэзия» — первый томик «Библиотеки». В нем собраны поэтические произведения очень своеобразные — устное творчество безымянных мексиканских поэтов, певцов-рассказчиков, песни, романсы, восходящие к испанской народной поэзии, и стихи наиболее популярного в Мексике вида устного творчества — разновидность романса — так называемые «корридо». Корридо — это стихотворения лироэпического жанра, как и испанский народный романс, чрезвычайно широкого тематического круга. В форме корридо мексиканцы рассказывают обо всем на свете: о том, что им дорого, чем они гордятся в своей истории, о народных и национальных героях, о том, что случилось на празднике или на ярмарке, о любовных похождениях. Это подлинно демократический жанр и по форме своей, и по своей социальной сути, и по своей эмоциональной наполненности. Поэтам-переводчикам, создавшим книгу, удалось это передать. «Народная мексиканская поэзия» — чудесная книжка.

«Заря над Кубой» — сборник стихов современных кубинских поэтов. Это голос Кубы, ее народа, ее истории, ее революции. В нашей стране хорошо знают народного поэта Кубы Николаса Гильена, теперь мы будем знать его друзей, кубинских поэтов разных поколений. На Кубе до сих пор живут и поют народные певцы, так называемые «тровадоры», исполняющие традиционные десимы — поэтические десятисти-

шия, в которых они умеют очень много рассказать о своем народе, о своей жизни. Современные поэты многому у них учатся и в своей многозвучной поэзии берегут и развивают национальные традиции, обогащая их новыми интонациями, новым жизненным революционным материалом.

В сборник включены также стихи поэтов других стран Латинской Америки, посвященные Кубе. Аргентина и Бразилия, Сальвадор, Уругвай и Чили поют славу кубинской революции, думают о ее будущем, с которым неразрывно и их собственное будущее. Этот раздел, думается мне, мог быть богаче, а возможно, даже стоило бы выделить его в отдельный сборник. Ведь вся Латинская Америка полна Кубой, думой о ней, любовью к ней, тревогой и гордостью за нее. «Вива Куба!», написанное на стенах и на заборах, стало уже архитектурной деталью больших и малых латиноамериканских городов. Эти надписи, сделанные углем, мелом и краской, перестали уже стирать и замазывать, поняв, очевидно, сколь бессмысленно бороться с чувствами, которые будит в народах революционное движение, а тем более победившая народная революция. Поэзия и революция — это родственные стихии, присутствие революции в воздухе — это бурный стимулятор роста поэзии, и то, что сейчас в странах Латинской Америки поэзия живет очень горячо и активно, неотделимо от того, что в Латинской Америке живет, борется, побеждает Куба.

Третий томик «Библиотеки», «Розы в броне»,— сборник стихов Рауля Гонсалеса Тунона, современного аргентинского поэта-коммуниста. До сих пор мы знали его отдельные стихи, появлявшиеся в наших газетах и журналах. «Розы в броне» включают стихи из полутора десятков сборников поэта, от «Скрипки дьявола» (1926) до стихов последних лет. Перед нами предстает в полный рост этот большой поэт во всей его идейной целеустремленности, во всем многообразии и широте того, что волнует его в мире и в судьбе человечества.

По первым трем томикам уже можно определить емкий и полный возможностей принцип, положенный в основу «Библиотеки латиноамериканской поэзии». Разумеется, эта библиотека не сможет охватить всего достояния поэзии Латинской Америки, но хочется, чтобы она была как можно полней и богаче, эта новая серия, за которой стоит столько неизвестного и увлекательного, столько славных имен, судеб, ярких страниц истории человечества. Ее задача — сделать достоянием советской читающей публики все лучшее, что создано поэзией южноамериканского континента, народной, классической и современной. Это будут и тематические сборники, и отдельные книги крупнейших поэтов всех времен — планы «Библиотеки» очень богаты и увлекательны.

Сейчас готовятся два сборника: «Солдаты свободы» — стихи поэтов XIX века, посвященные борьбе за независимость, и «На рубеже веков» — поэзия конца XIX—начала XX веков. Поэзию этого периода, характерной чертой которой было обращение к национальной действительности, латиноамериканские литературоведы называют поэзией модернизма, но это течение никак не следует подверстывать под понятие европейского модернизма, ибо в создании латиноамериканской литературы оно сыграло глубоко прогрессивную роль.

В «Библиотеке» будут выпускаться и небольшие антологии. Так, задуман сборник «Поэты Чили». До сих пор наши любители поэзии знали, в сущности, только двух чилийских поэтов — Габриэлу Мистраль и Пабло Неруду. Чудесные стихи Габриэлы Мистраль выходили у нас и скоро снова выйдут в серии «Сокровища мировой лирической поэзии». Пабло Неруда — ее ученик в прямом, а не переносном смысле слова, потому что директрисой лицея, где учился мальчик Нефтали Рикардо Рейес Элиесер Басоальто, ныне наш друг Пабло Неруда, была Люсила Годой, известная всему миру под именем Габриэлы Мистраль. Она была первым литературным учителем будущего поэта, первым руководителем его чтения. Этих двух вершин было бы вовсе не мало для маленькой страны, сотрясаемой выдохами живых вулканов, заставляющих даже океан подниматься со дна и наступать на землю, безжалостно разрушая все, что встает на его пути Их было бы отнюдь не мало — но родина Габриэлы Мистраль богата вдохновениями, а у Пабло Неруды много достойных талантливых друзей, с которыми мы рады будем познакомиться.

Впереди еще новые и новые встречи
Бразилец Гонзага не совсем новое для нас

Заря над Кубой. Перевод с испанского. Составление Ю. Папорова. Предисловие Х. Маринельо. Комментарии Г. Полонской. Москва, Гослитиздат, 1962. 238 стр.

Рауль Гонсалес Туньон. Розы в броне. Перевод с испанского под редакцией Д. Самойлова. Составление и комментарии М. Самаева. Предисловие М. Самаева и И. Чежеговой. Москва, Гослитиздат, 1962. 174 стр.

имя. Этот звонкий голос когда-то услыхал еще Пушкин. Помните почти гитарный звук его строк: «Не завидую царям, не завидую богам, как увижу очи томны, стройный стан и косы темны». Это стихи Гонзаги, переведенные Пушкиным и скромно озаглавленные «С португальского».

Но мало кто из нас знает имя Хуаны Инес де ла Крус, жившей в XVII веке, монахини и мексиканской поэтессы, поразительной для своего времени фигуры. Ее книга «Десятая муза» должна выйти в «Библиотеке» в течение этого года.

Мы узна́ем Хосе Эрнандеса, автора крупнейшей аргентинской эпической поэмы «Мартин Фиерро». Узнаем колумбийца Помбо, которого, кажется, никогда у нас не переводили. Полагаю, что, знакомясь с поэтами XIX века, мы по-настоящему узнаем и Хосе Марти, которого, может быть, кое-кто и сейчас считает живым поэтом сегодняшней Кубы — не по невежеству, а потому, как популярно его имя, как современны и созвучны нам сегодня многие его идеи и мысли.

А дальше — поэты XX века, с их горькой и достойной судьбой, типичной для поэтов больших и малых диктатур: тюрьма, изгнание, нужда, смерть на чужбине или на родине, сжавшей зубы в бессильном отчаянье. Всемирно известный поэт, замечательный лирик перуанец Сесар Вальехо* умер в 1938 году в какой-то парижской больнице, и уже после его смерти вышел сборник «Poemas humanos». Сейчас это имя известно во всем мире. Наверно, мы познакомимся и с венесуэльцем Андресом Элой Бланко и с Альберто Идальго — не знаю, какой стране отдать этого поэта, ибо, перуанец по рождению, он тридцать лет живет в Аргентине. Главнейший пафос его поэзии — это тоска по родине («Carta al Perú») и ненависть к США («Odas en contra»).

Вероятно, мы узнаем и колумбийца Карлоса Кастро Сааведру, поэзию которого Неруда назвал «тяжелым пробуждением от восхитительного, но опасного сна», имея в виду, очевидно, то, что поэзия Колумбии, где основной поэтической формой является сонет, долгое время существовала в некоем искусственно созданном климате, ничего общего не имеющем с реальностью. И эквадорца Хорхе Энрике Адума, и боливийца Франса Тамайо, и чудесного молодого парагвайца Эльвио Ромеро, и старейшего поэта Чили, лауреата национальной премии Анхела Кручага Санта Мариа.

Однако предоставим планы «Библиотеки» ее создателям, которые относятся к своей идее любовно и бережно, тщательно обдумывая все детали своего нового издания, вплоть до оформления или начиная с оформления. Художник В. Суриков нашел интересный, богатый возможностями принцип оформления изящных томиков «Библиотеки». Основной состав переводчиков — поэты высокого мастерства, знающие и любящие поэзию стран, говорящих на языке великой поэзии — на испанском. И я полагаю, что не одной «Библиотекой латиноамериканской поэзии» ограничатся возможности знакомства с современной поэзией этого континента. Она ворвется и в наши журналы, она найдет себе достаточно места и в планах Издательства иностранной литературы.

Политическая погода, стоящая сейчас в Латинской Америке, чрезвычайно способствует росту творческих сил, а эти растущие силы в свою очередь активно воздействуют на эту погоду. Собственно говоря, трудно даже найти в этой цепи изначальное звено и понять, кто на кого прежде повлиял и кто что в большей мере определяет. Скорее всего, это процесс обоюдный. Во всяком случае, на поэтическом небе южного полушария вспыхивают все новые и новые яркие звезды. «Библиотека латиноамериканской поэзии» должна стать одним из самых сильных приборов для вдумчивого наблюдения за ними. Знание этих звезд, их свет сделают богаче наши представления о том небе и о той земле, которые они озаряют, о тех людях, которые их создают и которых они создают, о тех душах, которым они помогают жить, любить жизнь, верить в нее и бороться за то, чтобы она становилась ярче и полноценнее.

М. АЛИГЕР

---

* Переводы стихов Сесара Вальехо напечатаны в журнале «Иностранная литература» № 4, 1963.

ПОЛЕЗНОЕ ИЗДАНИЕ

«Восточный альманах». Сборник, выпуск 5, Москва, Гослитиздат, 1962. 416 стр.

С 1957 года Государственное издательство художественной литературы выпускает сборники «Восточный альманах». Цель этих сборников — познакомить советского читателя с произведениями различных литератур стран Востока и Африки. Наши «толстые» журналы не в состоянии удовлетворить интерес советских читателей к литературам стран Азии и Африки (к тому же публикация в них нередко носит случайный характер); они не могут заполнить те многочисленные белые пятна на карте переводной литературы стран Азии и, особенно, Африки, которые, к сожалению, еще имеются.

Советские люди с пристальным вниманием и сочувствием следят за освободительной борьбой народов Африки. За последние годы на этом континенте образовалось много суверенных государств — сейчас их более тридцати, и это вызывает живейший интерес к культуре этих стран Читателя интересует, какова литература Либерии, страны, получившей независимость более ста лет назад, или Мальгашской Республики, провозглашенной совсем недавно. И на подобные вопросы «Восточный альманах» пытается по мере своих возможностей ответить.

Основные материалы «Восточного альманаха» — проза и стихи современных писателей, рассказывающих о сегодняшней жизни и борьбе своих народов; это верное направление, и «Восточный альманах», видимо, будет его придерживаться и в дальнейшем. Вместе с тем он не чурается и классики — в пяти опубликованных сборниках «Восточного альманаха» читатель найдет много произведений, вошедших в сокровищницу мировой литературы. На страницах «Восточного альманаха» появляются мифы и легенды, сказки, пословицы и поговорки. Думается, что содержание сборников можно значительно обогатить за счет расширения фольклорных публикаций.

Недавно вышел новый, пятый по счету, выпуск «Восточного альманаха» — внушительный том, насчитывающий более четырехсот страниц. Здесь есть повести и рассказы, стихи, произведения устного народного творчества из двадцати одной страны (пятнадцати стран Азии и шести стран Африки).

Внимание читателя прежде всего привлечет большая повесть бенгальского писателя Б. Чоттопаддхайя «Комолаканто». Две предыдущие книги этого писателя, изданные недавно — «Радж Сингх» и «Ядовитое дерево»,— были замечены и полюбились нашему читателю. Повесть «Комолаканто», названная по имени главного героя, композиционно построена по образцам традиционных санскритских «обрамленных повестей». Курильщик опиума Комолаканто развлекает слушателей различными рассказами, запас которых у героя неистощим: смешные истории перемежаются с грустными, философские — с резко обличительными, назидательные — с ярко сатирическими.

Повесть переведена с бенгальского молодым переводчиком Б. Карпушкиным под редакцией опытного литератора Е. Гунста; думается, такое сотрудничество начинающего переводчика с переводчиком опытным, нередко практикуемое в альманахе, следует всячески поощрять.

Любителей поэзии порадует поэма вьетнамской поэтессы первой половины XVIII века Доан Тхи Дьем «Жалобы солдатки», блистательно переведенная П. Антокольским. Поэму сопровождает послесловие переводчика. П. Антокольский рассказывает здесь о своем видении поэмы, раскрывая читателю поэтический мир этого замечательного памятника вьетнамской литературы: «Лиризм поэмы включает в себя всю музыку окружающего мира — и звуки, военных тамтамов, и крики птиц, и шум ветра; включает и развернутые, движущиеся пейзажи, горные дороги войны, дебри джунглей с их тиграми и змеями, озаренный луною сад у дома героини, гнездо аистов на крыше. хижины у реки, шаткий бамбуковый мосток через ручей; включает он и образы народной сказки, добрых фей, помогающих влюбленным в разлуке,— словом, это произведение многоплановое и многоголосое, полное внутреннего движения. Эта сложность создана средствами не прямыми — тонкими средствами настоящего, зрелого, уверенного в своих силах искусства».

Необыкновенна и трагична судьба русского слепого писателя Василия Ерошенко. Энциклопедически образованный человек, выдающийся лингвист, Василий Ерошенко объездил всю Юго-Восточную Азию, подолгу жил в Китае и в Японии. В Китае он дружил с Лу Синем, который переводил его произведения на китайский язык и сделал его героем своей новеллы «Утиная комедия»; в Японии до сих пор жива слава В. Ерошенко — несколько лет назад в Токио вышли три тома его сочинений.

Молодой журналист Р. Белоусов заинтересовался судьбой Василия Ерошенко и собрал много интересных материалов об этом несправедливо забытом русском писателе, ездил на родину В. Ерошенко в село Обуховку, на Белгородчине, беседовал с его родственниками и людьми, знавшими слепого писателя (В. Ерошенко умер в родном селе 23 декабря 1952 года).

В «Восточном альманахе» опубликован обстоятельный очерк Р. Белоусова, рассказывающий о жизни и деятельности В. Ерошенко, о его странствиях по свету и о его творческом наследии.

В 1962 году во многих странах, в том числе и в Советском Союзе, отмечался юбилей китайского поэта Ду Фу — 1250 лет со дня рождения одного из величайших поэ-

тов нашей планеты. В альманахе читатель найдет «Слово о Ду Фу», принадлежащее перу лучшего нашего знатока классической китайской поэзии Л. Эйдлина.

В альманахе в разное время выступали опытнейшие наши поэты-переводчики, такие как А. Адалис, А. Ахматова, П. Антокольский, С. Липкин, Б. Пастернак, Л. Эйдлин и многие другие.

Здесь публикуются статьи, биографические справки об авторах и другие литературоведческие материалы. Эту хорошую традицию следует всячески поддерживать и развивать. Содержание альманаха станет значительно богаче и интереснее, если в нем будут печататься небольшие рецензии на новые книги, выходящие в странах Азии и Африки, а также заметки о литературоведческих работах, посвященных изучению азиатских и африканских литератур, появившиеся в нашей стране и за рубежом.

Тем, кто выпускает сборник, следует подумать и о его названии, нынешнее его скучное наименование — «Восточный альманах» — неточно передает содержание и цели этого полезного издания.

Явно недостаточен тираж альманаха: 5-й выпуск появился в количестве девяти тысяч экземпляров, а предыдущие два — всего лишь в трех и четырех тысячах экземпляров. Почти сразу же после выхода в свет альманах становится библиографической редкостью.

Альманах выходит нерегулярно: с 1957 года появилось пять выпусков; думается, пора превратить его в регулярное издание.

А. ТИШКОВ

Сказки, пословицы и песни лужицких сербов. Перевод с верхнелужицкого и нижнелужицкого. Составитель А. Романенко. Предисловие М. Ермаковой. Редактор М. Павлова. Москва, Издательство иностранной литературы, 1962. 159 стр.

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО

В районе реки Нисы, образующей польско-немецкую границу, расположена область под названием Лужица. Здесь, в пределах Германской Демократической Республики, живут славяне — лужицкие сербы, говорящие на верхнелужицком и нижнелужицком языках.

В прошлом история этого народа трагична. Находясь на западной окраине славянского мира, лужицкие сербы издавна стали объектом захватнических притязаний со стороны немецких князей. Борьба была непосильной, и уже к XI веку лужицкие сербы утратили национальную самостоятельность.

Жестокая германизация, подавление национального самосознания, разрушение национальной культуры — и так в течение многих веков. Лишь в самое недавнее время, в 1945 году, после разгрома гитлеровской Германии, лужицкие сербы, войдя в состав ГДР, получили наконец равные права с немцами и возможность развивать свою национальную культуру.

Лужицкие сербы, в силу исторических условий долго не имевшие письменности (до XVI в.), с тем большей энергией творили устную народную литературу, создавали песни, сказки, передавали их из поколения в поколение. Ничто не могло сломить творческий дух народа.

Сербо-лужицкий фольклор очень богат, и лишь небольшая часть его вошла в книгу «Сказки, пословицы и песни лужицких сербов». Здесь собраны песни о героической борьбе сербов с немецкими князьями, лирические любовные и остроумные шуточные песни; бытовые сказки, близкие к анекдоту, и сказки волшебные, персонажи которых — гномы, водяной, блуждающие огоньки, король ужей — рождены народными поверьями, восходящими ко временам языческих верований. Сказки о животных обличают человеческие пороки — глупость, спесь, грубую силу. Некоторые сказки связаны с преданиями, отражающими отдельные события из истории лужицких сербов. Так, о создании города Будышина рассказывает сказка «О великане Спревнике». Сербо-лужицкие пословицы в лаконичной, сжатой форме излагают народные представления о нормах морали и этики.

Эта маленькая книжка вызывает чувство глубокого уважения к народу, кото-

рый в условиях страшного экономического угнетения и национального унижения сохранил благородство души, веру в добро и справедливость, чувство юмора.

Как оптимистичны сербо-лужицкие сказки! Бедный и физически слабый здесь всегда побеждает, так как именно он наделен и умом, и ловкостью, и хитростью, в отличие от тупого, злого и жадного богача («Крапивник и аист», «Бык и крапивник», «Горшок денег», «Старое седло» и др.). Сколько веселого народного юмора в сказках-прибаутках «Да не очень...», «Где ты?». А каким глубоким чувством собственного достоинства должен обладать народ, который создал пословицу: «Бога имей господином, но никогда — господина богом».

Фольклору лужицких сербов чужда всякая национальная нетерпимость. В сказке «Скупой мужик и солдат» с уважением говорится о немецком солдате, совершившем справедливый поступок.

Книга «Сказки, пословицы и песни лужицких сербов» — это первое знакомство русских читателей с устным творчеством братского славянского народа. Поэтому особенно неприятны некоторые недочеты, как в составлении сборника, так и в качестве некоторых переводов. Неудачный перевод искажает смысл сказки «Цикертарушк». В сказках «Побежденная полудница», «Кузнец и черт» переводчика явно подводит недостаточное знание крестьянской лексики. Жалко, что в сборнике нет такой известной старинной песни о победе лужичан над немецким королем, как «Наши молодцы с войны едут».

Л. КАЛНЫНЬ

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

Wolfgang Joho. Es gibt kein Erbarmen. Berlin, Aufbau-Verlag, 1962.

ДРУГОГО ПУТИ НЕТ

Эпиграфом к своему новому роману «Жалости нет» Вольфганг Йохо взял слова. «Чтобы выдержать в час испытания, нужно любить. Но он не любил никого». По отношению к Людвигу Борку, герою этого романа, можно было бы добавить: «Кроме самого себя». Не зря жена Борка Элизабет с горечью замечает: «Единственный, кто тебе нужен, это ты сам».

Вольфганг Йохо сразу открывает перед читателем истинное лицо своего героя. Летом 1935 года Борка, начинающего журналиста, арестовывает гестапо. Он не выдерживает первого же испытания — выдает гестаповцам подпольщика, антифашиста Пауля. Здесь, в тюремной камере, он долго и мучительно копается в своих переживаниях. Почему и за что он должен страдать? Борк чувствует себя обманутым и разочарованным. «Возвышенные идеи», в верности которым он так пышно клялся, оказываются бутафорией, а «революционность» разлетается вдребезги после первого же допроса.

Перед нами отчетливо вырисовывается тип себялюбца и обывателя, из породы тех, кого Горький называл «зоологическими индивидуалистами». Борка не интересуют люди, даже те, с которыми так или иначе связана его жизнь. Все в характере этого человека оказывается мелко и незначительно: вместо сильной воли и твердых убеждений — душевная расхлябанность и полнейшая беспринципность, а вместо энергии и жажды деятельности — болезненный самоанализ. Он не прочь побаловаться кое-какими дерзкими мыслями из числа запрещенных, но лишь до тех пор, пока это ему ничем не угрожает.

Внешне жизнь Борка насыщена событиями, и Вольфганг Йохо изображает их с лаконичной точностью. Но не эти, внешние, обстоятельства определяют интерес читателя к судьбе Людвига Борка. Они лишь

помогают автору полнее раскрыть характер своего героя.

После первого предательства Борку удается бежать из полицей-президиума. Более того, он даже пробирается в Швейцарию. Оказавшись на свободе, Борк начинает лавировать. Он хочет уйти от борьбы. Но отсутствие твердых позиций, нежелание решительно стать на чью-то сторону приводят к тому, что Борк оказывается между двух огней — швейцарская полиция выдает его гитлеровской полиции. Затем следует концлагерь, где Борку одинаково безразличны как нацисты, так и заключенные-антифашисты, а потом фронт, куда его отправляют искупать вину перед фашистским рейхом.

Вернувшись после падения гитлеризма из английского плена, Борк первое время наблюдает за новой и непонятной ему жизнью с угрюмым равнодушием скептика. Но потом он вдруг загорается каким-то коротким, лихорадочным энтузиазмом: в нем просыпаются полузабытые мечты юности Охваченный недолговечным приступом энергии, Борк пишет книгу. В ней он разделывается с прошлым, не упоминая, разумеется, о собственных неблаговидных поступках. Это тем более легко, что никто, даже Элизабет, не подозревает о его предательстве. Для энергичной, жизнелюбивой Элизабет, которая всей душой приветствует новое, Борк прежде всего человек, пострадавший за приверженность делу революции. Элизабет понимает и чувствует душевную неустойчивость Борка, но приписывает это не его эгоцентризму, а надломившим его суровым обстоятельствам.

Когда к Борку приходит успех и он становится популярным писателем, Элизабет радуется — ей кажется, что теперь Борк воспрянет к жизни, активно включится в нее. Но Борк, целиком погруженный в свои переживания, органически не способен к действию. Жизнь Германской Демократической Республики кажется ему «серой и лишенной поэзии». Не понимая людей, он прибегает к обычному приему обывателей — кричит, что люди недостойны его. В поисках «родственных душ» Борк примыкает к кружку фразера и трусливого демагога Вендинга, который с жаром толкует об «истинной свободе». Борк чувствует, что попал в среду жалких отщепенцев, но не в силах порвать с ними, потому что тешит себя мыслью, будто здесь его понимают. Когда Вендинга арестовывают, потерянный и запутавшийся Борк, оттолкнувший от себя всех близких ему людей, бежит в Западную Германию.

Он бежит туда, где надеется найти единомышленников, надеется познать «свободу творчества» и вкусить от ее плодов. Вместо этого он узнает изнанку «свободного мира». Выжав из него все, что возможно, и всячески обыграв его «бегство по политическим соображениям», хозяева газеты выбрасывают его на улицу, как отслужившего свой век пса. Так завершается судьба этого честолюбца и предателя.

Проблемы, поставленные в романе, не случайны, как не случаен выбор героя. В образе Борка критики ГДР даже увидели совершенно реальное лицо — некоего литератора Альфреда Канторовица, который в свое время переметнулся в Западную Германию. Возможно, Вольфганг Йохо и наделил Борка некоторыми чертами, свойственными кому-то из реальных, живых предателей. Но книга Йохо не приобрела бы такого серьезного звучания, если бы оказалась всего лишь жизнеописанием опустившегося приспособленца.

Йохо не первым рассказал о «шписбюргере», мещанине, клюнувшем на удочку пресловутой западной демократии. Особую остроту эта проблема приобрела в условиях Берлина, где до 13 августа 1961 года, то есть до того момента, когда правительство ГДР закрыло границу с Западным Берлином, была весьма благоприятная обстановка для прорастания всяческой плесени. Об этом много и по-разному говорили в своих произведениях и другие писатели ГДР.

Если существует «сила отрицательного примера», то роман Йохо, в котором проблема эта подана в наиболее концентрированном, заостренном виде и, главное, доведена до логического завершения, являет собой прекрасный ее образец. И хотя на страницах книги писатель не произносит слов в осуждение своего героя, весь роман напоминает открытый суд, в ходе которого виновнику выносится суровый и справедливый приговор.

Йохо не поучает — в его романе нет ни наивной прямолинейности, ни откровенной дидактики. Но кажущаяся беспристрастность автора — всего лишь способ заставить читателя глубже вдуматься в существо событий. Внимание писателя почти целиком сосредоточено на фигуре Людвига Борка. Другие действующие лица романа оказываются как бы в тени. Даже образ Элизабет, замысленный интересно, не раскрывается до конца. Конечно, это можно было бы поставить автору в вину, но думается, что причина вовсе не в недостатке мастерства: все внимание писателя направлено на разоблачение Борка, и другие герои нужны ему лишь постольку, поскольку они помогают осуществлению этой главной цели.

Разумеется, можно спорить об отдельных удачах и просчетах романа. Но не они определяют его значение. Книга эта написана об очень важном — о месте художника, писателя, да и вообще всякого человека в жизни. Неизбежное крушение ждет художника, который ставит себя вне народа, над ним, говорит своим романом Йохо.

Для честного человека есть только один путь — путь служения своему народу. Мысль эта является определяющей в книгах Йохо, так же как проблемы творческой интеллигенции остаются его основной темой. Этой теме посвящены все наиболее значительные его произведения. Разными путями

приходят к слиянию с революционным рабочим классом француженка Жанна Пейрутон, героиня одноименного романа, и врач Томас Рамуц, историю жизни которого Йохо талантливо и увлекательно рассказывает в романах «Путь из одиночества» и «Поворот». Йохо прямо и честно говорит о трудностях и преградах, которые встречаются на этом пути. Писатель не скрывает, что его героев порой охватывают колебания, что им приходится преодолевать собственную неуверенность. Но тем большее удовлетворение они испытывают, осознав себя борцами великой армии освобождения и созидания.

Сам Вольфганг Йохо еще в 1929 году вступил в Коммунистическую партию и этим навсегда связал свою судьбу с судьбой революционных рабочих, боровшихся против фашизма, а потом за построение первого в истории Германии социалистического государства Йохо пришлось познать и ужасы каторжной тюрьмы, и штрафной батальон.

Романы Йохо широко известны как в ГДР, так и за рубежом. Читатели ценят его не только как талантливого писателя, но и как неутомимого публициста. Трудно представить себе сегодняшнюю литературную жизнь ГДР без страстных статей Йохо.

В конце минувшего года Вольфганг Йохо был награжден Национальной премией. Эта награда, которой он удостоен «за современную тематику и народность творчества»,— признание заслуг писателя, избравшего путь служения великому делу революции.

И. МЛЕЧИНА

Ezekiel Mphahlele. The African Image. London, Faber, 1962.

В ЗЕРКАЛЕ ПОЛИТИКИ И ЛИТЕРАТУРЫ

Южноафриканский писатель Эзекайл Мпашлеле, эмигрировавший несколько лет назад в Нигерию, написал книгу литературоведческую и публицистическую. Чем вызвано его желание «разобраться в том, что часто говорят и думают друг о друге и о самих себе белые и черные, угнетатели и угнетенные»? Очевидно, проблемами художественного воплощения африканской действительности, но не ими одними. «Африканский образ» — это образ африканца, увиденный в зеркале политики и литературы, в зеркале, которое, по мнению автора, слишком часто оказывается кривым.

Мпашлеле подвергает резкой критике теорию негритюда и концепцию «африканской личности». Как утверждает Мпашлеле, общность народов Африки основывается не на особом «африканском» мышлении, не на повышенной интенсивности чувств, якобы присущей черной расе, а на общности освободительных целей, на «страстном желании быть свободными». Еще бо́льшие возражения у автора вызывает романтический культ патриархальной старины, свойственный поэтам негритюда. В данном случае Мпашлеле исходит из условий, в которые поставлено коренное население ЮАР. Расистское государство пытается задержать рост политического сознания африканцев, навязывая им обветшалые племенные институты, распространяя апартеид и на сферы духовной жизни. Добиваясь культурной изоляции африканцев, правительство лишает страну телевидения, захлопывает перед ними двери последних «открытых» университетов Кейптауна и Иоганнесбурга. «Если бы правящий класс белых мог издать закон, запрещающий нам слушать и исполнять Баха, Моцарта, Бетховена, Шопена, он бы сделал это»,— пишет Мпашлеле. Официальная пресса поднимает на щит произведения, в которых негр возвращается в крааль, потерпев поражение в городе (разумеется, по собственной вине, а не по вине существующего строя!). В городе африканцы очень уж быстро начинают требовать избирательных прав, и поборники раздельного существования неистовствуют: «Назад в крааль!» В таких условиях воспевание примитивного племенного быта — на руку правительству.

Значительное место Мпашлеле уделяет африканской интеллигенции и ее роли в антиколониальном движении. Книга насы-

щена политической полемикой с южноафриканскими либералами, деятелями партии «Панафриканский конгресс» относительно насущных задач и перспектив борьбы за независимость. В частности, Мпашлеле полемизирует с теми, кто с чужого голоса повторяет басни о «коммунистическом империализме» и неприемлемости коммунизма для воспринявшего культуру Запада африканца. Мпашлеле не коммунист. Он пишет: «Я должен увидеть коммунизм в действии в России прежде, чем смогу вынести суждение о нем». «Но,— продолжает он,— я хорошо знаю зло капитализма, потому что в его климате я был рожден и воспитан. Я видел, как южноафриканские фермеры зарывали картофель и апельсины, когда миллионы голодали, потому что они (фермеры) не могли получить желаемую цену за свои продукты. Я видел, как они по той же причине отказывались продавать маис в то время, как африканцы, для которых маис — основная пища, глядели на него голодными глазами. Я видел, как... сами белые... вынуждены были покидать свои фермы и наводняли города, превращаясь в бедняков». Писатель иронизирует над самодовольством и наивностью американского буржуа, полагающего, будто «ум африканца настолько неразвит, что достаточно набить его карманы долларами, и он не будет думать о социализме».

Собственно литературоведческая часть книги состоит из двух обширных глав: «Образ африканца в произведениях писателей-белых» и «Литературный образ африканца, созданный им самим». Эти главы написаны в историческом аспекте и преимущественно на материале литературы ЮАР. Англоязычная литература представлена наиболее полно, литература на языках банту — в меньшей степени, литература на африкаанс — минимально. К рассмотрению привлечены также произведения писателей Нигерии, Ганы и Кении, Англии и США.

Можно было бы привести примеры содержательного и вдумчивого анализа, проделанного Мпашлеле-критиком, а также поспорить с отдельными его оценками (например, с оценкой романа П. Абрахамса «Тропою грома»). Но, пожалуй, целесообразнее остановиться на общей концепции книги. Она сводится к следующему.

На протяжении веков образ африканца в литературе искажался расовыми предрассудками. Кровожадный дикарь из «Кафрских рассказов» (1895) Уильяма Скалли и врожденная умственная ограниченность «цветных» персонажей в романе Сары Гертруды Миллин «Пасынки бога» (1924) — явления одного порядка. Успехи на пути к реалистическому изображению Африки и африканца достигнуты той литературой, которая обнаружила варварскую жестокость в природе капиталистической эксплуатации и расовой дискриминации, а не искала ее в «душе чернокожего». Оливия Шрейнер, Уильям Плумер, Надин Гордимер, Сильвестр Стейн запечатлели характерные социальные типы батраков, городских рабочих, утрачивающих связь с племенем, молчаливых слуг (в их молчании — отчужденность и вызов), нарушителей закона, бунтовщиков.

Обращаясь к произведениям писателей-африканцев, Мпашлеле отмечает колебания некоторых из них между романтическим эскапизмом и открытым протестом. Хочется, однако, подчеркнуть, что литература все нарастающего протеста против колониализма — это главное направление развития литературы ЮАР с того самого момента, как африканцы написали первые строки на родном или чужом языке. Произведения, о которых пишет Мпашлеле, подтверждают непрерывность литературной традиции протеста — от поэзии и публицистики конца XIX века, где возмущение насилием зачастую имело религиозную окраску, к сатирической оде Мкайи в честь принца Уэльского и Великобритании (1925), к стихам зулусского поэта Вилакази об африканцах, гибнущих в золотых рудниках, к патриотической поэме Дзломо «Долина тысячи холмов» (1941), в которой поэт, проклиная поработителей, черпает силы в красоте родной земли, к романам Абрахамса, книге А. Хатчисона «Путь в Гану», рассказам Ричарда Райва и Артура Меймы.

В литературоведческих статьях Э. Мпашлеле заключена определенная эстетическая программа: сочетание национальных традиций с достижениями мировой культуры, углубленное изображение человеческой личности, отказ от ложной экзотики и надуманных сюжетных построений. Однако в понимании соотношения политических взглядов писателя, его мировоззрения и его творчества позиция Мпашлеле противоречива. С одной стороны, он убежден, что «решающий фактор, с которым неизбежно сталкивается серьезный южноафриканский писатель...— это необходимость уяснить себе, с кем он: с угнетенным большинством или с привилегированным меньшинством». С другой — он боится, что политическая тенденция может помешать воздействию искусства, нарушить его художественную цельность. Очевидно, поэтому из поля зрения Мпашлеле выпадают такие произведения о борющейся Африке, как «Эпизод» Гарри Блума, «Прекрасный дом» Джека Коупа, «Речные пороги» Бэзила Дэвидсона. Недопустимость произвольной подгонки сложных человеческих характеров к политическим схемам отнюдь не зачеркивает литературы политически острой, пристрастной и справедливой в своем пристрастии. Кстати, именно к ней принадлежит сам Мпашлеле — автор яркой автобиографической книги «По второй авеню», проникнутой духом активного сопротивления расизму. Если настоящий художник должен «выражать стремления, неудачи и успехи своего народа», то надо ли делать исключение для политических стремлений?

Образ Африки открывается миру в накаленной атмосфере битвы, в блеске молний народного гнева, в чистом свете зари освобождения. Искусство только выигрывает, когда дело свободы становится его главным принципом.

А. ПЕТРИКОВСКАЯ

Мартин Викрамасинге. Расцвет Страны Советов. Махарагама, Симасахита Саман Пракашакайо, 1962. (На сингальском языке.)

ГЛАЗАМИ ДРУГА

«Непримиримое отношение Советской России к буржуазному искусству Запада, с его кинофильмами, откровенно сексуальной литературой, с его безвкусными ревю и другими коммерческими пошлостями диктуется не только политическими мотивами. За этой непримиримостью кроются подлинный гуманизм и громадная духовная сила, которые помогли России создать одну из величайших современных литератур мира»,— эти слова принадлежат крупнейшему писателю Цейлона Мартину Викрамасинге, одному из основателей новейшей сингальской литературы, большому другу Советского Союза. Его имя знакомо широкому кругу наших читателей по двум книгам — сборнику рассказов и повести «Тайна змеиного острова», опубликованным на русском языке. Мысли о коренной противоположности социалистического искусства и дряхлеющего искусства буржуазного мира лежат в основе новой книги Мартина Викрамасинге «Расцвет Страны Советов».

Перед глазами невольно встает благородный облик этого писателя-гуманиста высокая, крепкая фигура, смуглое, точно выточенное искусным резцом лицо, седые развевающиеся волосы, внимательные, словно изучающие собеседника глаза. Таким он запомнился всем нам, когда приезжал в мае 1959 года в нашу страну в качестве почетного гостя Союза советских писателей, таким мы видели его на Цейлоне, когда он, улыбающийся и радушный, принимал гостей у себя в кабинете или выступал перед многотысячной аудиторией со спокойной, вдумчивой речью.

Замысел книги «Расцвет Страны Советов» далеко выходит за рамки обычного путевого очерка. Это не просто записки умного, наблюдательного путешественника, но повествование о жизни советского народа, о его прошлом и настоящем, о достижениях нашей страны, ее литературе и искусстве Писатель стремится охватить как можно больше событий и явлений. Наблюдения автора над жизнью советского общества поражают зоркостью, объективностью оценок, хотя порой можно и не согласиться с точкой зрения писателя (например, когда он сопоставляет философские взгляды Ф. Достоевского и Л. Толстого с основными концепциями буддизма или говорит о некоей внеклассовой демократии или о роли религии в социалистическом государстве).

С нескрываемым восхищением рассказывает Мартин Викрамасинге об индустриальном строительстве в СССР, об удивительных успехах в деле народного образования и науки, о достижениях нашей литературы, музыки, балета, живописи и скульптуры, о взаимовлиянии национальных культур союзных республик. Его поражает массовый размах книгопечатания и издательского дела в нашей стране, огромные тиражи книг, газет и журналов.

Основной стержень повествования составляют размышления Мартина Викрамасинге о русской классической и советской литературах. Он хорошо знает и любит их. Произведения классиков нашей литературы — от А. С. Пушкина до М. Горького — познакомили цейлонского писателя с жизнью далекой России и, как он сам признается, помогли ему лучше понять умонастроения своих современников.

«Громадные достижения русского романа,— говорит М. Викрамасинге,— стали возможны не только благодаря творческому гению русских писателей, но в основном потому, что русские писатели всегда были в центре жизни своего народа и черпали у него вдохновение». Мартин Викрамасинге видит в русской классической литературе прежде всего ее высокое, героическое начало или, как говорил М. Горький, постоянную готовность к подвигу. Русская литература, по словам писателя, и сейчас верна этому гуманистическому принципу, который ясно виден в произведениях М. Шолохова, в «Повести о настоящем человеке» Б. Полевого, в «Молодой гвардии» А. Фадеева. По мнению цейлонского писателя, это позволило советскому роману подняться на огромную высоту и оставить далеко позади современный буржуазный роман, скажем, английский или немецкий, некогда славившийся своими богатыми традициями.

Появление книги М. Викрамасинге на далеком Цейлоне — событие большого общественного и культурного звучания. Написанная в форме простой, задушевной беседы автора с читателем, она, без сомнения, явится еще одним звеном в общей цепи крепнущих дружеских связей между нашими странами.

В. ВЫХУХОЛЕВ

НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ

Как сообщает венгерский книжный бюллетень «Тайекостато», издательство «Кошут» выпустило сборник речей Н. С. Хрущева под названием «Вопросы советской литературы и искусства».

В Австралии вышли «Донские рассказы» Михаила Шолохова. Рецензент журнала «Реалист райтер» высоко оценивает творчество писателя, называя его продолжателем Горького в развитии метода социалистического реализма.

«Шолохов показывает,— пишет рецензент,— как в условиях невежества и жестокого произвола старой России рождается новый человек, борющийся за лучшую жизнь. Эта книга, как и другие произведения Шолохова, может многому научить людей».

Под названием «Ночлежка» датское издательство «Хассельбалх» выпустило в переводе Эйнара Томассена пьесу М. Горького «На дне».

Государственный издательский институт Польши «ПИВ» выпустил в свет «Дело Артамоновых» Максима Горького и «Костер» Константина Федина.

В ФРГ в издательстве «С. Фишер-ферлаг» вышел томик стихотворений Сергея Есенина, в котором напечатаны параллельно русский и немецкий тексты. Составитель книги и переводчик — Пауль Целан. Издательство «Лангевише — Брандт» также выпустило книжку стихотворений Сергея Есенина в переводе Карла Дедециуса.

По мнению критики, обе книги хорошо дополняют друг друга не только потому, что в них вошли разные произведения, но и потому, что каждый из переводчиков по-своему раскрывает перед читателем поэтический талант Есенина.

Издательство Галлимар (Франция) выпустило повесть Александра Бека «Несколько дней». Еженедельник «Франс нувель» пишет, что возвращение автора «Волоколамского шоссе» к теме войны свидетельствует о зрелости этого талантливого писателя, о его искреннем желании осмыслить до конца исторические события более чем двадцатилетней давности.

В Чехословакии в издательстве «Свет Совету» вышел роман Юрия Германа «Дело, которому ты служишь».

В издательстве «Нейес лебен» (ГДР) вышла повесть Александра Рекемчука «Время летних отпусков».

Варшавское издательство «Чительник» выпустило книги: «Трус» Льва Никулина и «После свадьбы» Даниила Гранина.

Издательство Тюокорон (Япония) приступило к выпуску «Собрания мировой литературы» в 54 томах. Значительное место в «Собрании», 9 томов, занимает русская и советская литература. В издание войдут произведения Пушкина («Евгений Онегин»), Гоголя («Мертвые души»), Тургенева («Накануне»), Достоевского («Преступление и наказание», «Братья Карамазовы»), Л. Толстого («Анна Каренина»), Чехова («Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишневый сад», «Повести и рассказы»), Горького («На дне», «Детство» и ранние рассказы), А. Толстого («Хождение по мукам»).

Большинство произведений будут представлены в «Собрании» в новых переводах.

В издательстве «Гондолат» (Венгрия) вышла книга В. Шкловского, включающая две его работы: «Заметки о прозе русских классиков» и «Художественная проза. Размышления и разборы». В связи с этим рецензент «Тайекостато» пишет: «Глубоко научно, но вместе с тем в очень популярной форме Шкловский вводит читателя в мир литературы».

В Болгарии вышла книга Якуба Коласа «На перепутье».

(Еженедельник «Литературни новини»)

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

АВСТРАЛИЯ

ПОПУЛЯРНЫЙ ТЕАТР

Сиднейский Новый театр вырос из самодеятельного коллектива и существует вот уже более тридцати лет.

Долгие годы, пишет газета «Трибюн», актерам и зрителям этого рабочего театра приходилось довольствоваться совершенно неприспособленным помещением: сцена была маленькая, в зале множество подпорок мешало смотреть спектакль, с улицы врывался грохот трамваев...

Театр пользуется большой любовью зрителей, и множество добровольцев занялось реконструкцией и ремонтом здания, арендованного недалеко от центра города. Теперь у рабочих Сиднея есть небольшой, но благоустроенный театр. На открытии сезона была показана премьера — инсценировка романа Джона Херси о второй мировой войне «Стена», осуществленная Миллардом Лемпеллом. В Сиднейском Новом театре спектакль был с интересом и симпатией встречен зрителями.

АВСТРИЯ

НАРОДНОЕ ИСКУССТВО ПОНЯТНО ВСЕМ

В этом году на традиционной венской выставке «Книги наций», организованной Австрийским культурным центром, который связан с семнадцатью зарубежными обществами культуры, в том числе в СССР и в других социалистических странах, были представлены книги по изобразительному искусству. Рецензент газеты «Фольксштимме» среди экспонатов выставки особо отмечает венгерские книги о народном творчестве, книги по прикладному искусству, изданные в Польской Народной Республике, и иллюстрации Владимира Фаворского к пушкинским «Маленьким трагедиям», представленные советско-австрийским обществом дружбы. По словам рецензента, для тех, кто интересуется народным творчеством, большой интерес представляет серия монографий под названием «Время и краски», выпущенная венским издательством «Розенберг-ферлаг». Особенно привлекательно, по-современному красочно изданы книги о народном творчестве в Чехословакии и Польше.

АНГЛИЯ

РАССКАЗЫ УИЛЬЯМА СЭНСОМА

Английский писатель Уильям Сэнсом стал известен в послевоенное время как мастер короткого рассказа. Сборник его рассказов с предисловием писательницы Элизабет Боуэн весьма благоприятно встречен литературной критикой. В этом сборнике тридцать три коротких рассказа, в том числе «Конкурс дам», «Случай в Гастайне», «Лестница», «Загородная прогулка», «Жизнь, смерть», «Вопрос и ответ».

«Сэнсом,— пишет рецензент еженедельника «Санди таймс», — принадлежит к тем очень немногим из ныне живущих английских писателей, произведения которых могут стоять на одной книжной полке с такими мастерами слова, как Шон О'Кейси и даже Чехов».

По мнению рецензента, Сэнсом умеет захватить читателя, заинтересовать его судьбой своих героев. Но основная его заслуга состоит в том, что он сумел в коротких рассказах дать правдивые и точные зарисовки своей эпохи. Особенно сильны рассказы о днях массированных бомбардировок гитлеровской авиацией английских городов во время второй мировой войны. Жизнь простых людей Англии, проявивших мужество и выдержку в эти тяжелые для страны времена, послевоенная разруха получили широкое отражение в творчестве писателя.

Литературный еженедельник «Таймс литерари саппламент» высоко оценивает творчество Сэнсома и отмечает, что писатель создал свой особый стиль короткой новеллы. В его рассказах обычно описываются злоключения человека, попадающего в беду из-за собственной неосмотрительности, упрямства или безволия. Это интереснейшие психологические этюды, вы-

полненные на высоком художественном уровне.

Критики высказывают пожелание, чтобы Уильям Сэнсом больше писал о современной Англии.

ОЧЕРЕДНОЙ ОБРАЗЧИК «АНТИИСКУССТВА»

Рекорд бессмыслицы недавно побила выставка «Искусство в пространстве», организованная несколькими скульпторами, художниками и архитекторами Ноттингема в помещении «Мидленд груп гэллери». Перед изумленным зрителем в выставочном зале предстают четыре черных опрокинутых ящика на тоненьких ножках-ходулях.

Зрителю, пожелавшему ознакомиться с «искусством в пространстве», надлежит стать на четвереньки, влезть под ящик, засунуть в него голову, только после чего он и приобщится к «творчеству» ноттингемских «новаторов». Внутренность одного из ящиков украшена белыми картонными наклейками непонятного назначения, в другом приколот газетный лист и портрет Брижит Бардо, в третьем стенки покрыты черными и красными мазками, в четвертом на одной из стенок губной помадой намалеван большой человеческий рот...

Даже видавшие виды буржуазные газеты и те не выдержали. Манчестерская «Гардиан», например, иронически назвала заметку о выставке «Искусство на ходулях» и предупредила своих читателей, что для человека неподготовленного восприятие выставки «несколько затруднительно».

БАХРЕЙН

АНТОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОЙ ПОЭЗИИ

В арабских литературных кругах хорошо известно имя Ибрахима Арида — поэта и литературного критика с острова Бахрейн в Персидском заливе. Арид частый гость на писательских съездах и поэтических фестивалях, проводимых в столицах арабских стран. Его перу принадлежит немало поэтических диванов и критических исследований, изданных в Каире и Бейруте.

Недавно вышла книга Арида «Путешествие по современной арабской поэзии». В ней дается анализ направлений в современной арабской поэзии и содержатся литературные портреты крупнейших арабских поэтов. Арид знакомит читателей с образцами творчества египетских поэтов Абд-ар-Рахмана Сидки и Салиха Гаудата, ливанских поэтов Альбера Адиба и Амина Нахле, поэтов аш-Шаира аль-Каравн и Абу Мады, эмигрировавших в Америку, иракского поэта ас-Сафи ан-Неджефи, палестинского поэта Ибрахима Таукана, сирийца Наззара аль-Каббани, суданца аль-Фитури и многих других выдающихся поэтов. По словам рецензента журнала «Аль-Адиб», Ариду удалось «выбрать из садов поэзии самые яркие цветы, а из ее соловьев — самых сладкозвучных».

БОЛГАРИЯ

НОВАЯ ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЕМ

Недавно из печати вышел сборник рассказов Павла Вежинова «Парень со скрипкой». Еженедельник «Литературен фронт» отмечает законченность формы рассказов писателя, его стремление дать «многостороннюю обрисовку характеров, спроецированных на широкий социальный фон». Богатый жизненный материал заключен в рассказах Павла Вежинова «Человек, похожий на денницу», «Парень со скрипкой», «Обеденный перерыв», «Плохой день». Они ярки и лаконичны, герои их глубоко индивидуальны.

«Нас радует,— пишет еженедельник,— новая встреча со старым другом Павлом Вежиновым, радует книга, которая вызывает много раздумий — раздумий не только об успехе одного писателя, но и всей нашей литературы в целом».

НЕДЕЛЯ БОЛГАРСКОЙ КНИГИ

В стране прошла Неделя болгарской книги — традиционный праздник, отмечающийся в связи с Днем болгарской письменности. В нынешнем году празднование Недели приобрело тем большее культурное значение, что оно совпало с 1100-ой годовщиной славянской письменности, начало которой положили великие просветители братья Кирилл и Мефодий.

В эти дни витрины и стенды книжных магазинов были заполнены разнообразной продукцией болгарских издательств. По всей Болгарии прошли обсуждения и встречи, состоялись книжные выставки и базары — в городах и селах, на предприятиях и стройках. Новые произведения болгарских писателей передавались по радио и телевидению.

По установившейся традиции Союз болгарских писателей организовал литературные чтения и вечера, на которых писатели встречались с читателями, принимали участие в обсуждениях своих произведений. Неделя книги широко отмечалась в Бургасском, Варненском, Тырговишском, Михайловградском, Хасковском, Ловешском и Софийском округах.

ВЕНГРИЯ

ПОЭТ О ПОЭТЕ

В издательстве художественной литературы «Сепиродалми киадо» вышла новая книга стихов одного из старейшин венгерской поэзии поэта-коммуниста Йожефа Фодора — «Безудержный праздник».

«Поэзия Йожефа Фодора,— пишет поэт Ференц Янкович в еженедельнике «Элет эш иродалом»,— всегда была поэзией глубокого общественного звучания. Но в последнем сборнике это ощущается особенно сильно. Большие исторические события читатель видит через дела повседневные, будничные. Жизнь Фодора неотделима от жизни его страны, его эпохи. В то же время

поэзия Фодора глубоко философична по своему образу и строю мыслей».

ФИЛЬМ О СОВРЕМЕННИКАХ

Новый венгерский фильм «Мы живем каждый день», созданный по сценарию молодого венгерского прозаика Акоша Кертеса, ставит морально-этические проблемы человека социалистического общества. Фильм рассказывает о жизни одной из заводских бригад, когда с приходом в нее нового рабочего нарушается привычный трудовой ритм. Члены бригады опасаются, что теперь понизится их заработок. Дело осложняется еще и тем, что новичок запутывается и в личной жизни. Разлад в бригаде кончается трагически — один из рабочих гибнет, и это тяжелым грузом ложится на совесть другого, который хоть и весьма косвенно, но все-таки повинен в гибели товарища. Перед бригадой встает вопрос: где же был коллектив, куда делось чувство локтя, товарищества?

Рецензент журнала «Филм-синхаз-мюжика» отмечает, что создатели фильма поступили правильно, не побоявшись открыто показать столь острый конфликт. «Мы живем каждый день» — фильм суровый, заставляющий зрителя задуматься, как бы говорящий ему: ты не имеешь права проходить мимо проявлений бездушного отношения к людям.

Кадр из фильма «Мы живем каждый день».

(Журнал «Филм-синхаз-мюжика»)

ВЬЕТНАМ

РАССКАЗЫ ВОИНА

Навсегда останется в памяти вьетнамского народа героическая победа, одержанная Народной армией над французскими колонизаторами в битве под Дьен-Бьен-Фу. Поэтому с таким интересом были встречены в стране «Рассказы о битве под Дьен-Бьен-Фу», принадлежащие перу участника этих событий, офицера Народной армии Тран До.

Автор рассказов воспроизвел те эпизоды сражения под Дьен-Бьен-Фу, которые раньше оставались неизвестными для большинства читателей. Он описал подготовку к сражению, жизнь бойцов Народной армии на фронте, их горячий патриотизм.

Хотя Тран До и не профессиональный писатель, однако в своих рассказах, как отмечает вьетнамская печать, он сумел просто и интересно рассказать о подвигах своих товарищей, очевидцем которых был.

«Это по-настоящему хороший фильм, созданный на современном материале»,— пишет критик еженедельника «Элет эш иродалом».

ГАНА

НОВЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

Важным событием в деле дальнейшего развития национальной культуры страны, как сообщает журнал «Гана тудей», явилось создание культурного центра в городе Кумаси. Здесь открыт музей, в котором богато представлены сокровища материальной культуры. В ближайшее время намечено построить театр, конференц-залы, Академию искусств, где студенты будут изучать драматургию, музыку, художественные ремесла, современную живопись, скульптуру и другие виды национального искусства.

ГЕРМАНИЯ

ГЕРМАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЭЛИЗАБЕТ БОРЕТСЯ ЗА СВОЕГО БРАТА

Из печати вышла новая повесть Бригитты Рейман «Сестра и братья». В этом произведении рассказана история молодых немецких интеллигентов, выходцев из буржуазной семьи, делающих выбор между Востоком и Западом.

У молодой художницы Элизабет — двое братьев, Конрад и Ульрих, оба инженеры-кораблестроители. Все трое воспитывались в одинаковых условиях, однако их жизненные пути разошлись. Старший брат Конрад ушел на Запад и стал предателем.

Второй брат Элизабет, Ульрих, принадлежит к числу колеблющихся, он не понимает силы и созидательных возможностей немецкого рабочего класса. Ульрих боится трудностей социалистического строительства. Он тоже близок к роковому шагу — переходу в Западную Германию.

Борьба Элизабет за брата составляет основное содержание повести. Писательница убедительно рассказывает о том, как Элизабет удается удержать Ульриха от опрометчивого поступка и внушить ему мысль, что покинуть родину — тяжкое преступление. Не остается в стороне и коллектив рабочих верфи, который поддерживает Ульриха в трудную минуту.

Политическая принципиальность и высокое художественное мастерство повести Бригитты Рейман, по словам критика газеты «Юнге вельт», выдвигают это произведение на одно из первых мест в молодой социалистической литературе Германской Демократической Республики.

На киностудии ДЕФА снимается фильм «Приключения Вернера Хольта» по одноименному роману Дитера Нолля (опубликован в «Иностранной литературе» №№ 4—7, 1962). На снимке артист Клаус-Петер Тиле в роли Вернера Хольта.

(Газета «Дер морген»)

ВРУЧЕНИЕ ПРЕМИИ

Премия имени Иоганнеса Бехера, учрежденная пять лет назад, присуждена в этом году писателю Францу Фюману за литературное творчество. В день рождения Бехера премию Фюману вручил министр культуры Ганс Бенциен. «В произведениях Фюмана большое мастерство и глубокая человечность сочетаются с огромным чувством ответственности перед современностью,— заявил в своей речи заместитель министра культуры Эрих Вендт.— Франц Фюман — достойный преемник Иоганнеса Бехера».

При вручении премии присутствовали: вдова Бехера Лили Бехер, Александр Абуш, президент «Культурбунда» Макс Бургхардт и другие деятели культуры ГДР.

ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИИ

ПРИЗНАНИЯ О «РУССКОМ ЧУДЕ»

Художественную ценность и правдивость фильма «Русское чудо» признают даже те круги Западной Германии, которым не особенно по нраву грандиозные успехи Советской страны.

Газета «Франкфуртер альгемейне цейтунг» пишет, что фильм супругов Торндайк очень убедителен благодаря содержащимся в нем фактам и тонким наблюдениям. Сопоставляя показанное в фильме состояние промышленности США и СССР в двадцатые годы, обозреватель газеты подчеркивает, что «только благодаря такому сравнению можно понять, почему фильм назван «Русское чудо». Скачок от сделанного кустарным способом автомобиля до ракеты, способной достичь Луны, поистине представляет собой чудо». На обозревателя произвели сильное впечатление покорители целины — обыкновенные люди, способные на героические дела, а также тяга советских людей к науке. «Прямо-таки до неистовства жаждущими знаний кажутся эти советские люди»,— пишет обозреватель.

Журнал «Тагесшпигель» отмечает, что супруги Торндайк нашли много впечатляющих, до сих пор не известных кадров, снятых во времена царизма и в первые годы революции. К ним относятся стачки рабочих на золотых приисках, фотографии первых красногвардейцев, обутых в лапти, картина разрухи в стране в результате мировой и гражданской войн.

«К тому времени, когда подросли новые поколения, эта страна стала одной из мощнейших индустриальных стран мира,— пишет «Тагесшпигель». — Свидетельство тому — атомные электростанции, старт Гагарина в космос... Супруги Торндайк показали советских людей не только за работой. Лица участников бала цветов в Омске светятся радостью, это молодые и культурные люди с веселым характером».

Так известный художник Пауль Вебер изобразил западногерманского обывателя, обманутого буржуазной пропагандой На глаза его надеты шоры, он поглощает жиденький суп и с еще большей жадностью — сенсации буржуазной прессы, представляющие собой малую и большую ложь.

(Еженедельник «Ди андере цейтунг»)

ГРЕЦИЯ

«РОМАШКИ СВЯТОГО»

Сборник рассказов Андреаса Ненедакиса, вышедший из печати под таким названием, вводит читателя в кошмарный мир греческих концлагерей и тюрем, мир, еще более страшный, чем гитлеровские застенки. Макронисос, этот «греческий ад», нашел широкое отражение в греческой литературе. И все же в рассказах Ненедакиса, по единодушному признанию критики, о Макронисосе сказано много нового. Главное, что покоряет в художественной манере Ненедакиса, отмечает критик газеты «Авги» Рафтопулос, это простота: «Автор ничего не комментирует и не вдается в философские рассуждения. Подобно безучастному оператору освещает он лица людей, и кажется, что со страниц книги с читателем говорит остров Макронисос. И в то же время присутствие писателя ощутимо, ощутима его душевная теплота».

Среди рассказов, пользующихся наибольшим успехом,— «Улица Никодима, дом № 20». В доме № 20 по улице Никодима — пересыльная тюрьма, «преддверие ада и смерти», а рядом, совсем близко,— шумные таверны. Толпами, с песней спускаются оттуда гуляки, но возле дома № 20 песня умолкает. Почему? Из страха перед властями? Или из сочувствия?

— Пойте! Чего же вы замолчали? Пойте!

Этот голос вырвался из камеры, куда вечером ввели троих: отца, мать и сына. Их ждет расстрел. И люди начинают петь. Они поют национальный гимн, «Гимн Свободы» Соломоса. И вся тюрьма подхватывает песню...

Театр «Додекати авлеа» («Двенадцатый занавес») был создан в 1959 году группой молодых энтузиастов-актеров и режиссеров: Христосом Вахлиотисом, Георгосом Яннисисом, Вангелисом Гуфасом и Ликургосом Каллергисом. Они поставили перед собой нелегкую, но благородную задачу — содействовать возрождению греческой национальной драматургии. В течение трех лет на сцене «Додекати авлеа» с успехом шли пьесы греческих авторов. Но в прошлом году занавес театра не поднялся: финансовые трудности оказались непреодолимыми. В текущем сезоне обстоятельства сложились более благоприятно: труппа театра нашла подходящую сцену для своих постановок. По-прежнему с успехом идут социальные по содержанию пьесы греческих авторов. Пьесой «Люди и лошади» на сцене театра дебютировал Костас Мурселас. С похвалой отзывается критика и о двух других премьерах театра — пьесах Янниса Андрицоса «Улитка» и Сталиоса Захидиса «Семья Петреисов». На снимке сцена из спектакля «Семья Петреисов».

(Газета «Авги»)

ИНДИЯ

НА ЯЗЫКЕ ХИНДИ

Как сообщает обозреватель индийского еженедельника «Линк», за последний год на языке хинди было выпущено около шести тысяч книг. Из них на долю художественной литературы приходится более ста книг.

Автор обзора указывает, что за последнее время в Индии заметно возрос интерес к роману. Наиболее значительными произведениями этого жанра он считает сатирическую книгу Нагарджуна «Бриллиантовый юбилей» и роман Нареша Мехты «Он был попутчиком».

В большом количестве вышли сборники коротких рассказов, оригинальных и переводных. Довольно много издано и стихотворных произведений. Высоко оценивает обозреватель эпическую поэму Нареша Мехты «Ночь сомнений». Пользуются успехом сборники таких популярных поэтов, как Баччан, Аджнейа, Бхагватичаран Верма. Издано несколько антологий, куда вошли стихи как известных, так и молодых поэтов. Вышло также несколько сборников одноактных пьес.

Переведено на хинди и опубликовано около тридцати крупных произведений зарубежных писателей.

ИРЛАНДИЯ

«ПОД ЦВЕТНОЙ ШАПКОЙ»

Под таким названием в Лондоне вышел новый сборник рассказов, очерков, памфлетов и полемических статей известного ирландского писателя Шона О' Кейси. Название это требует некоторого разъяснения: дело в том, что писатель коллекционирует разноцветные кепки и шапки всех стран и народов. Его коллекция довольно велика, так как многочисленные почитатели творчества писателя в разных странах не забывают об его увлечении.

Названием своего последнего сборника писатель лишний раз хотел подчеркнуть, что он пишет обычно о простых людях, которые носят дешевые кепки, а не цилиндры или шляпы. По отзывам критики, особенно впечатляет рассказ, в котором Шон О'Кейси повествует о болезни и смерти своего сына Найалла, долго и мучительно умиравшего от белокровия. Роберт Грисен пишет по этому поводу в журнале «Лиснер»: «Горе отца показано глубоко и правдиво. В рассказе нет и тени сентиментальности». Следует отметить, однако, что, как большинство буржуазных критиков, Грисен не может удержаться от упрека в адрес писателя за его прогрессивные взгляды. Признавая, что Шон О'Кейси «выдающийся человек, крупный писатель и драматург», Грисен тут же спешит добавить — «невзирая на сильную путаницу в мыслях».

Зато манчестерская газета «Гардиан» пишет о новом сборнике без оговорок: «Все, что выходит из-под пера Шона О'Кейси, всегда насыщено жизнью. Судя по творческой манере, это крупнейший стилист». «Гардиан» высоко оценивает рассказ о смерти сына писателя и подчеркивает, что очень силен и другой рассказ, посвященный смерти больного ирландского мальчика, прикованного тяжелым недугом к постели, но не теряющего бодрости духа и живущего интересами своих товарищей-одноклассников.

«Шон О'Кейси,— пишет в заключение «Гардиан»,— в значительно большей степени заслуживает Нобелевской премии, чем многие из тех, кто получил ее за последние пятнадцать лет».

ИСПАНИЯ

ЕЩЕ ОДНА ЖЕРТВА ФРАНКИЗМА

В городской тюрьме Хереса де ла Фронтера погиб молодой испанский поэт Мануэль Морено Барранко.

Вдова Хулиана Гримау высказала пожелание, чтобы кровь ее мужа была последней кровью, пролитой генералом Франко. Горе и гнев мужественной женщины разделяет бесчисленное множество людей во всем мире Французская демократическая печать поместила серию рисунков, посвященных национальному герою испанского народа. На снимке портрет Хулиана Гримау работы испанского художника Васкеса де Сола.

(Газета «Юманите»)

автор поэмы «Счастливая Аркадия». В октябре прошлого года Барранко возвратился из Франции в Испанию. Поэт не принадлежал ни к одной из политических партий, тем не менее он был вскоре арестован полицией, поскольку в его поэмах критиковался существующий в Испании режим.

Барранко арестовали 13 февраля нынешнего года, а 22 февраля мать поэта была вызвана в полицейское управление, где ей сообщили, что ее сын, пытаясь покончить жизнь самоубийством, выбросился из окна тюрьмы и в тяжелом состоянии доставлен в госпиталь. Попытки матери добиться свидания с сыном не увенчались успехом, а спустя несколько часов пришла весть, что Барранко скончался. Обращает на себя внимание тот факт, что накануне смерти Барранко, то есть 21 февраля, товарищи по тюрьме видели Мануэля совершенно здоровым.

Что же произошло с Барранко в тюрьме за эти 24 часа? Власти не дали на этот счет никаких объяснений, а также отказались составить какое-либо медицинское заключение о причине смерти поэта. По мнению демократической печати, Мануэль Морено Барранко был преднамеренно убит.

ИТАЛИЯ

«ФИЛО РОССО»

«Фило россо» — таково название прогрессивного литературно-публицистического журнала, который начал выходить в Милане.

Журнал ставит своей задачей помочь широкому читателю разобраться в современных проблемах культуры и международной жизни, информировать его о новых произведениях литературы и искусства во всем мире. Сотрудничать в журнале, наряду с прогрессивными деятелями культуры Запада, приглашены также писатели, журналисты, деятели искусства социалистических стран.

«ДЕНЬ СОВЫ» НА СЦЕНЕ

В римском театре «Квирино» с успехом поставлена пьеса «День совы», представляющая собой инсценировку знакомой советским читателям повести Леонардо Шаши «Сова появляется днем» (опубликована в «Иностранной литературе» № 8, 1962), в которой разоблачается сицилийская мафия Авторы пьесы — Л. Шаша и Л. Сбралья. Впервые постановка этой пьесы была осуществлена в Сицилии на сцене городского театра Катании.

В настоящее время, как сообщил Леонардо Шаша в интервью для газеты «Унита», он работает над историческим произведением, посвященным «еретику» — сицилийцу Диэго Ла Матина, который в 1658 г. убил допрашивавшего его инквизитора и был казнен. «Народные сицилийские предания и литература,— говорит писатель,— знают еще немало замечательных и интересных персонажей».

Известный советскому читателю роман «Леопард» покойного сицилийского писателя Джузеппе Томази ди Лампедузы уже третий год продолжает привлекать внимание итальянской общественности. Вслед за двумя книгами в известной степени перекликающимися с этим произведением («Египетский совет» Леонардо Шаши и «Семь с половиной» Джузеппе Маджоре), в Италии вышло интересное историко-литературное исследование, посвященное полуторатысячелетней истории древнего рода Томази ди Лампедузы, последним отпрыском которого был автор «Леопарда». Работа эта называется «Леопарды из Доннафугаты» и написана она Андреа Вителло, который, в частности, нарисовал яркий образ Джузеппе Томази ди Лампедузы. В этом аристократе, ученом-астрономе читатель сразу узнает героя «Леопарда» князя Салину. Здесь мы воспроизводим снимки из книги Андреа Вителло. Вверху — Джузеппе Томази ди Лампедуза, автор романа «Леопард». Внизу — один из предков писателя — кардинал Томази.

(Газета «Унита»)

КАНАДА

ЯРМАРКА КНИГИ В ТОРОНТО

В Торонто прошла очередная ярмарка книги. На ней была широко представлена самая разнообразная книжная продукция, в том числе художественные произведения о современности, литература для детей.

В центре внимания посетителей ярмарки была творческая встреча с известным канадским поэтом Уилсоном Макдональдом.

По словам корреспондента газеты «Кенэдиен трибюн», Уилсон Макдональд покорил аудиторию своими стихами о «Невоспетом солдате», который идет на смерть, чтобы спасти жизнь другим, и «Песней о творцах» — о тех, кто сверг в России гнет царского самодержавия и уничтожил эксплуатацию человека человеком.

КИТАЙ

ИСТОРИЯ КИТАЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Академия наук Китая, как сообщает журнал «Вэньсюэ пинлунь», выпустила в свет трехтомный труд «История китайской литературы». В нем отражены достижения китайских литературоведов по изучению классической литературы с древних времен до 1840 года. Издание освещает жизнь и творческую деятельность крупнейших писателей Китая, дает литературно - критический анализ их произведений.

КУВЕЙТ

РОЖДЕНИЕ ТЕАТРА

Созданная недавно в Кувейте первая в истории страны театральная труппа показала одноактную комедию, написанную местным писателем Саадом.

По сообщению журнала «Аль-Адиб», в Кувейте в октябре этого года открывается театральный институт.

НИГЕРИЯ

ЛЕГЕНДЫ О ГОРЕ ОЛУМО

Немало легенд и сказок сложил нигерийский народ о горе Олумо, расположенной в окрестностях города Абеокута. В прошлом эта гора, благодаря своему стратегическому положению, не раз помогала местным племенам отражать набеги захватчиков. Недаром в одной из легенд, объясняющих ее происхождение, народ отождествляет гору Олумо с образом любящей матери.

Три десятка легенд об этой горе были собраны исследователем народного творчества Абайоми Фуджа и изданы в Ибадане. В них, по мнению критика журнала «Уэст Африка», «показаны яркие персонажи народного эпоса. Простым, понятным языком излагает Абайоми Фуджа собранные им легенды, образные по форме, глубоко народные по содержанию, увлекательные, как мифы древней Греции».

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

ПОЭТИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК

В Крайстчерче вышел поэтический ежегодник, в который включены наиболее значительные произведения поэтов Новой Зеландии, публиковавшиеся в 1961—1962 гг.

«В послевоенной новозеландской поэзии,— говорится в предисловии, написанном Джемсом Бэкстером,— наблюдаются два соперничающих направления. Сторонники одного направления считают, что главное в поэзии — форма, их оппоненты ратуют за содержательную поэзию». Сам Бэкстер принимает сторону последней.

Литературные критики говорят о формализме в современной новозеландской поэзии. «К счастью, это течение отнюдь не является подавляющим,—пишет Бэкстер.— Большинство новозеландских поэтов стремится к реалистическому отражению действительности. Значи-

тельное место в их творчестве занимают социальные проблемы, борьба за мир, за запрещение ядерного оружия, борьба против социальной несправедливости».

ОАР

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

Писатель Абд аль-Хамид Гоуда ас-Саххар написал роман «Белые равнины», рисующий эпопею обороны Порт-Саида осенью 1956 года.

Вышел из печати сборник рассказов «Мадыха» Аббаса Хидра. Рецензент журнала «Аль-Адиб» пишет, что рассказы Хидра отличаются большой жизненной правдивостью. По его словам, автор «описывает переживания простого человека, показывает живые, близкие нам образы людей, которых мы встречаем в нашей повседневной жизни».

СМЕРТЬ АХМАДА ЛУТФИ АС-СЕЙИДА

В Каире в возрасте 91 года скончался известный египетский философ и публицист Ахмад Лутфи ас-Сейид. Ему принадлежала выдающаяся роль в национальном возрождении Египта в конце XIX — начале XX веков, в создании египетской свободной печати и первого в стране университета. Ас-Сейид — автор нескольких работ по общественно-политическим и философским вопросам. Он осуществил перевод «Этики» Аристотеля на арабский язык.

Последние годы Лутфи ас-Сейид возглавлял Академию арабского языка в Каире.

ПОЛЬША

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ПИСАТЕЛИ

Традиционный ежегодный книжный базар уже вошел в жизнь Варшавы. Он открывается по воскресным дням, и тысячи варшавян «от 10 до 100 лет» устремляются к празднично украшенным книжным киоскам. Все без исключения столичные издательства, а также периферийные считают честью участвовать в этом празднике читателя. И вот тут-то можно воочию убедиться, кто из писателей пользуется наибольшей популярностью.

О книжном базаре нынешнего года написала в «Трибуне люду» польская писательница Моника Варненская. Киоск Государственного издательского института «ПИВ», рассказывает она, окружали многочисленные любители отечественной и зарубежной художественной прозы. Было раскуплено множество экземпляров изданной повторно книги Казимежа Брандыса «Письма к пани З.». Большой читательский интерес вызвала «Синяя тетрадь» Э. Казакевича, которая продавалась в киоске издательства «Ксенжка и ведза». Книги «Полвека» Е. Путрамента, «Бронзовые врата» Т. Брезы, а также стихи Ю. Тувима предложило варшавянам издательство «Чительник».

Успехом у посетителей базара пользовалась серия повестей, выпущенных издательством Министерства национальной обороны «МОН» к 20-летию Войска Польского, которое будет отмечаться в октябре этого года. Среди них — «Апрель» Ю. Хена, «Крещенные огнем» В. Жукровского, а также «Фронтовые дороги» и «Предрассветный час» В. Котовича.

Столичное издательство «Искры» предложило читателям вновь изданную повесть Ярослава Ивашкевича «Влюбленные из Мароны».

С посетителями базара беседовали и подписывали купленные книги писатели Мариан Брандыс, Путрамент, Центкевичи и другие.

РОМАН ЖУКРОВСКОГО НА ЭКРАНЕ

Как сообщает журнал «Фильм», режиссер Ежи Пассендорфер, известный советскому зрителю по фильму о героях польского Сопротивления «Покушение», приступил к работе над сценарием фильма «Крещенные огнем» по одноименному роману Войцеха Жукровского. В «Крещенных огнем» писатель рассказал о польском офицере, который участвует в ликвидации банд реакционеров в стране в первые годы народной власти. Большую помощь в этом оказывали польским воинам советские солдаты и офицеры.

Фильм по роману Жукровского будет сниматься в творческом коллективе «Иллюзьон».

Сценка на ежегодном книжном базаре в Варшаве. Женщина спрашивает
— Почему ты плачешь, мальчик?
— Потому что я еще не умею читать,— отвечает малыш.
(Газета «Трибуна люду»)

РУМЫНИЯ

В ПИСАТЕЛЬСКИХ ЛАБОРАТОРИЯХ

По сообщениям румынской литературной печати, писатель-романист Эуджен Барбу работает сейчас над сценарием фильма «Северное шоссе» по своему одноименному роману, в котором описаны события, связанные с героической борьбой передовой части румынского пролетариата — рабочих железнодорожных мастерских «Гривица». Подходит к концу и работа писателя над новым романом «Семья».

Главные герои будущего романа Ал. И. Штефэнеску «Иное время года» — рабочий, интеллигент и капиталист. Действие романа начинается в момент освобождения страны — 23 августа 1944 года. «Эта дата,— заявил писатель в беседе с корреспондентом «Газета литерарэ»,— представляет собой не только поворотный пункт в истории Румынии. Она дорога каждому честному гражданину страны. Тема освобождения безгранична и должна, так или иначе, найти свое место в творчестве многих литераторов». Штефэнеску передал бухарестскому Национальному театру имени Караджале новую пьесу «Игра вдвоем» о современной жизни республики.

Роман «Кирилэ» принадлежит перу Симиона Попа, автора известных советскому читателю литературных очерков о жизни румынских металлургов. Герои нового романа — шахтеры Марамуреша, области на севере страны Симион Поп описывает становление нового коллектива шахты в наши дни, возникновение социалистических производственных отношений.

Писатель-академик Эуджен Жебеляну в последние годы был занят переводами стихов национального поэта Кубы — Николаса Гильена. Вскоре румынский читатель получит не только стихи Гильена, но и поэму Жебеляну о Кубе. В нынешнем году выйдет еще один сборник стихов Жебеляну — «Песни против смерти».

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

КНИГИ АРАВИЙСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Журнал «Аль-Адиб» сообщает о выходе новых произведений аравийских писателей. Среди них повесть «Дочь Аравии» молодой писательницы Самиры — первая в истории этой страны книга, написанная женщиной. Читатели получили, кроме того, сборники рассказов «Поэт и глина» Абд ар-Рахмана аш-Шаира и «Голодная жизнь» Абдаллаха Джафри, а также несколько стихотворных диванов.

В г. Джидда вторым изданием вышел сборник рассказов Ибрахима ан-Насера «Наши матери в борьбе». Автор первого аравийского романа «Цена жертвы» Хамид Даманхури, пишет журнал, подготовил к печати новую повесть «И дни прошли».

Вышла в свет и литературоведческая работа—«История литературного процесса в странах Персидского залива», в которой даются обзоры литератур Кувейта, Бахрейна, Омана и других стран.

Новый фильм «Он был моим другом», снятый на киностудии «Бухарест» режиссером Андреем Блайером по сценарию Думитру Карабэца и Мирчи Мохара, рассказывает о жизни наших современников, простых румынских тружеников Здесь мы публикуем кадр из фильма

(Еженедельник «Контемпоранул»)

СУДАН

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРЫ

Ливанская газета «Аль-Хаят» напечатала интервью с директором министерства просвещения Судана Абд аль-Халимом Али Таха. В этом интервью Али Таха рассказал об этапах развития современной суданской литературы.

Первые зрелые произведения, сказал он, появились в Судане в XIX веке, особенно в конце его, во время восстания Махди, когда суданцы поднялись на борьбу за освобождение родины от иноземных поработителей. Это было время героической поэзии, «воодушевлявшей сердца на священную войну во имя свободы». Наиболее крупными поэтами той эпохи были Омар аль-Банна и аль-Маджзуб. После захвата страны англичанами в конце XIX века наступил длительный период застоя в суданской литературе.

Али Таха рассказал также о современном состоянии суданской литературы и о стоящих перед ней трудностях. Интеллигенция в

Судане еще малочисленна, подчеркнул Али Таха, тем не менее за последние годы суданская литература добилась значительных успехов. Теперь в ней представлены все жанры. В стране несколько литературных объединений. Важнейшие из них — «Общество обновляющейся литературы» и «Ассоциация писателей». Все эти литературные организации стремятся популяризировать произведения суданских авторов, с тем чтобы в ближайшем будущем эти книги стали достоянием читателей других арабских стран

В создании суданской литературы начинают принимать участие и женщины, отметил Али Таха. Среди них Фатыма Ахмад Ибрахим, автор книги «Наш путь к освобождению», и Хадиджа Сафват, написавшая книгу «Радости Асии».

США

СБОРНИК ПАМФЛЕТОВ МАРКА ТВЕНА

«Марк Твен о проклятом человеческом роде» — так озаглавлен сборник политических памфлетов великого американского писателя, недавно выпущенный в США под редакцией Джейн Смит. В него вошли многие острые произведения писателя, которые давным-давно не публиковались в стране. Таковы «Монолог короля Леопольда в защиту его владычества в Конго», «Монолог царя», «Соединенные Линчующие Штаты», «Военная молитва» и другие.

Марк Твен открыл для себя существование «двух Америк» и самым решительным образом стал на сторону той, «второй», Америки, в которой живут угнетенные и эксплуатируемые, в первую очередь американские негры. В сборнике опубликованы памфлеты Марка Твена, направленные против расовой дискриминации в США: «В представлении белого человека» и «Поверхностность».

«Издание сейчас—во времена событий в Литтл-Роке, Оксфорде и Бирмингеме— этих бичующих памфлетов Марка Твена,— пишет еженедельник «Уоркер»,— представляет собой немалый вклад в усиливающуюся борьбу против расизма».

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ГЕТТО» АМЕРИКИ

Еженедельник «Сатэрдей ревью» напечатал высказывания Лэнгстона Хьюза и Джона Уильямса о положении негритянских писателей в США.

Писателям-неграм, говорит Лэнгстон Хьюз, недоступны литературные гонорары, которые получают белые писатели. Кино, радио, телевидение, штатные должности в издательствах и редакциях, лекции — все двери наглухо закрыты для негров. А ведь известно, подчеркивает Хьюз, что заработать на жизнь только изданием книг в Соединенных Штатах невозможно. Для негров-писателей есть только один дополнительный источник доходов — преподавание в негритянских школах. Пишут они только по ночам.

Другой негритянский писатель, Джон Уильямс, с возмущением говорит о расовой дискриминации в литературе, о предубежденном подходе к произведениям негритянских писателей. Характерная деталь: рецензенты всегда сравнивают книги писателей-негров только с книгами писателей-негров. Кроме того, литературные критики выработали определенный штамп в своих отзывах на произведения негритянских писателей. О романе негра-писателя непременно напишут, что это проявление «ненависти к белым».

В нынешней «свободной» Америке создано «литературное гетто» для писателей с темным цветом кожи, заявляет Джон Уильямс.

ТАНГАНЬИКА

НОВОЕ ИЗДАНИЕ РЕДКОЙ КНИГИ

Как сообщает танганьикская газета «Санди ньюс», Восточно-Африканское литературное бюро совместно с Восточно-Африканским обществом по изучению языка суахили выпустили новое издание книги Абдаллаха-бин-Хемедиладжеми «Хабари за Вакилинди» («История Вакилинди»). Собирателям литературы на языке суахили она известна как одна из самых редких книг.

В «Хабари за Вакилинди» рассказаиа история одного из народов Танганьики от его возникновения до нашествия германских колонизаторов в конце XIX века. Ее автор был свидетелем, а иногда и участником некоторых описанных им событий.

ФИНЛЯНДИЯ

НЕИЗВЕСТНАЯ КОМЕДИЯ МАЙЮ ЛАССИЛА

Недавно в Финском Национальном театре в Хельсинки состоялась премьера пьесы «Сердцеед» Майю Лассила, видного фииского писателя и драматурга, погибшего от рук финских белогвардейцев в 1918 году. Это третья из найденных режиссером Туре Юнтту черновых рукописей неизвестных комедий Лассила.

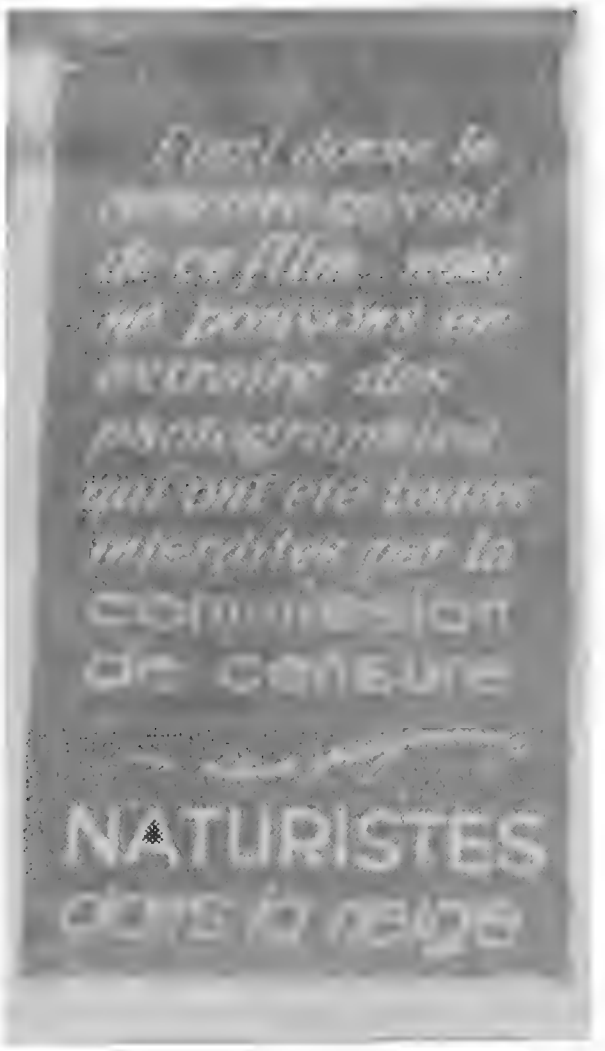
Первая пьеса — «Свадьба Пуранена», выдержанная в свойственном Лассила стиле народной комедии, рассказывает о жизни крестьян Северной Карелии в XIX ве-

Сцена из комедии «Когда цветут розы» Майю Лассила, не давно поставленной финским телевидением

(Газета «Кансан уутисет»)

ке. Вторая из неопубликованных пьес — «Перпетуум мобиле» — изображает сельскую жизнь уже иной, показывает появление в ней технических новшеств, что дает богатую пищу фантазии сельских жителей. Время действия третьей комедии, «Сердцеед»,— 1916—1917 годы. События пьесы снова происходят в Северной Карелии, но в «Сердцееде» нет более сельской идиллии ранних пьес писателя. Традиционный сюжет оттеснен изображением жизни сельских пролетариев, рабочих лесопильного завода.

После спектакля зрители устроили овацию Туре Юнтту — «первооткрывателю» неизвестных пьес Майю Ласила.



Реклама фильма без единой фотографии — все они запрещены цензурой.

(Газета «Либерасьон»)

ФРАНЦИЯ

ЗА ЧТО ОСУЖДЕН МАСПЕРО

Известный издатель и владелец книжного магазина Франсуа Масперо присужден французским судом к уплате штрафа в сумме 300 франков за «преступление против нравственности». Что же это за «преступление»?

В витрине его магазина находилось шесть книг, которые цензура признала «безнравственными». Как заявили на суде эксперты-медики, эти книги имеют научный характер и предназначены исключительно для медицинских работников.

Трудно объяснить суровость цензуры в отношении Масперо, пишет газета «Либерасьон», особенно если принять во внимание ее снисходительность к всевозможным рекламам и афишам самого непристойного характера. А их видят все, в том числе и дети... Вот у входа в кинотеатр висит афиша: «Это особый фильм, поэтому мы не можем выставить ни одной фотографии — все они запрещены цензурой». Итак, покупайте билет, и вы получите возможность любоваться непристойностями. Из этого следует сделать вывод, что у цензуры весьма своеобразные взгляды на нравственность, пишет далее газета.

Но почему все-таки был осужден Масперо? «Не потому ли, что в свое время его отношение к алжирской войне не соответствовало отношению к ней правительства?» — спрашивает «Либерасьон».

Откликаясь на это судебное разбирательство, еженедельник «Леттр франсез» публикует письмо директора издательства «Сите» из Лозанны. В письме говорится: «Я связан с Франсуа Масперо узами дружбы с того времени, когда судебные преследования стали в его жизни обычным явлением и служили средством нажима, хотя и малоэффективным, ввиду присущего ему мужества. Поэтому меня несколько позабавило это новое, кажется пятнадцатое по счету, обвинение. Сегодня Масперо обвиняется в «преступлении против нравственности». Удивления достойно то обстоятельство, что четырнадцать судебных дел, возбужденных против него по политическим мотивам, кончились ничем, а за «преступление против нравственности» он был осужден».

«МЕМУАРЫ ЗЕВСА»

В парижском издательстве Грассе вышла книга Мориса Дрюона «Мемуары Зевса». В ней, как рассказал писатель в своем интервью, опубликованном в «Леттр франсез», собраны воедино впечатления от его многочисленных поездок по берегам Средиземного моря, размышления об античной культуре, о мифологии и космогонии древних народов, о прошлом и будущем нашей планеты «В этой книге я не претендую ни на что иное, кроме того, чтобы подобрать ключ к двери, за которой мы обнаружим, быть может, связку других ключей, позволящих нам открыть новые двери»,— сказал Морис Дрюон.

Своеобразная книга Дрюона не похожа на его предшествующие произведения, однако, как отметил в своем интервью писатель, между ними есть определенная связь: проблемы, над которыми он размышляет в «Мемуарах Зевса», затрагивались и в его романах.

«Эта книга — мое любимое детище, тем не менее я не считаю, что она совершенно оторвана от других моих книг: в романе «Сильные мира сего» вы найдете социальные вопросы, в «Проклятых королях»—проблемы власти, в «Божественном Александре» — историю смены цивилизаций,— продолжает Дрюон.— Я хотел бы, чтобы эта книга стала спутником для некоторых из моих читателей... Я говорю им только: дверь здесь, и от вас самих зависит узнать, что там, за этой дверью!»

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

НОВАЯ ПОВЕСТЬ ИВАНА КРЖИЖА

Имя Ивана Кржижа в чехословацкой литературе, по словам Франтишека Бурианека, неизменно упоминается тогда, когда речь идет о современности, о жгучих проблемах нашей жизни.

Откликаясь на выход из печати повести Ивана Кржижа «Первый день моего сына», Бурианек в

рецензии, опубликованной еженедельником «Литерарни новины», отмечает, что в центре повествования — одна из самых важных задач социалистического общества: воспитание подрастающего поколения. Герой рассказа — молодой рабочий Ольджих, только что ставший отцом, но еще не вполне осознавший значение этого события в своей жизни. Случайно он встретил Ирчека — подростка, который оказался «у опасной черты»... Герою рассказа удается оторвать подростка от группы молодых людей, поведение которых оставляет желать много лучшего. Ольджих одерживает моральную победу и теперь как-то полнее ощущает свое отцовство и ответственность за новое поколение.

Таково вкратце содержание повести «Первый день моего сына», которую Бурианек считает чем-то вроде этюда к большой и серьезной работе известного мастера чешской прозы Ивана Кржижа.

ДЕСЯТИЛЕТИЕ ЛИТЕРАТУРНОГО МУЗЕЯ

Десять лет назад в Праге на Страгове был открыт Литературный музей, в котором ныне собраны многочисленные литературные памятники и редкие документы о писателях Чехословакии и зарубежных стран. Поскольку фонды музея, включая богатую библиотеку, очень обширны, к их помощи часто прибегают многие местные музеи и библиотеки. Так, Народная библиотека в Тахове при содействии Литературного музея недавно организовала выставку по истории развития литературы в Чехословакии, а также выставку о жизни и творчестве Максима Горького.

За один только прошлый год в музее побывало триста тысяч посетителей. На юбилейном вечере, посвященном десятилетию музея, председатель Национального собрания ЧССР Зденек Фирлингер сказал, что деятельность Литературного музея может служить образцом для других культурных учреждений страны.

ШВЕЙЦАРИЯ

ПЬЕСЫ МОЛОДОГО ДРАМАТУРГА

О Максе Шмиде впервые заговорили в 1959 году, когда Цюрихский театр отмечал свой двадцатилетний юбилей. Был объявлен конкурс на лучшую пьесу, и вторую премию жюри единодушно присудило Максу Шмиду за его «Вавилонскую башню». Имя автора никому ничего не говорило. Макс Шмид родился в Цюрихе в 1926 году, окончил коммерческое училище, работал в кабаре, сотрудничал в газетах и журиалах и, наконец, написал пьесу, действие которой происходит в сумасшедшем доме. Она смела по мысли, язык ее острый и выразительный. Идея «Вавилонской башни» предельно ясна — это отрицание войны и военного психоза.

Многие считают, что пьеса, бесспорно, заслуживала первой премии и не получила ее лишь из-за своей антимилитаристской направленности. Поставить ее на сцене театр не решился.

Вскоре Макс Шмид написал вторую пьесу — «Человек в золотой клетке» с подзаголовком «Сказка для взрослых».

После премьеры пьесы в Бернском театре года два назад о молодом швейцарском драматурге заговорили уже в полный голос. На постановку откликнулись почти все крупные швейцарские и многие западногерманские газеты. Мнения критиков решительно разошлись. Многим добропорядочным буржуа не по нраву пришлась позиция автора, который в «Человеке в золотой клетке» клеймит ханжество, развенчивает религиозные догмы. Газеты кричали о вреде его нигилизма. Но было очевидно, что появился драматург, заставляющий публику мыслить, мастерски владеющий сложным драматургическим жанром, смело затрагивающий социальные проблемы.

В прошлом году на театральном фестивале в Саарбрюкене из-за новой, третьей по счету, пьесы Макса Шмида едва не разразился скандал — нервы буржуазной публики не выдержали.

Действие пьесы происходит во владениях некоронованного короля игрушек Франца-Иосифа, в маленьком городке Буквиле, жители которого так привыкли кланяться, что у них всех выросли горбы как символ верноподданничества. Пьеса так и называется — «Горбуны». Буквиль осваивает производство новых игрушек — ракет. При испытаниях их гибнет несколько рабочих, но выпуск новой продукции сулит слишком большие прибыли, чтобы это остановило Франца-Иосифа. Единственный человек в городе, который решается высказать свое неодобрение,— редактор местной газеты Ауг-штайнер. Однако все его попытки раскрыть людям глаза на опасность игры с огнем, на то, что делать из смертоносного оружия игрушки для детей — преступление, терпят крах.

Пьеса «Горбуны» носит ярко социальный характер, представляет собой острый памфлет, разоблачающий гонку ядерных вооружений и милитаристскую среду, которая порождает настроения военной истерии.

Швейцарская прогрессивная общественность возлагает на Макса Шмида большие надежды, считая, что пьесы писателя вскоре

Макс Шмид.
(Снимок прислан в редакцию)

станут широко известны за пределами его маленькой родины.

ЭФИОПИЯ

РАССКАЗЫ ТАДЕССЕ ЛИВЕНА

За последнее время в эфиопской литературе получил значительное распространение короткий рассказ. Один из видных представителей этого жанра — Тадессе Либен. В его рассказах описывается жизнь народа, обличается социальная несправедливость, ведется борьба с суевериями. Недавно издающийся в Аддис-Абебе журнал «Эфиопиа обзёрвер» опубликовал рассказ Либена «Правда» о трогательной любви эфиопских юноши и девушки. Журнал поместил также краткую биографию писателя. Тадесе Либену — около тридцати лет. По профессии он банковский служащий. Первый сборник его рассказов «Мескерем» (так называется первый месяц эфиопского года, который начинается в сентябре) был опубликован в 1957 году. Двумя годами позднее вышел второй сборник рассказов Либена — «Другим путем».

ЮГОСЛАВИЯ

«МОЛОДОЙ МЕСЯЦ»

Творчество Мира Михелича занимает видное место в югославской литературе, поэтому появление его нового романа «Молодой месяц» было встречено читателями с большим интересом. Действие романа относится к прошлому столетию. Как отмечает газета «Борба», автору удалось создать яркие и запоминающиеся образы, достоверно передать атмосферу того времени.

ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

КНИГА ЮРИЯ ГАГАРИНА ПОД ЗАПРЕТОМ

В Южно-Африканской Республике, в этом огромном расистском заповеднике, запрещены и сжигаются почти все шедевры мировой литературы, в том числе произведения Льва Толстого, Генриха Гейне, Владимира Маяковского и других писателей.

Недавно телеграф принес из города Претории сообщение о том, что южно-африканские расисты, не будучи в силах отрицать, что первооткрывателями космоса являются советские люди, в бессильной злобе решили, как сообщает правительственная «Оффишиел газетт», занести книгу советского космонавта Юрия Гагарина «Путь к звездам» «в число 33 книг и изданий, признанных непристойными или предосудительными».

Официально объявлено, что книгу Гагарина нельзя продавать, каким-либо образом распространять или даже выдавать по абонементу в библиотеках.

ПИСАТЕЛИ ПРОТЕСТУЮТ

В ответ на принятие закона о цензуре (см. «Иностранную литературу» № 7 за 1963 г.) писатели и художники ЮАР, негры и белые, выступили с совместным манифестом протеста.

«Мы, южно-африканские писатели,—говорится в этом документе,—считаем своим долгом открыто заявить о нашем отношении к подобным крутым мерам. Задача художника — правдиво и без всякой предвзятости отображать окружающую его действительность. Между тем по новому закону практически любое произведение, рассказывающее о современной жизни, может быть запрещено на том основании, что оно «оскорбительно» для существующего режима». Под манифестом поставили свои подписи 158 человек.

Стали известны новые подробности драконовского закона о цензуре. В нем предусматривается, что публикация «нежелательных» произведений будет караться штрафами от 300 фунтов стерлингов и выше или тюремным заключением либо тем и другим вместе. Закон вводит «моральную, политическую и религиозную» цензуру. Контроль над мыслями, ныне узаконенный правительством Фервурда, ставит непреодолимое препятствие на пути дальнейшего развития южно-африканской литературы и искусства.

ЯМАЙКА

ПЕРВАЯ КИНОСТУДИЯ

«В скором времени в стране будет создана национальная студия по производству художественных фильмов»,— заявил корреспонденту журнала «Уэст индиен ревью» министр торговли и промышленности Ямайки Роберт Лайтборн. К работе над фильмами будут привлечены опытные зарубежные режиссеры, операторы и артисты.

ЯПОНИЯ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРЕМИИ

Жюри, ежегодно присуждающее премии Акутагава и Наоки, в этом году приняло неожиданное решение: премии Акутагава не присуждать. Премию Наоки получил Сугимото Соноко за рассказ «Берег печали».

Один из членов жюри — Исикава Тацудзо — пишет, что на соискание премии Акутагава было представлено 505 рассказов, и можно лишь сожалеть, что среди них не удалось найти ни одного произведения, достойного премии.

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

ЗОФЬЯ ПОСМЫШ — ZOFIA POSMYSZ (род. в 1924 г.) — польская писательница и журналистка. С 1942 по 1945 г. была узницей Освенцима. Повесть «Пассажирка» («Pasażerka», 1962) — первая книга писательницы.

УИЛЬЯМ ДЮБУА — WILLIAM DU BOIS (род. в 1868 г.) — крупнейший американский негритянский писатель и ученый, лауреат Международной премии мира. В настоящее время живет в Гане. Его перу принадлежат книги: «Души черного народа» («The Souls of Black Folk», 1903), «Темная вода» («Dark Water», 1920), «Прошлое и настоящее черного народа» («Black Folk: Then and Now», 1939), трилогия «Черное пламя» («The Black Flame», 1957—1961) и др.

Публикуемые стихи взяты из газеты «Ивнинг ньюз».

ЖАН КАНАПА — JEAN KANAPA (род. в 1921 г.) — французский писатель и журналист, автор романов «Судебный процесс» («Le procès du juge», 1947), «Личный вопрос» («Question personelle»), ряда философских работ и публицистических статей.

Публикуемый рассказ входит в сборник «Вино, смешанное с миррой» («Du vin mêlé de myrrhe», 1962).

ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ — ERNEST HEMINGWAY (1899—1961) — американский писатель, лауреат Нобелевской премии. Автор романов: «И встает солнце» («The Sun Also Rises», 1962), в русском переводе «Фиеста», «Прощай оружие» («A Farewell to Arms», 1929), «По ком звонит колокол» («For Whom the Bell Tolls», 1940), книги «Смерть после полудня» («Death in the Afternoon»», 1932), повестей: «Иметь и не иметь» («To Have and Have Not», 1937), «Старик и море» («The Old Man and the Sea», 1952), пьесы «Пятая колонна» («The Fifth Column», 1938) и других произведений.

Рассказ «Разоблачение» был напечатан в журнале «Эсквайр» в ноябре 1938 г.

ИОЗЕФ ГАНЗЛИК — JOSEF HANZLIK (род. в 1938 г.) — чехословацкий поэт. Начал печататься в 1959 г. Первый сборник стихов «Лампа» («Lampa») вышел в 1961 году, из него и взято публикуемое стихотворение.

КАРЕЛ ТОМАШЕК — KAREL TOMAŠEK (род. в 1935 г.) — чехословацкий поэт, автор сборника стихов «Улица головокружения («Ulice Na Závrati», 1961).

Стихотворение «Песня о реке» взято из этой книги.

РЭЙ БРЭДБЕРИ — RAY BRADBURY (род. в 1920 г.) — американский писатель, автор многочисленных сборников рассказов, много пишет в области научной фантастики. За рассказы удостоен премии имени Франклина и премии О'Генри. Наиболее известны его книги «Марсианская хроника» («Martian Chronicles», 1950), «451° по Фаренгейту» («Fahrenheit 451°», 1955).

Рассказ «Луг» взят из книги «Золотые яблоки солнца» («The Golden Apples of the Sun», 1953); рассказ «Вельд» взят из книги «Человек из книжки с картинками» («The Illustrated Man», 1951).

БЛАГА ДИМИТРОВА (род. в 1922 г.) — болгарская поэтесса. Ей принадлежат сборники стихов: «Песни о Родопах» («Песни за Родопите», 1954), «На просторе» («На открито», 1956) и др.

Публикуемые стихи взяты из сборников «До завтра» («До утре», 1960) и «Мир в ладони» («Светът в щепа», 1962).

ЛЕОПОЛЬД ГРЮНВАЛЬД — LEOPOLD GRÜNWALD (род. в 1902 г.) — австрийский публицист, автор ряда книг,

посвященных проблемам внешней политики и культуры. Публикуемая статья прислана в рукописи.

ДАЙСОН КАРТЕР — DYSON CARTER (род. в 1901 г.) — канадский писатель и публицист. Наиболее известны его романы «Будущее за нас» («Tomorrow is With us», 1952), «Сыновья без отцов» («Fatherless Sons», 1955), ему принадлежит также несколько книг о Советском Союзе.

Статья «Канадская культура будет жить» прислана в редакцию в рукописи.

КОРНЕЛИУ БАБА — CORNELIU BABA (род. в 1906 г.) — Народный художник Румынской Народной Республики, почетный член Академии художеств СССР.

Публикуемый материал взят из различных номеров румынского журнала «Арта пластика».

ЛИЛИ ЯКОВИДУ (род. в 1898 г.) — греческая поэтесса и писательница. Публикуемая статья написана для нашего журнала.

ЭЛЛА УИНТЕР — ELLA WINTER — американская журналистка и переводчица. Автор публицистических книг «Красная сила» («Red Virtue»), «Я видела русский народ» («I Saw the Russian People») и др.

Публикуемая статья написана для нашего журнала.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР **Б. С. РЮРИКОВ**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

И. И. АНИСИМОВ, Б. Г. ГАФУРОВ, С. А. ГЕРАСИМОВ, С. А. ДАНГУЛОВ (зам. главного редактора), **Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА** (отв. секретарь), **Т. Л. МОТЫЛЕВА, Л. В. НИКУЛИН, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, Б. И. РОЗЕНЦВЕЙГ, М. И. РУДОМИНО, В. П. ТЕРЕШКИН, П. М. ТОПЕР, С. П. ЧЕРНИКОВА, М. А. ШОЛОХОВ, К. ЯШЕН.**

Художеств. редактор **М. М. Милославский.** Технический редактор **В. Л. Шачнев.**

Адрес редакции: Москва, Пятницкая ул., д. 41. Телефон: В 3-51-47.

А 07719. Сдано в производство 31/V-63 г. Подписано к печати 3/VIII-63 г.
Бумага 70×108 1/16 = 9,0 бум. л. + 1 вкл.; печ. л. 24,66 + 1 вкл. Зак. 1059.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 80 коп.

ИНДЕКС
70391